

ЧИНГИЗ ГУСЕЙНОВ

ФАТАЛЬНЫЙ
ФАТАЛИ



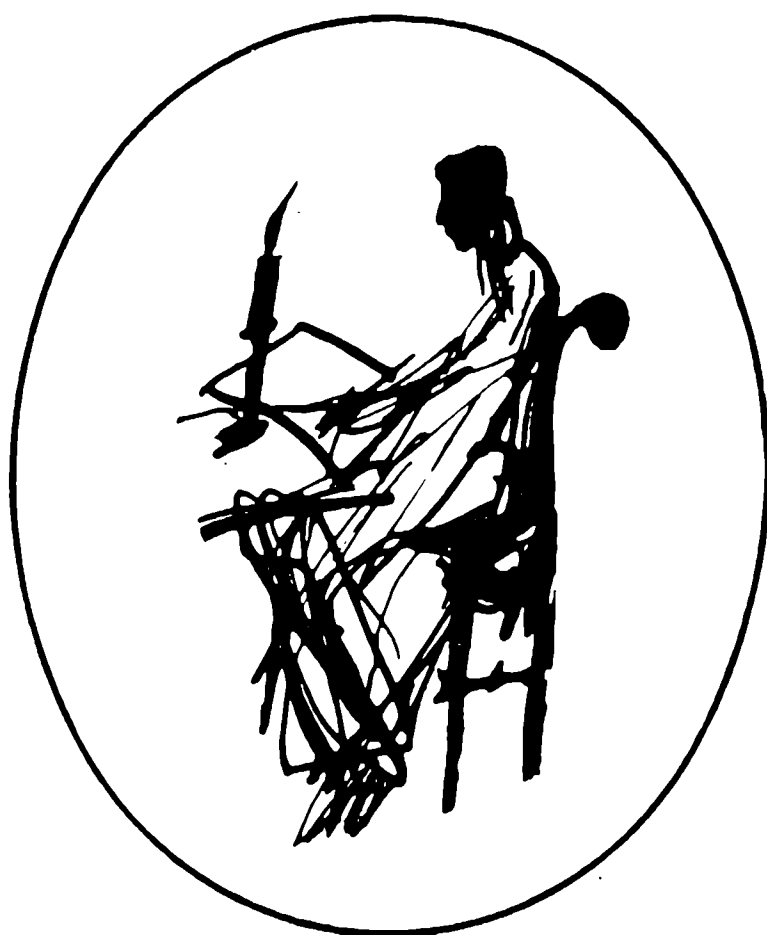




ЧИНГИЗ ГУСЕЙНОВ

ФАТАЛЬНЫЙ ФАТАЛИ

РОМАН



МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1983

Чингиз Гусейнов — известный азербайджанский прозаик, пишет на родном и русском языках. Его перу принадлежит несколько книг художественной прозы, изданных в Баку и Москве («Моя сестра», «Не назвался», «Встер над городом», «Угловой дом», «Восточные сюжеты» и др.). Широкую популярность приобрел роман Ч. Гусейнова «Магомед, Мамед, Мамиш», выдержавший ряд изданий в Москве, выпущенный в США, Франции, НРБ, ГДР, ЧССР, ПНР, а также на языках народов СССР.

Роман «Фатальный Фатали» — многоплановое историческое повествование о судьбе азербайджанского народа, о жизни и деятельности выдающегося азербайджанского мыслителя, революционного демократа, критического реалиста Мирзы Фатали Ахундова. Перед читателем раскрывается эволюция духовного мира М. Ф. Ахундова, приводящего к пониманию неизбежности революционной борьбы с тиранией и рабством.

Время действия романа — XIX век, место действия — Тифлис, Закавказье, Кавказ, Россия и Западная Европа, а также Персия и Турция.

Художник ВАЛЕФИЙ ЛОКИН

АВТОР ЗАДЕРЖИВАЕТ ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЯ



который полон серьезных намерений сразу приступить к тексту книги, и предлагает ему не спешить, а сначала прочесть эти страницы.

Жизнь Мирзы Фатали Ахундова, а он родился в 1812-м и умер в 1878 году, умнейшего из моих земляков, прозванного благодарными потомками Учителем народа, полна трагических коллизий, несбывшихся надежд, противоречива и сложна. Естественно, что это отразилось и на содержании произведения, и на его структуре.

Ахундов всю сознательную жизнь прожил в столице Кавказа Тифлисе и до конца дней своих работал в канцелярии Наместника Кавказского, пройдя путь от прапорщика до полковника (и на погонах эН и Ка). Но под мундиром царского чиновника и офицера билось сердце просветителя-правдолюбца, демократа-революционера.

Какое это было время, век девятнадцатый!..

Восстание декабристов. Пушкин и Лермонтов. Петрашевцы. Волна революций, прокатившаяся по Европе и всколыхнувшая Россию. Очаги народного гнева — бунты, мятежи и восстания крестьян в Закавказье. Горцы и их борьба. Выдающиеся деятели культуры закавказских народов: Бакиханов и Александр Чавчавадзе, Абовян и Мирза Шафи, Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели. Движение славных шестидесятников. Заграничная деятельность великого Герцена, нарушившего рабье молчание и прогремевшего вольным словом на всю Россию. Народовольцы...

Ахундов проходит долгий путь духовного кризиса, прежде чем укрепиться в мысли о необходимости и неизбежности борьбы с царским самодержавием. А началось прозрение в 1837 году, с поэмы «На смерть Пушкина», написанной Ахундовым и переведенной Бестужевым-Марлинским. За-

тем потрясение от революционных событий 1848 года в Европе, неодолимое желание художника отразить события и невозможность это сделать под неусыпным оком цензуры (и в силу запрета европейского жандарма — императора Николая). И тогда фантазия Ахундова рождает образ Колдуна, разрушающего в комедии Париж, чтобы угодить ханум и ее дочери, не желающим поездки жениха в Париж, — город разрушен, и это совпадает с известием о восстании во Франции: хоть так откликнуться, ибо молчать нельзя.

Ахундов пишет водевили, комедии и трагикомедии, твердо убежденный в том, что слово, обращенное к народу со сцены, способно пробудить массы, всколыхнуть людей. И пик надежды — 1856 год: работа над реалистической повестью «Обманутые звезды». Ахундов обращается к далекой истории, ко времени деспотического правления Шах-Аббаса, чтобы рассказать о своем времени, ибо на современном материале в условиях жестокой цензуры невозможно изложить программу демократических преобразований. Но голос Ахундова задыхается в стенах царской местнической канцелярии. Звезды, предсказавшие гибель тирану, обмануты. Повесть не дошла до народа, ибо он неграмотен, не разлит и темен.

И тогда новая дерзкая мысль рождается в Ахундове, так и не порвавшим с просветительскими иллюзиями: в корне изменить систему образования, заменив латиницей труднодоступный, как казалось, арабский алфавит, почитаемый священным, ибо на нем написан Коран.

Ахундов не теряет надежды расшатать мир деспотизма. Он пишет свои знаменитые революционные философские «Письма Кемалуддовле» («Три письма индийского принца Кемалуддовле к персидскому принцу Джелалуддовле и ответ на них сего последнего»), которым не суждено было (да и могло ли быть иначе?) увидеть при его жизни свет: они всплыли наружу из семейного сундука Ахундовых уже в наше время.

Но автор романа «Фатальный Фатали» допускает возможность издания «Писем», а они и впрямь должны были, в это верил и сам Ахундов, со дня на день выйти и в Петербурге, и в Париже. Можно представить себе, какие волнения вызвала бы эта публикация: каждая фраза здесь направлена против тирании и рабства, фанатизма и догм, каждая страница — как листовка.

И часто с тех пор, как Ахундов вступил в полосу кризиса

иллюзий и надежд, у него появляется двойник, а с ним — и *воображаемое развитие событий, графически показанное в тексте повествования усеченной строкой.*

Реальная жизнь включает и сиюминутное настоящее, и давнее, будто случившееся вчера, постоянно вторгается в сны и сегодняшний день, и устремленность в будущее. Вспышки мимолетных мыслей. Энергия сгустка дум. Реальные представления — то, что было на самом деле. Ирреальные картины — что могло бы быть.

Но как выразить это? И явь, и сон, и возможное, и кажущееся? И в тексте автор в едином потоке помещает порой то, что было, что есть, что может быть и что непременно будет, ибо будущее Ахундова (только ли его?) — уже прошлое для автора.

И вот конец всему. Ахундов умер, а его невозможно даже похоронить: протестуют фанатики, не желающие, чтобы тело грешника было предано земле на кладбище правоверных.

Нет, Ахундову ничего не удалось изменить. Та же неразвитость и темнота. Тот же деспотизм. Только зарево пожара освещает тьму. Конец семидесятих годов минувшего века. Еще далеко до подлинной зари.

Впервые об Ахундове я услышал в далеком детстве от пiousной и мудрой бабушки Наргиз, пережившей деда: она молила аллаха не мучить на том свете ее Мелик-Мамеда (а он глядел на нее с фотографии: гордый взгляд больших спокойных глаз, густые усы, пышная копна черных волос на голове), простить ему грехи.

«Какие?» — спрашивал я бабушку. Она сердито отмахивалась, думая о своем, и ее губы шептали молитву. Грехов было много у моего деда, капитана большого торгового судна, плававшего по вспыльчивому Каспию (и боцман однажды подарил ему в знак любви и преданности свою родную сестру Ширингыз, Сладкую Девочку, и она стала — к двум прежним — его третьей женой, но разве это грех?), а первый грех — чтение еретических «Писем Кемалуддовле» Мирзы Фатали Ахундова. И страшила кругами ада, особенно первым, где искры огня величиной с верблюда, и седьмым, где семьдесят тысяч келий, в каждой келии — семьдесят тысяч черных змей, а в желудке каждой змеи — семьдесят тысяч кувшинов, наполненных ядом.

Многие годы спустя я вычитал из одной толстенной книжки, что «Письма» в рукописи будоражили не только Тифлис и Баку, но даже захолустную Нахичевань, о них

были наслышаны по ту сторону Аракса — в Персии и по ту сторону Каспия и Черного моря — в Средней Азии и Индии, в Турции. «Письма» обсуждались в кружках просветителей-демократов, революционной молодежи, звали к борьбе против деспотии, невежества и фанатизма.

и прежде чем взять в руки перо, я прошел не спеша по старой и узкой бакинской улице, носящей имя Мирзы Фатали, спустился к треугольному скверу и постоял рядом с ним, гранитным, сидящим в широком каменном кресле, — или он не видит меня? затем взобрался — и жаркое солнце жгло мне спину — на один из тбилисских холмов и, тяжело дыша, поклонился его могиле, глянул на величественный памятник, а он — неужели и теперь не видит меня?! — долго смотрел на неведомо откуда забредшее сюда белое облачко, потом опустил голову, задумался и так застыл, а облачко, не успев бросить тень, стремительно таяло и вскоре вовсе исчезло в небесной сини.

и клянусь всевышним, я больше не явлюсь к тебе, мой читатель, на страницах *документальной фантазии о жизни, уже однажды прожитой.*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, а прежде *ПРОЛОГ*, — это нескончаемый кризис иллюзий, начавшийся в долгом одна тысяча восемьсот тридцать седьмом году или чуть позже, и, если бы не придуманный Фатали Колдун с орлиным носом, и на клюв похожим, и на горбатый изгиб крыла, когда орел, преодолев тяготенье Кавказского хребта, сел отдохнуть на крутой уступ скалы то ли еще в Азии, то ли уже в Европе, не было бы надежды, вспыхнувшей в быстротечном восемьсот пятьдесят шестом, а ведь всем в империи казалось — и это *ЧАСТЬ ВТОРАЯ*, — что легко обмануть звезды, предсказавшие гибель деспоту и уничтожение тирании, и крах Фатали, о чем *ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ*, наступил бы очень скоро.

Неужто, часто задумывался Фатали, начиная с иллюзий, мы переживаем их кризис, затем возгораемся надеждой, которая карается, и приходим к краху, не передавая опыта идущим вослед?

А когда-то, в наивную пору юности, это было очень давно, у Фатали при одном упоминании Зимнего дворца или Летнего сада жар разливался в груди, и душа ликovala, готовая взлететь и пронзиться любым из шпилей имперской

столицы, похожих на штык. Топот, пыль, и вдруг сверкнет, поймав луч солнца, грань штыка. «Запева-ааай!..» А разве было — и юность, и наивность, и благоговение? Ни сомнений, ни раздвоенности? Или стареет? На вере юнцов несмысленных и держится деспотическая власть: пока разберутся, что к чему, и раскусят горечь лживых слов — и время упущено; тот, кто успел вскарабкаться на вершину, понял, но ему на руку иллюзии новых юнцов, а тот, кто отстал и уже горбатится, — что он может: бросят юнцам клич, и они затопчут, глазом не моргнув (чтоб потом прозреть: но поздно!).

Эти мысли, от которых черно на душе. Был высокого ранга чин из столицы, чтоб расследовать: что ни год — из центра новая комиссия, и оба пишут и пишут, жалуются, но что толку? кого удивишь? Вчера собирали канцелярию. «Сильнее нас, — щеки высокого чина побагровели, и вслух не произнесешь фамилию, только в уме, послан специально государем, — никто не скажет, будьте уверены, о нашем всеобщем распутстве. Да-с. Жадность к стяжанию чиновников? Знаем. Стало продажным замещение на должностях, а корысть сделалась общею руководительницей к успеху при разбирательстве полицейском и судебном?! А способности и личные качества вещи уже сторонние? И это знаем!» И валит, ища виновного, на прежнего высокого чина, до него приезжал, чтоб тоже расследовать, — на Гана.

О, Ган!.. «Ган» — это «кровь», и без перевода Фатали знают, но «ган» — это еще и «вбей себе в башку, тупица!». «Да-с, это с Гана пошло, чиновников стало вдвое больше, дел в судах — папка на папку ложится, Гималайские горы дел, и оттого они нескорые, — чин смеется, — нет полиции, нет суда, нет защиты, взятки, продажность, интриги, сплетни, оттого и ропот крестьян, — заразительно хохочет высокий чин, — неповиновение». И что же? Зачинщиков буйства в тюрьму, а главаря — военному суду.

«По произведенному о сем исследованию, — докладывает государю чин, — жалоба оказалась совершенно несправедливою, и приказано было жителям повиноваться».

Свыкся, смирился Фатали, так и завершит путь, терзаясь, ничем уж, кажется, его не удивишь, но судьба, как это не раз прежде случалось, придет на подмогу, и вскоре, не успеет солнце достичь зенита, как Фатали придумает Колдуна, а с ним и начнется новая жизнь. И Фатали прошагает ее, уповая на чудо.

Еще утром ничего не было, когда он вышел из дому, чтобы побродить по Тифлису, ставшему родным с тех пор, как

он обосновался здесь, и шел к Шайтан-базару, погруженный в горестные размышления, ибо тревожно, беспокойно, уже сколько лет война с горцами и нет ей конца, и что ни год — холера, слухи о вздорожании хлеба, и в доме — траур, только что похоронили дочь, и растут могильные холмики на кладбище.

Мутные воды Куры казались застывшими. А вот старый Шайтан-базар, его тесные и шумные изгибы, смешались говоры, и ловит ухо слова тюркские, армянские, грузинские, русские, и много персов, есть и арабы; скоро весна, и с каждым днем жарче; прошел под темными сводами караван-сарая, мимо лавок ремесленников, и выставлены на улице огромные медные казаны, грохот жестянщиков, и не заметил, как проскочил мимо (или прошел насквозь?) каравана верблюдов: ведь не разминуться, навьючены громадными тюками, запрудили тесную улицу, вот-вот упрутся об стены, и рухнут своды; удивлен и шапочник Шошо, у которого Фатали (перед поездкой в длительную командировку в Персию для вручения поздравлений императора Николая новому шаху Насреддину) сшил недавно каракулевую папаху.

— А вы волшебник, что сумели!

Оглянулся Фатали: да, поистине чудо, что удалось ему пройти.

— Колдун! — усмехнулся Фатали, и вдруг на миг блеснули перед ним, дерзнувшим проскочить сквозь караван, наполненные будто бесовским светом быстрые и острые глаза погонщика. И большая неровной формы родинка на щеке.

«Поистине колдун!» — подумал Фатали, и весь последующий путь был озарен этой неясной еще находкой. На Эриванской площади заспешил домой. Мимо солдатских казарм, дворца последнего грузинского царя (здесь теперь дом начальника артиллерии) с тонкими изящными колоннами на просторной открытой галерее. Мимо величественного дворца наместника. Вот и здание нового театра осталось позади. Скорее домой — к оставленной рукописи.

И только что очиненное гусиное перо арабской вязью запечатлеет на белом листке лик Колдуна, этот изящный Ковш с родинкой в окончании слова.

Пролог, или Колдун

Колдун жив и теперь, хотя минул век с четвертью, а может, и больше, ведь годы неудержимо бегут с той поры, как он с легкой руки Фатали разрушил Париж, и была опасность, что от сотрясения рухнут соседние города и даже иные одряхлевшие государства; такое случалось и прежде: у всех на памяти страшный удар, который обрушился на упрямых нахичеванцев, вздумавших интриговать, когда уж как ни крепок Арарат, а треснула и откололась по воле Колдуна часть горы; и чуть было Колдун не потопил Петербург — что ему выпустить наружу дикие подземные воды и низвергнуть на град разъяренные морские валы? — то ли не успел, то ли это не понадобилось ни ему, всеумевшему, ни Фатали, к кому он питает сыновние чувства (бывает — сын старше отца); хотя в многотрудном имени Колдуна и отыщется арабское «ибн», азербайджанское или турецкое «оглу», персидское «заде», а если покопаться, и восточнославянское «вич», — у него нет и быть, разумеется, не может ни отчества, ни даже отчества.

Париж вскоре отстроили, нахичеванскую деревню тем более, а сгонять народ снова в болота, чтоб из топей восстал Петербург, стоивший миру стольких слез, не жестокость ли?

На недряблой еще щеке Колдуна крупная, неровной формы родинка, будто муха села и не отгонишь, и лицо усеяно мелкими черными крапинками, опаленное словно порохом, а глаза удивленные, наивные, увеличенные слегка, как за толстыми стеклами очков, хотя Колдуну они не нужны: дальнзоркий, когда надо даль разглядеть, и близорукий, когда нужно увидеть вблизи.

Колдун лысеет с макушки, — единственное, с чем ему не сладить; но волосы, к счастью, еще густо растут у висков, загибаясь за уши, обычные, как у всех, завиваясь у затыл-

ка над твердым накрахмаленным воротником батистовой рубашки, всегда чистой, поверх которой надета, чтоб тело сохраняло тепло, тужурка из леопардовой шкуры, увы, уже немножко трачена молью.

— Но это же чистое совпадение! — подвергает Фатали сомнению искусство Колдуна (и море ему по колено, и Аракс, разрезавший Азербайджан, по щиколотку, — а попробуй воссоедини!).

— Шкура?

— Не шкура, а Париж!

— Ай-ай-ай! — качает головой Колдун, аж шейный позвонок хрустит. Шкура леопарда движется, пятна на ней как живые глаза. — Я волшебник, а не шарлатан, чтобы одурачивать невежественную ханум, выстроив из кубиков Париж и затем раскидав их ударом палки! «Поздравляю, ханум, можете радоваться, Париж разрушен! И жених вашей дочери ни в какой Париж уже не поедет, можете играть свадьбу!»

Внезапно раздается сильный стук, из-за дверей кричит гость — француз мусье Жордан. Он смутил воображение жениха (а некогда, в далеком-далеком детстве, и самого Фатали), и тот возгорелся мечтой увидеть Париж.

«Ханум, откройте!! — кричит французский ботаник, собиравший в Карабахе диковинные цветы, красивые и наивные. — Я немедленно покидаю вас! Париж разрушен! Тюильри разорен! Да, да, Франция погибла! Это колдовство! Дело рук чертей, дьяволов, джиннов!»

(«Джиннов»! А что он знает о них, твой Жордан? — скажет потом Колдун Фатали. — Я бы объяснил ему поученому, если б твой ботаник не спешил»).

«Дайте мне лошадей! — кричит мусье Жордан. — C'est affreux! Paris!!¹ В Лондон отправляется курьер с важными бумагами, он ждет меня на берегу Аракса! Я должен немедленно прибыть к моему королю!»

(Колдун стоит не шелохнувшись за занавеской, синие незабудки в нише, а в мешке — кубики, «дома» Парижа.)

Кто-то кулаком стучит в дверь. Это уже по-настоящему стук! Фатали вздрогнул, оторвавшись от листа, испещренного арабской вязью его фантазии. Тревожно. Шпиономания. Хватают каждого, кто попадется: лазутчик султана? гонец Шамиля? агент шаха? И слухи: то скорая победа, то позорное поражение.

¹ Это ужасно! Париж! (франц.)

Высокое пламя свечи дрогнуло и закачалось, пригибаемое дуновением.

— Кто?

— К тебе.— Жена отошла, кого-то пропуская. У дверей, не разглядеть, темная фигура, шуршит плащ, слился со стеной. Из тьмы быстро шагнул, черные широкие крылья, личный курьер наместника Воронцова по особым поручениям.

— Велено срочно.— И протянул малиновый пакет.

Пламя гнется, свеча задыхается.

— Закрой дверь, Тубу!

— Высочайшее обращение. Утром чтоб.

Глаза холодные, быстрый взгляд на бумаги, незнакомые арабские письмена, будто меж камышей след ящерицы, о да, он знает эти закорючки, летняя вылазка в логово горцев, шум горной реки заглушает все звуки, и камни сверху беззвучно летят, не слышно и пуль, вдруг проступает кровь на рубашке, многие полегли, а меж камышей — ящерица, нос к носу, чудом тогда спаслись.

Курьер ушел, стук сапог минуто-другую тыкался в стены, дверь плотно закрыта, а не уймется дрожь пламени. Чуть запахло воском (фитилек пригнулся дуновением).

«Ну вот, надо перевести! А ты еще догадки строил: как бы от сотрясения, разрушившего Париж!..»

Острый осколок ломкого сургуча, как застывшая кровь, прилип к пальцам; Фатали разорвал пакет. Предписание с размашистой подписью наместника Воронцова, весьма-весьма срочно. Быстро пробежал глазами текст. Обращение императора к народу. Манифест. Призыв хранить спокойствие. Стереть из памяти парижское буйство. Запрет. Угрозы. Прежде встал бы, заслышав имя Его Величества, от первых фраз перехватило б дух.

А была ли рабская покорность? Нет, Фатали, сколько он себя помнит, не был слепцом. Случались минуты страха, когда и себе не признаешься, что разуверился в царском правлении, с которым связывалось столько надежд в пору юности: наконец-то в край пришел долгожданный покой! И отчаяние: что делать? Это унижительное рабство, от которого нет, кажется, спасения: было при шахе, осталось при царе. А потом будто луч надежды — и как он осмелился тогда?!

Это было три года назад, в тихий весенний вечер, первый теплый, сидели на открытой веранде после сытного угоще-

ния Тубу (ее излюбленное — плов с индейкой), пили чай — он и его друг-ровесник Хасай Уцмиев, Князь Хасай, как выводил он арабской вязью, или Хасай-хан, как величал себя, где он нынче? Поездил по миру Хасай, успел пожить и в Петербурге, — а как же? сын влиятельного дагестанского правителя Мусы-хана, объединившего владения семи кумыкских княжеских фамилий, и отец отдал сына в знак верности престолу в аманаты царю, и Хасай окончил пажеский кадетский корпус, а потом Париж, Сен-Сирская военная школа, где некогда, как гордился Хасай, учился Наполеон.

Еще недавно оба были холосты и часто виделись, почти каждый вечер с тех пор, как их познакомили в канцелярии, а сейчас встречи редки: Фатали уже женат, увы, две могилки, а недавно родился сын, но и ему отпущена недолгая жизнь, и до года не дотянет; и у Хасая намечается сватовство, о чем еще не ведает Фатали, и тот не расположен говорить прежде времени: прочат в жены дочь последнего карабахского хана красавицу Натеван, Ханкызы, — ханство ликвидировано давно, четверть века назад, когда еще и Натеван на свете не было, и дни ее отца сочтены.

Черное тифлисское небо усеяно крупными звездами, они кажутся такими близкими: протяни руку — и достанешь звезду. Ни страха, ни боязни. Но тревога и беспокойство витают в воздухе. Шамиль? Вот-вот, кажется, заглохнет, задохнется борьба, уже скоро победа, но вновь разгорается война с новой силой.

И Фатали заговорил, ибо наслышан от Хасая о парижских вольностях, о масонской ложе. Хасай, спокойно внимавший «силлогизмам», как он шутил, Фатали, который выстроил в ряд, словно бусы на длинную нить, цепочку фраз, вроде: «Народ — это масса, масса — это толпа, а толпа — это чернь» и что-то вроде того, чтобы хоть как-то попытаться отделить народ от черни (но как?!), вдруг вспыхнул:

— Да в своем ли ты уме?! Безумец! Создать масонскую ложу! Собираются друзья-единомышленники, царский чиновник Мирза Фатали и верный престолу царский офицер Хасай-хан, обсуждать проблемы просвещения народа! Как ты сказал? Да: «отделить народ от черни!». «Эй! — кличут они на Эриванской площади или Шайтан-базаре. — Где ты, мой народ, отзовись!» И хлынула толпа, не разберешь, где чернь, а где народ. Хорошо, если станут им вторить, этим крикунам, старшие их товарищи, аксакалы, уже дослужив-

шиеся до чина полковника (о чем мечтают втайне Мирза Фатали, он еще подпоручик, и Хасай-хан, он уже поручик) и состоящие при Отдельном Кавказском корпусе, по кавалерии все: Аббас-Кули-ага Бакиханов, числящийся отчего-то Бакинским, и не поймешь, какая тут хитрость, хотя грех мне иронизировать, ибо благодарен я ему, что познакомил нас с тобой: «Вы ровесники, держитесь друг за друга крепко!» (Бакиханов собрал их позавчера, наконец-то получил разрешение на паломничество в Мекку; но радости нет: предчувствие скорой смерти? усталость? «Будьте осторожны!» — предупредил он их, но чего им опасаться? Ему самому бы поостеречься, ибо дорога долгая и опасная).

Что-то еще с жаром и воодушевлением говорил в длинном своем монологе Хасай, упоминая «новых членов» несуществующей масонской ложи, да еще предложив пригласить в нее желающих, дав объявление в только что учрежденную наместником Воронцовым газету «Кавказ».

— Да, и Аббас-Кули-ага в масонской нашей ложе, и брат его Джафар-Кули-ага, но этот — Бакиханов, и еще Исмаил Насурлович Куткашинский, благо он скоро выйдет в отставку, или вышел уже? Ну да, те застряли в полковниках, а этот получил недавно генерал-майора, две большие красивые звезды, чего ради лямку тянуть?!

А Фатали молча слушал Хасая и, пока тот распалялся (после ужина с кахетинским из чавчавадзевских вишних погребов, но пил лишь Хасай), листал привезенную ему книгу Исмаил-бека Куткашинского, да, да, именно о нем, «Исмаиле Насурловиче», как называли его в канцелярии, только что ехидно говорил Хасай: вышел в отставку, собирается, как и Бакиханов, в паломничество — посетить Мекку, а эта его книга — первая светская азербайджанская повесть о двух влюбленных, «Рашид-бек и Сеадет-ханум», очень нравятся имена Фатали, очередной дочери непременно даст имя Сеадет (увы, умрет), а сыну — Рашид, но прежде — имена отцов: своего и жены (оба сына умрут, а Рашид выживет).

Но кто сумеет прочесть эту книгу? И даже приобрести: написана по-французски, издана в Варшаве, где в те не очень далекие годы отменно служил в кавалерии Куткашинский, — ах, как славно сверкали шашки конно-мусульманского полка!.. бунт, мятеж, первое массовое возмущение варшавское!.. Сколько намешано, и как это соседствует: царский офицер — и Мекка; язык французский и —

Варшава; изъяснение в любви тюрка и тюрчанки — чужими словами? А книжка, как пересказал ее содержание в совершенстве владеющий французским Хасай, — безделушка.

В ту же ночь, после того как они простились с Хасаем, чтобы встретиться завтра, Фатали записал по-русски на обложке книги, думая вручить ее другу, да тот неожиданно покинул Тифлис: «Душа моя из тех пламенных душ, которые никогда не в состоянии скрыть ни радости, ни печали, а потому я не могу не сообщить вам сегодня мою радость — уничтожилось для меня всякое сомнение в несбыточности начатого нами предприятия и желание наше близко к исполнению, о чем с сего же числа даю вам верное обещание. Объяснение оставляю до другого удобного случая. 18 марта 1846. *Мирза Фатали*».

Тогда патетически прозвучали прощальные слова Хасая Уцмиева: «Кто одолеет царя? Француз? Англичанин? Германец? Или кичливый султан? Трусливый перс?»

«Мы, мы одолеем!»

Не иначе, как теплые мартовские лучи новогоднего, по лунному календарю, весеннего праздника Новруз-байрам, когда радуют взгляд сочные и острые светло-зеленые побеги пшеничных зерен, насыпанных на блюдечко, водили рукой Фатали.

Или — это был тот же теплый март, но в детстве, — его не покинула вера в свои силы? Отец предупредил его, чтоб он не разбил нечаянно огромный глиняный кувшин, в нем пресную воду хранили. «Ну да, разобьешь: сам с полкувшина!» И камень был с палец, и не очень Фатали размахивался, а кувшин, такая громадина, вдруг раскололся и грохнул.

— Мы, мы одолеем царя! — бросил Фатали, и Хасай, восприняв это как шутку, умолк.

Оба молчали, друзья-ровесники: пришли в этот мир в один год и уйдут почти вместе, так и не узнав о кончине друг друга, но еще им жить и жить.

Да, одолеешь царя — одних секретных комиссий и комитетов сколько! Ждут не дождутся тебя и Третье отделение Собственной Е. В. Канцелярии, политическая тайная полиция с корпусом жандармов во главе (умер наконец-то шеф, Бенкендорф, а что изменилось?), и шестое — по кавказским делам; и бутурлинский цензурный комитет, недавно всю ночь напролет инструкции переводили: послушание, молча-

ние, дисциплина, и даже девиз «Православие, Самодержавие, Народность» объявлен «революционным» (?), и уничтожение умственной связи с Европой — только через иностранную цензуру; сколько их, цензур: общая, военная, духовная, иностранная, министерства двора (и даже по заглавным строчкам: не запятан ли акrostих? какой лист избегнет красных чернил?!).

Фатали бросили на подмогу к цензору Кайтмазову. Он моложе Фатали, но преуспел: к языкам восточным еще и немецкий, и даже армянский; то ли горец, то ли с низины, не поймешь. Фатали слышал, как тот однажды личному адъютанту наместника Воронцова: «Мы, мусульмане...» И как-то цепочку на шее видел, мелкие-мелкие звенья, стояла жара, воротник на одну пуговицу расстегнут, — крест?! Фатали подмывало спросить: «Какому богу поклоняешься, друг Кайтмазов?» — да не решался, боясь обидеть.

А на рассвете Кайтмазов, откинувшись в кресле, зевнул и, глядя усталыми глазами на Фатали, вдруг сказал: «Тебе что? Ты в непосредственном подчинении наместника, чуть ли не личный его переводчик». Фатали промолчал, а потом, когда умылись во дворе холодной колодезной водой и сели за еду, заранее принесенную сюда (некогда возвращаться домой, скоро начнется служба), — Фатали протянул Кайтмазову чурек, испеченный Тубу, и овечий сыр, купленный на Шайтан-базаре (иногда на грузинский манер называют Майданом), тот и разговорился: «Да, тебе что? А я меж двух огней, у меня, как ты можешь догадаться, два начальства — по внутренним делам и по внешним, чтоб чужестранцам ни одного козыря, каждое слово взвесить надо, прежде чем пропустить!» Да, то Ладожский потребует Кайтмазова к себе, то Никитич; почти в одно время прибыли все сюда.

А тут Фатали вздумал дерзнуть — о французском восстании! Разрушен Париж! Запретить самое упоминание! Выжечь из памяти! «Мы, — наказывает император, — не Европа, и она нам не указ!» Вулканический кратер, из которого и теперь льется разрушительная лава! Крики?! Да, да, эти бедственные крики: Свобода!.. (И равенство! И братство!..) А ведь Кайтмазов по дружбе предупредил Фатали: зачем тратить время на сочинительство? Ведь положили ничего не пропускать.

Из-за тюков, раздвинув ситцевый, синие незабудки, занавес, вышел, как только исчез курьер наместника, Колдун, усмехается, глядя на Фатали:

— Ну да, я понимаю, твой чин, твой мундир, твои орден-на. А достоинство ценится, как говорил один мудрый человек, по числу орденов и крепостных! Крепостных у тебя нет, только слуга, повар да конюх, и ордена...

— Один только!

— Это и я уважаю, как без чинов и мундира?! Орден, правда, чужестранный, но зато как звучит: «Льва и Солнца»! И в ломбарде принимают, некоторые уже сдавали, степень, конечно, могла быть повыше, ах, как ты переводил с фарси на русский и с русского на фарси! Но третья тоже ничего! Указ о награждении подписал сам Мухаммед-шах! Я видел, как ты радовался!.. Кстати, а что ты получил от тех, кому ревностно служишь? Ах, ничего! Но еще все впереди!

— Знать бы, какие!

?!

— Мне ж не для себя.

!!

— Пусть видит жена, что меня ценят. Утешение ей в ее горе (три могилки уже, траур не покидает дом). И соседи, и земляки.

— Народ еще вспомни!

— А что?! Неужто там, наверху, не понимают?

— Тебе, конечно, по заслугам можно было бы дать...—
Умолк: а ну проверим тебя на ордена?

— ...? (Святого Андрея!!)

— Куда хватил!

— ...? (Святой Екатерины??)

— Еще спустись!

— ...?! (Владимира?!)

— Еще! — Фатали задумался. — Можешь перескочить через три ступеньки! (Александр Невский, Белый Орел, Анна.)

Фатали от изумления отпрянул:

— Станислава?!

— Святого! И учти: для мусульман установленного! И вбей себе в голову: есть старшинство орденов, и перескочить никак нельзя, по степеням тоже! Но не расстраивайся. Золото это очень низкой пробы, и не золото вовсе, одна позолота, и в черный день не продашь, даже мои дивы и шайтаны, я им, как ты знаешь, жалованье плачу, и те не отзовутся на блеск орденов. Есть утешение одно: за высокие

ордена в орденский фонд платить надо, у тебя и денег таких нет, полтыщи, три сотни и так далее!

(Уйдя, оставит Фатали список орденов по старшинству, да листок этот выдует ветром в окно, Фатали успел лишь прочесть, что лица нехристианского исповедания, то есть он, получают (?!) орденские знаки, в которых изображение святых заменено государственным гербом.)

— А что тебе дал новый шах, к кому вы недавно ездили?

— Не Насреддин-шаху я служу, а императору!

— Ну да, знаю, многие годы уже в мире и царь и шах, ездили вручать поздравление от имени императора, с кабинетным письмом и щедрыми дарами. Да, тридцать лет воевали; как век начался, угомонились! Не вспомню, как твоего царского генерала звали, с кем ездил. Шиллинг, что ли? И полководцы перевелись, то ли прежде было на Кавказе! Какие главнокомандующие! Один Цицианов чего стоит! А гроза Кавказа Ермолов! А генерал-фельдмаршал князь Варшавский граф Паскевич-Эриванский — любимец царей! Мстительный человек, правда, да любил льстивых, но зато какие заслуги пред престолом и отечеством! С ними, увы, тебе работать не довелось! — И морщится.

— А барон Розен?

— Это какой же? Главноуправляющий на Кавказе?

— И главнокомандующий!

— Ааа, вспомнил — похвалил за твою восточную поэму!

— А Головин? Мы с тобой бродили недавно по проспекту его имени!

?

— А наместник Воронцов? Это ж целая эпоха на Кавказе!

— Да, пристраслил тебя к сочинительству комедий. Но не отчаивайся, еще доведется тебе знаться с великими.— И умолк, вспомнив о Муравьеве-Карсском и Барятинском.— Еще свершишь ты новые ратные подвиги!

— Опять война?

— Еще какая!

Спешно отзовет из Варшавы император Николай по рекомендации Паскевича, ибо тревожные вести с Кавказа, своего тезку Муравьева, старейшего генерала, правда, с пятном, испачкан декабристами, даст ему новое звание генерал-адъютанта, чтоб поощрить на подвиги во славу пре-

стола, испытанный кавказский воин и полководец, знаток восточных языков и нравов, и тот штурмом возьмет Карс. Николай его главнокомандующим и наместником на Кавказ отправляет, а Муравьев, выполняя волю государя, презирает его: ничтожество правящих, безрассудное царствование человека надменного и мстительного, достигшего и здесь и за границею высшей степени неуважения, опирающегося на рабскую преданность народа и силу штыков! И, презирая (но то ведь запрягано!), восславит, ибо верный солдат престола и отечества.

А потом Бярытинский, который пленит-таки Шамиля, и императорская особа, сын Николая — Михаил, недавно совершеннолетие торжественно отпраздновали, пройдет еще десяток с лишним, и старший его брат Александр, став императором, подарит ему весь Кавказ с его алмазными вершинами.

— А этот, как его? Шиллинг! — И смотрит кисло.

— Но я не только вручал поздравление!

— Ну да, и живописная дорога, и встречи в пути, а какие истинно шахские приемы!

— Могилу отца навестил! И увидел сестер, шутка ли — столько лет не виделись!

— А как увидишь — разрезан край кинжалом, и быстрый Аракс с мутными водоворотами — граница!

— Но прежде отец успел воссоединить, была, как помнишь, короткая передышка, две свои семьи: северную российскую и южную иранскую!

— Вот и расскажи, как потом наступило то памятное утро и сестра разбудила тебя: «Вставай, Фатали!» И ты с мамой навсегда покинул персидский юг и перебрался на российский север, где власть царя, а обе земли, и юг и север, родные. Да, чистейшая случайность, Фатум. А как повернулась твоя судьба!

— И ты думаешь, надо начинать с того далекого утра?

— А может, вернуться к началу века?

— Но меня еще не было.

— А я? — увлекся Колдун заманчивой идеей, напился всяких возбуждающих замыслов или страстей, как разрушил Париж, дескать, страсть к разрушению есть, и созидаящая страсть, — переворошить прошлое, чтоб понять настоящее и будущее Фатали. — Да, тебя еще не было, но дух твой витал, и ты непременно должен был появиться, ибо предначертано судьбой (коль скоро случилось).

И царские войска под командованием генерала Цицианова, обрусевшего грузина Цицишвили, а он, как доложили персидскому шаху лазутчики, не бывал прежде в Грузии (?). «Может быть, поэтому? Ну и хитер царь!» — подумал шах, так и не поняв, в чем хитрость; послать-то царь и послал генерала, а за ним — еще хвост, князь-соглядатай из Петербурга, о чем шах мог бы и догадаться, — в империи и там, и здесь друг другу не очень верят, так заведено давно, — в стремительном броске штурмом захватил древнюю Гянджу, тут же переименованную, дабы в перспективе переварить в энном поколении, в Елизаветполь (спор лишь о том, как точно писать: через «Зе» или «эС»), в честь императрицы Елизаветы Алексеевны, она же Луиза-Мария-Августа, дочь маркграфа баден-дурлахского, постоянно вдыхавшая немецкую твердость в царя Александра, когда душевные силы — о, усталая душа русского падишаха — начинали ему изменять, особенно после оставления, но это еще не скоро, французам Москвы.

Штурм штурмом, но месяц осады. Гянджу разрушали персы, арабы, хазары, грузины, турки, знал он зависимость от тимурской орды, султанов и шахов, а ныне — царское владычество.

Цицианов грозил гянджинскому хану:

«Я предам тебя смерти, сдавайся!»

«Ты найдешь меня мертвым на крепостной стене! — отвечал Джавад-хан и хвастливо добавлял: — Твои пушки длиною в аршин, а мои — в четыре аршина!»

И, будто годовалый малец зрелому мужу, гянджинский правитель Джавад-хан тщетно противился — не предатель ведь! — царскому войску, гренадерам и спешенным драгунам. Хан сел на пушку и с саблей в руках бился с врагом и на весь короткий остаток жизни запомнил приторно-сладкий запах окровавленной руки, о которую он уткнулся носом, да горы увидел вдаль, засыпанные свежим-свежим январским снегом.

И главное знамя не помогло (оно свалено у камина, в углу низкого дома на площади перед мечетью, где обосновался Цицианов, главное знамя и восемь маленьких знамен, а на одном — лев, и Цицианова привлекла изображенная на древке штандарта рука Магомета, будто протянутая для рукопожатия). И соседние ханы на помощь не пришли.

Да-с, отара овец и пастух (а в помощники — гордый ко-

зел с кручеными рогами и седой бородой), верблюжий караван и погонщик, дикие кони и табунщик, и не будь шайтана, овца с волком паслись бы,— ай как хвалились хилые ханы, когда им доводилось собираться, тем более что связаны друг с другом и семейными узами,—зятя, шурины, свояки, тести и свекры, и клятвы витали над папахами азербайджанских вождей, чьи звучные титулы создавали иллюзию власти: клятвы и клятвы! Но каждый ждал вероломства от другого: может предать, выслуживаясь то ли перед турецким султаном, который еще силен, но силой уже дряхлеющего мужа, то ли перед персидским шахом, который из года в год неотвратимо слабеет, то ли перед царем— он точно холодное дыхание гор. Да, предать или подослать наемного убийцу. Или, пригласив, подлить в душистый чай или по-турецки заваренный кофе молниеносно действующий яд,— неуютно ни в гостях, ни дома.

Ханы как разойдутся — жди или набега или угона скота. Границы зыбки, и никого не удержишь, бегут, собираясь в разбойничьи шайки («Без моего ведома, клянусь честью!»),— ханства трещат, как рубашка на теле поверженного в кавказской силовой борьбе.

С Севера прет, с суши и моря, царь, давно это началось, и цела еще бедная сакля, где расположился на отдых император Петр Великий, после того как ему вручили ключи Дербента на серебряном блюде, покрытом персидскою парчою, и правитель Дербента произнес: «Нет ничего приличнее и справедливее передать город, основанный великим монархом Александром Македонским, во власть другому монарху, не менее его великому», и народ, как расписали в угоду императору летописцы, вынес священное знамя Алиа и поверг его к стопам Петра. А потом император в нетерпеливом ожидании флотилии, плывшей из Астрахани, собственными руками прорубил в сакле окно — его раздражала глухая стена! — чтобы видеть перед собою море: на севере окно в Европу, здесь — окно на юг. И когда возвратится император в Москву через Триумфальные ворота, которые сохранялись долго и куда девались впоследствии, сведений не имеется, он велит на воротах изобразить Дербент, а под ним лаконичная надпись: «Основан Героем — покорен Великим».

А с Юга выставил ханов щитом шах, и, пока удары достигнут его, рухнет прежде хан.

С Запада — опять-таки царь, особенно близкий,— это ханы после клятв,— к их пределам с тех пор, как грузины

поспешили верить ему свою судьбу; ученые, знают ханы, что все знаки царской инвеституры династии Багратидов, — а ведь тыщи лет царствовали! — трон, государственное знамя, меч, корона, скипетр и держава отправлены на север; и не прошло месяца после принятия присяги, принесенной народом Павлу, им-то все же легче — один бог, единая вера, как император скончался, взял да умер собственной смертью (и это ханам ведомо, в шахских пределах известно, когда брат — брата, сын — отца), и его сын издал имперский манифест, и шаху доставили, тут же перевели на фарси, и ханы читали:

«Не для корысти, не для приращения сил или распространения пределов, и без того обширнейшей империи в свете, а единственно из человеколюбия, — шах аж вскочил с трона, — которое налагает на него священный долг внять молению страждущих»; а мы? по языку турок нам брат, но он коварный суннит! а по вере мы заодно с персом — шииты!

Лишь на Востоке — море, но и оно стало неудобным с тех пор, как... но нет, еще держится Баку!

На тахте у камина сидел Цицианов и думал о Баку, вспомнив прежде завет Петра Великого: «Понеже она составляет всему нашему делу ключ». А потом Цицианов сочинил письмо другу, отчего эти мрачные предчувствия? «Помолись, чтобы я выехал отсюда цел или жив. Я выведу тебе славную лошадь — ханским именем назовет эту лошадь Цицианов, — росту большого, езды прекрасной»; но что это?! снова лай собаки! на крыше дома! каждую ночь лает, — а разве не пристрелили вчера? Он велел, чтоб пристрелили!! «Адъютант!» Точно, пристрелили. Уж не воскресла ли? Эти зловещие завывания! Раздражал и штандарт с рукой Магомета на древке, — убрать знамена! Вспомнил про лошадь, имя ей Зиад-хан, имя отца гянджинского Джавад-хана, который грозил ему, — скоро и бесшумно похоронили.

А тем временем персидский шах — кто же был на престоле? ах да, как можно забыть?! Тезка Фатали! — объявил войну России, как всегда, невпопад, так издавна водится у них, опьяненных былым величием, — лишь показная мишура, помпезность ритуалов, славословия тщеславных рифмоплетов да пустые воспоминания о мумиях-вождях, чьи аляповато расписанные художниками масляные портреты висят в приемной шаха.

Как не пойти войной, когда получено обещание от фран-

ков, и к шаху прибыли личный переводчик Наполеона и секретарь (пустой звук: ни ружья, ни патрона!). И могучий инглис — наследный принц Аббас-Мирза вызвал из Лондона оружейных мастеров, шорников и иных рабочих, и офицеры муштруют войска. И знамена ласкают взор, особенно большое красное с изображением на нем золотого льва, держащего в правой лапе обнаженный меч, — эмблема силы и могущества Персии. И белые знамена с покоящимся львом — эмблема просвещения Персии; Аббас-Мирза чувствует в себе неустойчивые силы, и он вернет стране ее бывшее величие, когда — не век же царствовать отцу, Фатали-шаху? — престол достанется ему.

И как удачно складывались поначалу дела: первые столкновения произошли у Эривани, и они были обнадеживающие — Цицианов отступил! Помогло чудо, ниспосланное всевышним, — лихорадка в стане гяуров, а также побег грузинского принца Александра в стан персов.

Последней каплей в переполненной чаше персидского терпения стала измена шахскому престолу дочерней Грузии. Казалось, — может ли быть хуже оскорбление! — некто ворвался в тронный зал, не отряхнув пыль с сапог, а к шаху допускаются лишь спустя трижды двадцать четыре часа после приезда, кто бы ни был этот гонец; ворвался без четырехкратных приветствий, но это еще не все, — ступил на священный, с красной каймой, отливающий шелком легкий и прочный ковер (а он покрыл весь деревянный пол, ибо в щелях скорпион запрягаться может), не то что в красных чулках, как того требует этикет, а еще и не сняв обувь, комья грязи на ней!

Накричал от обиды на первого своего евнуха, из грузин, тонкий ценитель изящного, носит ханский титул, — Манучерхана (но он-то при чем?!). Чтоб дочерняя Грузия, чьи цари некогда безропотно повиновались, и носили наместнические титулы, и мусульманство принимали с согласия их высшего духовенства — католикоса и епископов, меняли даже имена свои, и Георгии становились Кейхосровами, а Константины — «Рабами Мухаммеда», Мамед-Кули, изменила?! Какие дивные были времена, когда Надир-шах посадил на престолы в Картли и Кахети отца и сына — Теймураза и Ираклия! Понадеялись на северного соседа?.. Как некогда на французского короля Людовика XIV и римского папу, которые лишь призывали к долготерпению да присылали буллу, исполненную благословений?

Уже было однажды: вынудить царя, кто знает, а вдруг

удастся? ведь было же при... ком же? женщина на престоле!! Анна Иоановна? оставлены были персам исконно персидские (??) земли, захваченные некогда могущественным Петром Великим.

«Да, быстро забыли вожди дочерней Грузии,— негодует шах,— как родоначальник их Каджарской династии Ага-Мухаммед-шах разрушил до основания Тифлис!» А ведь прежде шах предупредил Ираклия, когда в Персию дошли вести о заключенном в городе Георгиевске трактате и Грузия приняла покровительство России,— при племяннике своем, кому наследует престол, и написано было послание Ага-Мухаммед-шаха Ираклию. И лесть, и призывы крепить дружбу, и угрозы, и оскорбления,— чего только не было в этом фирмане шаха! «Ваше Величество есть также Иранец, равно деда и прадеда Твои происходили до ста колен из роду Иранцев же. Я удивляюсь тому, что ты заодно с Россиянами, и Ты с ими соединяешься и, в девяностолетний твой возраст, лик свой от нас отворачиваешь. Хотя Ваше Величество с нами не единоконец, но по происхождению Вашему с Иранцами — единоконец. И, отправляя к Тебе сие высочайшее повеление, уведомляем, что как Ваше Величество есть человек благоразумный и сведущий, то и должно Вам сии дела оставить и по Нашему с Вами единоконечеству не иметь с Россиянами соединения. А ежели Вы пребудете в оном упорны, то в скором времени будете находиться под шатрами государства нашего, и, при помощи Божией, сделаем из крови Российских и Грузинских народов реку текущую».

Не внял. И был наказан.

Будущий Фатали-шах сопровождал своего дядю в его Кавказском походе. «Храброе персидское войско,— хвалился Ага-Мухаммед-шах Каджар,— показало неверным грузинам образец того, чего они должны ожидать для себя в день судный».

А тут новые измены: Карабахское ханство! Эти хвастуны! Им кажется, что их спасут неприступные стены Шушинской крепости! Когда в славный поход на Кавказ шах осадил Шушу, он велел племяннику послать в стан стрелу с прикрепленным к ней лоскутком бумаги, на которой были стихи, обыгрывающие название города: Шуша — Стекло! «Из небесной каменометной машины бросаются победоносные камни, а ты по глупости защищаешься от них в стеклянной крепости». И был получен ответ, шах изорвал бумагу в клочья — стихи, сочиненные везиром Карабахского

хана Вагифом: «Если Тот, в кого я верую, мой хранитель, то Он сохранит и стекло под мышцею камня». И все же город пал (а там счастливый случай, открывший для Фатали путь к шахской короне,— убийство Ага-Мухаммед-шаха Каджара!!). На что он надеется, хан Карабаха Ибрагим-Халил, чья дочь одна из жен шаха?! И он посмел отправить посла к командующему Цицианову с просьбой встретиться и завершить составление условий о подданстве; а на шахское послание, каллиграфическим почерком личного писаря шаха составленное и полное скрытых угроз, но больше, как всегда, щедрых и сладкоречивых обещаний, даже взгляда не бросил!

О встрече рассказал лазутчик — она состоялась недалеко от Гянджи, на берегу Кюрекчая. Лично, с сыновьями явился выживший из ума хан Карабахский преклонить колени перед Цициановым-Цицишвили! Да еще провел по пути предательства зятя своего, правителя Шеки Селим-хана, прибывшего в лагерь командующего в сопровождении шекинской знати. И о том, как сияли очи хана Карабахского, рассказали шаху, когда царским фирманом хану присвоили чин генерал-лейтенанта, старшему его сыну-наследнику — чин генерал-майора, а младшему — полковника (и их делами доведется заниматься Фатали, сколько крови попортят ему эти бывшие ханы!!); сыну (не наследнику хана) — тоже генерал-майора.

Путаны-перепутаны родственными узами ханские семьи: дочь хана Карабахского замужем за Фатали-шахом, жен у него тьма-тьмушая; сестра хана Карабахского замужем за шекинским ханом, одна дочь шекинского Селим-хана замужем за ширванским Мустафа-ханом, а другая за карабахским Ибрагим-Халил-ханом.

Чин чином, а хан Карабахский обязался вносить в царскую казну ежегодную дань в десять тыщ червонцев, а в помощь царю — полтыщи солдат, охранять от персидских войск.

Но шах отомстил Цицианову, когда тот, захватив Шемаху (Мустафа-хан ширванский изъявил наружную покорность), двинулся, преодолев труднейшие шемахинские горы, в Баку (а морем из Дербента — суда).

Правитель Баку Гусейнкулу-хан, раскинув шатры недалеко от крепостных стен, послал к Цицианову гонца с письмом: «У меня имеются некоторые тайные мысли, и я должен их поведать вам с глазу на глаз, поэтому прошу пожаловать в мой шатер». А устно было обещано торжественно

вручить генералу ключи от главных крепостных ворот Баку.

Быстрые победы вскружили голову Цицианову, да и знал он Гусейнкулу-хана, робкий малый, старинный его приятель (?), уже встречались (не на берегах ли реки Кюречай?), и Цицианов лишь с адъютантом-грузином, из княжеского рода Эристовых, и вестовым казаком отправился к воротам бакинской крепости, значительно отделился от войска, а навстречу ему Гусейнкулу-хан выехал в сопровождении тоже небольшой свиты, Цицианов, может, даже усмехнулся в душе, вспомнив о предупреждениях брата бывшего бакинского хана Мирзы Мухаммед-хана (второго) — Абдуррагима (кого сверг Гусейнкулу-хан, поддерживаемый шемахинским Мустафой-ханом); но Цицианов не хотел верить ему, как сопернику бакинского хана; и когда обе стороны сблизились и наступил момент получения ключей, один из пяти сопровождавших хана людей, его двоюродный по матери брат Ибрагим-бек (прадед которого получил некогда Дербентское ханство, за верность России, от Петра Великого, — Имам-Кулу-хан!), бросился быстро вперед и внезапно выстрелил в Цицианова, убив наповал, а двое других убили адъютанта.

Вестовой казак чудом спасся, бежал, пока расправлялись с адъютантом, и не успели в стане русских войск опомниться, как люди Гусейнкулу-хана тотчас обезглавили тело Цицианова и, захватив с собою голову (и руки!!), скрылись в крепости.

«Голова Цицианова, полная отваги и предприимчивости, — диктовал секретарю Гусейнкулу-хан, — и руки его, крепкие мышцами, распространявшие власть, отсечены от трупа и отправляются в Тегеран персидскому шаху».

За сорок дней отец убийцы (он был обманут: шах писал, что победил царя) Мамед-Агвари, он же внук Имам-Кулу-хана (и месть Цицианову за Дербент, отнятый у их рода!), доставил шаху в плотном мешке голову Цицианова и был осыпан милостями — получил золотой пояс да еще пленного воина в подарок.

Обезглавленное тело было зарыто у крепостных ворот, чтоб проходящие попирали прах, а потом, когда спустя полгода крепость пала и Бакинское ханство прекратило существование, хан бежал в Персию, тело откопали, и засмоленный гроб три года оставался в подвале армянской церкви в Баку, пока не перевезли в Тифлис (и еще три

года к прежним трем прошло, пока не предали земле в Сионском соборе).

А что началось после убийства Цицианова!..

Мустафа-хан ширванский возобновил вражду с шекинским Селим-ханом, своим тестем.

Карабахский Ибрагим-хан возмечтал свергнуть власть царя, прося помощи у шаха, — то ли слухи, то ли правда, — персы снова перешли Аракс, и Аббас-Мирза переправился с войском через Худаферинский мост, а другой сын шаха, Абюль-Фет-хан, пришел с отрядом со стороны Капана в Шушу.

А между тем майор Лисаневич, начальник царского войска в Шуше, в полночь 2-го июня 1806 года (1221 год хиджри) выступил против хана Карабахского, который в то время стоял с приверженцами своими и семейством лагерем под крепостью, якобы вышел, чтоб соединиться с персидским отрядом, убил хана с женой — дочерью Селим-хана шекинского, сыном, дочерью и прислугой. *Тебе придется еще заниматься делами Карабахского ханства, Фатали!*

На другой день здесь появился персидский отряд, но, узнав об убийстве хана, повернул обратно, и его преследовал по пятам вплоть до Ордубада оставшийся верным престолу или не ведающий об убийстве деда-хана полковник Джафар-Джеваншир.

Да-с, чего только не вызвала быстро распространившаяся по Кавказу весть об убийстве Цицианова!

Аббас-Мирза пришел в Ширван, и Мустафа-хан ширванский ушел на гору Фит и стал защищаться. И к Аббас-Мирзе явился, празднуя чуть ли не победу, бакинский Гусейн-кулу-хан.

Восстали лезгины, осетины, чеченцы, Дербент. Но вскоре страсти улягутся, успокоенные графом Гудовичем в результате быстрых экспедиций. И пошлют генерала Глазенапа (через Кизляр) для наказания за убийство Цицианова в Дербент, Кубу и Баку.

Пал Дербент. Пало Кубинское ханство, и шейх Али-хан бежал в горы. Царские войска подавили восстание в Шекинском ханстве (Селим-хан поднял мятеж — в отместку за убийство дочери, жены хана Карабахского, и самого хана, и еще, и еще, — перерезал их, ибо сплетня была, майор Лисаневич; поднял Селим-хан мятеж, но был разбит и бежал в Персию), захватили Шеки, *где вскоре родишься ты, Фатали!* А тут и всплыли вести об отце Фатали (но кто о том знает, кроме Колдуна?).

Но прежде успеет граф Гудович на Арпачае разбить турецкого полководца Юсуф-пашу, вытеснившего некогда Наполеона из Египта, а сменивший Гудовича генерал-аншеф Тормасов усмирил Имеретию и Абхазию (а на его место, и то на короткий период, властелином Кавказа — маркиз Паулуччи!).

Да, всплыли вести об отце Фатали, который мечтает о второй жене на той стороне Аракса, — первая подарила ему двух девочек, и гнетет мысль о сыне. А тут еще злополучная история с иранскими солдатами в деревне (шахской!) Хамнэ, где будущий отец Фатали — Мамед-Таги — староста: он смел упрекнуть трех солдат в том, что они — а ведь в иранском войске, это по уставу, солдаты питаются кто как может! — зарезали чьего-то барана и устроили шашлычный праздник! Солдаты пожаловались наследному принцу Аббас-Мирзе, а у него чудесное настроение, и он готовится в поход: только что в мешке видел голову Цицианова, отправленную по назначению отцу-шаху.

Староста отделался тем, что его предупредили, а он не внял угрозе и снова за свое: на сей раз обвинил солдат в краже двух буйволов, приказал остричь воров наголо и наказать палочными ударами по пяткам. И вести о подавлении Шекинского восстания: многие тогда восстали, и джарские лезгины тоже, — кто погиб, кто бежал, а кто, изъявив покорность, сдался, и пленные, эту весть принесли лазутчики, вошли в город Тифлис с повешенными на шее саблями — символ унижения!! И снова красовался герб Тифлиса: две руки, держащие крест святой Нины, попирающей полумесяц, а в углах креста — львиные головы, что в переводе с геральдического языка означает: Тифлис, мужественный как лев, победоносный как крест Христов, поправ мусульман. Аббас-Мирза перевернет их герб, чтоб вознесся полумесяц, он повторит подвиг родоначальника их каджарского рода — захватит и разорит Тифлис, овладеет неприступной крепостью Шуша!..

Тут столько дел и стратегических планов (чему учат его высшее офицерство английские советники), а его смеют отвлекать мелкими неприятностями, этот произвол низших чинов, старост, поднять руку на доблестных его воинов. Аббас-Мирза был вне себя от ярости: «Как?! Мы собираем армию, создаем великое регулярное войско на манер французов и англичан, а какой-то староста из захудалого Хамнэ позорит наших воинов?!»

Мамед-Таги лишился должности, имущество его кон-

фисковали, и он сделался мелким торговцем: нитки-иголки, дешевые безделушки, вырезанные из ореха.

Шеки! Вот куда поехать! Он слышал, рассказывали, что из Шеки, где кончилась власть шаха и началась власть царя, вывозят шелк в грубом виде, выделяют его («кто?»), тростят и окрашивают («жена и дочери?»), а потом продают втридорога.

На другой берег Аракса, он пока шахский, из деревни в деревню, пять почевок у друзей и дальних родственников — и он в Шеки, прибыл сюда, чтоб на вырученные от продажи пряностей деньги купить шелк и начать крупную торговлю. И как он не угодил под пулю казака при пересечении зыбкой линии фронта через Арпачай?! А в Шеки — дом земляка Ахунд-Алескера, они почти ровесники, их отцы ездили на паломничество в Хорасан, из одной медной пиалы воду пили, из одной медной миски ели; и пиалу, всю испещренную изречениями из Корана, и миску — ею уже не пользуются, она как реликвия семейная, очищена, сама из красной меди, а ручки из желтой, — как бесценный дар вез Мамед-Таги в Шеки; на миске имена отцов Ахунд-Алескера и Мамед-Таги: Алигулу (солдат или раб имама Али) и Алигусейн (святой Али и его сын мученик Гусейн в одно имя слились).

Да не знал Мамед-Таги, что пряностями здесь не разбогатеешь и что шелка дешевле у них за Араксом. Нет, чтобы заказать ему в Персии и привезти сюда, в Россию, франкский ситец и чай, дешевые там и дорогие здесь.

«Эх, Мамед-Таги, — сказал ему Ахунд-Алескер, — русские запретили здесь франкские ситцы, никто не решается провозить их, разве что какой-нибудь отчаянный смельчак ухитрится провезти тук-другой. Ты бы рискнул! Пойми, франкские ситцы до того нравятся здешним жителям, что даже на цветные шелковые ткани никто смотреть не хочет, эти ситцы и дешевы, и красивы, и не линяют, женщины без ума от них, а русских ситцев не признают». А потом на ухо: «Даже жена коменданта тайком от мужа покупает франкские ситцы и шьет из них платья! Посуди сам: аршин ситца, купленный в Тавризе за двадцать копеек, продается здесь за тридцать, а чай, купленный у вас по рублю фунт, берут здесь нарасхват за полтора рубля. И знаешь почему? А потому что из страха перед карабахскими есаулами, таможенными караульными и казаками даже птица и та не решается перелететь в российские владения. А ты сумел! Да, я понимаю, что при имени гяура у тебя сердце разрывается от страха (Мамед-Таги таких чувств не испытывал), и я не

стану выставлять себя героем, но не столько пугают меня их шашки и ружья, сколько приводят в трепет следствие да судебная волокита».

А в Шеки как в ловушке: попал если, не скоро вырвешься. И ему сватают — мужчина ведь! полгода как уехал! — племянницу Ахунд-Алескера, Нанэ, почти девочку, но уже ханум. Всем хорошо: и Ахунд-Алескеру, что устроилась судьба сироты, все по закону, а он, член шариатского суда, на его страже, и Мамед-Таги не будет маяться, заключая временные браки, — у него будут две освященные договором жены: одна по ту сторону границы, персидская, на юге, Лалэ-ханум и две девочки, другая — по эту, российская, Нанэ-ханум, и, да, да, время прошло быстро, и уже родился долгожданный сын. Фатали. А какие цветы, эти жены! Лалэ — это Мак, а Нанэ — это душистая полевая мята!..

И два мечтателя, сидящие в Шеки (и надоевшие друг другу), Мамед-Таги и Ахунд-Алескер, думают, как разбогатеть. И скорее б расстаться!

А тут еще вскоре вспыхивает война двух держав: той, что в силе, и сила эта неумолимо растет, прибавляя к империи год от году новые земли; и той, что одряхла и не в состоянии уже удерживать некогда захваченные края меж двух морей — Черным и Каспийским. И, не успев начаться, близится к развязке, еще не окончательной: генерал Котляревский перешел Аракс и разгромил в битве у Асландуза Аббас-Мирзу. Не оправдались надежды наследного принца и на Ленкорань: крепостные стены были преодолены, и город капитулировал. Тавриз, резиденция Аббас-Мирзы, оказался под угрозой.

И царь вынудил шаха подписать — собрались представители держав в сказочно красивом селе Гюлюстане, что в Карабахе, а земля здесь обильно полита кровью, и маки багрово вспыхивают весенней порой, — условия перемирия.

ГЮЛЮСТАНСКИЙ ТРАКТАТ

И к Российской империи отошли навсегда и бесповоротно хилые азербайджанские ханства — Бакинское, Гянджинское, Дербентское, Карабахское (по алфавиту, что ли?..), Кубинское, Талышское, Шекинское, Ширванское, а также Дагестан и Восточная Грузия.

Вернулся в родное Хамнэ и Мамед-Таги, чтоб воссоединить семьи: уехал один, а тут новая жена, нечто подвижное

и быстрое под яркой чадрой, ловкие локти и крепкие ноги, и двухлетний сын.

«Фатали?! Ха-ха, Фатали-шах пожаловал, крепко папаху держи, как бы не слетела!»

Аксакалы деревни сидели на корточках, прислонясь к полуразрушенной стене некогда оживленного караван-сарая. «Неужто отсюда пролегала когда-то хоть какая караванная дорога из Индостана в Арабиستان? Кто-кто? Александр Македонский? Ах, Двурогий Искандесер! Так бы и говорил! Ну да, было такое, и он здесь проезжал! — И чешет, чешет ржавую от хны бороду. — Как же, помнится...»

Подал голос осел. Затяжной, жалостливый, будто всхлипы при рыдании, крик доносился со стороны мутной от недавних весенних дождей Куры. Осел привязан во дворе угольщика и кричит, глядя на голубеющий кусочек неба, а рядом две огромные плетеные корзины, снятые со вспотевшей спины, разинули черные пасти, никак не отдышатся.

А Фатали — с чего бы вдруг? — вспомнил ржанье гнедого коня, обида, негодование, боль, дрожат губы и ноздри, отец схватил его под уздцы и с размаху ударил плетью по шее, и на потной шкуре остался след — темная широкая полоса. Конь вздрагивает, брызжет слюной, а отец ему: «Вот тебе! Вот тебе!» А рядом разинутая пасть домо-тканого коврового хурджина, из которого только что вылез — как же он уместился? — Фатали, а какие узоры на нем, вязь как лабиринт — не в этот ли хурджин спрячет Колдун разрушенные дома Парижа?

И такая же мутная, с кровавым отливом в закатный час река, не Кура, а другая — Аракс. «Я посажу Фатали в хурджин, а в другое гнездо... кого же в другое, а? — оглядывает дочерей от старшей жены. — А в другое тебя!» — и сажает ту, что спасет Фатали, переменив его судьбу. В хурджине тесно, бок коня крепкий, как стена, что-то стучит молотком гулко-гулко, не шевельнуться, больно коленкам и локтям, трутся об узлы ковровой ткани. Едут и едут, он и сестра, в двух гнездах хурджина, и оба слышат большое сердце коня.

«Ах ты тварь!» — и плетью по шее; конь оступился, дрогнула нога, споткнувшись о камень, чуть не свалился на бок, где Фатали. Фатали помнит коня: нечто высокое и недоступное, дрожит ноздря, и в глазах испуг. Помнит осла, в чьих больших глазах всегда горькая-горькая тоска, буд-

то не овсом его кормили, а полынью. И помнит верблюда, гордого и равнодушного; слышит голос караванщика, прерывающего на миг звон колокольчиков, привязанных к шее верблюда.

Чистейшее везенье, фатум: шаги верблюда, убаюкивающе-медленные, переносили Фатали через Аракс из сонной Азии в бурлящую Европу, хотя и здесь, и даже за Кавказским хребтом, не совсем Европа, немало примешано всякого однообразно монотонного, как пески, сонного (блаженство?), дурного и жестокого (а где его нет?!), уже не вмоготу, а ты потерпи, и познаешь самую совершенную и сладостную любовь — подчиненье силе, а когда воспоешь ее, и вовсе почувствуешь себя ее частицей, и голос твой на высокой ноте уноенно звучит, сливаясь с другими голосами, и в каждой трели — окрыляющее: я верноподданный!

Развод?! И Мамед-Таги ударил Нанэ-ханум. А потом затряслись руки... Лишь имя грозное, а сам вроде теста, которое можно мять и мять, потом раскатать на доске, тонко-тонко разрезать и сварить домашнюю лапшу с мелкой в крапинку фасолью. Мак и мята не ужились, и Мамед-Таги привык к нытью младшей жены, будто комар из близкого болота звенит над ухом в тихий вечерний час перед сном. У Нанэ-ханум лихорадка, тело ее покрылось крупными пятнами, а по почам, чем ее ни накросишь, дрожи не унять, трясет и трясет.

— Эй, Фатали,— разбудила чуть свет старшая сестра,— вставай!

Фатали никак не откроет глаза. Сестра тормошила изо всех сил:

— Вставай же! — Чуть не плачет.

А он сядет на миг и, как куль, снова валится на ковер мимо подушки.

— Мама уезжает! Ты ее больше не увидишь!

Вскочил:

— Гдс? — И на улицу. А там мать с заплаканными глазами, стоит верблюд, и меж его горбов крепят хурджин.

Бросился к матери на шею:

— А я? Как же я?!

«Разбудили! Ведь говорила!!» Но и радуется: в последний раз, больше никогда не увидит.

Фатали девять лет, не маленький, но упустил что-то важное — мать уезжает, а он остается. Ни за что! И он раскричался, упал на землю, бьет ее кулаком, раз, еще, еще. «Нет! нет! нет!» — лицо искажено.

Сестрам страшен Фатали, ни разу его таким не видели. Стоят бледные, и жалеет старшая сестра, что разбудила, она слышала, что не хотят, договорились рано-рано и сама не помнит, как решилась. А если бы узнал потом, когда караван уйдет?!

Поражена и Лалэ-ханум. Ей казалось, что останется послушный помощник, а он хуже жеребца необъезженно-го, с таким мук не оберешься. Она не в обиде на Нанэ-ханум, аллах ей судья! Была ревность (но это противно воле аллаха, чтоб жены ревновали друг к другу!), когда Мамед-Таги привез соперницу, но Лалэ-ханум примирилась. И к Фатали была ревность, скрывать не станет,— не смогла родить Мамед-Таги сына. «Наследник!.. Подумаешь, шах, ему наследник нужен!» Лалэ-ханум жаль мальчика, но молчит. Если скажет: «Отпусти», Мамед-Таги заупрямится.

— Я ненадолго уезжаю, вернусь к тебе! — Нанэ-ханум успокаивает Фатали, а в душе: «Не верь мне». Фатали слышит второе, он глух к тому, что говорит мать.

И погонщик вдруг к Мамед-Таги:

— Да отпусти ты его с матерью! Она же без сына зачахнет, и сыну без матери каково?

Фатали, кто подойдет к нему, дикий какой-то, отскакивает, он в руки не дастся, убежит, пешком за караваном пойдет.

Мамед-Таги и хочет отпустить сына («А когда я его еще увижу?»), и на силу закона надеется: сын принадлежит отцу и при разводе остается с ним. Он сам вырос без матери, она рано умерла, и знает, что это. Останется, и что? Кем он будет здесь, его сын? Мелким, как он, торговцем? А Мамед-Таги хотел бы видеть сына... Кем? Образованным, ученым. Он и отдал его уже год как в ученики к сельскому молле, тот и учит; он молитву читает на поминках, он и развел Мамед-Таги с Нанэ-ханум. Но почему-то Мамед-Таги мало верит в образованность моллы, повидал, пока в Шеки был, молл-шарлатанов, Ахунд-Алескер рассказывал. Но сына отдал. «Мясо твое,— сказал,— истязай, даю тебе право, а кости мои»,— не до смерти чтоб бил.

Кем будет здесь Фатали? В Шеки Мамед-Таги видел: молодой, в погонах, фуражка на голове, гяур распоряжался солдатами, мост разрушенный строили. «Может, и Фатали станет мосты строить?» Ноги изодраны, сколько рек перешел, то мутные, то чистые, камни скользкие, острые, нога попадает между ними, изрезана, перецарапана до кро-

ви нога, в холодной воде кровь не видна, а выйдет, оттаивает царапина, и кровь на ноге, облепляет рану травой, что у дороги растет. «Будет строить мосты, а здесь что? Что же ты будешь делать здесь, сын мой?!»

Бренчит колокольчик, Фатали смотрит, как плывет горизонт, домик уменьшился, отец... по папахе узнает, что это отец, старшая сестра стоит рядом, та, что разбудила, темный платок на голове, пока не чадра, но скоро, очень скоро вся будет укрыта с головы до ног.

И развод, и возвращение на родину не без ведома Ахунд-Алескера: он живет почти рядом, в селе Хоранид, куда переселился в свите покровительствующего ему бывшего правителя Шеки Селим-хана (того, кто поднял мятеж!), — его жёны, кажется, три, дети, семь, что ли? слуги, верблюды, телеги, арбы, кони, скот, навьюченные ослы, овчарки, пастухи, собственная охрана, еще какие-то люди; а неподалеку, в местечке Шюкюрлю, в часе езды на добром скакуне, ширванец Мустафа-хан, тоже покровительствующий ученому человеку Ахунд-Алескеру; ханы без ханств, и он обучает ханских детей мусульманской грамоте. «О боже, как ты коверкаешь арабскую речь!»

Ахунд-Алескеру постелили на лужайке, и бабочка, приняв маковый узор на паласе за цветок, села на него. Фатали не сводит с нее глаз и невпопад отвечает на вопросы своего нового учителя, дяди матери Ахунд-Алескера. Нанэ-ханум лежит в шатре, хворь у нее не проходит, только в первые дни, когда кончилось черное время в Хамнэ, она чувствовала себя лучше. Ушла головой под толстое, набитое шерстью одеяло, и лишь изредка доходит до нее голос Ахунд-Алескера — он ей за отца, и сыну ее — как отец; ей теперь пожить бы, молода еще, что она видела?

День — арабский, Коран; день — фарси, поэзия Саади, Хафиза, Низами; день — азербайджанский и по ходу кое-что из других тюркских языков, поэзия Физули. И даже — или предвидел будущность Фатали? и горские войны? знал он горцев, живя в Шеки, шумные, вспыльчивые, обидчивые, — учил различать: араб ли говорит или лезгин, выучивший арабский, быстро, съедая окончания, или, напротив, четко выявляя, как кумык, переходы между словами.

Полугость, полуслуга, и ощущение покоя редко, оно посещает Ахунд-Алескера лишь в утренние часы, когда царит оживление в большом стане. Появляются порой близ поселения какие-то вооруженные люди, но не трогают их, — то ли шахские воины, то ли кочующие племена. Иногда со-

берутся ханы: «Надо спасать нацию! (А меж слов Ахунд-Алексер слышит: «собственную шкуру».) Кто-кто? Чеченец Бей-Булат?! Ты что, думаешь — Ермолов не слышит?! О ком ты вспомнил?! — Но звуки глушатся о густой и плотный ворс ковров и тюков постели над сундуками.— За горцем пошли люди, потому что честь у них есть!» — «А чего ты раскричался? И его тоже, Бей-Булата,— а куда денется? — сманили, правда, при Паскевиче, присягнул на верноподданность, но так ему и поверили! Убили, пустив слух, что свои, кровная месть!»

Самым безопасным местом казалась Ахунд-Алескеру Гянджа. Почему? Ахунд-Алескер пожал плечами.

— Как-как? — хохочет Селим-хан.— Ельсебетпул?! — Елизаветполь, бывшая Гянджа, звучит в устах Ахунд-Алескера как «ветер, корзина, деньги», или «корзина денег, выдуваемых ветром».

— Опять переезжаем? — стонет Нанэ-ханум, худые ноги, желтое лицо, губы в волдырях.

Но не успеют они обосноваться в доме бывшего ученика Ахунд-Алескера, неподалеку от мавзолея Низами, как ночью поднимется сильный жар, она будет бредить, а затем — резкое охлаждение. И ясность.

— Фатали,— скажет она сыну, всю ночь не сомкнувшему глаз у ее постели,— Ахунд-Алескер тебе за отца, а Алиа-ханум за мать.

Алиа-ханум уже подумывала о том, чтобы подыскать мужу вторую жену, чтобы та родила ему, и вдруг надежда: «Не усыновить ли Фатали?» И после сорокового дня, помянув дух Нанэ-ханум, Ахунд-Алескер усыновил Фатали, и отныне он стал называть двоюродного деда «вторым отцом»; но не имя свое дал Алескер мальчику в отчество — ведь жив отец! — а обозначение своего духовного звания — Сын Ахунда, или *Ахунд-заде*, или еще проще, на новый манер,— *Ахундов*.

А место здесь, в Гяндже,— кромка огнедышащего вулкана. Далско-далеко отсюда, в столице империи, отыскалась горстка смельчаков, не иначе как съели волчье сердце, и с оружием пошли в декабре на могущественного белого падишаха. И когда летом до наследного принца в Тавриз и до Фатали-шаха в Тегеране докатились слухи о смутах, говорили даже о гибели царя, Аббас-Мирза уговорил отца отомстить за Гюлюстан — ведь случай какой!

А в день, когда аллах принес Ахунд-Алескеру, денно и ночью думающему о паломничестве в Мекку, неожиданную радость — Алия-ханум родила дочь! — именно здесь, неподалеку от их дома, у мавзолея Шейха Низами Гянджеви, ударные части Аббас-Мирзы атаковали Елизаветноль.

В тот июльский день император находился в Царском Селе. И ждал важной вести. Он стоял над прудом, бросал в воду платок и заставлял свою собаку выносить его на берег. Вместо четвертования — повешение, «сообразуясь с высокомонаршим милосердием, в сем самом деле явленным смягчением казней и наказаний». Виселица с помостом подъемным, ломали шпаги над головой и жгли их мундиры, ордена наперед сорвав, надеты рубахи длинные, на груди доска черная, в два часа утра казнены пред крепостью, но трое сорвались, и их, прикрепя вновь, повесили, и висели только час, и отнесены тела в погреб крепости равелина.

«Экзекуция, — говорилось в доношении, — кончилась с должною тишиною и порядком... сорвались, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть». Что? Древний обычай миловать упавшего с виселицы?! Никогда! Не успел император, прочтя записку, запечатлеть для потомства: «...пять казненных проявили большое чувство раскаяния», как доставили новую радостную весть о первых победах на персидской границе.

Как отыгрывающийся игрок — Аббас-Мирза уже проиграл две войны царю еще в восьмьсот четвертом, когда обрушился на Эривань, узнав о намерении Магомет-хана Эриванского проситься в российское подданство (и разорил монастырь Эчмиадзин), а потом в тринадцатом (и не одну — турецкому султану), — он затеял третью войну, последнюю в своей жизни (и, кажется, для шахского престола). «Не встречай!» — чей-то голос шептал ему. А он слово в слово вызубрил пояснения летописца, создающего историю их каджарского рода, о причинах поражения, что завершилось Гюлюстаном, — мол, в критический момент боя лошадь наследного принца, подобная легендарному коню Гыр-ату, споткнулась, его высочество изволило перенести благородство свое с седла на землю; воины подумали, что принц погиб, и в панике бежали, но он вдруг заметил всадника, принял его за неприятеля и обнажил саблю, — а это собственный слуга! И тот вмиг спешился и, посадив повелителя на своего коня, вывел в безопасное место. Да, чудом спасся Аббас-Мирза под Асландузом; уж как не пытался он раз-

будить тогда патриотические чувства у своих воинов: «Вам выпала историческая миссия, это ж Асландуз, Долина львов, а вы — львы Шаха!»

Нет, не внял Аббас-Мирза голосу разума; и снова под угрозой Тавриз, его резиденция... И он еще смеет, оскорбленный и негодующий, ратовать за продолжение войны, — отделались Гюлюстаном, а теперь как?!

Августовский зной и ночью не отступал под дыханием гор, чьи макушки в снегах. Ахунд-Алескер с семьей и Фатали, которому четырнадцать лет, прятались в виноградных садах, в лачуге.

Не с испугу ли начались роды?

Гянджа пала в день приезда Паскевича. Два командующих: старый, десять лет наводил порядок во вверенных владениях, Ермолов, и новый «с неограниченными полномочиями».

А после Гянджи — Эривань и Нахичевань. Победы и на турецком фронте.

«Граф Паскевич-Эриванский вознесся на высочайшую степень любви народной. Генералитет высший, генерал-адъютанты, офицеры, чиновники, литераторы, купцы, солдаты и простой народ повторяют хором одно и то же: «Молодец, хват Эриванский! Воскрес Суворов! Дай ему армию, то, верно, взял бы Царьград! Наш Ахилл — Паскевич-Эриванский!» И монумент при жизни — полк собственного имени.

Взята крепость Аббас-Абад, под угрозой Тавриз. Разбили лагерь. Вскоре подошва гор со стороны Хоя запестрела вооруженными конными, и персы пригласили в шатер наследного принца Аббас-Мирзы царского посланника Грибоедова и его переводчика из знатного азербайджанского рода — Бакиханова.

ЦАРСКАЯ СЛУЖБА

— Да, мы были с ним неразлучны, Грибоедов и я, его языки: персидский, азербайджанский, арабский («и чего расхвастался перед юнцом?»). — Чиновник старый, Бакиханов Аббас-Кули, и молодой, Фатали Ахунд-заде. — *Ад-зер-бид-зам* — смешно не выговаривал он, а я поправлял его, долго тренировался перед переговорами с наследным принцем Аббас-Мирзой. «Не «адзер», а *азер*, огонь, пламя». «Азер-бижан». «Не «би», а *бай*, богатый, огнем богатый. И еще *джан*,

Азербайджан. Так и не смог покойный Грибоедов выговорить на переговорах.

Давние-давние знакомые: принц, в скобках сказать, «великий мне недоброжелатель! — обдумывает посланник фразы своего донесения Паскевичу, командиру Отдельного Кавказского корпуса генералу от инфантерии, генерал-адъютанту и кавалеру.— Об Тифлисе больше нас знает; правда, и мы лучше его смыслим в том, что в его собственном городе происходит, но утешенье ли?» — и посланник, а в скобках, глядя на посланника, надворного советника иностранной коллегии, как представили его принцу, Аббас-Мирза задумался: «Какими дарами к сердцу твоему жестокому дорогу найти?»

— Моих и шаха послов не допустили до государя, писем не доставили в Петербург, возвращали нераспечатанными, сколько у меня их сохранилось теперь, в том же виде, для оправдания моего перед государем вашим!

— Когда кто лежит болен целый год, не отыскивают уже первых причин его болезни, а стараются уврачевать ее, так и с настоящею войною. Ваше высочество сами поставили себя судьей в собственном деле и предпочли решать его оружием. Но кто первый начинает войну, никогда не может сказать, чем она кончится. Прошлого года персидские войска внезапно и довольно далеко проникли в наши владения по сю сторону Кавказа.— Грибоедов строг и четок.— Нынче мы, пройдя Эриванскую и Нахичеванскую области, стали на Араксе, овладели Аббас-Абадом, откуда я прислан.

— «Овладели! взяли!» Вам сдал Аббас-Абад зять мой, трус, женщина, хуже женщины!

— Условия я сейчас буду иметь честь изложить вам.

— Но разве должно непременно трактовать, наступая на горло, и нельзя рассуждать о том, что было прежде? — И не остановить потока слов!..— Жить с вами в мире под сенью расположения к нам российского императора! тупоголовые пограничные начальники! генерал Ермолов! великий император и его мощь!

— И как же вы, зная о могуществе нашего государя, решились оскорбить его?! А у нас честь государя есть честь народная!

Аббас-Мирза всех выслал, даже Алияр-хана, зятя и генерал-адъютанта шаха, в шатре остались лишь он, царский дипломат и его переводчик.

— Я виноват! Меня подвели! — Аббас-Мирза бросил в

каземат лазутчика, который принес вести о смутах в Петербурге.

«Увы, тебя не обманули, принц! Еще свежи и рана, и страх, и позор. Малодушие! И как рука вывела?! «Мой государь! По неосновательному подозрению! Силою величайшей несправедливости! Я не знаю за собой никакой вины! Ложь и клевета!»

— Извольте выслушать условия.

— Знаю! знаю! — перебил Грибоедова Аббас-Мирза, вскочил с места и заметался по шатру, поглядывая на занавеску, за которой недвижно сидит Алияр-хан. — Вы смеете предписывать условия шаху как своему подданному! Никогда!! Он сам раздавал короны! Персия еще не погибла!

«О боже, за что?! Мой отъезд за тридевять земель, словно на мне отягчало пророчество: «И будет ти всякое место в предвижение».

— И Персия имела свои дни счастья и славы («богатые мечети, базар, караван-сарай, но все в развалинах, как вообще здешнее государство»).

— Вы, как всемирные завосватели, — еще не вышел весь пыл, негодует принц, — все хотите захватить!

— При окончании каждой войны, несправедливо начатой с нами, мы отдаляем наши пределы и вместе с тем неприятеля, который бы отважился переступить их. Вот отчего в настоящих обстоятельствах требуется уступка областей Эриванской и Нахичеванской. Деньги — также род оружия, без которого нельзя вести войну. Это не торг и даже не вознаграждение за претерпенные убытки: требуя денег, мы лишаем неприятеля способов вредить нам на долгое время.

— Но можете ли вы, — почти шепотом, на ухо, — убавить некоторую часть ваших требований? — оттянуть как можно дольше! И напасть! Нельзя долго держать в бездействии войска. Лишиться Эриванского вилайета, основы собственной казны!

— Условия будущего мира начертаны по воле государя, а она у нас единая для всех, никто уклониться не может, в какую бы власть облечен ни был, — ни главноначальствующий генерал Паскевич, ни тем более, я! — «Коль служишь, то прежде всего следуй буквально ниспосылаемым свыше инструкциям». — Это у вас единовластие в государстве нарушается по прихоти частных владельцев и разномыслием людей, имеющих голос в совете шахском, даже испуганием пустынного, который из Кербелая является с

возмутительными проповедями и вовлекает государство в войну бедственную!

— У вас тоже не одна воля: в Петербурге одно говорят, Ермолов — другое, Паскевич — третье!

«Знает! Уловил, что генералы интригуют! Жаль Ермолова. Человек прошедшего века. Соперник Паскевич ему глаза колет, упустил случай выставить себя с выгодной стороны в глазах соотечественников, слишком уважал неприятеля, который этого не стоит. Война с персианами самая несчастная, медленная, безотвязная».

— ...У нас был мучтеид для мусульман, вы тоже, говорил он мне, для возбуждения против нас армян выписали в Эчмиадзин христианского халифа Нерсеса! Да, да, мы заключим перемирие.— Аббас-Мирза говорит тихо, часто оборачиваясь к занавеске, за которой сидит Алияр-хан: шах больше верит зятю, чем сыну?!

А и ему бы, посланнику, взглядеться в лицо Алияр-хану! но если б знать! Знать наперед! Смерть? Остерегаться трефового короля! Куда ни повернешь карту — брюнет с усами! «Недавно ездил к Кирховше гадать обо мне, что со мною будет, да она не больше меня об этом знает, такой вздор! Две дамы, а при них — и не мужчина, и не женщина». Армянки-пленницы из гарема Алияр-хана? И евнух шахского гарема Мирза Якуб? Может, и в шахском гареме томятся пленницы?! Просьбы, ходатайства, ноты, переговоры. Эта гаремная дипломатия! И евнух, выходец из Эривани, ведающий финансами гарема и имеющий доступ к шаху и днем и ночью, напросился принять его, и две армянки сбежали, чтоб спас. Крики!.. Ворвались!.. «Цветущие лета среди дикообразных азиатцев?!» Лишь вспышка — Нина! «Хотите ее знать? В Malmaison¹, в Эрмитаже, тотчас при входе, направо, есть богородица в виде пастушки Murillo, — вот она. Прощайте!..» И тьма (захват и разгром фанатиками посольства, ибо оскорблена шахская честь — гарем!).

Но если б знать наперед!

«Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега, — запишет Пушкин. — Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались на крутую дорогу. Несколько грузин сопровождали арбу. — Откуда вы, — спросил я их. — Из Тегерана. — Что вы везете? — Грибоеда».

— ...пусть генерал Паскевич укажет мне путь к императору, — не угомонится Аббас-Мирза, а Бакиханов устал

¹ Покои императрицы.

переводить, — я сам отправлюсь в Петербург или пошлю моего старшего сына, он наследник мой, как я — шахский. Будем целовать руку великого государя, престол его, — мы его оскорбили, будем просить прощения, он сам во всем властен, но великодушен! — Будет, будет еще извинительная поездка к царю: посольство сына Аббас-Мирзы, принца Хозрев-Мирзы! — И самого себя отдам императору в жертву!

— Генерал Паскевич не вправе в нынешних обстоятельствах дать вашему высочеству или эмирзаде пропуск в Санкт-Петербург.

«Нет-нет! — Паскевич разъярен, узнав о разгроме посольства. — Это убийство им дорого обойдется! Мы пойдем на Тавриз! Мы сотрем в порошок Тегеран! Да, да, так и передайте шаху и его наследнику! Пусть немедленно отправляются в Петербург! К императору!»

«...в Петербург приехал персидский принц Хозрев-Мирза, сын Аббас-Мирзы. Я была во дворце на торжественном его приеме. Он молод и довольно хорош собою».

«Позвольте, не тот ли это Хозрев-Мирза, который, прогуливаясь по Таврическому саду, встретил Нос и подивился этой странной игре природы?»

«Тот самый!» И рассказывал потом отцу — наследнику престола и деду-шаху, как Нос прогуливался в мундире, а ведь ни тот, ни другой не удивились, шитом золотом, с большим стоячим воротником, и панталонах, а при боку — шпага.

«...был в честь принца большой бал, на котором у меня было чудесное платье: белое дымковое с рисованными цветами, а на голове натуральная зелень и искусственные цветы. Я была одета очень к лицу. На балу я познакомилась с графиней Фикельмон, урожденной гр-ней Тизенгаузен. Как она прелестна, мила, любезна!»

— ...захочет областей, денег — и деньги, и весь край, и самого себя отдам ему в жертву, но чистосердечным сим поступком приобрету приязнь и покровительство российского императора.

— Это намерение гораздо удобнее было исполнить прошлого года, во время коронации императора. Шахзаде предпочел тогда схватиться за оружие. Я не могу скрыть, что государь разгневан именно и лично вами!

— Я знаю! Я виноват! Меня обманули!

«Страх и позор! Это был я, и это — тоже я?!» Крепость Грозная, фельдъегерь Уклонов, арест. И долгий путь. Гауптвахта Главного штаба. Беседа-допрос у генерала Левашова.

Допрос в следственной комиссии. «В деспотическом правлении старшие всех подлее, так?!» Мои письма!! «Но я о Персии!» «Так бы и написали. Далее: «Вспоминали о тебе и о...— Какие у следователя глаза!! — Рылееве, которого «обними за меня искренно, по-республикански» (?!). А вот еще: «Какое у вас движение в Петербурге!!» Это ваши восклицания, да-с!» И позорные записки! И кому! «Погибаю от скуки и невинности». «Съезди, узнай, чего мне ожидать?» «Да не будь трус, напиши мне, я записку твою сожгу». И кокетливое: «О правосудие!» И это — я?! «Я слишком — еще бы! — благодетельствован моим государем — а как же? очистительный аттестат! — чтобы осмелиться в чем-либо ему не усердствовать». Как вы там, любезные мои тезки Одоевский и Бестужев? Как ты, душа моя Вильгельм? Будь меня достойнее! Кого еще скосит смерть? Страх уйдет, позор изгладится. Но останется рана. И надо слушать, сидя в шатре, этого безумца, наследного принца!»

— Вы жили в Тавризе, чего я не сделал, чтобы с вами остаться в дружбе? чем можете укорить меня? каким проступком против трактата?

— А рассеяние возмутительных фирманов в Дагестане, на которые жаловался Ермолов?

— Видели вы их? где они? это нелепости, вымышленные моими врагами! Ермоловым! так же, как и уши и носы убитых на Кавказе русских, которые будто бы привезены были лезгинами ко мне в Тавриз. Вы свидетель, что это ложь! Такими клеветами возбуждали против меня покойного вашего императора и так же сумели лишить меня благосклонности его преемника. Теперь, если мы вам отдадим области, заплатим требуемую сумму, что приобретем в замену? Новые предлоги к будущим распрям, которые со временем созреют и произведут опять войну. При заключении прежнего мира мы отказались в пользу вашу от обширнейших провинций, на все согласились, что от нас хотели, англичане тому свидетели! И что же мы приобрели, кроме новых притязаний с вашей стороны, обид нестерпимых! Мир во сто раз хуже войны! Нынче посланные люди принимаются ласковее генералом Паскевичем, сообщения его со мною вежливее, чем во время так называемого мира, я перечесть не могу всех оскорблений, мною претерпленных в течение десяти лет! Нет! Я или сын мой — мы непременно должны ехать к императору! Помогите мне! Вы ж хлопотали («И получил головомойку!»). Пусть поможет генерал!

— Удивительные вы люди, — улыбнулся посланник впер-

вые за время переговоров.— Возможно ли делать такие предложения в военное время? Вы поручаете мне, обращая разговор о деле государственном в дружескую беседу («о персияне!!»), чиновнику воюющей с вами державы, как доброму своему приятелю, хлопотать в вашу пользу!

Это потом, не сейчас: «Помогите, генерал! Пусть мой принц поедет в Петербург! Непременно допустить его к государю императору и велеть драться с турками, обещать торжественно, что мы возведем его на престол, ибо это нам ничего не стоит, упражнение войску в мирное время!»

Но главная просьба впереди: «Бросаюсь к вам под ноги! На какую высоту поставил вас господь бог! Выручите Александра Одоевского! Может ли вам государь отказать в помиловании двоюродного брата вашей жены, вам близкий родственник, а вы первая нынче опора царя и отечества. Спасите страдальца!» Коли и теперь не поможет, провались все его отличия, слава и гром побед, Ахилл-Паскевич-Эриванский, все это не стоит избавления от гибели в сибирских острогах одного несчастного, и кого!.. «Брат Александр!» — и зачем я ему в его-то состоянии! — «...государь наградил меня щедро за мою службу». — Кому-то попадет в руки его письмо, пусть государь знает, может, и впрямь поможет несчастному?! сохранил черновик. — «Кто тебя завлек в эту гибель!!» — Это не надо: «...в сумасбродный заговор!!»

— Конечно, — «терпение! жестокое сердце! друзей не хочу! исполнять то, что велит государь!» — персияне смелые при счастье, но теряют бодрость и даже подчиненность при продолжительных неудачах. Поверьте мне, лучше разом принести жертву необходимости, — «припугнуть непременно!» — нежели длить время, претерпев гораздо большие потери. Когда мы пойдем далее и завладеем Ад-зер-бид-за-мом, — взгляд на переводчика Бакиханова Аббас-Кули: «Так?» Посланник меж двумя Аббасами — своим и чужим. «Нет, не так!» Но некогда! — Азер-бе-жаном, а народ там известен духом неудовольствия против вас, все бедствия, которые постигнут страну, если война продолжится, припишут вам же, и наследственные ваши права, престол тогда не отдалятся ли? Этот план у нас очень известен и полагается весьма сбыточным, но к исполнению его приступим в такой крайности, когда вы, упорствуя, продлите войну, вами самими начатую. Лучше принять условия, покуда их делают.

— Да, да, мы знаем, как вел себя Паскевич против кочевых племен от Эривани до Нахичевани! Способ приобрести доверие в чужом народе и мне известен, жаль, что я один это понимаю во всей Персии. Так я действовал против турок, так и в Карабахе! Но Гасан-хан усердствовал вам, сколько мог, и ожесточил против себя всю Грузию! Начни и вы, как Чингисхан, умерщвлять всякого, кто ни попадется, у меня две трети азербайджанцев (так?) стали бы в ружье, не требуя от казны ни жалованья, ни прокормленья.

— Можно одной и той же цели домогаться разными путями.

«И нет народа, который бы так легко завоевывал и так плохо умел пользоваться завоеваниями, как русские».

— Елисаветполь! Вы были как львы!

«Отчего вы так мало пишете о сражении при Елисаветполе, где семь тысяч русских разбили тридцать пять тысяч персиян?..» Врезались и учредили батареи за триста сажень от неприятеля и, по превосходству его, были им обхвачены с обоих флангов, а самое умное, что пехота наша за бугром была удачно поставлена вне пушечных выстрелов.

А как поначалу триумфально шли персы! Еще был Ермолов — «что же он не даст отпор?!» — и не прибыл Паскевич. Города сдавались без боя: забылся гнет персов, и свежи были притеснения новых колониальных властей.

Официальные секретные донесения в Петербург царских чиновников: «Когда рассматриваешь управление мусульманскими провинциями, воображение содрогается от неистовства управляющих и страданий народа. Здесь уже совершенно попорно человечество, забыто всякое правосудие, закон служит только орудием к притеснению, а корысть и буйное самовластие руководствовали действиями окружающих начальников, комендантов, приставов и прочих начальствующих лиц».

При Ахунд-Алескере двух застрелили, одного знал, тихий, богобоязненный человек, «за что они сго?», мимо еще провели, в колодках, а потом прогнали сквозь строй. Однажды шли с Фатали, — за рекою, Гянджачасм, висит на суку чинары, и ветер его медленно качает. Ахунд-Алескер понимает, что новая власть надолго, и она не хуже власти шахской, и ему надо, очень надо убедить в этом Фатали. Но как?

Освежились в памяти старые раны: шахский передовой отряд мстил за гяурский дух, вселившийся в каждого, кто познал новую жизнь. Пылали дома, угонялся скот, — шах-

скому воню не платят жалованья, он сам находит себе пропитание.

Император был рассержен медлительностью Ермолова. И вести о неудачах получены были в Москве в дни коронации. Сместить! И прямо с коронации был послан на Кавказ Паскевич, любимец молодого императора. Что? Завистник? Честолюбив? Отсутствие обширного и просвещенного ума? Самонадеянность и заносчивость, достигшая невероятных размеров? И еще страсть, столь сильно ныне распространенная,— прибегать в донесениях к вымыслам тысячи одной ночи (?) и некоторые другие большие пороки, клеветая на тех, чьи подвиги могут затмить собственные? и приписать их себе?! Пусть. Император благословляет Паскевича — свалить Ермолова и принести победу.

А шахские войска тем временем, захватив Гянджу, продвинулись дальше, навстречу гибели: под Шамхором были раздавлены и сметены лавиной царских отрядов, спускавшихся с Дзегамских гор, Гянджа была вновь занята, и на солнце засверкали штыки. И сюда прибыл Паскевич, получивший весть о движении новых персидских частей, ведомых Аббас-Мирзой. В передышке между боями Ахунд-Алескер покинул виноградные сады — укрытие ненадежное — и вернулся в город. Полдома сгорело, скот угнан, имущество разграблено. И ни с кого не спросишь. Цел подвал, и там, за толстыми стенами, и переждут.

Фатали стоял на высоком берегу Гянджачая. Паскевич решил принять бой не в городе, он как ловушка, а на Шах-дюзю, «шахской равнине», заняв удобные холмы. Как на ладони: вогнутой линией, будто полумесяц, добрый знак, растянулись иранские войска; на флангах конница, в центре — артиллерия, а в резерве, поодаль, — личная гвардейская пехота Аббас-Мирзы. Знамена, барабаны. И пестрая, красивая, с перьями на ярких папах конница двинулась к холмам. Заговорили пушки. Сплошной оружейный огонь. Конница дрогнула, обнажив пехоту, и драгуны нижегородского дивизиона врезались в пехотные батальоны персов. Рукопашная. Новые полки: грузинский, ширванский... Над головой прогрохотали ядра. Ахунд-Алескер оттащил Фатали: так глупо погибнуть!

«А именно в эти часы,— рассказывает Бакиханов, и Фатали весь вниманис,— я допрашивал солдата Аббас-Мирзы, перебежавшего к нам. Он-то и сообщил, что иранцев впятеро больше, чем наших».

А какой стиль докладов любимца императора Паскевича, хоть и не владел пером, сколько в них метких наблюдений! Какие краски! И баловень судьбы: после Елизаветполя станет полновластным правителем Кавказа. Да еще красив чертовски: из-под роскошных темных кудрей, в художественном беспорядке (!) обрамляющих его чело, сверкают большие голубые глаза, в которых светится огонь сосредоточенной решимости, в них, однако, и что-то надменное. Триумфальный путь Паскевича: из Тифлиса через Эчмиадзин в Гарни, далее по безводной и необитаемой Шарурской пустыне (жара!!) в Нахичевань, возвращение в Эчмиадзин, на который напали персы, осада Аббас-Абада, захват Сардар-Абада, хан бежал в Эривань, а следом за ним — Паскевич, осада Эривани — обложили пушками и неделю бомбардировали город, пока хан не сдался.

На поклон к Паскевичу явилась и принцесса Мария, да, да, жена сбежавшего грузинского царевича Александра, дочь известного мелика Саака Агамаяна, с сыном Ираклием, назван в честь деда-царя, а царевич собирает новое войско, чтоб сражаться с Паскевичем на сей раз на стороне турок. И — Тавриз, столица Аббас-Мирзы, его резиденция. Но первым в Тавриз вошел помощник Паскевича, полковник Муравьев, эН эН, станет впоследствии наместником Кавказа, еще не скоро, и возьмет с собой Фатали в турецкий поход, чтоб стать Карским. И за то, что первым в резиденцию Аббас-Мирзы вступил не он, Паскевич, а полковник Муравьев, — удалит его, отправив в Россию (а потом простит). И Николай Муравьев, к удивлению горожан древнего Тавриза, заговорил, обращаясь к публике: сначала на фарси, затем по-тюркски, а уже потом на армянском (!).

И первая встреча Паскевича с Аббас-Мирзой — наконец-то! — в деревне Дей-Кархане, но принц еще надеется на победу, слепец! И снова вспыхнула война.

Что ж, падут новые города, и даже набег смельчаков, отрядил их Паскевич, — на Тегеран. Из Ардебилля, захваченного Паскевичем, вывезена спешно, опытные советчики рядом, драгоценная коллекция старых персидских манускриптов, и такая же досталась после покорения турецкого Баязета.

«Тесть мой, — пишет царский посланник Грибоедов Паскевичу, имея в виду генерал-лейтенанта князя Александра Чавчавадзе, — завоевал в Баязете несколько восточных манускриптов; сделайте одолжение, не посылайте их в Императорскую (!!) библиотеку, где никто почти грамоте не

знает, а в Академию Наук, где профессора Френ и Сеньковский извлекут из сего приобретения возможную пользу для ученого света». Но уже отправлена в Императорскую библиотеку!

И будет бал в Тифлисе, приглашена знать и весь дипломатический корпус, и Паскевич отрастил себе волосы, а к торжественному случаю тщательно завивает их в локоны наподобие куафюры *à la Louis XIV*, и заготовил речь. И, обратясь к старейшине дипломатов — французскому консулу Гамбе, а через него и ко всем гостям, произносит пылкую речь во славу великих полководцев, начиная с Александра Македонского и кончая Наполеоном, и о себе, конечно. Гамба как истинный дипломат слушает с почтительным вниманием, и лишь один Паскевич, ослепленный собственной славой, не видит, как играет во взоре французского консула — в его лукавых глазах и ямочках у рта — тонкая ирония.

— А Туркманчай? — нетерпеливо спрашивает Фатали.

— Был и Туркманчай, — устало произнес Бакиханов, вспомнив село близ Тавриза на пути к Тегерану, где вновь свиделись Паскевич и Аббас-Мирза, чтоб подписать новый договор: окончательный и бесповоротный.

ТУРКМАНЧАЙСКИЙ ТРАКТАТ

И никаких уступок. Азербайджанскую землю разделили на две части — северную и южную. К России отошли все города, села, горы и долины, ручейки и озера, леса и кустарники по эту сторону Аракса, и река стала границей, чтоб войти строкой и мелодией в причитания и плачи: «Ты, Аракс, кинжальный мой...» (и что-то о сердце).

Иран обязался заплатить России контрибуцию за возврат ему Тавриза и других захваченных азербайджанских земель по ту сторону Аракса (Паскевич — императору: «...по всей справедливости может остаться за нами!»).

«Бремя сие падает единственно на Аббас-Мирзу, ибо шах решительно отказался способствовать на свою долю ко взносу сих денег» (двадцать миллионов рублей серебром): у него ведь такой гарем! шутка ли — двести детей! Аж золотые пуговицы пришлось спарывать Аббас-Мирзе с платьев своих жен.

Как же передать опыт молодому земляку Фатали? А разве опыт передается? Он, семь ступеней пройдя по военно-

чиновничьей лесенке, уже полковник, а Фатали — только на первой ступени, прапорщик, — *Твое будущее — мое настоящее, Фатали.*

«А как же твое будущее, Аббас-Кули?» Из рода ханов, старше Фатали лет на двадцать.

«Мое будущее — в моем движении к прошлому».

Бакиханов уезжает в Мекку. Мекка — как повод, пока еще разрешают паломничества, но скоро и это прикроют. Кто-то сболтнул, Фатали слышал: «Мало ему царских чинов, захотелось еще мусульманского титула Гаджи».

А пока разрешено поехать в пределах империи, замкнутой, как кольцо. Он путешествует по кавказской линии, донской земле, Малороссии, Великороссии, Лифляндии, Литве и Польше. В Варшаве — Паскевич, князь Варшавский. Он бледен, на него было совершено покушение. «Туркманчай!..» Радует, а улыбка выходит кривая, еще не оправился. «Аллах пощадил!» Стрелок под Брестом плохо целился.

«Ольга Сергеевна? Неужто сестра Пушкина?!» А Аббас-Кули везет ее письмо в Петербург, родителям.

«Ты можешь, милая Оленька, себе представить удовольствие, которое я имел, получив твое письмо. Аббас обедал у нас. Он так обходителен, так любезен, так полон предупредительности, что мы с ним были как старые друзья», — пишет дочери в Варшаву Сергей Львович.

«...какой интересный человек, как он прекрасно выражается! Я люблю его манеру держаться, он мне бесконечно нравится. Я благодарю тебя, что ты его прислала к нам. Много рассказывал о тебе, мой милый друг, о твоём желании приехать в Петербург, но когда он мне сказал, что нет дилижанса от Ковно до Риги и обо всех неприятностях, которые ты сможешь иметь во время путешествия, я благодарю бога, зная, что ты в Варшаве», — пишет дочери Надежда Осиповна.

И Пушкин от Аббас-Кули в восторге: занимательный разговор с сыном Востока.

Вез в Петербург еще одно письмо: Паскевича — министру иностранных дел Нессельроде. «В персидскую войну службою Аббас-Кули-ага я был особенно доволен: совершенное знание им персидского языка и неусомнимая деятельность принесли много пользы. Через него шла почти вся переписка с Персидским двором, и таким образом сделались ему известны все отношения наши в Персии и весь ход нашей персидской политики. Чтобы удержать на службе Аббас-Кули-ага и вместе с тем показать нашим закав-

казским мусульманам, что правительство не оставляет без внимания людей, усердно ему служивших, настаиваю, чтоб он находился в распоряжении Министерства иностранных дел». Но — устал, устал наш друг! и в такие секреты получил доступ!! отпустить? а вдруг во вред? нет-нет, не боязнь, и не таких ломали! ну а все же: нельзя ли испросить у императора разрешения освободить на время, сохранив почести и выплачивая жалованье? И ценят его, и не верят ему!!

«Фамилия Бакихановых не замечена в измене и неблагонамеренных поступках против Российского правительства, но (?) чтобы утверждать, что она искренне предана нам, этого нельзя допустить, как точно и о всяком другом мусульманине. Почем знать, что сия же самая фамилия, при перемене обстоятельств, не сделает того же, что теперь сделали его противники». Это пишет на запрос из Петербурга — совершенно секретно! — главноуправляющий барон Розен. «...вызван был мною в Тифлис, дабы дать ему особенное поручение («шесть месяцев в Тифлисе и — ни одного задания!»), чего, однако, не мог исполнить, ибо он, приехав сюда, обнаруживал беспрестанно столь сильное против меня неудовольствие, что я не мог уже иметь к нему никакой доверенности».

Вспыхнуло восстание в Кубе — изолировать Бакиханова, отозвать! пусть сидит в Тифлисе, держать его в Кубе опасно. Износился! иссяк! тяжело, душит мундир! подозрительность друг к другу, недоверие к самим себе! сгниет, иссохнет, рухнет! не видеть, не слышать барона! отставка! бессрочная! в село, в глушь!

«Ты еще юн, Фатали! Твое будущее — мое настоящее!»

«А они и своим не верят!»

«Ты о ком?»

В Петербурге — Александр Сергеевич (неужто через три года?!), брат его Лев-Леон, Софья Карамзина, князь Вяземский, Сергей Львович, Мирза Джафар Топчибашев, хитер! принял христианство, чтоб... а иначе как же?

«И здесь ты спешишь, Аббас-Кули-ага!»

«Ты о ком?»

«Вспомни о Пушкине!»

«При мне он ругал большой петербургский свет слишком зло, горячая африканская кровь, а на замечание отца рассердился: «Тем лучше, пусть знает — русский или иностранец, все равно, что этот свет — притон низких интриганов, завистников, сплетников и прочих негодяев! Здесь, в

северном Стамбуле, надеюсь, никто не подслушивает? не донесет?»

Пушкин — жене: «Я перо в руки взять не в силе! Мысль, что кто-нибудь нас с тобою подслушивает, приводит меня в бешенство»; лезть в спальню!! или этого требует государственная безопасность?

Нет, не уйти от себя! всюду преследуют, даже в его глуши! Но сдержан Бакиханов. Молчит.

В Мекку!

Но дороги опасные: чума! холера!

Убьют того, кто во мне.

Но и тот — это ты!

— С кем ты разговариваешь, Фатали?

— А разве я разговариваю?

— Ну да, ты сказал: «Как мне тебя понять?»

— С Аббас-Кули-агой.

— С Бакихановым?! — изумление в глазах жены, хоть и привычна к неожиданностям мужа. — Но он же, бедняга, умер!

— Да, да, умер. Между Меккой и Мединой, шел по стопам пророка Мухаммеда.

— Пожелал, говорят, умереть на священной земле.

— Мало ли что болтают?!

В дамасском караване, к которому примкнул Аббас-Кули, было двадцать тысяч паломников, чума никого не пощадила. «Гаджи (за паломничество) — Аббас-Кули-ага (раб пророка Аббаса) — хан (из рода бакинских ханов)». Сбросить мундир, отбросить титулы, выкинуть ордена. И даже последний, «Льва и Солнца», так и не покрасовался на мундире.

— Знал о чуме, но не повернул обратно, нарушив заповедь Мухаммеда.

— Какую? — удивилась Тубу.

— Стыдно дочери Ахунд-Алескера не знать, — упрекнул жену. — Вот, запомни, кстати, твой отец обучил меня: «Пока где-то свирепствует болезнь, вы туда не ходите, ибо можете там заразиться, если же болезнь свирепствует у вас, не ходите никуда, ибо вы можете заразить других».

«Нет, не зря мы в нем сомневались!» — вспомнили в царской канцелярии барона, когда пришла весть о награждении Бакиханова иностранным шахским орденом («Пожалован ныне его величеством шахом»). И на письме игриво-

ироническая, аж до кляксы, резолюция государственного чина: «Он умер, следовательно, персидского ордена носить не будет. К делам».

«И отчего тебя любили? И отчего люблю тебя я?» Фатали знал, как Аббас-Кули сказал о нем: «Хитрый шекинец!» Встреч было много: отпечаталась последняя, перед Меккой, и запомнилась первая.

ТАЙНОПИСЬ

Ахунд-Алескер, став Гаджи после паломничества в Мекку, удивительно быстро согласился с нежеланием Фатали стать, как он, духовным лицом. Служить новой власти? Светские науки? Тифлис?! Даже доволен как будто! Что ж, есть там Бакиханов, и он поможет!

Но прежде была Нуха, бывший Шеки, новая школа, готовившая туземные кадры.

Непостижимо: они разорены, ибо дважды, как смерч, проносились через эти места шахские воины и царские солдаты,— первые мстили за измену, вторые — за безропотное повиновение кызылбашам,— угнано то, что ходит, взято то, что можно унести, запихав в мешки и — на спину, если ты пехота, или взвалив на круп коня, если ты конница, а находит-таки Ахунд-Алескер деньги, чтобы осуществить давнишнюю мечту — паломничество в Мекку. И каждый раз вздыхает Ахунд-Алескер перед тем, как приступить к разъяснению очередных сур Корана+лингвистика+история ислама+корни арабского и фарси в азербайджанском+мусульманское право+адат, шариат, молитва+правила на все случаи жизни, предвиденные и непредвиденные.

— Так о чем мы? Да, о людях! Люди непостоянны, малодушны, слабы, торопливы, а главное, неблагодарны. Но! У каждого два ангела-хранителя, которые записывают его хорошие и дурные поступки, один на утренней заре, а другой — на заре вечерней, именно это время таит больше всего искушений!

Люди — может быть, а Ахунд-Алескер нет; он постоянен, великодушен, только, увы, тороплив: спешит голову чалмой обвить, показав, что посетил святые места — Мекку и Медину.

— Что еще в Коране? Предстаньте передо мною со своими намерениями, а не со своими делами, ибо о делах

будут судить по намерениям, ибо если цель священна, то кто осудит за пути, ведущие к ней?

Дважды перед тем, как появиться деньгам, Ахунд-Алескер исчезал. Но мало ли какие дела случаются у почтенного богослова: пригласили в какую-нибудь мечеть потолковать о неясных частях Корана или послушать опытного толкователя, окончившего в Египте духовную академию.

— Как же так: если верно то, что «кого захочет бог поставить на прямой путь, сердце того откроет для покорности, а кого захочет уклонить в заблуждение, у того сердце сделает сжатым, стесненным», то как понять следующее: «им мы указали прямой путь, но они свою слепоту возлюбили больше, чем правоту»? и «каждый поступает по своему произволу»? — И молчит. Объяснить не может.

Фатали не придавал значения исчезновению Ахунд-Алескера. И Алиа-ханум не волновалась, а раз так — нечего и голову ломать, куда уехал Ахунд-Алескер. А когда исчез вторично, и накануне паломничества, Фатали задумался, ибо появились деньги; и второй отец как-то странно смотрел на Фатали, и улыбка была виноватая, с хитрецей, не свойственной облику почтенного человека, будто раздвоилось лицо Ахунд-Алескера и стало как-то ближе, понятней. «Контрабандная торговля?!» Фатали вспомнил, как Ахунд-Алескер хвалил франкские ситцы, которые дешевы на той стороне, но ценятся здесь. «Запомни,— сказал Фатали Ахунд-Алескер,— нет гладких, как речной камушек! И ахунд — тоже человек. Случается, бороду мечтаешь отрастить, а у тебя усы сбивают».

А еще прежде Нухи, или Шеки, была Гянджа и духовная школа, куда на время паломничества, а дорога долгая и трудная, привезет Ахунд-Алескер «приемного сына» и где Фатали отшлифует свой почерк, изучит теологию и логику.

— Мы с тобой изучали? Ну да, кое-чему я тебя учил: ты постиг Коран, науку о вере и ее истории, правила чтения и объяснения арабских книг, науку о всех верах на земле, учение о поэзии, законы гражданские и духовные, науку о кратком и пространном выражении своих мыслей, даже кое-что о лечении болезней молитвами. Что еще? Ах да, кое-что об астрологии — предсказывании будущего, и науку о разгадывании снов, авось пригодится. Да, я повезу тебя в Гянджу.— И задумался: то ли о трудном паломничестве, то ли о том, что, может, изучит Фатали в Гяндже,

где расквартирован полк, и русский, постигнет иной образ жизни.— Есть в Гяндже и мудрый человек, не чета мне, да, знаменитый поэт Мирза Шафи!

Была ночь. Фатали никак не уснет. Встал, зажег свечу, придвинул к себе белый лист. И возникло во тьме:

«А вы послушайте теперь меня! Мы оба с вами на эФ, вы Фатали, а я Фридрих! Только вы на А, Ахундзаде, или, как теперь у мусульман принято на русский манер, Ахундов, а я на Б. Боденштедт!»

«На ваше Б, кстати, и Бенкендорф!»

«Ну, зачем так шутить?! — взволновался. — Я же не говорю... Аракчеев!»

«Что вы так боязливо оглядываетесь?»

«Это невольно».

«Слава богу, когда я в Тифлис приехал, он и...» — Фатали рукой показывает: мол, на тот свет отправился.

«У вас каждые десять лет кто-нибудь такой да появляется!»

«Вы хотите сказать: уходит? Ладно, оставим их! На Б, кстати, и Бястинский!»

«Какой? Если фельдмаршал, то согласен, а вот того, другого, тоже князя, — увольте!»

«А у нас ходили слухи, что вы чуть ли не в венской революции участвовали, на баррикадах сражались. Да?»

А он будто не слышит, гнет свое:

«Можно и Баратынского, он мне духом близок, но мы отвлеклись! Помилуйте, я ведь все придумал — и меджлис поэтов у Мирзы Шафи, и его стихи! И у имама Шамиля, скажу вам честно, я тоже не был, взял у того, у другого, присочинил от себя, а потом и пойдет с моей легкой руки!»

«Ну нет, вы это бросьте, Фридрих! С имамом, согласен, могли сочинить и встречу, и разговоры, кому не хочется его грозным именем щегольнуть? А Мирза Шафи и его меджлис был!»

«А вы хоть раз приходили?»

«Что с того, что я не был?»

«Вот видите!»

«Но Мирза Шафи был!»

«Вы меня не так поняли, Фатали! Я ж фигурально! Ну да, он был, Мирза Шафи, вы мне рассказывали, он учил вас красиво писать в келье гянджинской мечети Шах-Аббаса! И вы помогли ему, когда перебрались в Тифлис, вы-

рваться из гянджинского плена фанатиков, а в Тифлисе рекомендовали на свое место — учителем восточных языков при уездном училище, где в должности штатного смотрителя был ваш друг, великий человек Хачатур Абовян, хвала и гордость армянского народа! Видите, как я все-все запомнил! Я, между прочим, ваш рассказ записал, привычка такая, что услышу — фиксирую на бумаге, могу дать вам почитать, а вы завизируйте, мол, верно все. Да, был Мирза Шафи, но другой, не тот восточный мудрец, который сочинял стихи, а я переводил его на немецкий, и пошли песни по Европе! Пятьдесят немецких изданий (будет и сто семидесятое)! Издания на итальянском! французском! английском! голландском! испанском! даже еврейском!»

?!!

«Сам Антон Рубинштейн, ваш российский композитор, он жил тогда в Ваймаре, написал дюжину романсов на эти мои немецкие стихи, в свою очередь переведенные на русский! Не слышали? А могли бы, между прочим! Его «Персидскую песнь» напевала вся Россия! А модный австрийский композитор Карл Мильокер сочинил целую оперетту под названием «Песни Мирзы Шафи», а либретто написал знаменитый Эмиль Поль, и она с триумфом шла в берлинском театре Фридриха-Вильгельма! А в Висбадене хозяин кабачка «К Розе» соорудил даже торт, я сам его отведал! «Мирза Шафи»! Гениальный Лист восторгался романсами! И Лев Толстой! Григ! Брамс! Их пел сам Федор Шаляпин! (?)».

«А я вам сейчас прочту: «Звучание и звон колоколов зависят от того, какая медь. Звучанье в песне заключенных слов зависит от того, кому их петь!»

«И это — есть у меня!»

«Но их читал мне сам Мирза Шафи!»

«В келье мечети?» — а в глазах недоверие.

«Да, в келье!»

«А я, кстати, и этот наш с вами разговор, пока мы тут беседуем, уже успел записать! Но мы опять отвлеклись! Шамиль и Шафи! Мне нравится звучанье этих слов: Шаммм... Шаффф... Как и наши с вами эФФФ. Я мечтаю написать о вас, чтоб и документ, и фантазия!»

«Докуменальную фантазию?»

«Именно это!»

«Не вы один!»

«Кто-то еще?!» — оглянулся вокруг.

«Да... А может, Фридрих, и меня не было?!»

«Но я знаю одного Фатали, другой — другого, а третий, кстати, не он ли смотрит на нас? — третьего! В сущности, нет и меня единого! Вот вы меня выхватили ночью из тьмы, вам никак не удавалось уснуть, и увидели меня таким. Я реальность, потому что я был, но я и фантазия, потому что таким меня увидели вы. И вот тот, который на нас с вами смотрит!» («Да,— удивляется Колдун, муха со щеки вот-вот улетит,— этот Фридрих почище меня колдует! Я одной ногой в наивной Азии, а другой пытаюсь ступить на всезнающую Европу, а он и в Европе, и где-то там, где мне и во сне не побывать!») «Как же я могу,— продолжает Фридрих,— посудите сами, не придумать поэту-мудрецу романтическую любовную историю, непременно с трагическим исходом?! О его гянджинской возлюбленной Зулейхе, заметьте, какое имя! а ведь могу напомнить! и у Гёте есть своя Зулейха! Он называл так, разве забыли? свою возлюбленную Марианну Виллемер. («Ах вот какие у него мечты! Ну да, ведь пуст небосклон немецкой поэзии. А как больно ранят колкости критиков насчет собственных сочинений: «Болтун!» «Гораций Вильгельма Первого!» «банкротство вкуса!» Как же не выдать переводы за оригинал?!») О да, я полюбил Кавказ, я был тогда единственным, наверно, немцем в Тифлисе (?!), и я изучал ваш татарский язык, потому что он здесь языком, это не лесть, а истина, в сношениях с многочисленными народами Кавказа, и не только!! с ним можно быть понятным везде, где русский язык недостаточен. Да, да, и о тифлисской его любви к Гафизе! Слышите, какое я ей имя придумал. Я учился у Мирзы Шафи и арабскому, и фарси, он был начитан, образован, знал наизусть чуть ли не всего Фирдоуси, Хайяма, Саади, Физули! Он диктовал мне, что-то импровизируя на ходу. Но какой восточный человек не играет на сазе и не поет?!»

«Я не играю!»

«Вот именно! И Мирза Шафи не играл и не пел тоже! А мне было так важно поэтически это окрасить для моих холодных рассудочных сородичей, напуганных катаклизмами. И я писал: «Однажды на уроке дома у Мирзы Шафи он велел принести трубку и калемдан». Слово-то какое! И как это естественно, чтобы мудрец курил трубку! «Пиши,— сказал мне Мирза Шафи,— я буду петь! И он спел мне много чудесных песен!» И все поверили моему рассказу! Но как же он мог и курить, и петь? И с какой стати ему, подумайте, дарить мне тетрадь своих стихов?! И тетрадь эта, и назва-

ние ее, «Ключ мудрости», плоды моей фантазии! И «Тысяча и один день на Востоке», и «Песни Мирзы Шафи», будто я лишь переводчик! Наивные читатели! Они просили меня показать оригиналы песен, от которых, как они писали, веет свежестью гор, хотя мне и только мне одному обязаны они своим существованием!»

«Мы же с вами взрослые люди, Фридрих! Вот, смотрите! — Откуда у Фатали оказались эти три книги? Поражен и Фридрих. — Ваши этапы вытеснения Мирзы Шафи! Здесь, — и показывает книгу «Тысяча и один день на Востоке», — вы сидите у ног Мирзы Шафи, здесь, — это «Песни Мирзы Шафи», — вы уже сидите рядом, а в третьей вашей книге, «Из наследия Мирзы Шафи», вы вовсе устранили его фигуру!»

«Но не будь меня, никто б не услышал о Мирзе Шафи!» — обиделся Фридрих.

Фатали усмехнулся:

«Мы благодарны вам, что сберегли стихи Мирзы Шафи! Однако...»

Но Фридрих перебил:

«Это же для восточного колорита, игривая форма авторства, черт возьми!»

И все тотчас исчезли: и Фридрих, и тот, с орлиным носом и родинкой на щеке, и Фатали, и... но ведь больше никого, кажется, не было!

И Фридрих даже не успел забрать — или нарочно оставил? — только что записанное о Мирзе Шафи, «со слов Фатали». И еще листок, о магических искусствах: хороших, что действуют с помощью добрых джиннов и стремятся к добрым целям, и недозволенных, которые служат к удовлетворению тщеславия и мести и нуждаются в содействии злых демонов. «Velm er gaehmani» (рукой Фридриха!), или наука духов, можно лечить, а порой услужливый дух выступает как дурная совесть. А справа — «Velm es schegtani» (все латинские названия — рукой Фридриха), или наука сатаны, дает власть созывать злых духов, чтоб с их помощью превратить человека в животное; «Velm en pugam», или наука о звездах; «Velm el kimya», алхимия, и диалог (с Колдуном?):

— Почему ты так немощен и беден, Колдун?

— Не дозволено делать более, чем нужно, ибо только при этом лишь условия мне повинны мои джины.

И насчет пагубного действия дурного глаза, и о средствах: пришить писанные амулеты к пуговкам детей, прикре-

пить фарфоровые кузнечики, жемчуга с точечками, маленькие мешки, наполненные кусками лука, ладана, алая и соли, а над дверями вешать цельные растения алая. И о верблюдах: как сохранить от дурного глаза,— обвесить разными найденными в пути вещами, старыми башмаками, подковами; и о том, что, перешагивая через кого, передаем ему все болезни, и даже те, которые приключатся потом, настоящие и будущие. И о счастливых днях: воскресенье для совершения браков и четверг для пускания крови (!).

Но все смешалось в этой записи: думы Фатали, которые он не успел изложить (?!); и о науках, которым учил его Ахунд-Алескер; и то, что думалось Фридриху в ходе ночной беседы, и его диалог с Колдуном, и были, и небыли, и документ, и фантазия.

В КЕЛЬЕ МЕЧЕТИ.

Ведь вот какие, неужто свыше писанные? истории случаются меж Большим и Малым хребтами Кавказа и меж двух морей: Черным и Хазарским — Каспийским:

должен был в семье гянджинского зодчего Кербелай-Садыха родиться Шафи, он же Мирза Шафи, а потом и Мирза Шафи Вазех, чьи стихи и песни, неведомые на Востоке, покроют себя в иноязычном своем бытовании громкой славой на Западе, чтоб потом, многие-многие годы спустя, вернуться на родину, в отчий край, в поисках оригиналов, как душа ищет свою плоть;

и должен был именно в Гянджу, в келью Шах-Аббасской мечети, где живет Мирза Шафи, зарабатывающий на хлеб уроками каллиграфии, привезти Ахунд-Алескер своего приемного сына Фатали перед паломничеством в Мекку;

и где-то в далекой Германии, в Пейне, в Ганноверском королевстве, должен был в те же годы родиться Фридрих, по фамилии Боденштедт, прожить безрадостную и никем не руководимую юность в семье со стесненными средствами, и ему непременно захочется (!!) приехать на Кавказ, он случайно познакомится в Германии с князем Михаилом Голицыным, станет наставником его детей, три года будет жить в семье Голицыных на Тверской в доме Олсуфьева, переводя по вечерам Пушкина и Лермонтова, чтоб закрепить в памяти приобретенный запас русских слов (а потом решит испытать публику, выдав кое-какие собственные стихи за переводы из Лермонтова: мол, и я, ох честолюбие! могу не

хуже), и он примет (не сам ли напросился?) приглашение главноуправляющего Кавказским краем Нейдгарда, дальнего родственника, приедет в Тифлис, чтоб прославить Мирзу Шафи и прославиться самому, уводя своих растерянных, разочарованных и напуганных неустойчивой реальностью сородичей в новый романтический (и туманный) мир восточной поэзии, демонстрируя слиянность двух стихий, западной и восточной, и уверовав в рождение нового гения на небосклоне немецкой поэзии, а затем...

Но история эта длинная, как-нибудь в другой раз, а пока мы в келье мечети; Мирза Шафи, не ведающий о Фридрихе, учит Фатали, не помышляющего о Тифлисе, обращаясь к нему, пора уже! почтительно *Мирза Фатали*, дабы вдохновить воспитанника в его рвении к восточным наукам и каллиграфии.

Выводишь ты свои придуманные некогда в далекие времена арабами «алифы» и «беи» в различных их написаниях, прочтениях и соединениях каллиграфическим почерком «насталиг», очень ценящимся на Востоке, будто ткешь узор к узору, орнамент к орнаменту, рука устала, глаза слезятся, спина разламывается, и долго потом ноет плечо, и что-то колет в лопатке; белизна бумаги радует глаз, когда только садишься, положив на колени дощечку и обмакнув тонкое тростниковое перо в чернила. *«Если все моря чернилами станут, а все леса — калемами, то и тогда не описать мне страданий, выпавших на долю мою»*, — звучат в голове чьи-то стихи.

Буквы — вроде стройных тополей или похожие на Ковш Семи Братьев на низком и черном южном небе, а то и на взлетающих, вытянув шеи, лебедей; а сколько точек, будто родинки на белой щеке...

Разные чувства вызывает в людях это письмо, которым выражаются слова в трех языковых системах — арабской, персидской и тюркской, — благоговение, будто берешь в руки не какую-то обычную писанину, а самое что ни на есть священное писание; и надо непременно — не то грех! — слегка прикрыв веки, приложиться губами; случается, письмо вызывает и иное чувство (как сказал бы алхимик, одуривший шекинцев-нухинцев, этих «нухулулар», а еще прежде царя и его чиновников, коих не раз еще очарует арабская вязь, своим умением превращать груды меди в чистейшее серебро, — он представил кавказскому наместнику искусно составленную смесь серебра с песком, будто руда эта находится в Хачмасских горах, в Петербурге изучили, и алхимик

получил субсидию), — безотчетный, почти мистический страх, первозданная боязнь, ведь премудрость-то какая! только избранным и постичь эту вязь, заклинание какое или безмолвное общение с неземными силами, затаив дыхание, неводишь глаз, как выводятся линии.

Что вы говорите? я не расслышал, громче!.. Да, да, вы правы, Ладожский, и иные реакции вызывает эта вязь, — подозрительность: «А ну, что ты там связал-соединил неведомыми крючками-закорючками, какую крамольную мысль запрятал, дерзость какую замыслил в этой своей тайнописи! бред фанатика? козни злодея? вероломство лазутчика, выдающего турецкому султану, персидскому шаху или египетскому паше, или кому еще, секреты империи, не подлежащие разглашению?»

— Но это же по ведомству Никитича, Ладожский!

— Кто вам эту глупость сказал?! Какой Кайтмазов?

— Вы что же, своего верного помощника?..

— Ах, Кайтмазооов!

— Нет, нет, Кайтмааазов.

— Ну да, он пошутил, а вы всерьез! Мы с Никитичем, да и вы тоже, одно общее дело делаем, имперское!

Чуждые звезды на чужом небе, эта вязь! и чувство негодования: нет чтоб как у всех! У, эти армяне, грузины и татары! и горцы! страх, что уйдет-ускользнет нечто важное, рассыплется, и не соберешь уже воедино эти нанизанные на ниточку буквы-шрифты, упустишь — и не снести тебе потом головы, а заодно и поста, и чина! сжечь? конфисковать? изъять, чтоб потом на растопку?

— Да, Фатали, — говорит Мирза Шафи, — тебе уже двадцать, и ты образован, знаешь фарси, арабский, тюркские языки, восточную поэзию и философию Востока, усвоил и русский, но это без меня, я слышал, как ты у казармы с офицером говорил, да, сам изучил, одолел, почти наизусть знаешь премудрый, с обилием темных и неясных частей и смыслов Коран. Мы с тобой говорили о суре «Скручивание», помнишь? *Когда солнце будет скручено, как фитиль, и когда звезды померкнут, отлетят, и когда горы с мест своих сдвинутся, и когда девять месяцев беременные верблюдицы будут без присмотра, и когда все звери столбятся, и когда моря перельются, и когда зарытая живьем будет спрошена, за какой грех она убита, и когда тайные свитки развернутся, и когда небо будет сдернуто, и когда ад будет разожжен, и когда приблизится рай, узнает душа, что она приготовила...* А дальше как? теперь ты!

И Фатали (сколько зубрил он эту суру!) продолжает:

— ...но нет, клянусь движущимися вспять, текущими и утекающими в небытие, и ночью, когда она тьма, и зарей, когда она дышит! Это — поистине слово посланника благородного, обладающего силой у властителя могучего трона, встречающего покорность; и ваш товарищ не одержимый, он ведь видел его на горизонте, и он не скупится на скрытое. И это — не речь сатаны, побиваемого камнями. Куда же вы идете? Это ведь только увещевание мирам, тем из вас, кто желает быть прямым. Но вы этого не пожелаете, если не пожелает он.

— Да, есть еще во что углубляться, чтобы постичь до самого донышка, хотя это недоступно разумению смертного, — в волшебные мгновения всевышний желал ниспослать Мухаммеду свои откровения, чтоб через него росло племя правоверных; не все ясно в Коране, но жизнь впереди ясна, ибо закончились в этих краях кровопролитные сражения.

— А Шамиль?

— Да, да, пожары потушены, хотя кое-где земля еще дымится, очажок огня то здесь — затаптываешь сапогом, то там — надо спешить, чтоб каблуком, каблуком, вдавить, растоптать, в пляс, в пляс!..

А потом Мирза Шафи задал Фатали странные вопросы:

— Любил ли ты, Фатали? По глазам видно — не любил. А если не любил, то ты еще не вполне человек. Но, как сказал один поэт, неважно кто (Фатали потом узнал: сам Мирза Шафи!), любовь мужчин не терпит многословья, чем ярче пламя, тем прозрачней дым. Ладно, ответь мне тогда: ненавидел ли ты? Нет? Ну тогда ты и вовсе не человек еще!.. — оказывается, для того лишь, чтоб к главному перейти вопросу: — Но скажи, какую ты цель преследуешь, изучая Коран?

?!

— Неужели и ты хочешь стать лицемером и шарлатаном?

!!

— Мирза Фатали, не трать попусту свою жизнь, найди другое занятие.

На склоне лет Фатали вспомнит об этом разговоре и запишет:

«В одной из келий гянджинской мечети жил некий Мирза Шафи, происходивший из этого края. Это был тот самый Мирза Шафи, о жизни и талантливости фарсидских стихов которого много писалось в Германии. По распоряжению сво-

его приемного отца я каждый день отправлялся к этому уважаемому человеку, постепенно между нами создались дружеские отношения. Однажды он спросил меня: «Мирза Фатали, какую ты цель преследуешь изучением наук?» Я ему ответил, что хочу стать моллой. Тогда он сказал мне: «Неужели и ты хочешь стать лицемером и шарлатаном?» Я был крайне изумлен и спросил его, что он хочет сказать этими словами. Мирза Шафи, увидев мою растерянность, ответил: «Мирза Фатали, не трать попусту свою жизнь среди этой черни. Найди себе другое занятие».

Когда я спросил причину его ненависти к духовенству, он начал рассказывать мне о вещах, которые до того времени были для меня покрыты мраком. До возвращения моего приемного отца из паломничества Мирза Шафи внушал мне просвещенные идеи и снял с моих взоров покрывало неведения. После этого события я возненавидел духовенство и изменил свои мысли».

Никто не гнал, а ты уже скачешь над пропастью, и такое творят хлынувшие вдруг из-за поворота скалы, будто живые существа, разорванные клочья тумана, только держись!

гибель зодчего-отца,— сначала ослепили, чтоб другие ханы не смели заказывать и чтоб не повторились узоры в их залах;

и какие-то бесы шепчут вдруг едкие эпиграммы, и ты не можешь их не писать;

и служба у великовозрастной дочери гянджинского хана — красотой не взяла, может, покорит ученостью чье-либо сердце? и губы-лепестки ее младшей сестры Зулейхи;

и песни, и стихи, и безумство — похитить Зулейху!!!

и плети за то, темница, а утром — повесят;

но утро наступает иное: битва, царские войска, бегство хана, не до безумца поэта;

переписка книг, чтоб прожить;

и снова бесы шепчут злое, колкое — эпиграммы!!

и новые побои:

и тут грузинское восстание, беглый грузинский князь в келье Шах-Аббасской мечети (переметнется к персам?... исчез князь!);

и польское восстание, и какой-то чудной востоковед, знающий гянджинского Шейха Низами наизусть!..

и стихи, стихи...

а Фридрих уже в пути; он спешит, какое-то неясное пред-

чувствие славы: нет Гёте, пуст горизонт, новый гений на небе немецкой поэзии?..

и горцы — что им?

и Бакиханов.

стихи!!

«Фатали, может, и тебе?» И Фатали не помнит, как сами собой родились на фарси ранней весной стихи, когда сюда пришла роковая весть о гибели Пушкина: бейт к бейту собрал, сложил свою «Восточную поэму».

Но еще предстоит встреча с бароном Розеном в Тифлисе, куда они приехали с Гаджи (за паломничество в Мекку!) — Ахунд-Алескером, чтобы с помощью Бакиханова устроиться на работу: служить царю. И в каждой трели окрыляющее: «Я верноподданный!»

Дважды приезжали: весной (а Бакиханова нет. «Ждите,— сказали им в канцелярии,— скоро прибудет из Петербурга») и поздней осенью. Юноша понравился Бакиханову: открытый чистый взгляд, умные глаза, сдержан. В восточных языках превосходит, а с русским — не очень. Что ж, двадцать один год уже Фатали, поработает здесь, осилит и русский. И неизвестно, как отнесется еще барон Розен, а он, к удивлению Бакиханова, тотчас согласился: «Ты думал, что не приму, раз просишь ты, а я приму и развею миф о твоей незаменимости».

И вспомнит Фатали первые переводческие опыты (неужто о себе?), когда выстроит драматический сюжет: не поймут друг друга ни заседатель, ибо говорит на чужом языке, ни крестьянин, не понимающий, за что его судят, ни переводчик (ему и перед новыми властями надо выслужиться, и своих земляков жаль).

— *Что за дичь ты несешь?*

— *Заседатель спрашивает: каких диких птиц ты ему принесешь?*

— *Доложи ему,— просит крестьянин,— прекрасных куропаток принесем ему, турачей, по достоинству примем и проводим.*

Фатали запомнил озабоченность на лице барона и многие годы спустя, роясь в архиве, понял: именно в те годы решалась участь грузинских князей-заговорщиков; и его, Розена, «мнение о наказании исправительными мерами»,

есть и постановление Аудиториатского департамента военного министерства, утвержденное царем, о виновности подсудимых и разделении (есть опыт прежних лет!) их на категории; и четвертование; и «милостивое смягчение» (тоже есть опыт!)

Фатали поразило: среди заговорщиков был и негр узин, Молла Заман; кто? земляк? или связь с Персией?

И приказ за номером 485 (только начался январь тридцать пятого года — и уже столько?): *«Шекинского Муллы Гаджи Алескера сын Фет-Али, зная российской грамоте и хорошо обученный языкам арабскому, персидскому, турецкому и татарскому, назначен по канцелярии его превосходительства штатным переводчиком».*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ,

ИЛИ

НЕСКОНЧАЕ-
МЫЙ
КРИЗИС
ИЛЛЮЗИЙ



Но прежде — о первом серьезном поручении барона переводчику своей канцелярии Фатали.

Какая мелкая месть (и так отныне и на всю отпущенную жизнь)!

Это часто теперь: воззвания, прокламации, листовки в стан мятежных горцев — чтоб сдались, уgomонились, стихли.

— Объявить горцам! — велит барон. И отчего-то по-арабски.

— Может, лучше по-тюркски? — предлагает Фатали. Или это — испытание?

— Как угодно! Только втолкуйте им так, чтоб засела в их тупых башках! Что впредь!..

И грозит, и страшает, разгневан барон; и насчет бурок (??) — будут конфискованы бурки, купленные ими, — кем? горцы и те, и эти! — у андийцев и привезенные сюда, в Тифлис, или куда-либо в наши пределы! И что об этом предписано и гражданской милиции.

— Никакого спуска! Война по всем направлениям! И до полного истребления!

И месть эта потому, что мятежный Гамзат-бек ширит свою власть в горном Дагестане и берет верх над домом аварского хана, преданного царю; но разве можно верить и ему?! тучный, как кабан, дикарь!

И Фатали впервые услышал о полководце Гамзат-бека Шамиле, легко склонившем андийцев, койсублинцев, гумбетовцев, анкратальцев, богуляльцев, джамалальцев... — *привыкай, привыкай!*

Особенно был разгневан барон, когда узнал, что Гамзат-бек обманул аварскую ханшу; ей надо было немедленно дать знать им через лазутчика, ведь знает, кому мы платим! и никто не отговорил ее послать детей на переговоры к Гамзат-беку — он тут же обезглавил сыновей ханши и, пленив ее, захватил Хунзах.

— Сыграйте на религиозных чувствах старшин Хунзаха! Насчет Кербелы и убиенных имамов!

— Но они сунниты! — робко вставил Фатали.

А барон глух:

— Вызовите у них эти страсти, чтоб с Гамзат-беком покончили!

Барон забраковал сочинение Фатали: «Да-с, еще не оперились!»

Но к чему эта ложь?!

«Убит Гамзат-бек!» И барон — какая улыбка на лице! — только что сообщил военному министру: «В мечети во время молитвы». И первый, и второй имамы пали при бароне Розене. Государь будет доволен: и Гази-Магомед, и Гамзат-бек. Сам барон, это было начало его деятельности на Кавказе, отправился в бой, чтоб сломить сопротивление Гази-Магомеда. Битва при Гимри была кровавая и упорная, и Гази-Магомед пал. Да, да, это была ошибка барона!! Он велел выставить тело в том виде, как нашли, чтоб вселить полезный страх, но действие оказалось противным: смерть возвратила имаму важность, он держал одной рукой бороду, совершенно белую, окаймлявшую смуглое лицо его, а другой указывал на небо: положение как при молитве!! и доверие к его учению воспламенилось с новой силой! весь вид Гази-Магомеда звал на борьбу: он лежал в зеленой чалме, растянулся во весь свой высокий рост, худощавый, с выразительным лицом.

И Гамзат-бек! Чужими руками! Розен пожаловал убийце — Хаджи-Мурату чин прапорщика милиции и официально поручил управлять аварским ханством; а потом, чтоб снова посеять козни, Хаджи-Мурату велено уступить ханство верному человеку царя — Ахмет-хану Мехтулинскому. Долго за ним охотились, Гамзат-беком, и неизменно он как призрак ускользал, — всегда был одет в белое, а на шапке носил чалму, серую, белую или черную, смотря по обстоятельствам: во время въезда в Хунзах был в черной чалме, потому что Мухаммед в день входа в Мекку тоже имел черную чалму; какие-то дезертиры в царских мундирах сопровождали его повсюду, отчего разнесся слух, что телохранители — беглые солдаты царя.

Специально созвал барон канцелярию, как только пришла весть об убийстве второго имама Гамзат-бека, чтоб поговорить об искусстве проповеди, и новичков, он особенно симпатизировал Фатали, а за что, и сам не поймет (да и поэмы еще нет!), выдрессировать: «Учитесь у горцев, как за-

жигать подвластных!» Барон взял за основу одну из речей первого имама — она была записана восторженным слушателем, распространена в значительном количестве по всему Дагестану, и к барону Розену, естественно, была доставлена: «Первый долг ваш убеждением и мечом распространять в мире свет веры! Кто считает себя мусульманином, для того первое дело газават, священная война против неверных, — вооружаться, бросить семью, дом, землю и не щадить своей жизни! А вы? Что вы сделали? Что делаете вы!! Вы жалкие трусы! Вы жадно гоняетесь за земными благами! Народ!! напрасно исполняешь ты молитву, небо отвергает их! Вся жизнь ничто, когда над вами царская власть!»

Да, барон осадил Гимринскую крепость, пал первый имам! И еще одна досада к той, что допустил, выставив на обозрение мертвого Гази-Магомеда, — упустил Шамиля!! Может, и его, третьего имама, суждено убить барону?!

А ведь, раненный двумя пулями, Шамиль пал замертво, все видели, у ног Гази-Магомеда! его считали убитым! И вдруг явился через короткое время между горцами и показал свою грудь с открытыми ранами, из которых не текла более кровь!! и горцы воскликнули — клич этот дошел и до барона: «Аллах спас от смерти Шамиля, чтоб он победил живых!» И во второй раз, когда взяли крепость Ахульго, Шамиль был там, но непостижимым образом исчез! И еще: когда в Хунзахе подожгли замок, а в нем — Шамиль, все, кто был там, сгорели или погибли от меча, один Шамиль спасся, но как?! и каждый раз спасение свое он приписывал, громогласно объявляя это, воле рока!

И легенды о Кавказе переиначил в свою пользу: всевышний-де положил Кавказский хребет границей, охранительной стеной и вечным сборным местом правоверных народов и государств — против Гога и Магога, обитающих по ту сторону гор. И что канун судного дня: неверные в своем ожесточении хотят сломить волю правоверных, а халиф-де далек и слаб, потому пророки и полководцы, охраняющие мир правоверных, избраны из числа горцев, — падет один, встанет другой, падет второй — восстанет третий! и третий он, Шамиль!

Удивительное дело: то вдруг Шамиль знает такое сокровенное, что и самому себе не признаешься, а то наивен, как ребенок. «Мы сами хотим своими землями править, почему чужие?! Дружить, но не быть рабами!»

Фатали послан бароном к генерал-майору Клюки фон Клугенау; у Фатали располагающее на откровенность дове-

рительное лицо, и с ним близ Гимры встретится Шамиль, надо убедить, уговорить его прекратить борьбу и явиться в Тифлис (???), куда прибудет вскоре сам государь.

Шамиль высокий, у него большие задумчивые серые глаза, сплошная жесткая щетина, сжал губы, и они не видны. «Ты погляди, как гибнут горы! ты видел кровавые горные реки?! они прежде всегда были чисты!» Неумолим. Но уже другой взгляд, умиротворенный, — пора молитвы, и Шамиль молится. Но отчего эту суру шепчут его губы: «Клянусь небом и идущим ночью!.. звезда пронизывающая... они ведь замышляют хитрость. И я замышляю хитрость. Дай же отсрочку неверным, отсрочь им немного».

Сколько бился над сурой Ахунд-Алескер, чтоб втолковать Фатали, а и сам не поймет.

Обещал и — обманул. Но кто первый? — выстрел снизу или камень сверху?! «Не я нарушил, — перевел Фатали письмо Шамиля, барон верит только переводчику своей канцелярии, — а вы, и я поднял оружие для собственной своей защиты, и дело сделалось по воле всемогущего Бога и великого Пророка».

Что ж, придется карать!

«... и на рассвете, подойдя к сему селению, окруженному лесом, послал казаков. Люди, искавшие спасение в бегстве, были пойманы и истреблены. Сопротивлявшиеся сделались жертвой своего отчаяния. Погибли на штыках егерей. Сакли горели. Деревня Кишкерой, состоящая из десятков дворов, с значительным запасом хлеба и сена, предана огню».

СТРЕЛЫ СМЕРТИ

— Ай да шекинец-нухинец, ай да хитер! — сказал Бакиханов, когда Фатали прочел ему свою восточную поэму на смерть Пушкина.

Но написал бы сам! А правда, подумал, почему не он? Ах, мундиииир!.. «Наивный, наивный Фатали», — усмехается Аббас-Кули; во взгляде у него постоянно какая-то горечь; можно принять за высокомерие или за иронию: из ханского рода все же; а Фатали кто? И почти в сыновья ему годится; и по чину между ними пропасть.

Но почему не он, Аббас-Кули-ага Бакиханов? А ведь знал, и очень близко знал, трех Александров (трех ли?): одного убили в Тегеране фанатики азиатцы, другого... кто же другого? поди ответь! дуэль?.. Был недавно Лев-Леон в

Тифлисе, брат поэта, штабс-капитан, будто яблоко одно разрезали пополам, так похожи,— виделись с ним в Петербурге, как всегда, беспечен, весел, вспоминали, как ругал поэт петербургский свет, мол, душен для него, и насчет отечественных звуков: харчевня, кнут, острог. И отец ему: «Ты не исправим!» Но ничто не предвещало беду. Нелепая гибель! А третий Александр — тот, кто будто бы за царя, а ведь посягал на его жизнь! и будто бы против горцев, а ведь воспел и воспевает их! Но горец о том не знал, когда целился в него. И когда нажал курок...

Что писать о них? И как напишешь? О первом, о втором, о третьем? Первого Фатали не знал, только слышал; о втором и читал, и много слышал, глава поэтов, а третий — он еще жив, пуля горца еще не настигла его,— Бестужев-Марлинский, и он поможет Фатали.

— А за хитрого шекинца-нухинца не сердись. Это я так, кто из нас не любит посудачить? Уколоть без умыслу, просто от безделья или беззаботного времяпровождения, когда темы беседы иссякли, а время надо заполнить, вот и вспоминают то одного, то другого: «Ай да Фатали! Ай да хитер! Ай да шекинец!..» Я же любя!

Ты знал трех Александров и печалился об их судьбе. И он, тот, который будто бы за царя и будто бы против горцев, тоже сокрушался о судьбе Александров: «Я был глубоко тронут трагической кончиною Пушкина... Я не сомкнул глаз во всю ночь и на рассвете дня был уже на крутой горе, ведущей в монастырь святого Давида. Придя туда, я призвал священника и попросил отслужить панихиду над могилой Грибоедова, над могилой поэта, попранного святотатственными ногами, без камня, без надписи! Я плакал тогда, как плачу теперь,— плакал горячими слезами, плакал над другом и товарищем по жизни, оплакивал самого себя. А когда священник запел: «За убиенных бояр Александра и Александра», я чуть не задохнулся от рыданий: этот возглас показался мне не только поминовением. Да, я сам предчувствую, что смерть моя будет также насильственна и необычна, и она недалеко от меня. Какая, однако, роковая судьба тяготеет над поэтами нашего времени. Вот уже трое погибли, и какою смертью!» Повешен. Растерзан. Убит.

И третий Александр — он сам.

— Кстати, Фатали, я рассказывал тебе как-то о нем,— говорит Аббас-Кули.— Мы вместе штурмовали крепость Байрут, а потом я лжеантиквария разоблачал. Он, Алек-

сандр Бестужев, рядовой егерского полка, и я, главный переводчик при Паскевиче. Представляешь, низкорослый такой крепыш, упитанный, выдавал обыкновенную медную крышку, ты ведь знаешь, она на шлем похожа, за шлем самого пророка Мухаммеда! Ну и плут! — И умолк. До разоблачения ли теперь лжеантиквария?!

— Есть еще четвертый, Аббас-Кули-ага, и он, ненадолго переживший всех их, в бреду малярийной лихорадки вспоминал своих тезок, — Александр Одоевский! Вы с ним разминулись в пути, может быть, в Шемахе: вы ехали, отозванные бароном Розеном, из Кубы в Тифлис, а он — в Кубу, подавлять кубинское восстание! О вас ему рассказывала Нина Чавчавадзе. Его суждено было узнать мне.

Четыре Александра! И еще будут: изгнанный из страны; объявленный сумасшедшим; и — сослуживец Фатали, который возникнет и исчезнет, будто и не было его вовсе. Но Фатали пока знает четырех: одного зарезали, о другом его восточная поэма, третий вскоре будет убит горской пулей, четвертого скосила лихорадка, — это при Фатали Лермонтов шепотом Одоевскому: «Говорили, что ты!..»

Еще один Александр, помимо тех, которые были и будут, — только и разговоров в Тифлисе: вернулся Александр Чавчавадзе!

А как мечтал Фатали попасть к нему домой, познакомиться с ним! Человек-легенда, генерал, с которым даже император — это грузины меж собой — не сладит: дважды ссылали в Тамбов, и оба раза за участие в заговоре за независимость Грузии и восстановление трона Багратидов. Но возможно ли?! Ссылали и выпускали: в первый раз помогло ходатайство отца (еще бы — именем царя Картли-Кахетии Ираклия II подписал Георгиевский трактат, вверили судьбу Грузии России, а потом стал отец Александра Чавчавадзе полномочным министром грузинских царей при Российском императорском дворе), а во второй раз — здесь ходатайств не счесть, и, прежде всего собственные заслуги, — дрался против Наполеона, медаль за взятие Парижа, воевал с персами, а там — удивительно переплелось как! — в стане персидского войска, против Александра Чавчавадзе — другой Александр. Царевич. Сын царя Ираклия II. Много их, братьев, — все угомонились, а он переметнулся к персам, возглавляет войско, надеется с помощью шаха восстановить трон Багратидов!

И враги, и — надежда: ведь с ним, Александром, который надеется, установлен контакт! И шифр для секретной

переписки — особая азбука! — составленный иеромонахом Филадельфосом (!) Кикнадзе. И тщательный план действий — все-все учтено! — «Распоряжение на первую ночь», и день вооруженного захвата власти с надеждами на царевича, и дальние-дальние страны (франки? ингилис?..). И — предательство в собственных рядах! А как он, бывало, плясал, предатель! Ноги-струны, быстрый взгляд, искры из под — теперь-то можно сказать! — копыт. «Иассе! Иассе!..» — кричали ему, а это и возглас, чтоб подбодрить плясуна, и имя его, предателя. А ведь победы тогда восстание, и быть Александру Чавчавадзе военным министром в грузинском правительстве. И он же — не это ль причина снисхождения? — отец неутешной вдовы Нины Грибоедовой-Чавчавадзе.

«А ты о масонстве! Кто за тебя, Фатали, походатайствует?! Какой князь? И никто даже не узнает! Заглохнет голос меж стен каземата, крикнуть не успеешь! Да и кому кричать?!»

Поди ответь Хасаю Уцмиеву!

«Могу вас познакомить, Фатали.— Это Бакиханов, познакомил с Хасай-ханом.— Вы оба ровесники, крепко друг за друга держитесь». Оба статны, Хасай крупнее чуть-чуть, а с Чавчавадзе знакомить не спешит: ханская гордость не позволяет Бакиханову являться незвано к грузинскому князю. А может, хочет сначала приглядеться, что к чему? Чист, ну а все же? «Крестник Екатерины Великой! — говорит или размышляет вслух Бакиханов.— И дочь-красавица, названная в честь императрицы Екатериной!»

Может, Одоевский?

Он ввел к Чавчавадзе Мишеля на правах друга Грибоедова (и родственника: оба родственными узами связаны с женой Паскевича!), может, Мишель введет Фатали?! Но он сам-то был лишь раз, а Одоевского скосила лихорадка.

Фатали говорил бы с Александром Чавчавадзе на фарси о Хайяме, которого поэт перевел на грузинский. Так и не навестит. То да се, а там нелепая гибель князя осенью: с чего-то внезапно испугалась лошадь, впереди будто блеснули волчьи глаза,— шарахнулась, кучер не удержал вожжи, князь, приподнявшись, успел их подхватить, но пола шинели попала меж спиц, накрутилась на колесо и выбросила его из одноколки-пролетки; он ударился головой о мостовую и вскоре умер. Фатали пришел на похороны, видел Золотую саблю князя за храбрость в боях с Наполеоном и орден

Белого Орла на бархатной подушке. На похороны пришел и Хасай Уцмиев: виделись с Фатали весной (масонские разговоры!), а теперь осень (Хасай-хан в свите наместника).

Одоевский желтый-желтый, губы воспалены. Улыбнувшись, выступила кровавая трещинка на ранке: «Мне улыбаться нельзя». Фатали это знакомо — мать! Здесь и Мишель, но Фатали много лет спустя понял, что означает: «...говорили, что именно ты о мечях и оковах»; прочтет лет через двадцать тонкий-тонкий листок: *К мечам рванулись наши руки, но лишь оковы обрели.*

И к Фатали, будто споря с ним:

— Да и прочли вы разве мои стихи прежде, нежели написали свою элегическую восточную поэму, этот, кажется, в «Московском наблюдателе» я прочел, прекрасный цветок, брошенный на могилу Пушкина.

А в ушах Фатали — слова барона Розена: толстые губы, одутловатые щеки, багрово-красные генеральские погоны; пунцово-алое и желтое-желтое, но как похожи их головы!

— По-моему, — это Одоевский, — вы не могли их прочесть тогда!

И о том же — читал или нет? — говорили с Бестужевым.

— Ууххх, как холодно! — Дрожь передается и Фатали. Малярийному комару очень по душе кровь ссыльных.

«Впивайтесь, впивайтесь!..» — император шлепнул по руке — меж рыжих волос запутался безобидный северный братец южного малярийного комара; смельчак — испробовать царской крови! Шлепнул, а потом вывел размашистым, но четким почерком резолюцию, как обычно, по-французски («О Россия, с нерусскими царями!») на ходатайстве, кажется, барона Розена, просьбе («за такие ходатайства!!») разрешить перевести измученного лихорадкой Бестужева из Гагры, где свирепствуют малярийные комары («знают, кого кусать сердешные!» — подумал, это случилось изредка, по-русски император), в другое место («может, в Санкт-Петербург?!»): «Не Бестужеву с пользой заниматься словесностью! Он должен служить там, где невозможно без вреда для здоровья».

Неужто это Бестужев? И так близко! Потрясен и Бестужев: уж где-где, а здесь и не мыслилось прежде, что придет день, — и он вчитается в иноязычные строки о Пушкине; что-то новое, другими глазами, иной душой; и далекое и близкое. Если б доверились Фатали, и он бы смог прочесть

стихи северного собрата! А те, кто, «съев волчье сердце», пошли в декабре на падишаха, и представить не могли себе! Чтоб иноязычные? чтоб иноверцы?!

— Барон, если помните, всегда восторгался, что письма из Тифлиса и в Тифлис из Петербурга приходят за одиннадцать дней!

— Почта! Да разве можно такое по почте?!

— Прочти я те стихи, может, и поэма была б другая!

— Полно скромничать! Вы можете гордиться своей поэмой! А что касается тех стихов, боюсь, обожгли б себе руки, попадись те листки к вам!

— Как вы могли — знать и не показать! Я догадался потом, как вспомнил выражение вашего лица, когда барон Розен спросил вас: «Вы читали стихи на смерть Пушкина?» И когда, уже зная о тех листках, да, да, я много дней ходил с обожженными пальцами (что пальцы? горело нутро!), заново просмотрел ваш перевод моей поэмы, сначала, не скрою, удививший и испугавший меня!

— Вы ж были наивны, Фатали! Да и прошло-то ведь всего три года, как вы пришли на службу к барону.

Как рассказывает благовоспитанный и добрейшемилейший — таковы невосточные востоковеды, как правило, краснощечие, стыдливые, с седой треугольной бородкой, позволяющие себе лишь изредка, но непременно безадресно браниться: «Это черт знает что!» — востоковед Адольф Берже:

в мае тридцать седьмого года была предпринята карательная («ну, зачем?!» — вычеркнул!) экспедиция в Цебельду под личным начальством главнокомандующего, в свите которого находились Мирза Фет-Али и причисленный к Грузинскому гренадерскому полку Бестужев, пользовавшийся особым расположением барона Розена (обожал государственного преступника!). По приведении в покорность цебельдинцев (три повешенных на пяточке сельской площади и двадцать убитых, — но не писать же об этом!) отряд возвратился в Сухум, где его уже ожидали суда, на которых он должен был отправиться к мысу Адлер для наказания горцев. (И горец о том знал! Знал, когда целился и когда нажал курок!) За три дня до отплытия в море Бестужев — в числе других — обедал у барона Розена, который между прочим спросил его:

— Вы читали стихи на смерть Пушкина? — Бестужев растерялся: читал ли он!! За столом оцепененье, застыли. Барон — он-то читал! не могли его из Санкт-Петербурга не

уведомить! — быстро поправился, глядя невинными глазами на Бестужева: — Ну да, стихи нашего Фатали.

Отлегло!

— ...наш юный друг Фатали посвятил памяти Пушкина трогательную восточную поэму, очень вам советую переложить ее на русский язык.

«Что же вы раньше мне не сказали, Фатали?»

«А вы? Что же вы скрыли от меня?!» — Фатали знает: ходят листки по рукам! Но как достать? Спросил у одного: «Вы случайно не слышали?..» Тот оловянно уставился на Фатали и повел плечами. Еще у одного. Тот оживился: «Что? Какие? Покажите?!» Не к самому же барону идти?!

Спросить у Бестужева! Но как? Если бы желал, мог бы сам: поздней весною или ранней летней порой.

— А где оригинал?

— Боюсь, что не поймете.

— Я не пойму? Ваш, можно сказать, ученик?! — и продекламировал: («Почему именно эти стихи? Я понял лишь потом, когда прочел поздним летом или ранней осенью те листки!..») — *«Гечме намерд кюрписиндан, кой апарсын чай саны! Ятма тюлкю далдасында, кой джирсин аслан саны!»*

Будь здесь Адольф Берже (а ведь рассказывал с чьих-то слов, ибо юн был в те годы, девятый ему пошел тогда), тут же перевел бы, ибо сидел бы рядом с бароном: «Не ходи через мост лукавца, пусть лучше быстрина унесет тебя. Не ложись в тени лисицы, пусть лучше лев растерзает тебя!»

— Но я написал на фарси.

— Почему? — сник Бестужев. — У вас же у самих прекрасная поэзия! — И снова продекламировал: — *«Чах дашы, чахлах дашы, аллах версин ягышы!»* — И сам же перевел (Адольф Берже мог на минуту отвлечься: его внимание привлекли бы матросы, чинившие паруса). — «Кремышки, камышки, дай бог вам умыться дождя!» Да-а! Надо было вам, Фатали, на своем языке написать! — И тут же, чтоб сгладить упрек: — С вашим языком, Фатали, как с французским в Европе, можно пройти из конца в конец всю Азию, весь Восток! Ну да ладно, не огорчайтесь, в другой раз напишете на своем.

На первых же словах поэмы: *Не предавая очей сну*, Бестужев запнулся, потрясенный: это ж и его слова к брату, когда узнал о смерти Пушкина: «Я не сомкнул глаз...»

Не предавая очей сну, сидел я в темную ночь...

— Фатали, дайте мне перо! — и стал править, шевеля губами, вчитываясь в текст. — Чуть-чуть иначе.

Не предавая очей сну, сидел я в темную ночь и говорил своему сердцу: О родник жемчужин тайн! Отчего забыл песни соловей цветника твоего? Отчего замолк попугай твоего красноречия?

Бестужев знает: попугай в восточной поэзии образ высокого искусства.

Взгляни кругом, — наступила весна, и все растения красуются юною прелестью, словно девы! Берега ручейков, бегущих по лугу, подернулись фиалками. Огнистые почки розы вспыхнули в цветниках. Готово облако обрызнуть — не оросить! — цветник дождем, а ветерок — не зефир! — отдать ему свое благоухание. Все теперь наслаждается и веселится, распроставшись с печалью. Все, кроме тебя, мое сердце... Откуда же теперь печаль твоя? Не знаю, для чего ты теперь стенаешь и сокрушаешься, как плакальщица похоронная?

Фатали молча наблюдает; Бестужев работает, сложив ноги на стуле, старая привычка, исправив шепчет, чтоб постичь музыку стиха.

Отвечало сердце: «Товарищ моего одиночества, оставь меня теперь самому себе. Если бы я... не ведало, что за вешним ветерком дуют вихри осенние, — не бурный вихрь осени! — о, тогда я перепоясал бы мечом слова стан наездника поэзии на славную битву. Но мне знакомо вероломство судьбы и жестокость этой изменницы! Я предвижу конец мой! — Оторвался от листка, это ж обо мне читай! читай! — Безумна птица, которая, однажды увидев сеть своими глазами, для зерна, — нет-нет, не подвергается беде, а вновь летит на опасность!» — Поднял глаза на Фатали: «Безумна ль?»

Разве ты, чуждый миру, не слыхал о Пушкине, о главе собора поэтов? О том Пушкине, от которого бумага жаждала потерять свою белизну, лишь его перо рисовало черты на лице ее!.. Прицелились в него смертной стрелой. Исторгли корень его бытия. Черная туча градиной побила плод его жизни. Грозный ветер гибели потушил светильник его души, как тюрьма — не «терем»! — стало мрачно его тело... — Шепчет, правит, снова шепчет.

Россия в скорби восклицает по нем: «Убитый злодейской рукою разбойника мира!»

— Неужто читал?! Но к чему тогда это да будет в небесах другом твоим малосердие Божие?! — И последняя

строка в ахундовском переводе, прочитанная вслух: *Старец седовласый Кавказ ответствен на песни твои,— исправил: песнопения твои стоном в стихах Сабухия. Сабухия?*

— Сабухи!

— Это что же, ваш псевдоним? — в вопросе Бестужева Фатали уловил иронию.

— Как же без этого? У поэтов восточных, вы знаете, есть обычай сверх настоящего имени принимать пиитическое.

— И что оно означает?

— «Утром выпитое вино».

Ожидал нечто выпренное: «Лучезарный», «Мудрый», а тут — и слово-то какое! впервые слышит — такая странность.

— Но утром пьют,— улыбается,— чтоб после пьяной ночи опохмелиться? К тому же, это я точно знаю, вы совершенно не пьете!

— Что вино? Я был хмельной,— и смотрит серьезно, чуть побледнел,— проснулся утром, и такая вдруг ясность и трезвость, но к чему они мне, нужно ли озаренье печали, если кругом творится такое?!

— И вы тоже! — Умолк, задумался.— Но раз была уже трезвость, не скрыться от нее! И вас не спасут, увы, хмельные ваши глаза! А псевдоним...— как бы сказать, чтоб не обидеть? — это уже игра!

— Но и у вас! — Фатали узнал потом: Марли — один из навильонов Петергофа, названный Петром Великим в память резиденции французского короля.

— Мой! — махнул отрешенно.— Не надо никаких псевдонимов, друг мой, поверьте мне! У вас такое чудесное имя: Фатали! Да, Фатали Фатальный!

Не спросил: почему фатальный? Только слушал. А Бестужев вдруг — будто на исповеди — рассказывает, никак не остановится: и о том, как накануне рокового декабрьского дня собрались всей семьей — мать и ее восемь детей, пятеро сыновей и три дочери, он и его братья и сестры. «А какой был обед!.. Потом распрощались с матушкой и сестрами, трое навсегда!.. О, картечь! Ни вдоха, ни судорожного движения, стояли и валились замертво. Еще, еще, еще!.. И эскадрон конной гвардии. Побежали, но где спрячешься? Картечь догоняла лучше, нежели лошади, прыгая от стены в стену и не щадя никого». И о Якутии, куда сослали: летом ночи без теней, а зимой дни без света. И мириады комаров, крупных и рыжих. Они лезут в глаза, рот, в уши, раз-

давишь на лице, а на руке сидит уже десяток. «Якут закричит: «Балык пада?» — «Сок, по-вашему — йок», — отвечаю ему. — И умолк: слово, которое я знаю очень твердо, жаль только, что не затвердил его ранее. Рассказать, как картечи свистели подле ушей и, попадая в водосточные трубы, пробивали обе стенки навывлет? И какие мучения терзали, когда три дня прятался? И о думах: бежать за границу? Но где взять деньги? Вернуться домой? К себе на квартиру у Юсуповского сада, где жил как адъютант принца Вюртембергского? А сыщики?! Идти к брату, ведь командует маяком! чтоб отправил меня в Швецию? Но брат тоже, верно, арестован, да и море замерзло!

И принял решение: предаться воле государя. Когда шел, казалось, что каждый хочет схватить. А на Дворцовой площади тройная цепь солдат. Воткнул султан в шляпу (шел без него) и твердыми шагами пошел ко дворцу. Прошел все цепи и — в дворцовую гауптвахту. «Бестужев!» — вскричал караульный, вытаращив глаза. А потом комендант. «Представьте меня государю! Сказать слово и дело». И встреча с государем. Стал на колени: «Вашему императорскому величеству принес покорную голову». Расчет? Покровительство-вал более случай: перед ним был Рылеев и называл государя высочеством, наговорил дерзостей. А здесь — покорная голова Бестужева.

Рассказать о каземате? О следственной комиссии? Как дерзил следователю: «У нас кто смел, тот грабит, а кто не смел, тот крадет»? О храбрых делах накануне, когда смело и решительно — юнцы!! — устраивали новое правление в России, сводили государей с трона, делили министерства и войска? И нелепые слухи: Ермолов штурмом идет на Москву! Наше отечество, которого мы не знали! Улучшить то, чего не ведали!

— О да, *демос!*.. — сказал многозначительно. — Мы — ничтожная часть! А чернь довольствуется настоящим и ее мало волнует будущее.

— Нет-нет, оппозиция не в чести у черни! Сколько погибло надежд! Поставили свой жертвенник под дерево вольности.

Но о братьях рассказал: первым уйдет сам. Следом Петр, сошел с ума на Кавказе. «Хожу, как сердце выронил. Он очень болен, а я не могу лететь к нему!» Потом уйдет Павел, назвавший своего сына в честь брата Александром. «Жив, — рассказывает о брате, — но что толку: погублен талант! Ах, какой прицел к пушкам он изобрел, истинно бес-

тужевский!» Потом Николай, каторга, и Михаил, тоже каторга. Воспоминания замучили, и каждый раз как будто вчера это было. И больше ни слова, за работу — сложил ноги на стуле, старая привычка.

«Отчего ж фатальный?» — спросит как-нибудь потом, да поздно будет спрашивать: через три дня высадка десанта на мысе Адлер, атака на горцев. Куда? (А Бестужев — адъютант при генерале Вольховском, лицейском друге Пушкина, и свояки с декабристом Розеном, нет-нет, однофамилец с бароном.) «Не рисковать, — наказывал ему Вольховский. — У вас и без того довольно славы». Пстой! А Бестужев вперед и вперед! Или пуля или лихорадка! замучила до смерти!.. Густые кустарники, перерезанные оврагом, папоротник, сплетение диких виноградников, куда? Отбой, трубит горнист отступление, а он не слышит, в ушах: «Кто-то изрублен на куски». Вперед!.. «Я предвижу конец мой!»

Горец целился метко, еще бы не попасть в этого неистово рвущегося вперед, так близко. «Пусть плачет мать гяура!»

И тела не нашли. Забрали горцы? Похвалиться, что убили прапорщика, — произведен был только что.

«Единственная моя молитва — не умереть на одре страданий либо не пасть на незначительной стычке».

Исчезновение Бестужева — ни среди убитых, ни среди живых! — породило слухи: жив, скрывается в горах; ведь было однажды, соболезновал Пушкин: «Здесь слух о его смерти — искренне оплакивали и обрадовались его воскрешению»; нет ни того, кто писал, ни того, кому писали (письмо даже не застало в живых адресата, Сенковского, главного редактора «Тифлиских ведомостей»); сдался горцам в поисках романтических сюжетов; предался, чтоб сражаться против царя, — не удалось, мол, на Сенатской, решил здесь. Так и не узнал горец, какие слухи породила его пуля.

А стычка была незначительной — крепость вскоре пала; и романтические сюжеты, увы, вышли из моды. «...единственная моя молитва!»

И еще один слух, он будоражит воображение Дюма-отца (еще один Александр!): Шамиль — это Бестужев! или Бестужев — это Шамиль! Задыхается от своих романтических сюжетов (не вышли из моды!), а тут новый, заманчивая идея, и он откладывает из года в год поездку на Кавказ, — «Три мушкетера»! «Двадцать лет спустя»! — когда ж поедет! «Виконт де Бражелон»! «Королева Марго»! «Граф Монте-Кристо»! Ну вот: кажется, пора! И двинется в путь (о чем — в свое время).

— Лббас-Мирза, Хозрев-Мирза...— стал вспоминать Лермонтов.— И вы Мирза?

Фатали растерялся и заученно произнес:

— Слово Мирза, прибавляемое после собственного имени, означает принца крови, а если перед именем, как у меня,— выражает ученость.

— Помилуйте, нельзя ли проще?! Татарин?

Фатали улыбнулся. Как объяснить? По-всякому называли и называют и будут, вероятно, еще долго называть: и татарин кавказский, и азербайджанский татарин, и турок, и тюрок, и турок азери, и просто азери, и даже туркман, рассказывал Ахунд-Алескер после паломничества,— так называли наших переселенцев в Ирак оттоманцы, чтобы отличать от собственных турок... Как ему это объяснить?! Долго рассказывать!

— Да, татарин.

— А имя... нельзя ли покороче? Я — Мишель.

— А я Фет-Али.

— Фатали-фаталист?

— Уже пытались. Покойный Бестужев.

— Вы что же, не верите в предопределение? У вас ведь, кажется, что на лбу у человека начертано, того не миновать?!

— Спорил я долго с мусульманскими муллами в гянджинских кельях медресе, неужто и с вами мне спорить?

— А можно просто Али?

— Вам дозволено. Перед роковым отплытием в Адлер покойный Бестужев велел мне непременно вас разыскать.

— Но мы с ним не были знакомы.

— А он знал, что вы прибудете в наши края.

— И до вас успело дойти!

— Мы ж в единой империи, а у дурной вести длинные ноги.

— Скачет, весел и игрив! Да-с!.. Под фанфары и гром барабанов! А почему именно вам он велел?

— Я автор поэмы на смерть Пушкина.

— Вы?! Поэмы?! Ну да, я слышал! — Уж чего-чего, а этого!!

— Вы удивлены? Сказать по правде, и мне кажется, что это не я, а кто-то другой. Не верится, как я решился. Но мы родственны с Пушкиным.— Это станет семейной легендой.— Прадед моей матери был арап Музаффар, еще во времена

Надир-шаха приезжал за сбором налогов в Нуху, где и выбрал жену, нухинку.— Понял, что Лермонтов увлечен своими думами.— Да,— продолжил,— жизнь текла мутная, как Кура, и вдруг кто-то внутри, неведомый, приказал: встань! Возьми в руки перо! Как же ты можешь молчать?! Ты напишешь о нем! Бумага жаждала потерять белизну свою, лишь бы перо Пушкина рисовало черты по лицу ея! Погиб глава собора поэтов!

Вот она, первая неожиданность, уготовленная ему Востоком! Русские карательные отряды и — приобщение к русскому собору поэтов!

— И кто же в том соборе? — «Читал ли меня?» Нелепое любопытство! С недавних пор выработалось наблюдение, какое-то особое свойство именно у этих его стихов о гибели Пушкина: сразу, по глазам, по голосу, по тому, как смотрели или говорили с ним, Лермонтов тотчас определял для себя — читал или нет. Этот татарин читал!

— Если позволите.— Достал листы.

— Можно взглянуть? — Эта вязь как тайнопись! Постигнем ли?

— Извините, если перевод мой коряв. ...*Ломоносов красотами гения украсил обитель поэзии, но мечта Пушкина водворилась в ней. Державин завоевал державу поэзии, но властелином ея избран Пушкин. Карамзин наполнил чашу вином знания, и Пушкин выпил вино этой полной чаши.* И вам в том соборе... — Не dokonчил.

— По одному-то стихотворению?

— Но какому! — загорелись глаза у Фатали.

— Восток любит льстить.

— Восток сразу выдает что думает.

«Штык и — благо?! Кровь — и Ломоносов?! Насилие и — собор поэтов?! Надо разобратся!»

— Вы удивлены, однако. Право, удивлен и я: как же так, русские штыки — и кавказская поэма о Пушкине?

— А вы колдун, читаете мои мысли! — «Вот он, мой провожатый по Тифлису! по Кавказу! по Востоку!»

— Вы мой кунак, а хозяин обязан угадывать мысли и читать желания гостя.

— О стихах мы потом! — поспешил Лермонтов. «Надо спасти Одоевского!» Но любопытство: как воспринято здесь, на Кавказе, горцами и татарами? постигнут ли нас? непременно прочесть поэму!

— Бестужев очень ждал встречи с другом своим, Одоевским, он тоже наш кунак!

«А вы определенно колдун!» — но на сей раз промолчал: поймет ли Али шутку?

— Да, да, кунаки поневоле! Мы с ним в одном полку, аллах миловал, спас от горской пули.— И умолк.

Фатали наслышан о кунаках особого рода. Но Лермонтов — из новых, такого изгнанника еще не было в их крае: за стихи! И когда Лермонтов сказал: «Меня на юг, а вас на север, сразу в печать!», вспомнил Бестужева: тот, сидел, правил, что-то вычеркивал, переделывая по-своему некоторые строки его восточной поэмы; на такое б Фатали не осмелился.

У Фатали сначала был испуг: Бестужев вычеркнул имя Его Императорского Величества (!!). У Фатали было: *Распространилась слава гения Пушкина по Европе, как могущество и величие Николая от Китая до Татарии*. Бестужев сразу же резко вычеркнул имя с величием и вставил как *могущество царское*. Сначала не понял, когда Бестужев благодарно взглянул на него: «А вы человек смелый! Рядом поставили Пушкина и Николая! За такое б вас!..» Но рискнуть вычеркнуть!

— А к чему здесь Китай?

— Китай и Татария у восточных поэтов берутся в значении самых отдаленных пределов мира.— И шепчет: «Убит...» Очевидно ведь — не какая-то там «стрела смерти» и прочее! Вздохнул: — Жаль, не могу показать вам иные стихи! Вернемся из Адлера (вернусь ли?), покажу, быть может. Вы потом поймете. Кстати, скоро здесь будет поэт, он тоже написал на смерть Пушкина. Надо б так: «Убитый злодейской рукою разбойника мира!» — И подумал: «Может, оставить стрелу смерти?» Но рука в порыве исправила: «Смертной стрелой. Так тому и быть!» Фатали и сам не помнит, как решился поставить рядом имена. Кое-что от Бакиханова слышал, ведь встречались они с Пушкиным, еще в турецкую войну, и сам прочел потом в секретной переписке (и как допустил Никитич?).

Пушкин стремится на Кавказ? А цель? Брат императора Константин Павлович считает, удивляясь слепоте Бенкендорфа (а тот знает, но инструкцию желает получить, запастись нужной бумагой), — как бы Пушкин ни старался высказать теперь свою преданность службе его величества, он не принадлежит к числу тех, на кого можно было бы в чем-либо положиться! Кавказ! У него одна лишь цель: найти новое поприще для распространения своих безнравствен-

ных принципов! завербовать множество последователей среди молодых офицеров! ах, воспеть доблестные подвиги?..

Но разрешение есть. Подорожные до Тифлиса и обратно получены в канцелярии петербургского военного губернатора. Но эстафета негласного надзора, хвост, цепь, сеть: образ жизни? мысли? встречи — с кем? где? о чем? слезка!

Бенкендорф А. Х., распоряжение.

Петербургский военный губернатор Голенищев-Кутузов П. В.

«Что ж вы, сударь, столь непочтительно?! Имена-отечества в конце?!» — «Извините-с!» — «То-то ж!» — «Может, позвольте сначала?» — «А то как же!» Ахбе...ф. Пывголз.... В.

Начальник штаба армии барон Д. Е. Остен-Сакен, предупреждение.

Тифлисский военный губернатор генерал-адъютант С. С. Стрекалов, предписание.

Тифлисский гражданский губернатор... можно без!

А Пушкин еще в пути, и дорога его длинна: Петербург — Москва — Калуга — Орел — встреча с Ермоловым. «Едете к графу Ерихонскому?» Новочеркасск — переход от Европы к Азии — калмыки — Ставрополь — Горячие воды — Екатериноград — крепость Минарет. «Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ. Аулы их разорены, целые племена уничтожены». Владикавказ — Терек — «не останавливайтесь, ваше благородие, убьют!» — Ларс — Дарияльский пост — Казбек. «Ждали персидского принца... встреча с придворным поэтом Фазил-ханом» (да, да, друг Фатали поэт Фазил-хан Шейда!). «Я с помощью переводчика начал было высокопарное восточное приветствие; но как же мне стало совестно, когда Фазил-хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умною учтивостью порядочного человека!.. Со стыдом принужден я был оставить важно-шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмешливости. Вперед не стану судить о человеке по его бараньей папаше и по крашеным ногтям». Пост Коби — Душет — Тифлис.

Тифлис!! Газеты молчат. Запрет. Лишь много дней спустя: «Пушкин в стане Кавказских войск». А ведь еще совсем недавно: «Мы ожидали! одного из лучших наших поэтов! столь лестная надежда!» Запрет.

Вот она, граница. Мечтал!! Ибо мы все больны — кто чем: *если царь даст свободу, то я месяц не останусь.* Но не

радуясь, нашед, и не плачь потеряв. Прощения, оставшиеся без ответа: хочу за границу! хоть бы в Китай!

Арпачай! «Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вывел меня на турецкий берег». И здесь разочарование: увы! «Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России». Что ж, «есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму».

Царь рассвирепел: «Кто ему разрешил отправляться в Арзрум, — во-первых, это заграница, а во-вторых, он забыл, что обязан предупреждать меня обо всем, что делает, по крайней мере, касательно своих путешествий. Дойдет до того, что после первого же случая ему будет определено место жительства» (!!).

И на обратном пути — та же цепь надзора. Да еще донос ротмистра Бутурлина (цензурный комитет?), адъютанта военного министра, «мелкий куртизан и выскочка», — обед с сосланными декабристами в честь Пушкина у генерала Раевского-младшего, командира Нижегородского драгунского полка: и уже «дело Раевского», следствие; и что Пушкин (протест? забава? вызов?) красуется красной турецкой феской, эф!.. и доносчику — Пушкин еще в пути! — орден Владимира.

Пушкин не успел оказаться в Кисловодске, а тифлисский генерал-губернатор уже сообщил московскому генерал-губернатору князю Д. В. Голицыну о скором приезде Пушкина. И главный полицмейстер Москвы отдает распоряжение полицмейстеру 2-го отделения (Шиллеру) учредить наблюдение (очень строгое) за поэтом.

Печать онемела, когда пришла весть о смерти поэта: запрет! Лишь извещение в «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду»: «... к этой мысли нельзя привыкнуть!» И сразу же взрыв негодования — редактор немедленно вызван к председателю цензурного комитета (кто пропустил?!).

«Я должен вам передать, — рассержен Дундуков-Корсаков, — что министр (с. с. Уваров) крайне, крайне недоволен вами! К чему эта публикация о Пушкине? Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека не чиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе? Ну, да это еще куда бы ни шло! Но что за выражения! «Солнце поэзии!!» Помилуйте, за что такая честь? «Пушкин скончался... в середине своего великого поприща!» Какое это такое поприще?! Разве Пушкин был полководец? военачальник? министр? государственный муж?! Наконец,

он умер без малого сорок лет! Писать стихи не значит еще проходить великое поприще!..»

А Фатали — рядом Николая и Пушкина! А тот, кто перед ним, Мишель, — «ах, если бы раньше!.. а посмел бы?!» Фатали еще ой в каком длинном пути!

— Были с Одоевским у Нины Чавчавадзе, обещали зайти еще, да вот... слег Одоевский, жар! Нужен доктор!

— Есть. Был другом Бестужева, неподалеку, за углом, над Шайтан-базаром.

— Все у вас с шайтаном!

И пошли.

— Может, лихорадка? Она здесь всех наших косит!

— наших тоже. Берегите себя.

— Чему бывать, того... Ах да, вы же не фаталист! Но как же мне не быть фаталистом, когда я знал, я был уверен, что начертана мне на лбу судьба такая: Тифлис, мой приятель ученый татарин Али, у которого я беру уроки татарского!

Они уже у доктора. «Вот здесь!»

— Заболел друг покойного Бестужева, Одоевский. Ему нужна помощь.

— Из тех?! — спросил по-азербайджански.

— Да.

— О чем вы?

— А вот изучите!

— А этот кто?

— Из тех же.

— Такой молодой?!

— Что такое «джаван»?

— Молодой.

— А поэт?

— «Шаир». А доктор, между прочим, большой поклонник романтической поэзии.

— Увы, я не Байрон!

Одоевский укрыт. Высунулся из одеяла, небритый, бледный.

— Саша, мы к тебе с доктором.

— Ну-с?.. — Вот она, раздулась селезенка! — Да, все признаки пароксизма. — Смотрит на Фатали.

— Яман? — спросил Лермонтов.

Одоевский улыбнулся: юный друг Мишель заморочил ему голову с татарским. «Непременно изучу!»

— Сначала озноб, потом жар?

Одоевский кивнул головой.

— Закачу-ка я вам хины.

Одоевский поморщился.

— Вышли без шинели, и вот!

— Уж осень, нельзя.

— Но жарко!

— Лучше жарко, чем лихорадка!

— Я укроюсь,— дрожат и слова.— Бросьте на меня что-нибудь еще.

Три шинели поверх одеял, да еще бурка соседа, сидит на дощатом диване («Настоящий кавказец!» — шепнул Лермонтов Фатали), — бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова. А «настоящий кавказец» мечтает о белой андийской бурке с черной каймой внизу.

— А я не успел вас познакомить!.. Ты слышишь?

Голова выглянула на миг из шинелей:

— Да, да, слышу.

— Ученый татарин Али, у барона Розена служит. Буду учиться по-татарски! С татарским в Азии, как с французским в Европе! Так о чем мы с вами, Али? Да, о поэме вашей и о наших штыках! Прямых и кривых, явных и тайных! Уланы, драгуны, булат!

слово за слово, фраза за фразу цепляются, переплетаются, какие-то мелькающие плывущие причудливые фигурки, бегущие и бегущие точки, они ширятся кругами и лопаются, дрожи не унять, пламя внутри, но оно не греет, чем же накрыться, ледяные ноги одна холоднее другой, пальцы смерзлись, а как они там в острогах, стужа и холод, кто же следующий после Бестужева? верно я, а казалось, здесь лучше — юг, тепло, а пули, что ж, тем быстрее!

и строки, не забыть это собственное, успеть записать, очнулся я в степи глухой, где мне не кровною рукой, но вьюгой вырыта могила, озноб дрожи не унять, и кровью жаркою обрызганный чакал, да-да, именно так он слышал еще на Шайтан-базаре, а прежде в Шемахе, не шакал, а чакал! костей бездомных прах разбросит по ущельям!

запомнить! умру я весь, и грубый камень на череп мой остывший ляжет, сборище костей! полмира мертвецов! сверкает меч, и падают герои, но не за Русь, а за тиранов честь!

то озноб, то жар так много огня, искры, в темных облаках искрятся молнии, пять жертв, и как венец вокруг выи вьется синий пламень

сей огонь пожжет чело их палачей

но так низко пасть! писать! просить! молю я солнышко

царя и нашу светлую царицу, душно, так низко пасть! не помяни ты в царстве славы, вычеркнуть, сжечь! да, да, я в узах был, и тень надежды, надежды на милость! родился сын у царя, и не ведает никто, а ведь непременно случится, и будет край ему подарен, где на горах шумит лавровый лес

мне улыбаться нельзя! а как иначе? вам легко укорять, а это — единственная пила, которой можно перепилить железную решетку темницы, а какие в ней сны! молю я солнышко царя, такая дрожь, не унять, два юных товарища рядом, вспыхнуло и погасло, Мишель и тот, другой, *внемлет ли востока сын?*

а перед закрытыми глазами, меж веками и оком нечто причудливо радужное разрастается и взрывается, вспышки, обломки, того уж нет, не вернешь, сохрани его, господь, ах какие стихи, запомнить, не забыть, прочти и ему, Мишель, *пред вами суд и правда — все молчи*, старое рухнуло, нового нет, и тот и другой, пойдем ли мы их, и поймут ли они нас, и какое-то мягкое имя, ли-ли, Али, Фатали, ученый татарин.

О чем они, Мишель и Али?

Голос звонкий и взрывчатый (это Мишель), грамотный, с акцентом только, а это — и не акцент, а шекинский выговор, и на своем родном когда говорит — пробивается диалект, но где Одоевскому до таких тонкостей иноязычных! Иногда татарская речь — это Фатали и старый кавказец, как не щегольнуть? «Хороший народ, только уж такие азиаты!»

У Мишеля двойное чувство: не надо, не надо бы при Фатали! «Никак меня не ранят! Надоело уже, домой хочется! Придется когда-нибудь («а ведь ни за что не сделает! думает Мишель. Сложит он непременно кости, увы, в земле басурманской!»), да, голову положить на камень, а ноги выставить на пансион, и благодатная пуля попадет в ноги, и мне тогда — отставка с пансионом, отставной герой кавказской войны!»

«Надо ли при татарине-то?! Но Али не чужой! И все же: лучше б не при нем говорить такое!» И сам хохочет, и Али: ведь один у них двуглавый.

Ахунд-Алескер наказывает: это их имперское дело, они меж собой и подерутся, они и помирятся, кто силен — тот и казнит. Да, Фатали понимает, за что их — и Бестужева, и Одоевского: пошли с оружием на падишаха! А за что Ми-

шеля?! Тоже понимает: руки горели, ожоги на них, когда листки попали; принес домой, чтоб переписать:

«Ты послушай, Ахунд-Алескер!»

«Не лезь, не встревай в это их дело!»

Он, Гаджи-Ахунд-Алескер, помнит, и Фатали помнить должен, как обманулся Аббас-Мирза, глупый человек, полез в драку с великаном! А Фатали даже слов не отыщет на своем, чтоб ударную силу стихов выразить обнаженно, без иносказаний! И они же — ведь вот какая загадка! — идут в бой, чтоб славу царя приумножить! А на царском смотре войск (государь собирается в путь — на Кавказ!) многих из этих не было: увели на ученья. Но Мишель был: их разделили — Мишель может на царском смотре быть, а Саша — нет!

— Саша, ты слышишь?

— Да, да, слышу! — Горькая хина, отравы, поможет ли унять дрожь, она снова волнами от пяток и кончиков пальцев, которые и кипятка не согреет, к макушке; согреться б!! *следы роковые дней роковых*, волна за волной, согреюсь ли?! и тогда наступит ясность, и слово за слово, мысль за мыслью, более мысль, нежели действие!.. О чем же они, Мишель и Али? Одоевский согрелся, но шинелей еще не скинул, а старый кавказец снял бурку, постелил ее на дощатый диван и лег, уже спит.

— ... разбудить Восток! Но хватит ли сил?

— Хватило б жизни! — Мишель, кажется, шутит: удивительное умение приземлять высокопарность. — От всех я блюд хотел отведать разом, и сытым не наелся. Вот он, настоящий кавказец, прискакавший сюда с пестрыми уланами, ведомый седым генералом, разбудил Восток, а сам уснул. А я, между прочим, тоже намерен разбудить, но кого — еще не решил. Кстати — ваш Восток уже разбудили: пророк Шамиль! Такая каналья, охотимся за ним, пытаемся взять, да он ускользает.

Одна охота уже была (одна ли?): обманут посланный бароном Розеном генерал Реут — занять Унцикуль и, если удастся, Ашильту, местожительство Шамиля, а тот, встреченный заявлениями горцев о покорности, не пошел дальше Ирганая и вернулся в Темир-Хан-Шуру, а Шамиль тем временем, пустив слух о трусости царских войск, побоявшихся идти в глубь гор, воспрянул, и все аулы от Чечни и до Аварии признали его власть; обманут генерал Фезе — вступил в Хунзах, взял Ашильту, до Шамиля рукой подать! — сжег дотла аул Ахульго и снова Шамиль обманул: выдал трех

заложников (аманатов), в том числе и своего племянника, присягнул на верность императору и вынудил перемирие, ушел и возродился, как Феникс из пепла,— пепла сожженных аулов!

Будут охоты аж два десятка лет!

И Мишель, поручик Тенгинского пехотного полка, поохотится в отряде генерала Галафеева на левом фланге Кавказской линии, в Малой Чечне, *хотел воды я зачерпнуть, но мутная волна была тепла, была красна.*

— ... успеть бы только!

— Уже пытался разбудить! Пришлось посидеть неделю в здании Главного штаба да испробовать силы в умении выводить стихи на сером листке с помощью печной сажки и вина, увы, не кахетинского.

«Вольнодумство более чем преступное!» Французская докладная Бенкендорфа и французская резолюция государя. Стихи пришли к нему по городской почте с надписью: «Воззвание к революции». По всему городу списки. Наивное «объяснение губернского секретаря Раевского о связи его с Лермонтовым и о происхождении стихов на смерть Пушкина» (ах, какие имена в чиновничьей фразе!). И кого обмануть вздумали?! «...дано для переписывания; чем более говорили Лермонтову и мне про него (о дитя! надеется перехитрить, и кого? всеильного графа Клейнмихеля!), что у него большой талант, тем охотнее давал я переписывать экземпляры».

И это нелепое, кого вздумал вспомнить! Ах Великая Екатерина!! Что-что? «Лучше простить десять виновных — какая щедрая царица! — нежели наказать одного невинного!» Очень-очень красиво сказано, а главное — ведь фраза-то какая меткая! Это ж, дурья голова, привычка такая у наших властелинов — поступать затем противно, дабы на собственном опыте изрекать вам утешение, а кое-кому и для цитаций-нотаций: истины новые! Хохотали петербургские сослуживцы Ладожского, вернее, его папы, агенты Бенкендорфа (у Ладожских — это наследственное), филеры-фискалы, как удалось им обвести вокруг пальца поэта и переписчика: «А ну позволим мы вам пообщаться, будто не ведаем, тупоголовые, о вашем желании списаться!»

И посылает Раевский Лермонтову записку, желая помочь, через камердинера; а бенкендорфцы начеку, ждут! и записка — им в руки! читают, хихикают, «юнцы! юнцы!», и не таких хитрецов ловили! «Передай тихонько,— просит Раевский,— эту записку и бумагу Мишелю. Я подал записку

министру. Надобно, чтобы он отвечал согласно с нею, и тогда дело кончится ничем. А если он станет говорить иначе, то может быть хуже».

Потом допрос от «самого государя». Ну, сознайтесь! другу вашему ничего-ничего не будет! честью клянемся! ну, а если запретесь!! если самого государя разгневаετε!! в солдаты!.. Один жмет, другой спорит, чтоб доверие заслужить, авось сознается? аж до разрыва спорит, а потом, как не помогает,— «ну да, чего церемониться?! штыком к стенке приткнуть, и весь разговор!»

— Это вы рисовали? — Профиль Дубельта, начальника штаба жандармов.

— Нет, не я.

— Но нашли у вас и стихи — ваши!

Черновик! «А вы, надменные потомки!..» И сбоку фамилии тех, кто «под сенью закона»: Орловы, Бобринские, Воронцовы, Завадовские, Бярятинские, Васильчиковы, Энгельгардты, Фредериксы. «Кем составлен?! Можно было б добавить еще, чья-то рука поскупилась. Лермонтова — на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк, а Раевского в Олонецкую губернию. Боже мой! И я смею роптать! Ссылка на год! А каково ему?! Иллюзия одновременной, в тридцать седьмом году, ссылки и его, и Одоевского на Кавказ. Но после двенадцати лет читинского и петровского острогов! Через год Лермонтов вернется к себе, в свой лейб-гусарский полк, в тот свет, который еще будет льстить ему. Те, которых он поносил в стихах, эти графы, князья, бароны, будут искренне льстить. И преследовать, тоже искренне, клеветой. И обида французов: будто бранил не убийцу, а всю нацию. *Его убийца хладнокровно...* О нем ли речь?! И я смею роптать! и при ком!! Более мысль, нежели действие.

Вдохновенье! Нам хорошо мыслится и работается в изгнание, в заточении, раздражение пленной мысли, и когда сражены недугом, тяжелый бред большой души! Мы машем мечами картонными, освищенные и затоптанные горланящими шарлатанами, торговцами пафосом и плясунами, танцующими на фразе: довольно! хватит! пора оставить пустую и бессмысленную болтовню, эту шиллеровщину, эту рылеевщину, сумасшедшие бредни Чаадаева, политиканство Герцена, и сродниться с нашею прекрасною действительностью, а там уже накапливается новая боль, новый стон, новое негодование, в кипенье бурлим, негодуем, накаленный рев в высокостенном, с петровских времен не чищенном чугунном котле, вот-вот взорвется, и каждая чугунная рвань с оско-

лок Царя-пушки, но нет ни взрыва, ни осколков, нашелся кто-то, кто по лютой ли ненависти к предшественнику, ибо был унижаем и содержался шутком, по недомыслию ли, ибо любопытство глупое одолевает, или по вероломному умыслу с дальним прицелом, а то и случайному везению, — кого только не довелось видеть на монаршем троне?! чуть-чуть приоткрывает крышку, чтоб вышел опасный пар и чтоб слегка поостыли страсти, что-то выкинуто, что-то сварено, что-то и не отыщется, более мысль потому что, нежели действие, а там уже накапливается новая боль за поруганную честь, новый гнев за униженное достоинство и поправленную человечность, в кипенье бурлим, накаленный рев в высокостенном, величество ваше, высочество ваше, чугунном котле.

Кто это? Неужто Фатали?! Рано еще — он только собрался в дорогу, а она ах как длинна!

Мишель?! Увы, не успеет. Или Одоевский?! Озаренье в бреду лихорадки?! Но не настоящий же кавказец?! Он спит, прикрыв лоб и глаза мохнатой бараньей шапкой, и во сне видит себя на почтовой станции в родной губернии, куда он добрался, чуть прихрамывая, нога прострелена, на плечах настоящая кабардинская бурка, его тележка, а в нее запряжена пара его верховых кляч, и он не спеша, хотя надо спешить, кто там, дома у него, остался в живых? матери, наверно, уже нет, женой обзавестись не успел, но снится, что молода мать и ждет его невеста, он везет им разных персидских материй, рассказывает, поправляя на голове черкесскую мохнатую папаху: «Ужасные, бестии, эти азиаты!» курит из маленькой кабардинской трубочки, отделанной в серебро. «Ведь этакий народ осетины! И хлеба по-русски назвать не умеют, а выучил: «Офицер, дай на водку!» Уж татары по мне лучше: те хоть непьющие! Чуть зазеваешься, того и гляди — либо аркан на шее, либо пуля в затылке! А молодцы! — Щиплет левый ус. — А черкесы? Как напьются бузы на свадьбе или похоронах, так и пошла рубка! Ну, а кабардинцы или чеченцы, хотя разбойники, зато отчаянные башки! Хороший народ, только уж такие азиаты!» И шашку на боку поправляет. «Приложи лезвием к руке, сама в тело вопьется. Он мне: «Урус, яман, яман!» плохой, значит, русский, а я ему: «Урус якши, чок якши!» очень, мол, мы хорошие».

«Эй, посторонись, встал тут на дороге!» Проснулся, голос Одоевского:

— Брось, что ты изводишь себя, они же вероломны! «Это точно», — зевает старый кавказец.

Лермонтов только что шутил насчет пророка Шамиля, и уже забыты и он, и Кавказ, а Одоевский, ему, слава богу, жарко, скинул шинели, но может простыть (а Фатали за-тапливает печь), успокаивает Лермонтова:

— Не сокрушайся! Эх, юнцы, юнцы! Разве можно им верить?! Впрочем, мы сами тоже!

— Нет, нет, я не должен был!

«Ты не можешь вообразить моего отчаяния, когда я узнал, что я виной твоего несчастья, что ты, желая мне же добра, за эту записку пострадаешь... Я сначала не говорил про тебя, но потом меня допрашивали от государя: сказали, что тебе ничего не будет и что если я запрусь, то меня в солдаты. Я вспомнил бабушку и не смог. Я тебя принес в жертву ей. Что во мне происходило в эту минуту, не могу сказать,— но я уверен, что ты меня понимаешь, и прощаешь, и находишь еще достойным своей дружбы. Кто б мог ожидать!»

— Нет, нет, я не смел дать так глупо себя обмануть!

«Один мой хороший приятель, Раевский, слышавший, как и я, многие неправильные обвинения и по необдуманности не видя в стихах моих противного законам, просил у меня их списать; вероятно, он показал их, как новость, другому,— и таким образом они разошлись».

— Самая большая моя печаль, что он через меня пострадал!

А старый Раевский «для отнятия права упрекать память благородного Мишеля» много-много лет спустя напишет, что «Мишель напрасно себе приписывает мою маленькую катастрофу» (!) тридцать седьмого года.

КРОВАВЫЙ ЗАКАТ НА КУРЕ

И завтра после полудня.

— Вот так встреча! — И Мишель целуется с самым начальником штаба войск Кавказской линии и Черномории генералом Петровым. Ведает назначениями и перемещениями в войсках (и Мишеля сюда, в Тифлис), друг Ермолова. «За что ж?!» — сокрушался генерал еще в Ставрополе. И Мишель ему на память стихи, из-за которых сослан: автограф!

— Женат на двоюродной тетке, увы, умерла, — пояснил Мишель. Тянет к баням: — Прелесть, татарские бани!

— Но сегодня женский день, — предупреждает Фата-

ли. — А это Ахмед, мой слуга. По-русски, увы, но зато по-грузински!..

На Шайтан-базаре гул, караваны верблюдов, бараны папах.

«Я в Тифлисе у Петр. Г.— ученый татарин Али и Ахмет,— записывает Мишель в книжке,— иду за груз. в бани; она делает знак; но мы не входим, ибо суббота».

— Пошли, быстро!

Ахмед по-азербайджански Фатали:

— Пока вы с ним говорили, смотрю — она с него глаз не сводит.

— О чем вы?

— О той, за которой вы так спешите.

— Братцы, мечтаю! Помогите кунаку!

— Она вам, кажется, знаки делает какие-то.

— В бани! Пошли! Ах, нельзя, суббота! Подождем здесь, пока она не выйдет! Ахмед, найди мне уголь! («Кё-мюр тап!» — Фатали Ахмеду.)

Лермонтов рисует углем на стене очертания бани, а вот и мечеть. И ослик рядом, а на осле — татарин в папаше. А вот и конь. Люди собрались, смотрят, как осел удивленно наострил уши, повернул к ним голову. Смеются: «Ай да урус!»

А вот и женские фигурки: в чадре, в шляпке. Вышла.

— Она! — Уголь отброшен. — Пошли! Ну, что ж вы?! Идемте же! — Бежит, вот-вот догонит ее, схватит за руку, а она все быстрее, оглядывается, подмигивает, зазывает.

Опасная игра, но как остановить Мишеля?! Зашла в узкий дворик, Мишель — за нею. И тут же выскочил.

— Ахмед, переведи!

Та — Ахмеду (грузинка? но чисто говорит, как и Ахмед; гречанка? кто ж?!). Ахмед — Фатали, он еще слаб в грузинском, а Фатали — Мишелю:

— Очень нравиться ей, Мишель!

Весь растаял, сияет:

— И она мне очень! Чертовски красива!

Согласна. Но!! Надо поклясться! «Клянусь!» Вы сделаете, что она велит. И чтоб мы ушли (так мы и оставим вас!). Вы пойдете за нею в дом, какое-то завещание. Выполнить волю умершего. Они любили друг друга, он умер, а она боится (что за чушь?!). Завещал, а что — она вам сама объяснит.

— Пойму ли ее?

— Говорит, что поймете.

Согласен. Фатали и Ахмед вышли.

Быстро стемнело.

— Не пойти ли мне? — Это Ахмед. — У меня нож.

В душе беспокойно: зря, очень зря! То серьезен и чуть не плакал («Никогда себе не прощу!»), а тут — такое безрассудство! Опасно, но как удержишь?!

И вдруг — Мишель. Что он несет?! Бездыханное тело! Быстро к реке, идет, торопится и — труп в реку! Муж?! Подбежали к Мишелю, а он вдруг бледный-бледный, ему делается дурно, падает Фатали на руку. «Помоги!» И с Ахмедом — от берега к чинаре. А тут патруль. Пьяный офицер? В комендатуру! Успел передать Фатали кинжал. «Его!» Снял с убитого. Кто ж он? Завещал, чтоб никто не знал. Одинокa? Нет, старуха и парень. Брат? Слепой! два белых глаза!

«Выходя, она опять делает знак, — пишет в книжке Мишель. — Я рисовал углем на стене для забавы татар и делаю ей черту на спине; следую за ней; она соглашается... только чтоб я поклялся сделать, что она велит: надо вынести труп.

Я выношу и бросаю в Куру. Мне делается дурно.

Меня нашли и отнесли на гауптвахту.

Я забыл ее дом, наверное.

Мы решаемся отыскать.

Я снял с мертвого кинжал для доказательства».

Утром Фатали с Ахмедом в комендатуру. Выпустили. К Одоевскому. Встал, бледный, чисто выбрит. Пьют чай: он, Лермонтов и старый кавказец.

— Нет, нет, ни минуты свободной! Выяснить, кто умерший!.. Нечисто здесь, нечисто!

— К оружейнику надо идти, — говорит Фатали, — к Геургу.

Да, сго работа.

— Умер, и никто не знает! Чудеса в нашей армии! Ни комендант, ни в канцелярии барона! Исчез, пропал, и какой-то денщик спился с горя. Найти денщика!

Ахмед узнает, кого имел офицер. Да, офицер долго ходил по соседству к одной старухе с дочерью.

— Его кинжал!

— А слепой парень?

— Так точно, и слепой у них! Дочь вышла замуж, а через неделю офицер пропал.

— Ах, чудеса! Пропал, а ведь приписан к войску! — И не дознаешься: кто он? А дежурил, рассказывают, какой-

то прапорщик, дезертировать вздумал, взломал шкаф, где личные дела, в поисках своего, чтоб забрать: не его — рвет, чужое — выбрасывает, пока до своих документов не добрался. Может, потому и отыскать не удастся, кто пропал?! А все ж таки чудеса в нашей славной армии!

Ахмед узнает, за кого эта дочь вышла замуж.

Находят дом, но ее не видать. Только слепой. «Ты хозяйский сын?» — «Нет». — «Кто ж ты?» — «Сирота». — «А где хозяйская дочь?» — «Была, да сбегала с татаринном». — «С каким татаринном?» — «А кто его знает?» — «А старуха где?» Старуха за стенкой ворчит: «Что к убогому приста-ли?»

— Нечисто здесь, нечисто!

Ахмед весь вечер бродил кругом и узнал, что муж приехал и никуда она не убегала; кто-то ему сказал, что видели, как из окошка вылез человек и что муж допрашивал, кто да что?.. И ругал жену: а как дознаются?

Надо же! Шли и вдруг видят: та самая! а рядом — мужчина; муж? татарское лицо.

«Раз мы идем по караван-сараю (ночью) — видим: идет мужчина с (этой женщиной) женой; они остановились и посмотрели на нас. Мы прошли и видим, она показала на меня пальцем, а он кивнул головой».

«Якши!» — уловил Фатали по губам, стояли близко.

«После ночью оба (двое) на меня напали на мосту. Схватили меня, и — как зовут. Я сказал. Он: «Я муж такой-то» — и хотел меня сбросить, но я его предупредил и сбросил».

А прежде — она! На мосту! «Чуяло сердце, что непременно покажется, и я с нею буду говорить». И точно: она!

— Что же ты меня обманула? Обещала осветить окошко свечкой, я до рассвета, пока из города купцы с караванами не вышли, глаз не сомкнул! Изрезал ковер кинжалом! — Она молчит, беспокойно озирается. — А пока ждал, кое-что про тебя узнал! И про твоего татарина тоже!

— Ой! — захохотала она. «Понимает, бестия! А притворяется, что ни слова!» — Много видели, да мало знаете, а что знаете, так держите под замочком!

— А если б я вздумал донести коменданту?

«И вдруг сильная такая, возьми и толкни меня, — рассказывает Мишель Фатали, — а слова ее бритвой по шее: «Донесешь!» — чистым русским языком. Отскочил, а она в реку, а тут муж, кинулся с ходу и тоже в Куру!»

Мишель, сюжет?

?!

(Племя на Кавказе. Герой — пророк.)

Или шалость?

!!

(Мемог¹: написать длинную сатирическую поэму: приключения Демона).

Может, испытание судьбы?! «Мне цыганка нагадала: женюсь дважды! А я пока холост». Гадалка спутала: не две женитьбы, а две дуэли. Но пока не было ни одной.

Грузинка (а не гречанка?) и татарин сидят на шаткой ступени крыльца, опустив ноги в играющие воды Куры.

Раздался неожиданный выстрел: коварный враг? просто охотник?

Денщик трет круп вороного коня офицера («как смоль, ноги — струнки! а уж выезжена — как собака бежит за хозяином! уж такая разбойничья лошадь!»), капли стекают в Куру; шкурка вздрагивает, и вдруг конь, наострив уши, заржал, и звук побежал по воде, ударяясь о новый гранит набережной.

Геург всаживает в серебряное гнездо рукоятки рубиновый, словно кровавый закат на Куру, камень.

А слепой-то видит! Он смотрит, как течет Кура, медленно, с водоворотами, неся в Каспий и ржанье коня, и неожиданный выстрел, и отблеск заката.

Непременно случится: пляски огня на реке в этом долгом-долгом тридцать седьмом. Немые возопиют, и слепые прозрят.

— Как тебе нравится, Саша? Наш Али рассказал мне чудесную сказку.

Старый кавказец слышал про Ашик-Кериба.

— Турецкая?

— Не совсем, — говорит Фатали Мишелю. — Кавказско-татарская или азербайджанско-туркменская. А впрочем, долго объяснять, можете и так: турецкая!

— Каково, а? «Грустен, как зимнее небо». Вот еще: «Утренний намаз творил в Арзиньянской долине, полуденный намаз в Арзруме, пред захождением солнца творил намаз в Карсе, вечерний намаз в Тифлисе». Не Тифлис, а Тифлиз!

— А куда ж пятый намаз делся? — старый кавказец знает.

— Да, а где пятый, Али?

¹ Помнить (лат.).

— Путешественнику и вовсе можно не совершать намаз, коран разрешает, это не грех.

— Непременно научусь! Вот увидишь, Саша, и в Мекку поеду! Буду... Как вы говорили, Али?

— Гаджи-Мишелем.

— Вот-вот, Гаджи-Мишель!.. «Магуль-Мегери лучше всех девушек Тифлиза».

— Не «Мегери», а «Мехри».

— Да, да, запомню! Обрати внимание: не Тифлис, а именно Тифлиз! Сааз... Какого он рода?

— Я ж говорил, Мишель, у нас родов нет.

— Пророк Хидр, это что же, вроде нашего Ильи-пророка?

— Да, есть пророк Илиаз.

— А если их объединить? Хидр плюс Илья, Хидири-лиаз?!

— Хизр на белом коне.

— И эту поговорку не забыть, непременно записать: «Как тебя зовут, адын недир. Решит, бирини де, бирини ешит, раз говори, а другой раз услышь». Какая звонкая рифма: решит — ешит... Паша, пашей, ушей! «В одной руке чаша с ядом...» Саша, я навестил вчера Нину Грибоедову, кланялись тебе! «в другой руке — кинжал!» Боже, сколько на Кавказе сюжетов!

И какой сюжет в голове? Может, о старом кавказце? Или этот, неосуществленный: «...из кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране»?

— Итак, благословим всемогущего аллаха, так, кажется, Али? расстелем ковер отдохновения, закурим чубук удовольствия и возьмем в руки перо. Кстати, а как насчет кахетинского у нас? и да направит пророк стопы вдохновения во времена Ашик-Кериба! Сколько сюжетов! Вам бы, Али, только начать!

В ФАЭТОНЕ С ГОСУДАРЕМ

Это известный метод — накалять и остужать, бить и обласкивать. До похвалы за восточную поэму еще в Тифлисе, в апреле, было сделано бароном Розеном замечание, а затем долгое внушение; может быть, оттого и хотелось ему потом сгладить резкость; это по памяtnому делу — на-

чалось весной тридцать седьмого, а завершилось осенью тридцать восьмого — об отчаянии армянских, а частично азербайджанских переселенцев из турецких провинций-пашалыков — обложены непомерной данью; переселились после поражения турецких войск, по Адрианопольскому договору, еще при Паскевиче — из Арзрумской, Карсской и Баязетской провинций, и — взбунтовались!

— Вы молоды, чисты и доверчивы, Фатали, у вас впереди блестящее будущее, не надо было вам встречаться со смутьянами! Эти полудикие переселенцы!

— А вы произвели на них такое благоприятное впечатление, барон! И Парсег, и Галуст-ага, и Нагапет. «Нашли наконец-то живую душу!» «Неужто, — рассказывали они, — мы обманывались, когда переселялись сюда, к своим же, из турецких пашалыков Арзрумского, Карсского и Баязетского?!»

— Учтите, ласковое и снисходительное обращение с ними они почитают слабостью, я дал команду, для обуздания и отклонения вредного примера от других, а также для поселения в них страху!..

— А они на вас надеялись! «Счастливый, под началом такого генерала работаешь!» — говорили мне.

И в рапорте военному министру барон пишет: «Меры кротости и убеждения на них не действуют, как и вообще на азиатцев, пребывающих в невежестве; дальнейшее снисхождение им послужит весьма опасным примером для всех других, не только переселенцев, но и коренных жителей, и не в одной Армянской области, а и в прочих провинциях, при каждом исполнении требований начальства». И в конце секретного отношения, мысль эта возникла именно во время внушения Фатали: «Все эти распоряжения я покорнейше прошу ваше сиятельство подвергнуть на высочайшее благоусмотрение его императорского величества». Ай да Фатали! «...без послабления и всякой уступчивости!» — изволил найти государь.

— А не поможет, — завершил тогда внушение барон, — что ж!..

— Но им нечем платить! Земли у них каменистые, ничего не родится, а тут повинности почтовые, дача караульных, доставление дров, а лес-то далеко, за полсотни верст, содержание есаулов, не мне вам рассказывать, какие это грабители.

откуда вы все это знаете, Фатали?
и вы не смеете их наказывать!

— А не поможет, что ж!

Что вы можете, наивные, против силы?! к ранее отправленным ротам Мингрельского егерского полка с горным орудием и донской казачий полк с сотней казаков; а ведь Парсег надеялся, что серебряная медаль на георгиевской ленте с надписью «За храбрость!» для ношения на шее и знак отличия военного ордена, пожалованные самим Паскевичем при обороне крепости Баязет, надежно оградят от ареста и экзекуций. И ты, Галуст-ага, с надеждой на серебряную медаль на владимирской ленте с надписью «За верность» для ношения на шее! разговорились тогда, забылись унижения, как давние-давние знакомые, и Нагапет — в такой-то момент! — вдруг: «Ты холост, Фатали, и молод, тебе такие стихи придутся по душе!» и — турецкое двустилишье, Фатали на всю жизнь запомнил: *Не мешади, не кербелай, не хаджиям*, мол, что мне паломничество в Мешхет за титулом Мешади, в Кербелу за титулом Кербелай, в Мекку за титулом Гаджи? *Койнундакы мемелерин мохтаджиям*, «мне б груди твои белоснежные!» Да, шутили, узнав, что Фатали еще не женат.

Первый устный выговор барона Розена молодому переводчику, через которого много можно вызнать в этом диком азиатском народе. Трещинка, трещинка, замазать скорее, чтоб не разрослась, не то — пропасть. «...трогательную восточную поэму, очень вам советую переложить на русский».

И снова в путь в свите барона Розена (но, увы, без Александра Бестужева), как и в прошлый раз, та же дорога, на сей раз длинная, к Анапе, где предстоит обеспечить безопасность движения государя (но встречать будут в Геленджике). Барон на миг задержался на мосту, выезжая из Тифлиса, и, о чем-то подумав, вслух сказал: «Да, Помпей!» Это был мост, построенный еще Помпеем. И долго потом молчал, глядя на развалины башен, некогда защищавших Тифлис, — разрушены в дни нашествия Ага-Мухаммед-шаха Каджара. Потом Мцхет, древняя столица грузинских царей, и снова барон Розен (предчувствие?!) был угрюм. И неуклюжие телеги, запряженные сильными, но неповоротливыми волами, — с трудом их стаскивали с дороги, чтобы пропустить барона и его многочисленный отряд.

Утром третьего дня приехали в Хори и вдруг — какая картина, в прошлый раз был туман, а сейчас — это чудо: белела как сахарная пирамида, одна на равнине, гора Эльбрус. «Святая гора», — сказал черкес из свиты барона. А потом Кутаис, на берегу быстрой Рионы, столица золотой

Колхиды (барон и его свита ночевали в гостинице французского повара, сколько их, французских поваров, здесь,— попали в плен в Москве, служили у генералов царских, а потом сюда, на Кавказ. Французский повар, женатый на голландке).

Проехали владения мингрельского князя, Зугдиди. А вот и сам князь: оформлял очередную сделку; барону уже рассказывали, к тому же зять барона, женатый на его дочери, из рода князей Дадияни: за бесценок продает туркам корабельный лес. И сын князя здесь, молодой Дадияни, воспитанник барона, постоянно смущался, чувствовалось, что его раздражает развязность отца. Фатали знал, что молодой князь собирается жениться на младшей дочери Александра Чавчавадзе, Екатерине (о которой рассказывал Бакиханов! в честь императрицы! вокруг нее столько женихов, Фатали слышал, что и Бакиханов будто влюблен в нее,— такая красавица! И что ни поэт — пишет о ней, посвящает стихи, всех с ума свела).

Князь щедро угостил барона Розена, своего дальнего родича Дадияни, зятя барона, и всю его свиту и, прощаясь, уговорил барона, как будто от него это зависит,— упросить Николая, Е. И. В., разумеется, погостить у него (?!). Но прежде пили чай. И обед перешел в ужин, поданный во французской моде, угощал старый француз, тоже из бывших пленных. Повар (уж не под воздействием ли Дадияни?!) представлялся маркизом времен Людовика XV или XIV: в напудренном парике с маленькою косою сзади, в шелковых чулках и башмаках с пряжками. Фатали сидел напротив мингрельского барина, дворянина, из вассалов, Дадияни, который, зная, очевидно, только свой язык, просидел нахмурившись несколько часов, не говоря, как и Фатали, ни слова. Потом барон чертыхался, говоря со своим зятем, и Фатали слышал все:

— А дворец!! Я ожидал увидеть нечто царственное, столько прожужжал он нам уши! пышное название его ошибочно, согласитесь,— убеждал он зятя, но тот молчал.— Это ж просто дом! Каких тысячи в Европе! Два этажа с десятью окнами в фасаде! Крытое черепицей и отштукатуренное. Да широкая деревянная галерея! А стены! а стены!! оклеены дурными московскими обоями! и диваны неуклюжей работы, бывшей в моде лет тридцать назад! И часы с музыкою, как во всех наших харчевнях! А на стене, вы обратили внимание? два знамени! Символ независимости, о боже!!

И снова в путь. Вскоре Редут-Кале с удобною гаванью; ночью выли шакалы, будто дети кричат. И морем в Сухум-Кале, где бросили якорь.

Когда отъезжали, барон Розен вспомнил Бестужева, «да-с, трогательная восточная поэма», улыбнулся слегка, чтоб снова предаться дурным предчувствиям. И допросы беглых крепостных.

В гавани Бамбора укрывался турецкий корабль, захваченный казаками с российского военного корабля. Шкипер, вероятно, контрабандист, снабжал окрестные деревни амундией, а на обратном пути — один ли он?! — брал с собой в путь юных девушек-черкешенок, для торговли на невольничьем рынке Стамбула. И несколько матросов с ним. И посетители, черкесский князь с двумя вассалами и прислугою. Ну вот, еще одна работа для Фатали, но эта полегче той, что была в Сухум-Кале, Сухуми, как называют местные, — переводить барону Розену объяснения турка, хозяина корабля. Ввоза амундции нельзя было доказать; турок, как умел, отпирался, но запрещенная покупка девушек — вот они, шесть черкешенок, почти девочки! — была неоспорима.

— А вы сами у них спросите, девушек, согласны ехать со мной или нет?! — раскричался турок.

Черкес из свиты барона, восторгавшийся видом Эльбруса, воспитанный в Петербурге, спросил у черкешенок, кажется, понимавших по-турецки. Барон заметно повеселел (после тяжких допросов в Сухуми!):

— Что ж, и спросим!.. Скажите им, что я дарую всем полную свободу: могут отправиться на родину с князем их племени (тоже пленным, освободили и его), могут по собственному желанию тут же выйти замуж за любого казака, пусть выбирают! а могут даже отправиться с турецким шкипером, который их тогда продаст на невольничьем рынке в Константинополе! Одним словом, чего хотят.

И каково было удивление барона (веселость как рукой сняло, и угрюмость более не покидала его), когда девушки единогласно и нисколько не задумываясь ответили:

— В Константинополь!

То есть чтобы быть проданными?!

— Быть этого не может! — вспыхнул барон. И на черкеса: — А они-то вас поняли?!

И невзлюбил черкеса, будто он виноват в ответе черкешенок (а в покупной цене они узнают все свое достоинство), не взял его с собой, а вернул в Сухум-Кале.

Девушки стояли растерянные, турок злорадствовал. И вдруг по-русски (знал, бестия!):

— Где же ваше слово, генерал?!

— Всыпать шкиперу! — приказал барон и вышел.

Девушек вернули «их племени», шкипера повели в каземат.

А потом всю дорогу им попадались беглецы-крепостные. Из каких только губерний! И каких только племен не перевидал Фатали на пути следования!.. А потом гавань Суджук-Кале. И, выехав оттуда вечером, утром прибыли в гавань крепости Анапа (и вниз, в Геленджик, куда прибудет государь).

Да, тяжелая была работа у Фатали...

А началось в Сухуми: долго говорил казах, низвергая трудноуловимые Фатали слова, вспотел, глаза красные, размахивает руками, рубашку поднял, спину всю в рубцах показывает:

— ...печати и тамги приложили Исыкова рода старинный бий Калбубай Кушияков, Джаппасского рода бий Бикбау Умирбангаев, Беричева рода Исянгулова отделения старшина Уса Тюляганов, Кызылкуртова рода бий Тука Убар Гирганов...

— Постой, постой! Спросите их, отчего бежали?!

И снова посыпались слова, но Фатали уловил смысл:

— Притеснение им от есаула, не поддержал хан, отказал в помощи оренбургский военный губернатор.

Барон информирован о Букеевском ханстве, восстали там киргизы («Казахи, казахи мы!»), беспокойно, уже год, как бьются, никак не восстановят порядок меж Волгой и Уралом, весь берег Каспия.

— За помощью к султану?! Против нас?! Это кто ж вас надоумил?! — Ведь надо же: с такими-то рожами прошли незамеченными, не остановили их, дырявая у нас Кавказская линия, что за цепь военных караулов?! Через Кубань, Малку, Терек! Везде ведь кордоны! Так-то обеспечивается безопасность сообщений с Закавказьем?! Как шли-то? Разве дознаешься?

А у башкиров из Татарии иные беды.

— Объясните им, Фатали, что слухи эти ложны и нелепы, никто магометан в христианскую веру обращать не намерен! — У одного уже есть на лице знаки, наказан, у другого чересполосица на спине от свежих ран. Шпицрутенами через сто солдат? кнутом? плетью? а потом на земляные

работы, очищать горные завалы, дороги к аулам? и чтоб там их — горские пули?!

И ему, Фатали, в лицо бросали, но чаще — в спину: «У!.. Предатель!» И в Сухуми тоже: уста просят — «помоги!», а в глазах — презрение, форму гяурскую надел!

А вот те, которые им в Анапе попадались, свои же, русские крестьяне, что ж они? Бегут на Кавказскую линию, возмечтали — по ложным слухам — о вольности. А слухи будоражат воображение крепостных, множась в кабаках и на базарах. Читал, читал барон Розен, присылали знакомиться и ему, свод мнений насчет внутреннего состояния России, мол, слухи — одно, а процветающее состояние — иное, составленное III отделением собственной его императорского величества (все слова с большой буквы) канцелярии.

Так было всегда: при каждом новом царствовании, при каждом важном событии в делах государства пробегает в народе весть о предстоящих переменах, а чаще — возбуждается мысль о свободе. Ждут, а ее нет и нет, и начинаются: ропот, пожары, неудовольствия (?!) крепостных, студентов, беспоместных дворян из чиновников, которые, да-да, а как же? будучи воспалены честолюбивыми идеями и не имея ничего терять, рады всякому расстройству, писак всевозможных, газетчиков и журналистов, тьфу!..

победили шаха — жди свободы!

турку прогнали — перемены случатся!

Алексей Андреевич Аракчеев (б, в, г...) богу душу отдал — амнистию жди!

а ожил, сказывают, великий князь Константин Павлович, из мертвых воскрес — быть чему-то непременно!

бракосочетание княжны Марии Николаевны, ну да, барышня уже, — снова вести о свободе!

как? неужто его высочество наследник женится на дочери — кого бы вы думали?! — вчерашнего врага! турецкого султана! хитрость-то какая! — и на радостях сожгут три губернии!

и насчет евреев тоже, всему виной: по наговору поляков действуют — в отмщение за рекрутскую повинность!

А отчего пожары? А от умышленного зажигательства помещиков для разорения своих крестьян, которые назначены быть вольными или отданными в приданое ее императорскому высочеству великой княгине!

Царь (государь, император и т. д.), дескать, хочет дать свободу, а чиновники противятся.

И пророчества, и толки: объявление свободы,— это мнение здравомыслящих,— может от внезапности произвести беспорядки, не привычны и не приучены, как ею пользоваться?! благоразумная постепенность и постепенное благоразумие, господа: коль скоро крепостное состояние есть пороховой погреб под государством, действовать осторожно.

А поток просьб неостановим: кто ж заступится?! «Всеавгустейший монарх, всемилостивейший государь! Первый по боге, отец наш, воззри на невинностраждущих!..» А это — поновей: «Взирая оком домостроителя на обширное государство свое, процветающее под сению благодетельных законов, карая неправды...»

— Что ж вы-то бунтуете?!

— Все чужезычники в России, чухны, самоеды, мордва, башкирцы, свободны, а одни православные невольники и всему злу причиной бояре (!!) — обманывают царя и клеветают на православный народ!

Фатали понимает, когда горцы или земляки. Или даже грузинские князья и польские возмутители, сосланные на Кавказ. И армяне-переселенцы. Или гурийцы — сколько тревоги было: разогнали пограничную стражу, разграбили казачий пост, разорили таможенный пост, напали на карантин, сожгли два казенных кирпичных завода... Но когда свои же! Что ж они?!

— Да кто ж тебя, дурья башка, допустит до государя?! — Узнали ведь, каналы, что государь на Кавказскую линию поехал!

— Меня никак задерживать нельзя, выданную мне доверенность от мира при сем имею счастье всеподданнейше представить государю!

— А ну что за прошение — взять!

— Сам вручу, сам.

— Выловить всех до единого!

А ночью снится Фатали сон: сам Николай Павлович за- просто беседует с ним.

И улыбается император, пристально вглядываясь в Фатали. Надо о чем-то попросить, но о чем? Затем в фаэтон посадил, а фаэтон особенный, вместо коня пушка на колесах движется. Едут они, вот он, рядом с императором, дотронуться может, да опасается.

«Это ж очень просто, как не можете понять? — рассказывает император. Сначала о четвертовании (ибо Фатали ни разу не видел). — Руки по локоть, — и показывает на сво-

ей руке, бисером вышит вензель, эН.— Как? Привяжут (к чему?), веревки за руки, и отводят в стороны, сначала левую большим острым топором, а потом правую. И ноги по колено или — по бедро. Приводят в чувство, и тогда новый взмах, прелестно, если шея тонка. Что? Как посадить живого на кол?! Неужто и этого не знаете? — удивляется государь.— Тщательно и гладко заострить кол, лучше дубовый, падеть тонкий и острый железный наконечник, густо смазать салом. Жертве лечь лицом вниз, руки связаны за спиной, а к ногам у щиколоток,— помнит Фатали, где-то читал!! — привязывают веревку, и раздвигают в разные стороны, а заостренный конец кола упирается осужденному между ног.— Император зевнул, прикрыв рот ладонью.— Да-с, коротким широким ножом делается разрез на штанах, чтоб расширить отверстие, через которое кол войдет в тело. От боли оно содрогнулось,— затряслась кабина,— выгнулось,— и плечи отчего-то поднимает император,— и упало на доски,— расслабился.— Живет? Да! И тогда деревянной кувалдой следует короткими ударами бить по тупому концу кола, но непременно,— предупреждает,— после каждого удара наклоняться над жертвой. Для чего? — экзаменует будто.— Посмотреть, правильно ли идет кол. Великое требуется искусство — а сам пробовал? — чтоб жертва выстояла! И у правого уха над лопаткой,— трогает спину Фатали, шарит-выскидывает лопатку, а Фатали ни жив ни мертв сидит,— не задев ни один жизненно важный орган, показывается острие наконечника! Жив!.. Лужица крови, но надо поднять пегнувшееся тело на колу, осторожно, не трясая, и привязать ноги к основанию кола».— Умолк.

«И все?»

«Почти! Кол непременно крепится меж двух балок, и падкий до пыток народ, верный императору, вглядывается в обезображенное от ужаса лицо преступника, оно вздулось, но глаза живые! И рот искривлен в судороге. И хрипы (слова проклятий?), и стон, пока не испустит дух (вечером? или завтра утром?).

Вдруг в зале они, кто-то подходит и отзывает государя, а Фатали ждет, ждет, нет его, надо б — вот он выйдет сейчас! — попросить, но о чем же, сообразить не может, а надо, когда еще такое случится? может, написать ему?! а его задерживает генерал, сам барон.— «Как вы здесь оказались?! кто вас впустил?!» — «Да я же почти полдня с государем был, в фаэтоне с ним катался!» — «Что за бред? вы с ума сошли, Фатали! Как вы сюда попали?!» А в руках у

Фатали какая-то бумага. «Прощение?» — спрашивает барон. А там перечень наказаний: повешение, обезглавление, умерщвление ударом в голову, утопление, погружение зимою под лед, сажание на кол («Но я ж тебе объяснил!» — голос императора), приговорен к колесованию (это когда кости колесом ломают, почитается одним из *квалифицированных* способов смертной казни), шпицрутеноем через две-сти солдат, прогнать через строй. «Ах болен?! что ж, до-держат присужденное ему («Кому? — спрашивает ба-рон.— Не вам ли, Фатали?!») число ударов по выздоров-лении!» Кнутом (хоть кнут не бог, а правду сыщет!), плеть-ми — и казачьей, с лопастью, чтоб шлепок щелкнул; розга-ми, палками, нагайками — с пулькою: чтоб с коня бить; батогами, чтоб кого батожить. «Что? — снова голос Нико-лая Павловича.— Но еще при покойном брате моем Алек-сандре было отменено рвать ноздри у преступников, в день рождества семнадцатого года!» (а у Фатали эта кара и не значится!); а еще ссылка в каторжные или крепостные ра-боты, отдача в солдаты, поселение сибирское и прочее, и прочее, и прочее, а сбоку рукой Фатали: «Как же это вы-разить — на фарси, на арабском, на своем по-тюркски?»

И еще приписано: *восточная пытка! запомнить! зашить жилами рот!! бунтарский, кричащий! разорваны губы, ви-сят, окровавлен рот!*

И еще: *ермоловская пытка — генерал вешал ослушни-ков на арбе!* и чей-то, кажется, почерк барона, — сбоку ком-ментарий: «Не всякий решится употребить в дело арбу, но что же делать, ежели лучшего и более человеколюбивого средства нельзя было в походных условиях приискать?»

Фатали, увы, не знает, что о том же в пространной сво-ей докладной записке Ладожский государю императору пи-сал: «Пускаться в дипломатию с людьми, которые далее своих гор ничего не знали, было бесполезно, и потому арба ермоловская, хотя мера, бесспорно, жестокая, была полез-нее дипломатии. Жестокость Ермолова, — разъясняет да-лее Ладожский, — говорят, будто бы была причиною оже-сточения и ненависти горцев к нам. Мне кажется, нет. Та-кой способ отношений мог ожесточить человека культур-ного, а не дикаря, уважающего только страх и силу».

И вдруг государь. Не узнает Фатали!!

— А этто ктоооо?! — круглые-круглые глаза.

И что-то круглое и выпуклое пошло, покатилося на Фа-тали.

— Это татарин! — лепечет барон Розен, тщетно пытаюсь

задержать, остановить колесо. А оно, огромное, неустойчиво идет на них.

И уже нет барона!! Мимо Фатали прокатилось! Будто оторвалось от арбы,— но ведь был фаэтон! Да-с, сидя на колесе, думай, что быть непременно под колесами, вколесили, выколесили, отколесили,— упражнения в языке Фатали,— доколесились, а кто и уколесил!

«О чем же хотел спросить?» Не вспомнил Фатали и когда проснулся. Может, это: «Отчего же свой-то против тебя, государь??»

А тут, как назло, и именно перед царским смотром войск на Кавказе, все в том же долгом тридцать седьмом, пошли неудачи, и первая — позорное поражение у Ашильтинского моста в Аварии. Горцы по доскам переправились через бурную реку, взобрались почти на перпендикулярные, как сообщается барону, скалы и стали во множестве низвергать с высот огромные камни, а потом с яростью бросились в рукопашную! Пал генерал-майор граф Ивелич, командир Апшеронского пехотного полка,— сраженный пулей, упал в пропасть, и два горца потом отыскали в ущелье, выкупили тело!

Двухмесячное непрерывное движение по гористым местам, износились одежда и обувь, половина артиллерийских и казачьих лошадей перебита, артиллерия пришла в негодность, горные единороги малонадежны, зарядные ящики много потерпели, а некоторые сорвались со скал и разбились.

И апрельское восстание в Кубе!

Аббас-Кули зашел к Фатали, когда тот переводил очередное воззвание к восставшим кубинцам.

Бакиханов пробежал текст.

— Опять? Узнаю барона! Это его: «Рука Шамиля!.. Виселицы!!! Расстрел!..» Я говорил ему, нельзя так страшить! Надо же знать кубинцев! — Аббас-Кули прав, но Фатали молчит.— Кстати, не мешало бы твоему барону объяснить, чем вызван мой спешный вызов? Я ж работу свою неоконченную оставил в Кубе!

— Какую? — поинтересовался Фатали, чтоб хоть как-то успокоить Бакиханова.

— Книгу Наставлений! Непременно пришлю барону, как только завершу!

И только что закончил, но о том молчит, грандиозный свой труд, над которым работал многие годы, обставившись фарсидскими, арабскими, греческими, армянскими и рус-

скими источниками, историю всех ханств Азербайджана до захвата их Россией и в последующие годы, вплоть до Гююстанского мира; написал на фарси и сам же перевел на русский. И приложение к этой Истории, «об отличившихся ученостью и другими достоинствами уроженцах Ширвана и соседних с ним провинций»; едучи в Тифлис, решил дополнить труд этот и краткой своей биографией, и даже первую фразу сочинил, на русском: «Оканчивая долговременный мой труд, я считаю обязанностью, не из честолюбия, но по обычаю нашему, а более потому, что горжусь происхождением из этого края, присовокупить сюда и мою краткую биографию, повторяя стихи: «Хоть другие суть розы и жасмины, а я — шиповник, но мы все принадлежим к одному цветнику».

— Да, пришлю, чтоб усвоил правила приличия, хоть и барон! Хочет меня обезопасить?! За жизнь мою опасается? Или это — форма недоверия? Это оскорбительно! Я как-никак полковник! Еще Ермолов определил меня на службу, не чета ему твой барон! — Фатали вспомнит Бакиханова, когда и ему доведется отстаивать свои права «Гражданина (!) империи». От гнева Бакиханов побелел: — И это воззвание тоже! Чем он думает, твой барон? — «Почему мой?» Но молчит, чтоб не сердить Бакиханова. — Я имел честь быть при светлейшем князе Паскевиче!! Даже он!.. — Не закончил свою мысль. — Так стращать моих соплеменников! Да будет известно твоему (снова!!) барону, передай ему! что если бы политическое спокойствие и надлежащее воспитание позволили развиваться природным способностям жителей Кавказа, то они достигли бы высокой степени просвещения. Да будет известно барону, что в наших краях явились люди, которые своей ученостью и способностями далеко распространили свою славу.

Фатали — к барону Розену:

— Я бы в этом воззвании...

— Что, Бакиханов здесь?! — Догадался, черт! — Это он вас надоумил? Я вашего Бакиханова (и он — «вашего»!) насквозь вижу! Именно так, и ни буквы не менять!

— А он обещал преподнести вам вскорости свою новую книгу, *Книгу Наставлений*.

— Поймите, — уже мягче, исправил слово, так, пустяк. — Переводите то, что вам велят, Мирза Фатали. И доверьтесь нашему опыту.

Распустили слух, что и «наш Бакиханов» причастен к возмущениям. Восстание подавили, не желают каналы

вступать в мусульманский конный полк, чтоб варшавских бунтовщиков грозным видом устрашать, кровь их — ведь чужие! гяуры! — проливать, если тем смирно не сидится, но на всякий случай, — предписывает барон Розен, — командировать в Кубу еще один батальон ген.-фельдм. кн. Варшавского гр. Паскевича-Эриванского, о боже, как длинно приходится писать!! пока выведешь, и войска не успеют, полка; он же полк Ширванский, о чем барон не упомянул. И еще один батальон в Баку, до окончания военного суда над зачинщиками кубинского восстания, — вычеркнуть! никаких восстаний! — «возмущения».

КАВКАЗСКАЯ ЛОТЕРЕЯ

Государь ехал через море, встречали в Геленджике. От пристани до оврага, разделявшего лагерь, стояла пехота, за оврагом вся артиллерия, выкрасили ее за два дня по случаю торжественной встречи. Потом казаки. И такой ветер, что долго пароходы не могли пристать. Вот он! корабль с императорским штандартом! флаг с изображением четырех (пока) морей: Балтийского, Белого, Каспийского и Черного. Сносило фуражки, и всякий привязывал ее, как мог, чтоб удержать на голове, белые или пестрые платки, ремешки, а кто рукою придерживал или натягивал на уши так, что и носа за козырьком не видать. И много шапок по полю несется, гнались за ними, чтоб поймать, нестрюевые сзади фронта.

И вовсе непохож государь на того, с кем Фатали сидел в фаэтоне, слегка разочарован: этот — мельче. А рядом с ним — великий князь наследник, все с большой буквы.

— Вот, привез к вам сына, полюбите его и служите ему так же верно, как служите мне.

Но наследник поедет морем в Крым, а государь — в Тифлис, в сопровождении барона Розена.

Раздражение нарастало с каждым днем. Этот нестройный! порывистый ветер! И вдруг — пожар провиантского магазина! запасной хлебный склад горит! Кто поджег?! да-с, по провиантской части полное *fiasco*! Зрелище показалось дурным предзнаменованием, в глазах постоянно играл огонь, предчувствие не обмануло: зарево горящего Зимнего дворца в том же тридцать седьмом! Он знал, что это должно случиться!

Усилилось раздражение после пира у мингрельского князя, эта высипренность, то на равную ногу с ним, дескать, и он — государь!! то раболепие, противное духу. И слухи всякие, ни дисциплины, ни порядка, и сроднился барон с князем.

Иногда шел пешком, мерзкая дорога, колеса вязли в грязи до самой оси, и встречи раздражали, и смотром остался недоволен, какая-то гарь в горле, дыму наглотался, непременно быть еще пожару!

К царскому смотру готовились, чтоб как в Петербурге. И там — бурмажор перед полковым оркестром, обшитый галунами. И даже горстка павловцев в высоких медных киверах с красной спинкой, золотых мундирах — все на подбор и курносые, чтоб угодить императору, ибо отец его державный был курносый; и истинно прусская страсть к муштре и мундирам.

Сияющие латы и шлемы кавалергардов и конногвардейцев, а у конногренадеров — высокие меховые шапки, на спине болтаются красные языки; и гусары, и уланы, ну и конечно же как без джигитовки? если она даже в Санкт-Петербурге, а здесь и тем более: кавказские воины — лезгины, черкесы, хевсуры, одетые как рыцари: серебряные кольчуги, панцири, шлемы серебряные на головах, — несутся, стоя на седле, соскальзывая под брюхо коней; лишь горстка — в пику Шамилю, чтоб знал.

Парадным разводом на Дидубийском поле командовал зять барона Розена, флигель-адъютант князь Дадияни, полковой командир (барон отдал за него дочь Лидию, она теперь баронесса-княгиня), а развод был при стечении народа.

И вдруг государь приказал военному губернатору Тифлиса Брайко сорвать аксельбант с Дадияни. Фатали издали видел движение военного губернатора к князю, но что это?! Дадияни расстегнул воротник — а ведь иначе не снимешь аксельбант, ибо привязывается шнурком изнутри, — и нагнул голову; сосед рядом с Фатали, молодой налоговый агент Фарман-Кули, недавно прибавил себе «бек», увидев оголенную шею и склоненную голову, застонал, вскричал в испуге (поплатится горячкою!), вообразив, что князю отрубят голову.

Губернатор протянул руку — а сколько пировали вместе с князем!! — и сорвал с него аксельбант, толпа замерла, и, как гром над ухом барона, крик государя: «С фельдъегерем в Бобруйскую крепость — и там судить!»

В ушах зазвенело: за что?! полвека в строю! И весь парад стоял как оглушенный. «Все! Крах!» Уже однажды было, в двадцать первом, барона за бунт Семеновского полка сместили с поста начальника гвардейской дивизии, а на его место назначили будущего фельдмаршала Паскевича, кого — вот судьба! — десять лет спустя сменит барон на посту главноуправляющего на Кавказе.

Фатали прижал рукой к груди голову Фарман-Кули (бека), не поймет, что случилось, и не князя жаль, о нем всякие ходили слухи, поделом ему, одну даже жалобу солдата показывали Фатали: заставлял, как собственных крепостных, работать на винокуренном своем заводе, держит свиней и продает их, а солдаты — свинопасы (но один ли князь?!), сделался поставщиком дров, — отчего-то жаль Фатали барона: вот она, царская служба — предугадать невозможно: Даддани разжаловали в солдаты, потом удалили на жительство (а с ним дочь барона. «За что ей такое?» — сокрушался отец) в Вятку, лишь годы спустя удастся барону получить разрешение, чтоб жили поблизости под Москвой (а это все интриги барона Гана, слышал потом Фатали, — тот приезжал от государя с особой инспекцией, а баронесса Розен не приняла баронессу Гана, ибо до трех занимается с детьми).

И закатилась звезда барона — назначили сенатором. «Не по чину его!» — говорили в канцелярии: младше его генералы (не младше, а млаже!) были членами Государственного совета, этой богадельни для вышедших из игры сановников. Но зато здесь же, на царском смотре, старшему сыну барона император самолично выдал Георгиевский крест за участие в штурме Варшавы, — долго шла награда.

После Розена ждали — а вдруг Ермолова снова пришлют? Но пошли-поплыли другие, один нежданнее другого, пока не пришел Воронцов; так всегда на Кавказе: вроде бы двоевластие; и при Ермолове тоже, — еще действует, а уже новый прибыл, Паскевич; и сейчас — барон не ушел пока, а всю распоряжается Головин. Даддани и прочее — лишь повод или козлище, вынесшее наказание за грехи полковых командиров, ибо все как Даддани, и мрут от холеры солдаты, хоронят порой, как после битвы, десятков в одну братскую могилу, барон не сумел обуздать горские племена, не покорил, не бросил под ноги государя Кавказ; и Шамиль обманул, не явился!

И раздражение, и предчувствия, а тут еще и страх прибавился, когда император возвращался в Петербург: ехал

сюда морем, а пожелал по Военно-Грузинской дороге. Смешали ему кучера, нового (? страх, что подкуплен!) дали, наняли подешевле, ибо первый, чтоб довести до Владикавказа, затребовал сто рублей! но о том государь в неведении; кучер сел на козлы, подъехали к спуску, надобно ж тормозить!! но ментор на козлах с чего-то не позволил остановиться, кони понесли, фореитор сробел, растерялся и повернул коней круто к горной стене. И коляска опрокинулась на самом краю пропасти. Отсюда император ехал уже верхом на казачьей лошади, и страх, и обида, будто все в заговоре, и лошади в дурных телах, а тут еще простудился и получил зубную боль, и на графа Орлова дуется, будто тот виноват в смене кучера (а ведь и он мог в пропасть, сидел рядом), а знаменитый Вельяминов — тоже на коне, отвык скакать, больные ноги, захворал, промаялся с осени до весны (и в апреле скончался).

И государь уже в Петербурге. И думы, будто кто-то шепчет над ухом; смешалось: и парадный развод, и ловчие охоты, устроенные им мингрельским князем, и страх, когда перевернулась коляска, и пожар в Кутаиси.

И как эстафета передается мысль, запечатленная на секретных заключениях главнокомандующих — главноуправляющих — наместников, князь — барон — граф..., — как же можно лишать туземную знать прав?! Упускать из виду важность посредства знати между нами и туземной чернью?! Грубые понятия ее, привыкшей смотреть на вещи только наглядно, могут быть руководимы не иначе, как сильным и ближайшим влиянием своего высшего сословия! А при власти подчиненной нам местной знати мы не будем ведать забот! Правительству легче привязать к себе несколько частных лиц (боже мой, сколько тут способов: и звонкие чины, и сверкающие побрякушки, и предоставление неограниченной власти с непрямым подчинением, правда, нам), и тогда они выжмут из своих народов все соки. К тому же всем им, дабы приручить и к порядку призвать, — высокие чины с прикомандированием к казачьим полкам. Ведь как исправно служит, готовый сверкать шашками, наш конно-мусульманский полк в Варшаве! Славно порубал мятежников! А команды мусульман в собственном императорского величества конвое?! А особые отряды противу горцев? А для кордонной стражи?.. И, пользуясь влиянием местной знати, собственных вождей, действовать по всем видам на народы, нежели непосредственно управлять самую чернью, которая без того представляет всегда много

затруднений по ограниченности понятий и дикости правов.

Необходимо обеспечить местных вождей личными выгодами, упрочив их благосостояние, это послужит примером, пусть управляют, а нам в столичную казну...

Стоп! Стоп! — это Кайтмазов. — *Как можно?! Ведь секретно!* да, не забыть: непременно объявлять туземным вождям высочайшие рескрипты! и о всеобщих торжественных случаях не забыть! а что может быть радостнее для верно-подданных, как тезоименитства государя и государыни?!

И все же, — кто-то над ухом государя ноет, — от Закавказского края мы терпим одни убытки (?! — знаки Колдуна).

А государь — какой длинный тридцать седьмой! — только что провел в Аничковом дворце, где снова живет после пожара в Зимнем, прибыльную лотерею, очередная его страсть. Из английского магазина во дворец привезли золотые портсигары, украшенные драгоценными камнями, старинные серебряные кубки, египетские статуэтки, китайские веера, а камер-лакеи разместили их на столах в зале рядом с гостиной императрицы, а после чая государь подойдет к столику, где лежит стопка игральных карт, на одной — точь-в-точь его физиономия, одна смотрит прямо, а другая подглядывает, перевернутая вниз головой, и под каждой вещью, вроде нумера, — карта.

«Король трефовый... а мы их проведем! — и обозначил им дешевый китайский веер с изображенным на нем драконом. — А двойку бубен — к золотому портсигару! Что же обозначить валетом червей? — задумался государь крепко. — Может, малахитовую шкатулку?! «А Малахов курган, а Малахов курган...» — напевает вдруг ни с того ни с сего.

— Господа, кто желает купить у меня туз пик? Славная карточка!

— Я! — это князь Вязский.

— Позвольте, я! — это граф Роффенгроф.

— Может, я?! — басит барон фон Грон.

— А что дадите? — добродушный тонкий голосок, улыбается. — А?

— Двести! — картавит граф и без «эР». — Триста! — и легкая дрожь в голосе князя. — Может, триста тридцать? почему бы барону не сделать приятное государю?

А он ах как забавляется: «Господа, расщедритесь! Ведь такая карта — король треф!»

И когда карты распроданы, государь в сопровождении генерал-адъютанта и дежурного камер-юнкера идет к сто-

лам, а флигель-адъютант называет карту, обозначающую вещь, и сам государь лично ее вручает. Ух сколько денег! Оплатить стоимость английскому магазину, а остальное пустить на развитие кукольной отечественности.

«Да-с, такую бы прибыльную лотерею с Кавказом!»

«Закавказский край,— неужто это Розен сказал? нет, кажется, Ермолов,— смесь разнородных племен, языков и обычаев. Общее у них только одно — невежество. Как устранить безвыгодность и приискать средства сделать край сей полезным для России?»

— Я имею в виду, государь,— это молодой энергичный Ладожский, еще в Санкт-Петербурге, перед назначением на Кавказ,— в предстоящем случае уничтожить навсегда мнение о непрочности владения, чтоб край вливал суммы, воспомоществовал, чтоб связать оный с Россиею гражданскими и политическими узами в единое тело и заставить тамошних жителей говорить, мыслить и чувствовать по-нашенски, а что пререкает сему — должно быть непременно изменено, ослаблено, уничтожено.

«Ай да молодец Ладожский!» Очень по душе императору эта простая фамилия, есть в ней что-то доброе, ладное.

— Ах вы еще не кончили, извините!

— ...природное наше дворянство одно в состоянии составить верный надзор как самая бдительная и верная сила, да, да, государь, я понимаю, такая перемена судьбы должна быть для туземной знати тягостна и оскорбительна.

— И что же?

— ...и туземное дворянство! Сии новые из туземцев дворяне, быв воздвигнуты из ничтожества нашим правительством, непременно возлюбят.

— Что еще?

— ...отсылать для окончательного образования в Санкт-Петербург или матушку-Москву в корпуса, академии и другие училища!

??

— По выпуске из сих заведений пять лет прослужить в наших краях, и тогда перемещать их можно за Кавказ. Отлучка, воспитание и служение среди наших и иные факторства,— Ладожский как будто не замечает недоумения государя, ибо убежден, что восхитит его своим прожектом,— да-с, иные эф-факторства (но что?!), и тем самым ослабить туземное противудействие.

!!

— Вот-с, государь!

— Но сколь долго?!

— ...какие бы ни случились в будущем перемены, увы,— «не огорчить бы!!» — вполне доверять нельзя, и посему непременно, так сказать, за кулисами...— И умолк.

— Да, да, именно! Это хорошо — за кулисами! Вторые, но на первых ролях. Ах, за кулисами, нежно-розовые мотыльки...

И какая славная нынче лотерея была! Сегодня бал-маскарад и княжна Вязская, нечто крупное, податливое и холодное под горячей рукой,— вряззз! Что еще? Ах да, стишки, поэмка в журнальчике, из Москвы нынче прислали. «Ваше имя — но так дерзко! туземец! рядом с этим, как его, камер-юнкером...» А еще что?!

И вдруг дама в маске, точь-в-точь как та, что с генералом Головиным была на предыдущем балу. «Головин! Вот кого на место барона!» — вдруг решил. «И наказать!» За слушание, ибо замечен был в тайном доме у пророчицы, всю ее группу только что арестовали, ибо запрет тайных обществ (?); а здесь чтение священных книг, потом песни, затем радение или кружение, и на Екатерину-пророчицу, что-то татарское в фамилии, не вспомнит государь, накатывал дух пророчества, быстрая бессвязная речь с рифмами, под склад прибауток, «святое плясание,— как чистосердечно признался Головин,— в некоем духовном вальсе». «Дар пророческий не от кружения тела,— заметил Николай, еще не решив, как наказать Головина,— а чистых помыслов и подлинной веры», что-то в этом роде.

ИМПЕРСКИЙ КОТЕЛ

И уже Головин в Тифлисе.

— Не написал ли чего лишнего этот духовный вождь, как вы сказали,— муфтий! в своем воззвании к горцам? — первое задание Головина Фатали.

— Позвольте перевести?

— Некогда, пробежите глазами, что у него насчет государя императора?

А Фатали увидел уже в воззвании муфтия и о нем, новом главноуправляющем Головине,— не это ли не терпится узнать Головину?!

— «...мы, мусульмане, совершенно осчастливлены нахождением под покровительством доброжелательного всем государя великого императора, именуемого Николаем...»

— Вычеркните «именуемого»!

— «...высокочтимого, а щедростью своей могущего охватить все климаты Ирана, Хошемтая...»

— Что за климаты? что за Хошемтай?! Ну и неуч же ваш, как его? шейхульислам! Вычеркните эти климаты!

— Лучше оставить.

— Это почему же?!

— Так звучит более по-ученому, производит впечатление!

— Вы так думаете? — «О боже, к каким дикарям я попал!» — А что дальше?

«...храбростью, героя в мужестве, владеющего гербом Константина, фагфара Китайского в обращении с людьми...»

— Что-что?

Фатали улыбнулся:

— И сам не пойму, что за эФ?

— А не ругань?

— За это ручаюсь!

— Из тех же, что впечатление?

— Несомненно.

— Ну-с, что еще там?

— «Зюлькарнейна,— это по-нашему Александр Македонский! — в богатстве, Соломона в милосердии, Давида в превратностях, высококнижительно к людям. Следует возносить молитвы, служа ему, чтоб получить вознаграждение...»

— Вот именно! — Это правилось.

— «Мы в лице государя имеем до того совершенного, что если кто из начальников задумает мысль об угнетении, он его тотчас низложит, а на его место совершенного в милосердии, уже назначил,— это о вас, ваше высокопревосходительство,— обладателя многими щедростями генерал-лейтенанта, первого в городе Тифлисе, для похвал которого не хватит слов!»

— Ну к чему это? — поморщился.

— Может, подправить чего?

— Бог с ним, пусть остается. И как подписал?

— «Шейхульислам муфтий Таджутдин-эфенди-ибн Мустафа-эфенди-Куранский».

Началось с воззваний, это генерал очень любил, к горским племенам с требованием покориться. А затем карательные экспедиции.

«Я иду к вам, приняв лично, силою оружия очищать се-

бе дорогу. Вам предстонт выбор: или покорность без условий, или войска горят нетерпением наказать вас за ваше безумное самохвальство и разорить разбойничьи у вас при-тоны».

Истребить инвы (сожжены до основания), а что касается пленных, докладывает Головин, то их почти нет: хотя и взяли мы, но они, дабы не оставаться живыми в наших руках, кинжалами рубились до последней капли крови.

Убит — ах, какой был смельчак! — Апшеронского полка штабс-капитан Лисаневич, сын знаменитого майора Лисаневича (вырезавшего в свое время семью карабахского хана), оба погибли на Кавказской войне, и род Лисаневичей по мужской линии прервался.

Новые экспедиции: три месяца осады Ахульго, где засел Шамиль; зной, рев, гул орудий, удушливый пороховой дым, пули, осколки, снаряды, камни, бессонница и голод. Шамиль заключил мир и выдал в аманаты своего сына Джамалэддина; но Головин — «вот она, победа!» — радовался раньше времени: Шамиль только начинался. А тут еще и побег Хаджи-Мурата из тюрьмы, — и часть Аварии примкнула к Шамилю. И Чечня, доведенная до отчаяния.

Пулло, Граббе!.. «Ишаки и тот и другой! — кричит Головин. Знает, что найдутся люди, которые передадут. — Так и передайте им!» Не давать покоя горцам! Изнурять осиные гнезда бессонницей! Жаждой, голодом! Никакой пощады!

А к тому же объявился еще один из близких людей Шамиля, будто ездил к египетскому паше, вот и послание, подписано красными буквами — «Ибрагим-паша, сын Магомет-Али-паши», и приложена неизвестно чья печать: «Слушай меня, горцы! Еду к вам! С несметными силами — сколько звезд на небе и песчинок на берегу морском! Иду освободить единоверцев!» Считает к тому же, что земли, на которых ныне горцы живут, ему «принадлежат по наследственному праву», а заодно уверяет, что «завоюем и Астрахань»; подложное письмо!

А сколько их, племен на Кавказе, Фатали даже не предполагал!

И канцелярия днем и ночью работала: какие уже покорились, выписаны столбцом, какие полупокорны, а какие еще бьются, всех-всех учесть!

«Что ж, дайте только срок!» И видится Головину большой походный котел, и варятся, варятся в нем:

племена абазин (а они сами — племя, притом особое, и неясно: они ли объединяют, или их включить в более широкое родовое понятие) — покорны абхазцы, самурзаканцы (те же абхазцы, но различить по месту обитания), полупокорны цебельдинцы (не племя, а тоже по месту обитания); непокорны — салзуа, или джигеты, лишь фамилия осталась, вымирает племя саши, — истребят этот воинственный народ, магометане и идолопоклонники, и медовей, а среди них псоу, ачипсоу, айбога, чужгуча (кто есть, а кто истреблен); полупокорны — баракан, баг, шегирей, кызылбек, там, башылбан, — где они? исчезли, эмигрировали, стерлись, язычники и магометане; а дударуковцы, лововцы (аул один остался) и кечевцы — покорны, но лишь в фамилии живо племя;

племена черкес: непокорны — натухайцы (истреблены, лишь один аул), шегеки (истреблены), шапсуги большие и малые, убыхи (исчезли), абадзехи (лишь аул остался); полупокорны — адыги (самоназвание черкесов), бжедухи — хамыши (или хамиша), черчиней (или чачиней);

а как же верхние черкесы — кабардинцы? Отчего о них ни слова (если конь нужен — иди к верхним черкесам, хорошие кони у кабардинцев, если жена нужна — иди к нижним черкесам, хорошие девушки у адыгов);

а как с басанеевцами? жанеевцами (погибнут все от холеры, лишь один жане останется)?

темиргоевцы, мамхеговцы (истреблены, один аул остался)? хакучинцы?

племя татар — покорны все поколения ногайцев: калимбетай, мангит, кипчак, карамурзин, наврузы, караногайцы; карачаевцы — полупокорны;

племя осетин — все покорны: дигоры, валаджиры, куртаты, чимиты, тагауры, турсо, хевцы, гудошаурцы, гудомокарцы, гудовцы, джамуры, зрамаги, нары, зроги, заки, джавы, кешельты, геры, магладолеты, малоляхцы, мамисоны, кударо, рачинские осетины — все-все, ах как приятно, кроме непокорных язычников мамисонов (но они ж в графе покорных! проверить!);

племя ингушей — покорны! племя чеченцев — непокорны!

снова племя татар: покорны — кумыки андреевские, аксаевские, костековские, караногайцы (но о них уже было!), владение тарковское;

а как каякенские? тоже покорны!

племена дагестанские: лезгины — салатовцы, гумбетов-

цы, андийцы, койсублинцы (это ж река! Койсу, голубая вода! Есть Верхнее Койсу, есть Нижнее, что за «койсублинцы»? Но разбираться некогда); то покорны, то вдруг взбунтуются; Авария — покорна (по причине малолетства наследника аварского хана, воспитывается в кадетском корпусе в Петербурге, управляет ген. л. Ахмет-хан Мехтулинский, а жители мехтулинского владения — совершенно покорны);

племена центрального Дагестана: даргинцы — акуша, цудахар, уракли (урахи?), усиша, меча (муги?), микага (мекеги?) — полупокорны, то тихи, то взбрыкнутся; андалальцы (это ж аварцы!) тоже; а вот у каракайтагов нижние покорны, а верхние частью полупокорны (группа аулов Уржамиль, гапш, ганк, кайтаг), а частью непокорны вовсе (шуркан, мююра, кабадарга, сюрга); табасаранцы, казыкумхцы, кюринцы (? это ж лезгины!) — покорны и покорны;

и Нагорный Дагестан — совершенно непокорны, хищны, малоизвестны: хири, сильди, иланхеви, богс, богулал, аухвал (сюда бы еще, но до них не добрались, — чамалал), хидатль, кхедли, карах, мукрах; ункратальцы, а у них бугнададь, конодадь, уснададь, анцрох, бацодадь, суграх, тебелель, ташмиль, весьма-весьма хищны (может, еще кто? но как узнать?), — вот что такое Нагорный Дагестан!

а есть еще южный Дагестан, слава богу, весь покорный: рутульцы, ахтынцы, докузпара, алтыпара (а впрочем, эти три племена, если быть точными, но кто упрекнет Головина? спасибо, что составил, — плюс кюринцы и есть лезгины!); правда, они приняли деятельное участие в кубинском возмущении, но вследствие экспедиции под начальством Головина вновь, да, да, — покорились и — безусловно (куда подевались агулы? цяхуры?.. и до них доберутся!).

И сводка эта — памятник Головину, далеко-далеко идущие у него планы.

То письма подложные, а то Шамиль свои пишет: биться и умереть! «То, что есть, начертано свыше, predetermined и не требует наших усилий, а что не написано в книге судеб, того не увидим, так что наши умствования бесполезны, — ревностно наставляй вверенное стадо на путь истины. Мы оседлали коней и обнажили мечи!» Это — к друзьям.

А это к заблудшим: «Всевышний силен утвердить свое слово, хотя бы неверные тому противились. Образумьтесь спешить принести покаяние, вспомните прежние подвиги свои. Если дадите жен в руки неверных, приду и жестоко накажу вас! Отделяю возлюбленных от отделенных, братья

помогут братьям, а всевышний за них. Дело таково, как было. Ей-богу, ежели вы мое слово и присягу не исполните, то тогда будете каяться на том свете. Я дал присягу Алкорану до тех пор воевать, пока не будет снята с плеч моя голова».

ПОД СЕНЬЮ БЕЛОГО ПАДИШАХА

О наивный глава мусульман-шиитов мучтеид Ага-Мир-Фаттах, или просто Фаттах!

— Да, в Персии не более трех таких людей, как я, духовный вождь мусульман-шиитов. Самого шаха я не боюсь, только тайно он может мне вредить. А в моем воображении ваш белый царь был идеалом ума и справедливости, и в моем деспотическом краю я видел столько тупой жестокости и насилия, что возгорелся ненавистью к нему. Это именно благодаря моему влиянию Тавриз сдался Паскевичу. Я знаю, ко мне был приставлен им единоверец наш, чтоб шпионить за мной: так ли, мол, я искренен, нет ли у меня иных целей?! И когда заключили мир, я решительно объявил Паскевичу: мечтаю служить белому царю! бросаю дом, имущество — все! («очевидная выгода приобрести духовную особу высшего достоинства, пользующуюся не только приверженностью последователей алиевской секты, но и всех магометан, заставила меня поощрять мучтеида к исполнению его намерения...»). Да, Паскевич поддержал меня! «Мы вас назначим, — сказал он мне, — верховным начальником всех шиитов, в провинциях наших находящихся!»

Фатали молча слушает, знает о тогдашних намерениях Паскевича установить с помощью мучтеида надзор за муллами; «ибо было не раз замечено, что многие из них, быв преданы душою не к нам, а кто единоверным персианам, кто единопольным туркам, отвращали народ от нас, питали в нем ненависть противу нашего правительства

— но так грубо, граф-князь!

— да, да, я увлекся, вы правы, нельзя отвергнуть, что сему

— чему?

— ну, эээ...ну, ненависти противу нашего правительства способствовало, но отчасти, поведение чиновников наших в мусульманских провинциях, некоторые от незнания языка, а другие от непозволительных видов, оказывали жителям притеснения и несправедливости, ропот

возбуждавшие, так вот, этот мучтеид мог бы доводить до сведения высшего начальства злокозны мусульман».

— «Я добьюсь для вас,— сказал мне Паскевич,— ежегодного пансиона. Дадим имение вам в провинциях наших,— вы же хотите создать под сенью белого падишаха рай, не так ли?» Мне пожаловали орден Святой Анны первой степени, пансион, отдали в пожизненное владение, поди пойми вашу хитрость, пожизненное или потомственное! имение — деревни бека, сбежавшего за границу. Да, я мечтал создать в своих владениях образцовый мир справедливости и братства. Но началось!.. Тянул ваш ширванский комендант, тянул пристав, тянул каждый, кому не лень. А потом узнаю: пожизненное владение. А как же, если я умру, моя семья? семьи моих родных, поверившие мне и бросившие родные места?! «Ты из преданности России,— кричит мне жена,— сделаешь нас нищими! мы хотим вернуться в Персию, не смеют нас не отпускать! мы попались в твою ловушку!» О каком рае мечтаешь? бил себя в голову. Но кому жаловаться?! Паскевич в Варшаве.

Переполох в Тифлисе: исчез мучтеид. А тут донесение из Ставрополя: только что приехал Фаттах и направил путь в Варшаву для свидания с Паскевичем.

Непременно задержать! А ведь обманул — кому-то не снести головы! — изъявил лишь желание отправиться на кавказские минеральные воды, получил на проезд подорожную и — переменял намерение.

Была уже встреча с линейными казаками. «Бумага Паскевича?» Сын переводил по-русски, выучился, не надо переводчика. А потом встреча с горцами. Тут — другая бумага, им самим составленная, по-арабски. Нашелся кумык, который прочел. От шаха?! А может, участь горцев будет решена? А вдруг обман какой? Эй, с кем говоришь?! С мучтеидом! Молитву прочту — ослепнешь!

Депеша военному министру, а тот — государю. «Отправить нарочного фельдъегеря остановить его на том месте, где застанет!» А вдруг какая тайная связь?! Только что в Закавказье сосланы поляки-бунтовщики.

Фельдъегерского корпуса поручик Макс Ланге, отправленный в Брест-Литовский для остановки едущего в Варшаву вождя закавказских шиитов и прибыв в означенный город, узнал, что мучтеид проехал через оный в Варшаву по подорожной воронежского гражданского губернатора, вследствие чего поручик отправил по почте конверт

на имя кн. Варшавского гр. Паскевича-Эриванского в Варшаву, а сам поехал обратно в Петербург.

Паскевич долго понять не мог: Ага-Мир-Фаттах и — Варшава! Может, к конникам-шиитам, славно порубали бунтовщиков, им только брось клич!

— Что ж это?! Переводчика не надо — сын мой выучился! — И пошли обиды — комендант, наиб коменданта, тянут, отбирают, грабят! И это — за его верность и преданность? А разве не он помог сформировать шиитские конные полки в турецкую войну, чтоб били проклятых суннитов?

Паскевич окрылен победой над восставшими, и ему не откажут! «Что-что? Рай?! А казна? А эта орава чиновников? А эти войска? И конные полки? Кто их накормит? Я? Или князь-граф? Может, барон? И точно: восемьсот червонцев с базаров! Две с половиной тыщи с кишлаков, эйлагов, пастбищ! Рай?! Он что же, как у него здесь, в порядке? — крутит у виска пальцем.— Ну да, как же рай без баши? И без мыла? Разрешили строить красильни, чтоб врата рая выкрасил, а в казну — налоги! Уже подсчитаны минфином! А начнет артачиться, и не то ему устроят, вы знаете наших!»

И вдруг горит дом мучтеида в Ширванской провинции. Командировали туда для особого секретного дознания офицера корпуса жандармов, но улики ведут к коменданту. Закрывать дело!

И новый пожар — дом в Тифлисе. И сгорают в бушующем пламени семеро из его большой семьи. Месть? «Я просил, чтоб взяли меня на некоторое время в Россию! Или увольте на паломничество в Мекку!»

Сгорело все: и деньги, и ценности, и ковры, и одежда, и книги — лишь пепел! Из казны выданы деньги в долг, а просьба о паломничестве отклонена.

И проверить: все так же верен или угасла вера? разрешили — одному, без семьи, отправиться на поклонение в Мешхед, затем в Исфаган, чтоб приобрести, как просит, «некоторые книги, побывать в Тавризе и продать недвижимое имущество и вырученные деньги употребить в уплату долгов». Вскоре вернулся, угрюмый, молчит, нет ему покоя здесь и нет веры там, на родине. Что подскажешь, князь-граф?!

«Одним уже переселением он расположил в пользу нашу закавказских мусульман алиевой секты. Его добровольный переход переменял закоренелые и вредные понятия мусульман относительно христианского над ними владычества и

установил на Кавказе весьма выгодное для нас равновесие между сектами алиевой, шиитами, и омаровой, суннитами. Известно, с каким успехом Кази-мулла некогда вооружил противу нас дагестанские племена омаровой секты, но мусульмане, последователи Алиа, не только не соединились с ними, но стали в ряды наши противу изувера. Благоразумие требует, чтобы мучтеид был выведен из стесненного положения, и тогда мусульмане увидели бы, что мы умеем ценить заслуги тех, кто для пользы России жертвует своим отечеством».

Надо снова в Варшаву, к Паскевичу: «Дозволь приехать для личных объяснений!» Письмо, отправленное по почте (??), попало к императору: «Пусть передаст, что имеет пересказать, на бумаге генералу от инфантерии Головину или письменно — мне».

— Что ж, вот мои последние требования: если одна просьба не будет удовлетворена, да, да, так и запишите, Фатали! то я облачусь в дервишеский отшельнический наряд и покину белого царя, отправлюсь скитаться по белому свету! *Так тебя и выпустят!* Построить дом! Поблизости дома мечеть с училищем! Дозволь выписать из-за границы книги без задержания их в таможнях и дать денег на покупку книг, разрешив отправиться для покупки оных в Багдад и Стамбул, и привезти их прямо в цензурный комитет в Санкт-Петербург; живущего у него в услужении российского еврея вместе с женою и двумя малолетними детьми не отправлять в числе прочих евреев в Россию! Вот, кажется, и все!

— Отец, еще: купленную воду, вытекающую из реки, дозволить провести к дому и выстроить бассейн; а также пожаловать казенную баню!

— Еще дома нет!

И другой сын:

— И мать говорила: «Списать частные твои долги!»

Снова первый сын:

— А как же со сгоревшими звездой и медалью; и бриллиантовыми украшениями; а также с двумя драгоценными кинжалами, пожалованными тебе государем?

А ну выясним, так ли нужен он нам, как расписывает Паскевич? И как он ценен в Персии, откуда напросился к нам? Головин пишет полномочному министру при персидском дворе и генеральному консулу в Тавризе; да, шахский двор не питает к нему расположения, а уважение в народе

к нему велико, главным образом по отцу, почитаемому святым.

— Скажите мучтенду, Фатали, что высочайшая воля государя для меня священна, и я не вправе входить к нему с новыми представлениями. Но кое-что мы удовлетворим. Орденскую звезду заменим, а что до алмазных знаков ордена святой Анны, то нет-с. Ибо что же, мучтеид разве не помнит, что мы их ему возвратили?!

Мучтеид будто понял что-то важное, очень существенное: «И он тоже?!» И выскочил молча.

Куда сбежишь, мучтеид? Империя большая, но клетка! «Находясь за границей, он может быть вреден нам по влиянию своему на умы последователей Алия. Не изволите ли найти полезным поручить нашей миссии употребить старание к склонению его возвратиться в наши пределы, обнадежив...»

И Фатали переводит новое прошение мучтеида: «Основание преданности моей нисколько не поколебалось. Но какое горе свалилось мне на голову! Дети мои по стесненным обстоятельствам и беспомощности отправились в отечество, но в одну ночь — расследуй, государь! — не ропщу, отравленные, скончались оба. Происшествие сие так поразило меня, что, оторвав сердце от всего мирского, я предпринял путешествие. Но в странствии моем ваш полномочный министр внезапно известил меня о милосердии Вашего Величества. Пустившись в обратный путь, в Тифлис, я прибыл в Тавриз. И тем тягче становились воспоминания о смерти детей. Я не могу представить себе Тифлиса с окрестностями, напоминающими мне о детях. Нет мне возможности жить здесь и нет мне возможности жить там, у вас. Удостойте повелеть, чтобы семейству моему разрешено было приехать из Тифлиса в Тавриз».

Воронцов (уже Воронцов?!) любит иметь под рукой на непредвиденные случаи, особенно на Кавказе, людей. Вот и Ханыков, знаток Востока, пригодился, чиновник по особым поручениям; и его сиятельству князю была инструкция свыше: поручить Ханыкову разведать секретно о находящемся за границей Фаттахе, бывшем некогда, порядочно лет ведь прошло, при «тифлисском» мучтеиде; за давностью лет даже забыто, что вождь мусульман-шиитов всего закавказского края! не имеет ли влияния на единоверцев подвластного наместнику края, а главное, не состоит ли в письменных сношениях с духовенством дагестанским, с Шамилем?

Так уже заведено: если какие неуспехи — отыскивать

причины вовне. Ханыков — чиновник, но ему поручено дело, к которому не лежит душа, и он в мыслях, ибо задание секретное, поделился с Фатали, облегчил душу, а потом и позабыл о неприятности миссии и, как водится, проявил такое неумное рвение, что Фатали, тоже не высказываясь вслух, ибо, хоть и известно, с какой целью поехал Ханыков, но есть чиновничья этика, к тому же оба востоковеды, — долго пребывал в оцепенении; и Ханыков честь имел почтительнейше представить на благоусмотрение его сиятельства собранные сведения; он знал, чего хочется князю, постарался, как это тоже водится издавна, чтоб его наблюдения отвечали хотению начальства; тогда оно в который раз удостоверится в своей прозорливости и выкажет благорасположение к подателю докладной, то есть к Ханыкову, ибо тот укрепит князя в его интуитивном провидческом чувстве и глубинном знании истинного состояния дел; надо чуть-чуть переакцентировать известные факты, и то, что казалось ало-ярким и привлекательным, сгустить настолько, чтоб краски слегка потемнели:

«Перешедши в Россию, он значительно утратил свою важность в Персии как человек, предавшийся неверным исключительно из видов корысти... причуды его слабоумия! превратить свой дом в райский уголок.— *А ведь в Тифлисе сад мучтеида разросся: парк!* — Нет, он решительно никакого влияния на персиян не имеет — вот результат его преступного поведения, навлекшего на него справедливый гнев государя: «исключить из российского подданства и запретить въезд в наши пределы»! зря его князь-граф защищает!

Очень хотелось Ханыкову найти хоть какую-нибудь ниточку, выводящую мучтеида на связь с Шамилем, чтоб косвенно дать князю еще одну для успокоения самооправдательную оговорку в связи с поражением в Дарго, но востоковед (а ведь придется потом встретиться с Фатали, не упрекнет ли он: мы же с вами востоковеды, неужто не знаете вы, что раздувавшаяся веками империями персидской и османской вражда между суннитами и шиитами почти исключает возможность влияния шиитского мучтеида на дагестанское суннитское духовенство?! Ведь вам предстоит выступить с проектом положения о мусульманах-шиитах: «Все высокопраздничные дни должны быть празднуемы ими молениями, по обрядам своей религии, господу богу о здравии и долголетию царствующего дома и членов августейшего его дома»).

И, опасаясь укора, Ханыков облакает мысль в форму за-

мысловатую: «Догмат шиитского толка, повелевающий им скрывать свои верования в сношениях с суннитами, всегда вселяет в последних недоверие к отступничеству шиитов, и хотя есть примеры принятия последователей Алиа в общества суннитские, но новые прозелиты остаются без малейшего влияния и занимают всегда роли второстепенные».

Князь считает, что именно с его наместничества начинается новая эра в покорении Кавказа, и Ханыков — о том же: «Общее неудовольствие вредным невниманием многих главноуправляющих приготовило запасы ропота и смут в Нахичевани, Карабахе и Талышинском ханстве, коими Фаттаху легко будет воспользоваться; и поэтому для выгоды нашей полезно было бы склонить персидское правительство на то, чтоб оно пригласило от себя Фаттаха провести последние дни жизни где-нибудь в святых местах — в Кербеле или Мешхеде, у гробниц имама Гусейна и имама Ризы, где он может свободно посвящать дни свои подвигам благочестия».

Так и закончил дни свои старец, мечтавший создать идеальный рай в краю справедливости и порядка. Но ни у кого не возникло и мысли, ибо кто знал, что белый саван, в который завернули тело умершего Фаттаха, хоть как-то может быть увязан с образом белого царя, так пленившим в свое время мучтеида; потеряв сыновей и доброе имя среди единоверцев, чуть не сгорев при пожарах, лишившись любимых книг... — и все это из-за того лишь, что белый царь, словно чистый снег в ясный солнечный день, слепил глаза как нечто недосыгаемо светлое. Но кому нужен этот твой рай, Ага-Мир-Фаттах?!

— Фатали, ради бога, не жги бумагу! — просит жена. — Сколько можно?! Пишешь и жжешь, пишешь и снова жжешь!

НЕПРОНИЦАЕМЫЕ ТАЙНЫ

Было ясно, но начало запутываться. Четкая иерархия и порядок. И каратели — не каратели, а приносящие благо. И бунтовщики — возмутители, которых надо усмирять.

Ропщет Ахунд-Алескер — чего-то, выходит, и он недопонимает, думает Фатали. Бакиханов недоволен — и он тоже вроде неопытного кузнеца: то молотком по шляпке гвоздя, а то промахнется и — по подкове! И чего спешил в отставку выйти?! Застрял на полковнике, а был бы теперь генералом,

земляки бы гордились!.. А Бакиханов изумлен: «Ох, и наивен ты, Фатали! Так, как они со своими подданными, даже ханы Шах-Аббаса, и те не обращались!»

«А ты сам как? А твои крестьяне?!» Может, ты и прав, думает Фатали, но краю нужен покой, он устал, измотался от междоусобиц! неуверенности! разбосв! диких набегов! как в окружении сильных и больших государств удержаться?! И — лучше царь, чем шах (и чем султан!).

Ведь вот же — бежал из Ирана Фазил-хан Шейда (кто с Пушкиным встретился: северный поэт на юг, а южный — на север, с извинительной поездкой, ибо посланника российского фанатики убили), бывший учитель сыновей наследного принца Аббас-Мирзы (ездил в Петербург со своим питомцем Хосров-Мирзой).

Фатали поручено опекать беглого поэта, тот ему в отцы годится.

Поэма о Пушкине?! и тут же Фазил-хан рассказал о встрече с ним. Фатали уже слышал, но от кого?!

— Он часто поглядывал на мои крашенные хной ногти, мне было смешно, когда он какие-то высокопарные слова, будто на приеме у Шах-Аббаса, я его перебил. Дорогой мой человек, говорю ему, не надо, давай проща, ведь мы с тобой поэты, и я не шах и не султан турецкий!

Фатали сам перевел поэму на русский, еще до Бестужева, нашлась добрая душа в канцелярии, тоже из ссыльных, Клементьев, и тот отредактировал. «Непременно пошлю в «Московский наблюдатель»! Там мой кузен...» А пока редактировал: «Вот вам журнал, здесь кое-что любопытное для вас!» И Фатали прочел. О том, что Фазил-хан получил тогда в свою извинительную поездку в Петербурге золотые часы, бриллиантовый перстень и несколько сот червонцев от императора, — а как же? ведь прочел в честь государя оду!

Перстень на указательном пальце, а часы спрятаны, видимо, эти! — золотая цепочка прикреплена к жилету; а об этих подарках, помнит Фатали, еще в их семье говорили, потом Бакиханов: «Прочел бездарную оду, возвеличил Россию и императора, иранские поэты все одописцы!»

— Ну как? червонцы сохранил? — при Фатали спросил Бакиханов у Фазил-хана.

Еще в те далекие годы, когда тот с Хосров-Мирзой приезжал в Тифлис, они виделись, и Бакиханов резко, станет он сдерживать гнев при сыне наследного принца! высказался против тегеранских властей, которые не смогли защитить!

«Дипломат! Дипломат! Поэта вы убили! Он да Пушкин!» Хосров-Мирза надулся и ушел, сочтя ниже достоинства говорить с мелким ханом, — шахи этими ханскими званиями одаривают каждого, кто им приглянется. И промолчал: ведь с извинениями прибыли, а то сошлют в эту, как ее? вроде их соляных приисков! Аббас-Мирза строго наказывал сыну: молчать! ничего лишнего — только коленопреклоненное извинение!

— Как жить-то будешь? — спрашивает Бакиханов. — Смотри, здесь немало шахских сыщиков — не попадись в их руки! И по ночам не вздумай по берегу Куры, — убьют и в воду! С голоду, думаю, не умрешь, — дадут тебе пенсию, да и за стихи — по червонцу за бейт, рази шаха и славь царя!

Даже Фазил-хан Шейда сбежал в Россию! И нечего, выходит, бунтовать горским племенам, угомонились бы, как другие, пошла б спокойная жизнь.

Но уж очень оскорбительный у воззваний тон! это ж гордые горцы! «Наши войска истребят ваши аулы и все имущество ваше, и вы навсегда лишитесь земель (!), ныне вами занимаемых» (?!); мол, пришли вы откуда-то неведомо, а мы здесь еще до вас. Но отчего ж царские бегут к горцам?! И немало пленных!

«Я бы этих беглецов!» И не может Головин придумать более страшной казни, чем есть: сожжение сел, истребление припасов, угон скота, пепелища на всем пути — карать и карать! Старик с обгорелыми бровями и бородой. Девочка над трупом матери, вся измазанная сажей. Пристреленная, но недобитая собака скулит и лижет рану. Что еще?!

Шамиль: «Знайте, что те, кто перебежал к нам, стали чистыми!»

— Эй! — кричит кто-то в ауле. — Из этой миски есть нельзя! из нее гяур ел! испоганил рот — пойдй умойся в реке! только далеко не ходи, на той стороне гяуры, убьют тебя!

И генералы, генералы! Тут одно дело намечается! Но ни звука: убийство Шамиля. Или хотя бы его мюрида Ахверды-Магому. «Жаль, Хаджи-Мурата упустили, бежал, — сокрушается Головин. — Почти наш человек! это он убил Гамзат-бека, вся Авария через Хаджи-Мурата была нам верна! — с чего б такая доверительность Головина? — Арестовав унизили, да-с!»

А о карательном отряде генерала Бакунина в селение Цельмес, где укрылся тогда после побега Хаджи-Мурат,

рассказал Фатали сам Хаджи в минуту смятения в Тифлисе, уже замышляя новый побег, они смотрели итальянскую оперу в новом тифлисском театре. Сначала у Фатали о Нухе спросил: кто у него там и как найти? а потом о Бакунине: «Андийские войска от Шамиля помогли, бежали урусы, а генерал погиб». И вдруг: «Не верят мне! Ложь все! Я должен быть в Нухе! Оттуда я пошлю человека к Шамилю! Он не смеет убить мою семью!»

— А ты бы посмел?

— Я бы? — задумался. — Да, я бы посмел! Я Гамзатбека убил и не дрогнул! Я многие семьи уничтожил. Убьет Шамиль, непременно убьет! И ваши мне не верят! Я бы захватил Шамиля, пусть дадут мне войска!

— И сами ж, — Головин откровенен, — соединили Шамиля и Хаджи-Мурата! Неужто, — спрашивает у генерала Граббе, — не найдутся люди, которые решатся на истребление? Сумму какую употребить?! До двух тысяч серебром из средств экстраординарных (в распоряжении главнокомандующего: на лазутчиков, угощения, подкупы-подарки, вознаграждения за поимку дезертиров, содержание аманатов-заложников, пленных и арестованных горцев).

Нашли человека. Из чеченцев. И он убил первого посла имама — Ахверды-Магому! Может, и с Шамилем рискнем, а? А пока думали, выяснилось, что Ахверды-Магома жив. И еще один слух окажется ложным, пока — уже при Воронцове! — не будет действительно убит.

Воронцов узнал об этом, когда подписывал отношение к военному министру, а перед этим осмотрел вырубленные просеки на левом фланге Кавказской линии в Большой Чечне, произвел осмотр войскам в крепости Воздвиженской, а среди них, как он докладывал, «полк егерский имени моего»: «Направление просек хорошо соображено, и они вырублены очень успешно, что обширные вековые леса совершенно уничтожены, и ныне на месте их обширная равнина, совершенно отнятая у неприятеля, ибо хотя он и пытался в нынешнем году засеять поля по правую сторону Бассы — любит себя Воронцов за эту вот тщательность в описаниях, не все Соллогубу сочинительством заниматься! — и произвести сенокос, но все запасы его были уничтожены во время трехдневного пребывания войск наших в этом крае. Местность так хорошо очищена...» Поднял голову: Магома?! Неужто? Не Кибит, а Ахверды?! «Поздравляю! — и улыбнулся лисьей своей улыбкой. — Молодцы!» И стал читать дальше донесение, чтоб подписать: «Громкий и единодушный

возглас за здравие государя императора, при пушечной и ружейной пальбе, дав знать неприятелю, что мы празднуем приобретение этого края, отнятого окончательно».

Усилилось дезертирство: из неблагонадежных (наводнили Кавказ бывшими мятежниками да злопыхателями-болтунами!), из ссыльных поляков. Из них Шамиль составил даже стражу, лично свою, отвел им земли, а пока строят дома, Шамиль позволил им жить у кунаков. Одно время побегі уменьшились, когда узнали, что плен — пуще каторги, изнуряют тяжкими работами, но Шамиль изменил тактику: дарует дезертирам свободу. Льют орудия в Дарго и картечи во дворе Шамилева дома.

— Фатали, поговорите с ним, чего он от нас хочет?

— Я Чага Акаев.

— Кумык? — понял тотчас, а Головин изумился даже: «Но как?»

— Да, из андреевских.

— А я Фатали, из Нухи.

— Я Оздемира убил!

— А кто такой Оздемир?

— Ай-ай-ай! Чеченского наездника Оздемира не знаешь? Пятьсот воинов Шамиля, а он их начальник!

— Почему убил?

— Радоваться, а не почему! — И смотрит на Головина: мол, не радуется, как же так, начальник?! — Вот доказательство! — и показывает Фатали кисть к шашке, вроде темляка. — Читай! Что, трудно? — наглый такой малый. — Я наизусть выучил: «Нет Оздемира храбрее, нет его сабли острее!» Это Шамиля орден! Я, Чага Акаев, убил Оздемира!

Эх, Шамиля бы! Надо что-то придумать, но что?

Ладожский ни одного туземца не упустит, чтобы досконально не выведать: кто? нюансы психики? поведения? обычаи? И Фатали тоже: все, что знает, доверчиво выкладывает — чтоб установился наконец-то мир на этой земле!

Ладожский ему:

— Мы с вами послевоенное поколение и легче поймем друг друга. — Будто сговорились: и Кайтмазов ему как-то о том же. Ну да, ведь, как любит Кайтмазов говорить, он в двойном подчинении: внутреннем (Ладожский) и внешнем (Никитич); но Никитич ни разу не сказал Фатали: «Мы с вами...»

— А какую войну вы имеете в виду? — Надо уточнить, чтоб не было кривотолков.

— Какую? Неужто неясно? Отечественную!

Мало ли какие войны были? И персидские (две), и турецкие (тут со счету сбиться можно) и т. д.

Ну да, Фатали согласен с Ладожским: бесцельная вся эта мятежность, вспышки горстки людей,—чего добились кубинские восстания? и бунт армян — переселенцев? и грузинские заговоры? закатальские возмущения? ведь сила.

— Вот именно! Вы умница, Фатали! На стороне царских войск. Но с некоторых пор,— и лицо Ладожского недоуменно удлинняется, даже макушка видна, а челюстью, как штыком, проткнешь любое чучело,—сомнение: бесцельно, согласен, но надо показать, что с тобою нельзя безнаказанно! что это все же твоя земля, и ты готов добровольно соединиться с более сильным, с более опытным!

А Ладожский затеял нечто дерзкое — новые прожекты государю: как иные средства использовать для усмирения. На Фатали посматривает многозначительно. Исчез, долго его не было.

«Господин Ладожский, вам уже не понадобятся уроки татарского?»

А Ладожский и татарский хочет изучить, и кумыкский, и балкарский, и карачаевский, и ногайский, и...— все тюркские языки Кавказа, хотя могут со временем пригодиться и те, что за Уралом и Каспием,— двадцать с лишним тюркских языков. И похож на кавказца: только усы чуть желтоватые, но и таких встретишь на Кавказе. Может, с идеями в столицу ездил? очень уж совпадали меры, применяемые против непокорных племен, с тем, что предлагал Ладожский: верный способ — найти посреди тех же народов людей, через которых, не иначе как деньгами и щедрыми дарами, действовать на поселение раздора не только между племенами, но и вождями, и тем ослаблять, да, да, подкреплять наши силы туземцами, более нас привыкших к коварному роду войны, и тогда мы сбережем нашу святую кровь от напрасного и бесполезного пролития; и еще: неограниченная власть преданных нам вождей над своими племенами (за их спиной — наша сила!); англичане ведь сумели в Индии; и французы в Алжире; деньги, на сей предмет потребные, жалеть не будем, сообщите для моего всеподданнейшего Его Императорскому Величеству доклада; и насчет непроницаемой тайны, милостивый государь, — от всех-всех! весьма секретное письмо!

Как карточные фигуры, разложил перед собой наибова Шамиля Головин: Ахверды-Магома, убийство провалилось; Хаджи-Мурат Аварский, упустили; Кибит-Магома Тилит-

лишский, входили с ним в сношения, падох до богатства, но одних денег оказалось мало — требует большей власти над некоторыми племенами горскими, под нашим покровительством; Шахмандар Хаджияв Салатаевский, в плену, в Метехском замке, фанатик; а кто наши агенты?!

Нет, не оправдывает Головин надежд государя: «Даю я тебе такие силы, каких Кавказ и во сне не видел; умей меня понять, исполни мою волю в точности: ты должен проникнуть в горы, разгромить Шамиля, все истреблять, что тебе будет противиться; сыпни деньгами; ты должен всюду прогнаться грозою, все опрокидывающей».

НА ГРАНИ ГРЕЗ

Удалось-таки Фатали в последнее холостяцкое лето, будучи в Нухе, увидеть шекинца-нухинца Юсуфа-Гаджи: будто ездил к султану в Порту и привез важное письмо Шамилю.

А потом Фатали вдруг исчез на время, и никому неведомо, где он, — никому (то ли задание получил разведать что? то ли личное желание: увидеть имама!! то ли еще какое секретное дело Ахунд-Алескера по части торговли: шариатский заседатель — это само по себе, а тайная торговля — дело другое, надо ведь как-то жить).

А вдруг у имама хорошая память?! должен бы помнить личного переводчика царского генерала; явь? грезы?..

— К Шамилю?! Тебя?! Да он велит тебя тут же казнить! Ну да, отец Ахунд-Алескера, твой прадед, дружен был с Джамалэддином, учителем и тестем Шамиля. Нет, Шамиль об Ахунд-Алескере не слыхал, а вот Бакиханова знает, что с того, говорил о нем, что образован? но кому служит знаниями? гяурам! Так что и от Бакиханова тебе ездить никак нельзя, хотя — как знать?! Мол, Бакиханов книгу о Шамиле пишет, мечтает в Стамбуле издать, и о Шамиле турки прочтут!

— Кстати, — перебивает его Фатали, — а когда ты успел в Мекке побывать, чтоб стать Гаджи?

— Это у нас тут никуда не уедешь! А побывав в Стамбуле, нетрудно и в Мекку!

— А можно ведь и просто взять да прибавить к имени!

— Да, определенно от тебя гяурским духом пахнет! А ведь Шамиль учует!

У Юсуфа-Гаджи личная медаль Шамиля, да еще курьерская бумага, тоже за подписью Шамиля,— в каждом ауле обязаны дать свежего коня и проводника, а если ночь — ночлег и пищу. А у Фатали — удостоверение, подписанное Головиным, с императором на «ты».

Леса, спуски, подъемы и — новая гряда гор. И никого, будто и горы, и ручьи живут сами по себе, и нет им дела, видит их человек или нет. Рано утром следующего дня взобрались на вершину Гудор-дага, и на той стороне — аулы, подвластные уже Шамилю.

А пока они в пути, Шамиль занял Кумух, вывел на площадь перед мечетью дюжину приверженцев Казикумухского Агалар-хана и велел отрубить им головы. Один был совсем юн, побледнел, как его повели на плаху, но молча повиновался, и особых усилий не стоило палачу разрубить тонкую шею. Не пожалел его Шамиль, он давно забыл о слове этом, и не вспомнит, пустое, ненужное и вредное даже! Собрал головы в мешки и отправил Агалар-хану, вздумавшему за его спиной вступать в переговоры с царскими генералами. И еще он мстил за своего наиба Кибит-Магому, кого посадил в темницу за то, что — лазутчики донесли! — помышлял вступить в связи с Агалар-ханом; а на Агалар-хана вышел тогда Граббе, после провала с убийством Ахверды-Магомы.

Дела Шамиля шли как нельзя удачно: он казнил изменников, раздал награды отличившимся, потом с пленными распорядился и часть отправил в Дарго, где плавили большое количество железа, захваченного в Ичкеринском лесу, и переливали отнятые у царя большие пушки на малые; Шамиль умилялся при виде пушки, называя ее «тысяча воинов», и ему доставляло удовольствие ставить на каждую отлитую пушку свою печать; а часть пленных — в Ведено, на только что построенный пороховой завод, где работал опытный мастер Джебраил-Гаджи, научился делу в Дамаске; со свинцом туго, лишь обливают им глиняные пули или употребляют пули медные.

А тут и Юсуф-Гаджи, с письмом от султана!

— А это мой молочный брат, вместе из Стамбула едем.

— А брат твой мне как будто знаком!

— Ну да, и он тебя тоже знает! У русских служил, а потом бежал к султану!

«Ох, заврется!» Но очень верил Шамиль Юсуфу-Гаджи, и потом — это письмо! И вдруг Шамиль к Фатали обращается:

— Вот и будешь мне переводить одну беседу с грузинским князем! Но прежде покажи, на что способен. Какая ступень совершенства тебе доступна?

Душа Юсуфа-Гаджи ушла куда-то, а Фатали учили этому в келье Шах-Аббасской мечети в Гяндже. Сказать «шариат», это первая ступень, доступная всем, или перескочить на «тарикат», ступень избранных?

— Я прошел через шариат и ступил на тарикат!

— Эмблема шариата?

— Тело, земля, ночь, корабль.

— Эмблема тариката?

— Язык, дыхание, звезда, море.

— А какая ступень доступна твоему молочному брату? — Юсуф-Гаджи весь собрался.

— Хакикат. — Шамиль удивился. — Он достоин быть твоим наибом, имам!

— Эмблемы?

— Разум, свет, месяц, раковина.

— А как же я?! — Шамиль спрашивает.

— Вам доступна высшая ступень — маарикат! — отчего не вознести? И тут же об эмблеме: — Мозг, глаза, огонь, солнце и жемчужина! — И пояснил еще: — Корабль выходит в море, в море раковина, а в раковине — жемчужина!

— Да, нравится мне твой брат! А пока вот тебе задание: заболел мой переписчик Абдул-Вагаб, не успел последние суры Корана для меня записать. На чем он остановился? — спросил у сына Гази-Магомеда; в честь первого имама назвал. — Кажется, на «Утре»? — Сын молча кивнул.

— О, я очень ценю эту суру! — сказал Фатали и изрек: — *Клянусь утром и ночью, когда она густеет, последнее для тебя лучше, чем первое,* — давно-давно зубрил, в детстве, и дохнуло чем-то щемяще-сладким: он юн, Мирза Шафи, ясные летние ночи, большие-большие звезды.

А потом беседа с грузинским князем, молодым прапорщиком, плененным Шамилем. По дороге:

— Вот, смотри, какую мне выстроили мечеть русские беглые солдаты! — Остановился перед мельницей и долго смотрел, как ходят и ходят по кругу лошади, приводя мельницу в движение. — Это тоже, — как ребенок радуется, — они мне построили! — Глянул на часы (любимая игрушка), не расстается с зонтиком (дикий предмет, да еще и трость).

Князя вывели из ямы на свежий воздух, он зажмурился от обилия света, и весь разговор шурился, отводя взгляд от

Шамиля и Фатали,— солнце падало ему в лицо. Шамиль специально:

— Так ты говоришь, что султан турецкий выше египетского паши?!

— А как же!

— Но ведь египетский паша отнял у султана целое государство, покорил инглиса, френга, стал верховным властелином всех мусульман! Чего ты улыбаешься, разве я не прав? — К Фатали. Фатали промолчал.— Унцукульский Джебраил-Гаджи недавно в Египте был, говорит, у паши стотысячное войско, солдаты с одним глазом на лбу, и одежды с ног до головы в железо! Неправда?! Я тоже думаю, что неправда насчет одного глаза, но остальное — правда! Вот, смотри! — и достает бумагу. Уж не та ли, что Юсуф-Гаджи состряпал? — Вот: переведи ему, Фатали, это от египетского паши! — Кто-то еще привез? или сочинил?

И Фатали читает:

— «Ко всем ученым и важным лицам дагестанским!» — И Шамиль шепчет. Наизусть выучил! мелькнуло у Фатали. — «До настоящего времени я имел войну с семью государями: английским, немецким, греческим, французским, султаном Меджидом и прочими, которые по воле божьей имеют ко мне полную покорность. Но ныне мои силы обращены против России...»

Отнял Шамиль письмо:

— Дальше можешь не читать, это тайна. Ну что ваша страна перед мощью египетского паши?! У вас же клочок земли от Крыма и до Казани, а Москву сожгли френги, правду я говорю? — спрашивает у Фатали.

— Москву давно отстроили, имам.

— А ты там был?

— Нет, не был.

— А чего языком мелешь?!

И грузинский князь:

— Пред обширным царством императора России весь Кавказ как капля воды пред Каспийским морем (ну, к чему так, князь?!), как песчинка пред Эльбрусом (и не остановишь: в привычную патетику вошел!), как звезды пред солнцем (не пред императором ведь, к чему?!).

— Вот-вот! И сын мой так пишет! Вас, как попугаев, выучили! Что ты, что мой сын!

— Что за польза горцам воевать с царем? Рано или поздно должны будете покориться.

— Зато Аллах наградит нас в будущей жизни за наши страдания!

— А султан живет с нами в мире, как и персидский шах.

— Царю верить нельзя! Ласков, пока не завладеет нами! Ты думаешь,— вдруг разгорячился,— султан верный исполнитель законов Магомета, а турки истинные мусульмане? Они гяуры, хуже гяуров! Он видит, что мы ведем столько лет борьбу с царем за Аллаха и веру, что же он нам не помогает?!

— Вы только что хвалили, имам,— грузинский князь ему.

— Не твое дело! И тебя я буду морить голодом, чтоб сил не было бежать! Если не выдадут за тебя моего сына или племянника, которые у вас в аманатах, то верно пришлют вьюки золота и серебра!

— Я беден, только пустое княжеское звание.

— Прибедняйся! Но я буду тебя мучить, потому что там губят моего сына!

— Ваш сын учит науки, он окружен заботой государя, у него блестящее будущее.

— Но к чему эти знания? Мой сын сделается гяуром и погибнет. — Будто судьбу его предсказывал! — Ему ничего знать не надо, кроме Корана. Что нужно нам, то в нем сказано, а чего там нет, того нам и не нужно!

Выменяет потом сына. Десять лет ему было, когда отдал в аманаты, а увидел мужчиной двадцати пяти лет. И сын, назвал его в честь учителя своего и тестя Джамалэддином, умрет от разлада с самим собой: родина стала чужбиной, а на севере — любимая христианка. Сгорит от чахотки.

— Да,— скажет Шамиль Фатали,— как падут горы, так исламу конец.— Фатали возразил, а Шамиль ему: — Ты забыл, что Кавказ, как вал, окружает царство правоверных?

— Это легенда, имам.

— Легенда?! У меня сорок два конных вьюка книг.

— Может, и в джиннов вы верите? — улыбнулся Фатали.

— Я тоже не верю,— вдруг появилась улыбка и на лице Шамиля,— но занятная история эта с джиннами, обитающими в наших ущельях. А падающие звезды, их много на ночном небе в горах, те точно джинны, которых сбрасывают ангелы с облаков за содеянное ими зло! И кто, как не джинны, построил пирамиды? А эти генералы,— и сразу посуровел,— что воюют с нами, разве не дети джиннов? Аллах не даст им погубить нашу веру!

— От чар джиннов спасают амулеты.

— И у меня он есть,— Шамиль показал Фатали мешочек.— Здесь написаны все девяносто девять имен аллаха (и это знает Фатали, учил Ахунд-Алескер). Но от гяуровых джиннов спасают только сабли! Никаких магических заклинаний, только борьба!

На медном подносе горит бумага за подписью Шамиля. Обещал Юсуфу-Гаджи сжечь, как только вернется, чтоб больше соблазну не было. Свернулась, съежилась бумага, а потом вдруг вся вспыхнула. Вот и кружок, где крупно имя,— волнистая уверенная линия, точки, как звезды, сверху и снизу, и еще нечто, похожее на ковш — арабское «эль». Горит, горит, и уже пепел, откуда-то дуновение, и улетают, как бабочки, обгорелые легкие крылышки, один лишь пепел, ах какой сюжет, сожженная бумага, а сколько их будет!

Выменяли грузинского князя за наиба, сидевшего в Метехском замке. Все-все описал князь: и о дикости, и о том, что достойно восхищения. Не намек ли насчет воровства?! руку отсекают, выкалывают глаза; если и у нас так — ни одного верноподданного не останется. И о двухстах мюридах, конвойной команде имама, из аварцев. И даже зрительной трубке, с которой никогда не расстанется (?). Есть специальный начальник всех пленных, ибо тьма-тьмущая их, перебежавших. Какое, однако ж, восхваление насчет второй любимой жены Шамиля, плененной во время набега Ахверды-Магомы на Моздок, армянской красавицы Анны, дочери моздокской первой гильдии купца Уллуханова; Шамиль дал ей новое имя Шуайнат, обратил ее в мусульманство, а она, видите ли, любит его! За нее и выкупают, при ней еще две жены: старшая Зейданат и младшая Аминат, кистинка,— а она ни за что не желает покидать Шамиля, он осыпает ее ласками, она вскружила ему голову и нередко заставляет степенного имама прыгать с собой по комнате; они пускаются в любовный пляс!.. И этого разбойника с такой симпатией?! Уж не подкуплен ли князь?

— Помилуйте, как можно? — возражает Фатали.

— А что? Вы там были?!

— Да, был! — не сдерживается Фатали.

— То-то! Не были, а говорите!

— Да был я, был!

— Вот именно! — гнет свое сослуживец. И о том, кажется, устно, рассказал князь, как его, схватив, тут же заковали в тяжелые цепи и, когда стал жаловаться, чтоб сняли цепи, сказали: «Если б ты был женщина, мы бы отдали тебя под стражу женщин, но ты храбрый муж, а муж претерпевает рабство лишь в цепях». И об англичанине-пленном, вскоре освобожденном: сначала его почитали, но когда увидели, что обещания его об английской помощи — самому Шамилю обещал! — не исполняются, чуть было не приняли за шпиона, а впрочем, эф, фанфаронство маленького толстого англичанина, вооруженного огромным мечом, луком и стрелами, — горцы нарядили его, чтоб вдоволь посмеяться, а потом вернули царю, в придачу какому-то офицеру, тоже эф, фон (Торнау?).

А ведь бывшему пленному князю не очень-то доверяют! По разным его инстанциям водили, хмурился Никитич, а однажды шел князь по коридору, на Фатали наткнулся: остановился, стряхнул с себя, как наважденье, и в недоумении, но дважды оглянулся, дальше прошел, мотая головой, — чушь какая-то! Потом куда-то отправили, и больше о нем Фатали не слышал. Князь в докладной и о строгих мерах Шамиля по искоренению дикого обычая кровомщения... А как называется иное?! тоже крово, но не мщенья, а иное?

ДОГОРАЮЩАЯ СВЕЧА

Ах да, вспомнил! Кровосмешенье! Так, кажется, по-вашему называется, Ладожский?! Вы говорите: «Дикий обычай!» Может быть, вы и правы, но... нет-нет, я не спорю!

Сначала был сон, как это всегда водится у восточного человека, и, как обычно, странный: приставил Ахунд-Алескер клинок, Фатали лишь раз видел его с кинжалом, подаренным Юсуфом-Гаджи, к горлу, и Фатали чувствует, как клинок оттягивает кожу на шее. Вдруг лицо Ахунд-Алескера исчезло, на его месте Шамиль, и вонзается клинок медленно и не больно. И Тубу, дочь Ахунд-Алескера, рядом, ей уже шестнадцать, она недовольно смотрит, как капает кровь на рубашку Фатали, будто он сам виноват. Лицо ее нежное-нежное, и она вытирает платком пятно, а кровь не сходит, и Фатали вспоминает, как она бросилась ему на шею, когда летом он приехал в Нуху, бросилась, прижалась как к родному, в мундир упираются две твердые ее груди, а он чуть

отстраняется, чтоб не больно ей было от металлических пуговиц на карманах.

Ахунд-Алескер лежал больной:

— Если умру,— прошептал,— не оставь ее одну, возьми к себе.

Тубу тогда почему-то покраснела и убежала. Ну да, конечно, только непривычно резануло: «Если умру...» Возьмет к себе, потом выдаст замуж.

Вытирает она пятно крови на рубашке, сердится, нетерпеливо трет и трет, и рука его касается ее груди, немеет.

Проснулся Фатали — и тревога. А Тубу была так осязаема, будто и не сон вовсе,— потер руку, она действительно онемела. И Тубу, очень близкая и понятная, вдруг стала чужой, неведомой, странно было это раздвоение Тубу: та, что была сестрой, ушла и отдалилась, а ту, другую и чужую, захотелось непременно увидеть.

А вечером у него гость. Слуга Ахмед, дальний родственник Ахунд-Алескера, присланный ему помогать, стоит, опустив голову, а на полу на высокой подушке сидит друг Ахунд-Алескера, известный в Нухе ювелир Гаджи-Керим. Сидит, перебирая четки, и шепчет молитву. Встал, обнял Фатали, и он понял: недаром конюх Ибрагим, из карабахских кочевых племен, встречавший Фатали за углом канцелярии,— и на работу он сопровождал, чтоб забрать коня,— уклончиво как-то ответил, когда Фатали спросил: «Какие новости?» Не хотел первым сообщать горестную весть — ведь умер Ахунд-Алескер!

— Так было угодно Аллаху, легкая смерть, пошли всем нам такую!

И тут Фатали узнал о последней воле Ахунд-Алескера: Тубу!

— А где она?

— Не спеши, Фатали! Ахунд-Алескер сказал, что ваши звезды...

Дальше Фатали слушал как в тумане: достаточно и того, что он слышал: мол, звезды ваших судеб соединились еще в небесах, когда вы родились!

Сколько раз ему говорили о женитьбе, ведь за тридцать уже: спрашивали, советовали, отпускали всякие шуточки; и Розен,— почему-то именно накануне царского смотра полкам; и Головин, а этот как-то таинственно спросил: «Вы что же, мизогин?» — и смутился, быстро ушел от разговора, сказав лишь напоследок: «О женщины, женщины!» А Фатали новое слово узнал, запомнил и как-то у Кайтмазова-

энциклопедиста спросил, а тот пояснил: женоненавистник, и Бакиханов: «Я бы на твоём месте выбрал грузинку!» Почему? ходили слухи, что часто приезжает в Тифлис, потому что какой-то княжной увлечен. Высказался однажды и Мирза Шафи при Боденштедте, что жена поэту помеха, а тот сразу: «Переведите!» Не успел записать, а Мирза Шафи сыплет, будто специально для Боденштедта, а тот — в тетрадочку: «Двум молниям в туче одной не жить!» То ли жена и поэзия — две молнии, то ли он, Мирза Шафи, и Фридрих Боденштедт. «Но семь дервишей уместятся на одном ковре» (?!). А Никитич недоумевал, это Кайтмазов как-то Фатали, мол, нет ли здесь чего крамольного? И даже Фазил-хан Шейда удивлялся: «Ты ещё не женат?!»

Накануне Фатали сочинил короткое стихотворение на фарси, а потом вспомнил Бестужева: «Пишите, друг, на своём, у вас же такой прекрасный язык!» Написал на фарси, будто состязаясь с Фазил-ханом Шейда. Тот прочел ему пять бейтов на фарси о гуриях, без которых дом, этот рай души, холоден и неуютен; написал и Фатали, но не прочел, боясь, что тот обидится: *«Нет, не мечтаю я о гуриях в раю, я отдал себя просвещенью, сказав: «О гуриях забудь!» Науки путь заманчив мудрецам, пусть гурии достанутся глупцам!»* Да и где Фатали мог увидеть избранницу сердца? Случается, в дни религиозной мистерии удастся увидеть: сосед Фарман-Кули рассказал, что когда ненавистный Шимр, или Шумир, подошел к имаму Гусейну и занес меч над его головой, две девушки, что смотрели представление, окутанные в чадру, не выдержали и в волнении откинули покрывала, — и приметил Фарман-Кули свою избранницу.

— Где ж Тубу?

— Она постеснялась выйти к тебе, — вздохнул Гаджи-Керим. («Ну да, ведь чужая!») — Сидит у соседей, если будет твоя воля...

— Да, да, я понимаю, — Фатали заволновался, вспомнив при этом свои только что сочиненные стихи. Выскочил и постучал к соседям.

Тубу встрепенулась, испуганная, в глазах страх: как он? и стыд. Щеки зажглись; взял ее за руку, и она тотчас оттаяла, ввел в комнату, — и при людях она вдруг застеснялась. Это ж Фатали, она знает его очень хорошо, но он, как только Тубу узнала о воле отца, неожиданно стал для нее чужим мужчиной.

А вот и молла, Гаджи-Керим позаботился; скрепил брачный договор — кябин; на мгновение возникла у Фатали

мысль о Фазил-хане Шейде, а вот и он сам, пришел сообщить, что принял российское подданство.

Еще утром ничего не было: лишь сон, который, стоило Фатали окунуться в богатую новостями жизнь канцелярии, тут же улетучился; это удивительное двоевластие: еще Головин, но уже Нейдгард. И Фатали — женат, надо поехать в Нуху (то Шеки назовет, то Нуха; и неведомо, кому взбрело в голову поименовать так город? рассказывают всякое, хихикая, мол, пьяный царский чиновник ляпнул непотребное, и пристало к городу), привести в порядок дом, позаботиться о младшем брате Тубу — Мустафе (вот и учитель для него, Фазил-хан Шейда).

Тубу заплакала, как только они остались вдвоем; заплакала, прильнув к нему, и крепко-крепко обхватила руками его спину; потом он усадил ее на ковер и сел рядом; и долго сидели, прижавшись друг к другу. Видели лишь язычок свечи, зажженной на письменном столе, — временами вздрагивал, хотя никакого дуновения, а потом уменьшился, стал невидим и только отражался в оконном стекле.

— Ты постели себе здесь, а мне у окна.

Она удивленно подняла голову, посмотрела на Фатали и снова прильнула к нему, спрятав голову у него на груди. То ли действительно она сказала именно эти слова, то ли слышалось Фатали; внятно было сказано лишь: «Мне страшно». А остальное обожгло: «Я с тобой буду спать».

«Кровосмешенье? Вы говорите: дикий обычай, может, вы правы, Ладожский, но... Но я люблю, понимаете, люблю ее!»

«Вы еще долго будете вспоминать меня, Фатали».

За что нам такие беды? Я стерплю, но каково ей, она же мать; кто ты там есть, в небе, — сохрани ей хоть одного!

Тубу родила легко и быстро: дочь. Но вскоре потрясенье, нет, это неправда, не может быть, ее душа, ее плоть, — кто-то пришел, увели, отрыли маленькую могилу.

Потом новые роды, тоже дочь, и — новая могилка, рядом.

И еще, и еще.

«Да, да, будете долго вспоминать!»

Фатали и Тубу не успевают уйти от траура, не вышел еще год по умершей, а уже новые траурные дни: третий, седьмой, сороковины, цепочка поминок, плачи, причитания,

соболезнования, хождения на кладбищенский холм, где растут, прижимаясь друг к другу, нелепые могилки.

А утром после брачной ночи неожиданность: курьер немедленно призвал в комендатуру Фатали — арестован шекинский ювелир как лазутчик Шамиля. Ссылается на Фатали, будто невесту привез и свадьбу сыграл.

— Шипйон?! Какой я шипйон, какой Константинополь, паслушай?! Мен-олюм, да умру я, на него посмотри! Что я там потерял?! Пусть провалится в ад и султан, и Константинополь! Конечно, а как же? Какой тюрок не мечтает Стамбул увидеть?! И поеду! Да! Но поеду не как контрабандист, я известный шекинский ювелир, а с разрешенья, да!

Фатали слишком мелкая сошка в таких делах! Уж очень настаивал прапорщик Илицкий на том, что Гаджи-Керим — именно тот человек, которого он упустил, с кордонной линии за ним вели наблюдение прошлым летом. Фатали грозит пожаловаться Головину, а вот тут и сказалось: Головин уже ушел, а Нейдгард еще не приступил; Головин заперся, никого не принимает, стол его завален папками, переплетами, пакетами, прошениями, прочей перепиской, приемная пуста, адъютант, зевая, вышагивает по паркету, пол поскрипывает; не станет Головин вмешиваться в дела военной комендатуры. С успехами Шамиля власти ожесточились: «Подозревают? надо разобратся!» А Нейдгарду делать нечего, как какого-то шекинца выручать. Пришлось очень-очень просить Никитича, а прежде, чтоб с Никитичем поговорил, Ладожского, он Фатали не откажет. «И ты осмелишься?!» — это Кайтмазов. «Но пойми — нелепость!» Да еще крупный залог оставили, пока Гаджи-Керим не принесет бумагу от шекинского пристава, что все лето безвыездно прожил в Нухе. «Такого бриллианта на короне султана нет!» Ну да, обознался Илицкий, они же с Юсуфом-Гаджи родственники: близко посаженные глаза и уши оттопырены.

А Нейдгард не успел осмотреться... Правда, как и все прежние главнокомандующие, успел послать в Тегеран состоящее из высшего офицерства посольство с извещением шаха о своем определении, и шах тотчас отправил в Тифлис к Нейдгарду посланника для приветствий, поздравлений и поднесения — это неперменное правило — персидского ордена Льва и Солнца; и Фатали выступил переводчиком между Нейдгардом и персидским посланником, то был Бехман-Мирза, будущий родич Фатали; на площади выстроены отряды войск с музыкою; главнокомандующий принимает посланника у дверей залы, где собрались генералы и тифлис-

ская знать. Бехман-Мирза худощав, высокого роста, крепкого телосложения. Смуглое лицо его с высокою черною шапкою резко выражает контраст с длинным белым плащом. Впрочем, переводить Фатали не пришлось, лишь первые официальные приветствия, — тот свободно говорил по-французски, чем и влюбил в себя Фатали, и в обращении был прост и пристоен. Посланник с главнокомандующим сели на диван и говорили без всякого принуждения.

Да-с, не успел Нейдгард освоиться, как новый главный, да еще какой, — сам Воронцов! это ж целая эпоха на Кавказе — наместник!

Когда чувствуешь — слабеет в тебе вера и надо укрепиться в глазах подданных, есть испытанный способ. Рискованный, правда, но не раз выручал. Пока не было осечки. Надо только выбрать критическую ситуацию, когда неясно, как пойдет дальше. И момент — именно теперь: упустишь — проиграешь, а если прежде времени — в следующий раз уже не пройдет.

Это было на съезде наибов в Андии, и Шамиль к этой мысли пришел сам: «Прошло более десяти лет, как вы меня признали имамом. По мере сил я старался оправдать доверие народа и защищал его от врагов и захватчиков. Но настало время, — Шамиль говорил ясно, четко, фразы были обкатаны, — и я прошу сложить с меня звание имама и избрать вместо меня более достойного. Я готов повиноваться ему». Но никого не назвал, а мог бы сына, которого недавно признали наследником имама, или Даниэль-Султана Элисуйского, который перешел на его сторону, царский генерал, пользуется большим весом среди горцев в закавказских ханствах, тем более что дочь его стала женой сына Шамиля — наследника Гази-Магомеда. Испытать народ и верховную власть, насколько готовы повиноваться.

— Нет! — ответили сразу наибы.

И после такой единодушной поддержки Шамиль снова встал, еще более возвысившийся и сильный:

— Я подчиняюсь воле народа и благодарю вас за это доверие. Но вот вам мой письменный наказ, в нем определены обязанности всех, а также ответственность за нарушение их. Не копить доходов, не покупать дорогих имений, а расходовать на оружие, лошадей и порох, оставить взаимную зависть, притеснения и быть рукою один другого.

Наибы притесняли. И Шамиль знал. Наибы брали взятки. Но кто пожалуется? Если находился кто, наиб мстил, убивал, говоря имаму: «Он шпионил в пользу царя, собирався бежать к ним».

— Второму не портить того, что сделал первый, обязать всех духовных наставников молиться за здоровье имама и наибов.

Именно выбор ситуации: только что разгромлено войско Воронцова под Дарго, наместник чудом спасся; но победа временная, чувствует Шамиль, может наступить полоса неудач, силы царя растут, ресурсы его неисчерпаемы, а силы имама гаснут: горцы в кольце, горы и леса их прячут, но кормят равнины, а из равнин теснят, вырубая леса нещадно, и горы, как ни круты, но люди одолевают, и ядра достигают крепостных стен.

Шамиль то взбадривает воинов: «Будьте как собаки для лисиц и как львы для ланей! Сабли — наши, а шеи — гяуров и отступников!», то увещевает колеблющихся: «Не уподобляйтесь тем, которые, обозлившись на вшей, сжигают свои шубы!» И страшает заблудших: «Вы являетесь крыльями врагов! Но помните, где бы вы ни были, вас настигнет смерть от моей руки!»

Была весть, и она улетучилась: пристал как-то к берегу из Турции убух, из последних в своем племени, ибо все истреблены, его поймали, но он успел показать лазутчику важную бумагу от турецкого султана и египетского паши — весной, мол, встретятся с ними большие царские генералы, призовут горские народы и спросят у них: «Покорны вы царю, как о том пишут, или нет?» Если ответят, что «нет», то царь снимет укрепления и отступит, — так и поверил Шамиль! — а если «да», то султан и паша откажутся от них. Хуже нет неопределенности.

Призвал Джамалэддина; неужто и он, как донесли лазутчики, отколоться вздумал, его учитель и тесть? или это козни Воронцова?

— Что-то ты умолк! Сочинил бы письмо вождю османских мусульман, авось поможет, а? Или слог притупился у тебя, учитель?

— А кто отвезет письмо?

— Это моя забота!

И с этим письмом попался Юсуф-Гаджи. И письмо перевел по срочному заданию Воронцова Фатали. Долго не отправляли, ждали, как французский бунт завершится, а потом к Никитичу пришло повеление: «Найти человека и

переправить письмо, а послу наказать, чтоб проследил».

Письмо Джемалэддина было пространным, и перевод шел туго: каким почерком, кто писал?! И это — накануне длительной командировки Фатали в свите генерала Шиллинга, с поздравлениями новому шаху.

— Тубу, родная, дай мне чай!

Она вошла, постоянный страх в глазах, на миг боится оставить девочку, ей уже полтора года, выжила, пройдя три критических срока: первенца — месяц, второго — три месяца, третьего — полгода; увы, и у нее свой критический срок: как уедет Фатали. Дал первую фразу перевести брату Тубы Мустафе, он неплохо изучает арабский и фарси у Фазил-хана, а Фатали учит русскому, тот пытался целый день, не сумел перевести! «...или подкрепите нас войсками или подействуйте на русского султана, чтоб он перестал захватывать наши земли, истреблять нас!»

А бриллиантовый-то перстень — на пальце адъютанта Воронцова! «И спрошу!» Не успел Фатали и рта раскрыть, лишь пристального взгляда с перстня не сводит, а тот уже налился кровью: тут такое творится — революция в Европе, а он о перстне! «Да как вы смеете?!» Сдержался; в канцелярии шепчутся, с опаской и ужасом передают новости: восстали парижане! король бежал! как отзовется в России? в Тифлисе?

А Шамиль пишет новые письма — капли воды на раскаленную дорогу, соединяющую Мекку и Медину; и туда, хранителю обоих святых храмов Мекки и Медины. С паломниками (уже не разрешают, но ухищряются с помощью опытных проводников перейти границу в районе Батума) отправил. Но письма, как правило, или утеряны, или перехвачены, или, если разбойничья шайка в пути ограбила, выброшены. Кое-какие, очевидно, и доходят: прочитаны и осмеяны. Помощь? Они сами б, султан и паша, не прочь ее получить, но кто расщедрится?

И ответы будут Шамилю. Чаще — сочиненные приближенными имама, чтоб за добрую весть получить дары или титулы: и генералы есть у Шамиля, и маршалы, а он сам — генералиссимус!

И одно письмо, подлинное. От султана, в утешение имаму присланное; не иначе как сочинил султанский писарь в минуту веселья: «Ты закалился, Шамиль, и приобрел опыт в боях! Привлеку к тебе приказом население из нижеследующих мест, вместе с ханами и беками...» Бумага была

отменная, с гербовой печатью; писарь положил перед собой новую карту, полученную султаном из Франции, и, вычитывая названия, воспроизводил их арабской вязью; из каких же мест Кавказа привлечь силы на помощь Шамилю? Прочтет и — впишет в письмо: «...Тифлис, Эривань, Нахичевань, Ленкорань, Талыш, Сальян, Баку, Карабах,— неохота писарю разбираться, где город, а где целый край, а султан подивится познаниям своего писаря и одарит новой рабыней,— Гянджа, Шеки, Ширван, Имиса,— рука устала списывать и скривила перо: вместо Элису — Имиса, Куба...» Что бы еще приписать? Ах, да: «...ты получишь от меня, безусловно, великую награду за услуги, не считая, конечно, того, чем наградит тебя всевышний на том свете».

Но Шамиль окрылен. А вот и прибыл тот, кто ездил к шейхульисламу, подкупленный Воронцовым, друг Никитича, Гаджи-Исмаил, а помощи нет! И даже война в Крыму не поможет. «Исмаил, найди в Стамбуле французского посла! — просит Шамиль. — Через него к державам с просьбой! На исходе наши силы! Пусть положат конец беспримерным в истории жестокостям!»

МЕСТНЫЕ ИНТРИГИ

— Ну, подумайте, Фатали,— размышляет Ладожский в минуту откровенности,— кому нужна эта пестрота племен, народов, ханств, султанств, да, знаю, шафран только здесь и растет, эти владетельные княжества, шамхальства и уцмейства, эти майсумства, и непременно помнить, что дети ханов от знатных жен — это беки, а дети ханов от незнатных — чанки, а эти адаты и шариаты? эти, черт голову сломает, господские сословия: агалары и азнауры, беглербеки и мелики, эти тавады вроде наших князей! а система налогообложения? тут целую канцелярию под рукой иметь надо! и эти различия феодально зависимых крестьян: кто халисе, кто ранджбары, а кто раййяты, тренироваться надо, чтоб выговорить! или нукеры! и каждый раз переводить летосчисления с мусульманского хиджри на христианское, помня о том, ну, к чему нам-то знать?! что 16 июля 622 года Мухаммеду вздумалось бежать из Мекки в Медину, может, наоборот? чтобы с таковой даты вести новое летосчисление, и прочие-прочие премудрости?! О боже! Как быть? Связать всех в единое целое, озарить лучом и водворить животворящий! Грубые их понятия могут быть руководимы не иначе

как сильным, ближайшим и скорым влиянием своего высшего сословия!

Фатали слушает, думая о своем: как быть с жалобами земляков-шелководов, крепостных по сути. Он постоянно читает в их глазах упрек: взнос хлебом — где его взять? ловля для откупщика рыб — в каких реках? а тут и постоя для войска, отправление разных нарядов, доставок. Хорошо еще, есть где переночевать землякам — дом Фатали, с тех пор как он в Тифлисе, часто служит им пристанищем; и даже не спрашивают: приедут, расположатся, так было и так будет до конца дней. И сады надо унавозить, и своевременно их поливать, исправлять каналы, изгороди вокруг садов, чтоб скот не проник, хорошо ухаживать за червями, следить за тщательной размоткой коконов в шелк, — а весь урожай кому?!

— А вы не слушаете, Фатали.

— У меня шелководы на уме. Как им помочь?

— Сдались они вам! Служебных дел у вас разве мало? Как, кстати, с нашей помощью карабахскому хану? Письмо его изучили?

— Тут еще запутаннее. Ими долго Бакиханов занимался.

И унесли думы Фатали в те дни, когда он прочел Бакиханову свою поэму. «Много крови у меня испортили эти карабахские ханы, — рассказывал тогда Бакиханов. — Думаю, что и тебя не оставят в покое эти вожди нации. Когда прежде говорили «карабахский хан», хотелось встать и поклониться. Это белое облако волос над смуглым лицом, прямой как кипарис, в глазах особенный блеск. А теперь полюбуйся: минуто назад был горд и неприступен, как гора Гирс, а стоит появиться высшему царскому чину, весь подобострастие, лесть, презренный из рабов, на все пойдет ради награды и нового чина».

Так о чем пишет этот генерал-майор Мехти-Кули-хан Карабахский?

«Имею честь покорнейше просить не оставить оказать строжайшие меры к должному повиновению моих кочевий и деревень и к удовлетворению меня законно...»

И как наверху зашевелились! Член Комитета по устройству Закавказского края, военный министр из Кисловодска, спешит успокоить главноуправляющий: «Я уже предписал, не извольте беспокоиться, — о приведении в должное повиновение подвластных крестьян».

Не успел Фатали прочесть письмо хана и закончить его

дела, как является племянник хана Джафар-Джеваншир со своими претензиями к дяде:

— Какой же он хан? Не он, а я наследник Карабахского хана! Ты только послушай, Фатали! Еще при Ермолове началось это, четверть века назад!

Но Фатали предысторию знает. Да, нити ведут к самому Ермолову, дальше тянуть ниточку Фатали пока не смеет: спровоцировать побег Мехти-Кули-хана за границу и ликвидировать ханство, обратив его в провинцию.

Но перед этим Ермолов помогает Мехти-Кули-хану овладеть землями своего племянника, законного наследника карабахского ханства, хотя есть версия и другая: не отнял, а получил, став обладателем «ленты и пера» (Знамени и Сабли).

Да, с ходу ничего не разберешь, запуталось! Значит так: было мощное Карабахское ханство Ибрагим-Халил-хана, и он с радостью вручил ключи Цицианову, и был заключен Шушинский трактат; а у хана — два сына: старший, наследник, очень красив был в генеральских погонах, две звездочки (а у отца — три!), умер за два года до смерти отца, хан пережил наследника! и младший — наш Мехти-Кули-хан, тоже удостоенный генеральского чина. А у умершего наследника сын, которому предстояло занять престол, — полковник Джафар-Джеваншир, чей престол, так сказать, отнял дядя, Мехти-Кули-хан.

— Да, дед мой и мой отец, единственный наследник, клялись Цицианову в верности!

— А разве дядя — не сын Карабахского хана?!

— От кого он родился?! Моя бабушка иранских шахских кровей, а дядя... о хитрая шамахинская ведьма в обличье красавицы! Так вот, отец внушил мне верность царю, одно лишь имя мусульманское мне оставил, а я весь сделался русским!

— Ну зачем сразу-то?!

— Уже тогда дед мой получил чин генерал-лейтенанта, отец — генерал-майора и золотую медаль: «Карабахскому наследнику», а я — полковника и впоследствии золотую саблю с бриллиантами и надписью: «За храбрость». Через год я лишился отца, а еще через два года деда, это подлое убийство, майор Лисаневич по доносу вырезал всю нашу родню, а мы с дядей оборону Карабаха держали от шахских полчищ! А потом я преследовал персидский отряд Абюль-Фетхана и наголову разбил его под Ордубадам! Да, и вдруг я узнаю, что ханство продано дяде!

— Но ведь еще при Гудовиче,— перебивает Фатали,— бал был!

— Что за бал?!

— В честь вашего дяди! И ему вручили саблю и знамя. Да еще грамоту императора на владение ханством!

— А я о чем толкую?! Дядя купил ханство! — Фатали молча слушает.— Я еду в Тифлис, а главнокомандующий Ермолов смотрит на меня и головой качает: «Ай-яй-яй!» Лиса хитрая! «Нехорошо получилось! Как же так?! А мне Лисаневич, опять этот Лисаневич! сказал, что вы малолетний. Ну-ну, успокойтесь, потерпите, ваш дядя хил, не сегодня завтра... А если сие дойдет до монарха?!» И я ему поверил! А как-то вечером возвращаюсь домой от друга Ермолова — Мадатова, у которого был по приглашению, нет, ты послушай, Фатали, и все-все запиши!.. Этот Ермолов... ему, оказывается, сводник Мадатов нашел карабахскую красавицу — мало ему собственной жены, дочери наполеоновского маршала де Лассалья, гарем еще азиатский нужен! — втайне от всех с нею заключил брачный акт — кябинный договор, но чтоб ни одна душа не знала, она ему родила двух красавцев — Бахтияра и... как его... забыл, но вспомню непременно!.. Ермолов эту красавицу сжег своею страстью, и она растаяла, как свеча! И Ермолов, дабы скрыть свою связь, а ведь сыновья растут, вспомнил... Аллахяр! да, Бахтияр и Аллахяр! хитер, имена дал мусульманские!

— Здесь тоже как у тебя: имена мусульманские, а сами как отец.

— Ты не перебивай! И Ермолов наказал Мадатову, чтобы тот достал бумагу, что дети — не его, а ханского рода! И вот, вышел я от Мадатова, меня окружают какие-то люди, я выхватываю нож, раздаются выстрелы, меня ранят в руку, пуля навывлет, спасся чудом, я бегу за помощью к Ермолову, а это, оказывается, у них задумано так! И меня, не говоря ни слова, ссылают в Симбирск! Престарелую мать и всю семью отправляют в Елисаветполь!

— Здесь же нет посторонних, говори — Гянджа.

— Нет, ты послушай! А Ермолов говорит: после побега моего дяди Мехти-Кули-хана в Персию, решил изгнать наследника, то есть меня, для спокойствия карабахской провинции! А меня-то сослали до побега хана! И все, что было в доме, переходит к Мадатову. Два года я страдаю в Симбирске, не зная языка и не смея жаловаться. И наконец, при проезде через сей город в обозе почившего государя, имею счастье подать прошение: возвратить мне имение, позволить

свободный въезд в столицу и определить сына на службу, и он принимается корнетом в лейб-гвардии уланский полк.— Умолк, вздохнул.— Да, я мечтал о другом, но возможно ли? Чтоб сына в пажеский корпус!!

— И чтоб на караул в Зимний дворец? — усмехнулся Фатали.

— Да! А ты как узнал об этой моей мечте?!

— Так ли уж трудно? Стоять перед дверью, отделанной золотом, и в высоком светлом квадрате длинного темного коридора появляется государь (рассказывал Хасай Уцмиев).

— Не бреди мои раны, Фатали!

— И, очарованный, останавливается перед черноглазым, чернобровым пажом! «Ты кто?» — спрашивает государь. «Я правнук карабахского хана, мой государь!» А потом плац. Вахтпарады.

— Разве из наших примут?

— Ведь приняли Хасай-бека!

— Хана, а не бека! Тут же политика, как не понимаешь? Его отец тогда был в силе, Муса-хан, и отдал сына в аманаты в знак верности царю, а Хасай-хана в пажеский корпус, чтоб через язык и присягу привязать крепко! А я? А мы? Ханы без ханств! — Джафар-Джеваншир не ведает, но кто о том знает, что намечается сватовство Хасая и его племянницы Натеван.— Мне вернули имение, но не разрешают возвращаться, ибо, как я узнаю, мой дядя бежал в Персию, верь теперь докторам,— именно Ермолов с помощью Мадатова провоцировали побег, чтобы ликвидировать ханство и обратить его в провинцию!

— Может, остальное доскажет сам Мехти-Кули-хан? Тем более что он жалуется на неповиновение своих крестьян.

— Нет, не перебивай! И я должен страдать из-за преступного поведения дяди?! Потом он снова переметнулся сюда, ему все простили, вернули генеральский чин, а я, преданный России, должен страдать? Все близкие, вся округа смеются возмездию за преданность мою к России! — «И он скорбит из-за недоверия к нему?!» — О, этот Мадатов!! Не зря бездетным умер! Он присвоил моих карабахских коней, похитил подаренную мне царем саблю, разорил надгробные памятники карабахских ханов! А что творил его племянник Мирзаджан Мадатов? А его родственник Багдасар Долуханов? А вымогательства Мадатова насчет подложных сви-

детельств на сыновей Ермолова, зачатых... ну я об этом уже говорил! И мой дядя смеет еще!..

Как же так, изменник — и восстановлен в своем звании?! А Фатали разъяснил Хачатур Абовян, они встретились в родной деревне Абовяна, в Канакире, куда Фатали приехал по делам службы из Эривани (улаживание пограничных дел — сколько лет уже в мире, а снова спор из-за «ничейного» пустыря!).

Абовян сопровождал какого-то немецкого путешественника, потом Фатали приобретет его книгу, путевые впечатления и воспоминания барона Августа фон Гакстгаузена, а с ними еще и знаменитый тифлисский сапожник, Петр Ней, о, какая судьба!! в молодые годы оставил Виртемберг, поселился колонистом, скитался по Азии, был даже переводчиком у Аббас-Мирзы, восемь лет сопровождал его во всех походах и лишь по смерти возвратился к землякам-колонистам в Тифлис, нанялся постоянным проводником и переводчиком к барону, — столько языков! столько историй! «В шесть недель шутя, — говорит он Фатали, — изучаю новый язык»; в совершенстве — девять языков: чисто говорит на родном Фатали языке, а еще и немецкий (родной), французский, русский, черкесский (!), турецкий, армянский, грузинский, персидский, курдский!

Абовян пригласил Фатали в родительский дом, и они шли садом, между виноградниками, а потом, уже у самого дома, где были пышно разведены цветы, «о!..» — восторгался барон, не ожидавший, очевидно, увидеть здесь эти аккуратные кусты ало-ярких цветов, дело шло к осени, остановились.

— Да, Фатали, это ж известное дело, натравливать нас друг на друга! Помогли азербайджанцу — обидели армянина, потом возвысят моего земляка, так высоко, что дальше некуда, и унижат твоего — и снова семя раздора!

— О чем вы? — перебил Петр Ней, и усмехается, будто и ему известно про натравливания: он это видел повсюду, куда ни бросала судьба. А его барон отзывает: столько сказок, историй, легенд у этого земляка! И он расскажет ему о сыне пастуха Кёр-оглу, перемежая речь тюркскими словами.

— И пишут, негодуют, ищут справедливость, и растут кипы жалоб в имперской столице у какого-нибудь царского чиновника: слева ваши жалобы, справа — наши! А потом присылают из Петербурга будто бы защитника! Был тут в наших краях один, из генерального штаба, не то Пружанин,

не то Плужников. Собрал армянскую знать и такие дерзкие им речи говорил, так разжигал национальные страсти! «Вы, говорит, составляете здесь господствующий народ, а вас теснят! А ведь как,— прожужжал им уши,— воскресла у вас надежда к облегчению участи вашей, когда ханы Цицианову присягу на верность принесли?!» И ему отовсюду: «Да, да, истинно говорите, господин».

— Может, Ладожский? — Нет, не станет он так примитивно!

— Не помню, только в фамилии жженье какое-то. «А как же,— говорит он моим землякам,— ведь вы имели право мечтать, что под покровительством великой христианской державы возвратите утраченные права! и таковые ожидания еще более разгорелись и казались легко исполнимыми, когда хан бежал в Персию! И что же? Милость правительства к изменникам беспредельна, а вы вновь сделали их рабами!» Зажег, воспламенил, одурманил, а в записке в генеральный штаб написал о нас так: «Страсть к обману, корыстолюбию иногда до грабительства, и разного рода иные факторства», слово-то какое!

— Ты меня не слушаешь, Фатали, занялся извечными нашими...— и проглотил слово, наслышан о дружбе Фатали с Абовяном.— Я не успокоюсь, пока местная полицейская власть в нашем краю будет в их руках, это ж постыдно для нашего рода! А потом эти крестьяне, сдались они тебе! С тобой потомок карабахских ханов говорит — эй, цени! Нас не будет, волосы на голове рвать будете, а, сняв голову, кому волосы нужны?! Этот мой дядя, нет, ты только послушай о нем! Сделался на старости лет кляузником, всеми недоволен, даже уездным начальником Стейнбеком, фамилия у него такая, никакой он не бек! и его преемником Колубякиным, тоже, скажу тебе, лиса, со всеми хорош, как увидит меня: «О! Мой брат Джафар-Джеваншир! За что я вас люблю, так это за ваше англофильство!» Знает, что я и поныне петербургским английским клубом брежу! «И еще я вас люблю, что вы,— бьет-то куда, лиса! — страстный космополит! Вы и ревностный приверженец исламизма, и готовы по человеколюбию своему стать на колени при христианском молебствии!» А за спиной, его капитан Адыгезаль мне рассказывал, тоже кляузник, каких свет не видал, поливает меня грязью, это его рук дело, очень хорошо земляков я знаю, донос на меня настрочил! Не читал? Нет? Как же так?!

И хорошо, что не читал! Почему-то на фарси был донос: мол, я развратен как сатрап и покровительствую контрабандистам, ворах и разбойникам! И откуда в крови у моего дяди эта склонность к ябедам и клеветам?! Даже в Тавризе, рассказывал мне сын ширванского хана, покойный Теймурбек, который тщетно хлопотал за возвращение ему деревень и кочевий, они-то не дураки, чтоб возвращать: с них казна получает полсотни батманов, а в каждом батмане — восемь кило сухих коконов да еще сотни две батманов чистой хлопчатой бумаги! Но я не о том, а о клеветах дяди; в Тавризе он сделался несносным Аббас-Мирзе, грозил самому шаху пожаловаться, а ведь сестра его, тетя моя, — любимая шаха жена! Это и спасло моего дядю от расправы Аббас-Мирзы! Наследный принц взмолился отцу: или он, или я! А после возвращения из Персии до того надоел фельдмаршалу Паскевичу, что его светлость были вынуждены сказать ему: «Сиди смирно, а то вышлю тебя туда, откуда вывел!» И Розен строго предписал ему: «Перестань писать доносы!»

— Но вы, кажется, помирились с дядей.

— Я?! Никогда! Ваш нухинский казий Абдул-Лятиф может подтвердить, умолял, чтоб помирился с дядей, может, и надо помириться, несчастный, рассказывают, переживает, ибо видел во сне незнакомого мясника, а это сон дурной, ангела смерти Азраила видел, он всегда в облике незнакомого мясника! семьдесят пять уже ему. Нухинский казий обнаглел: говорит, и с тетей своей помирись! С тетей, этой старой шлюхой Геохар, известной своими любовными интригами с юных лет, ни одного мужчину не упустит, ни русского, ни даже армянина. Кстати, она хоть и в годах, но предана вашему нухинцу Сулейман-хану со всем пылом страстной молодой женщины! Не знаешь этого пучеглазого интригана? Так тебе и поверили! Это же друг султана Элисуйского Даниэля! Может, и его не знаешь?! Служишь наместнику, а об изменнике Даниэль-султани, перебежавшем на сторону Шамиля, не знаешь?!

— Знаю, очень даже хорошо! А некогда восторгался им: вот она, верность российскому престолу!

— Они ж неразлучные друзья, Даниэль-султан и Сулейман-хан! И еще с ним знаешь кто дружен? Исмаил-бек Куткашинский! Не возмущайся, знаю, будешь его защищать, как же, ведь, как и ты, он тоже писака, повесть издал в Варшаве, на французском, еще когда при Паскевиче там служил, в конно-мусульманском полку. Одной рукой цар-

скую линию гнет, пенсию получает за «верную службу», а другой к изменникам царя тянется, так вот...— И горы слов, имси, обид, измен!..

РЕВНОСТЬ

Ханкызы, наша поэтесса Натеван, какое счастье, что ты привела нас!

Они с Тубу отвели ей самую большую комнату в дальнем конце коридора. У нее в глазах затаилась боль, будто именно ей судьба повелела страдать за интриги и козни своего ханского рода. Они лгали, лицемерили, эти вожди нации,— и ей за это ниспосланы муки?

— Фатали, ты постоянно с нею! — Тубу молча страдает, а Фатали опьянен присутствием Ханкызы и шепчет, шепчет ее стихи, особенно эту строчку: «И я напрасно в этот мир явилась, и этот мир, кому такой он нужен?» И никак ей не вычерпать до самого дна скорбь.

А в темном и глубоком колодце, и оттого ей постоянно холодно, на ней шаль из белой верблюжьей шерсти, никак не согреются пальцы, прибывает и прибывает ледяная вода, она чистая-чистая, родниковая, но сколько в ней горечи!.. Нет, не вычерпать, и Ханкызы в отчаянии, в круглом зеркале отражается небо, и какое-то лицо смотрит на нее: она сама — и другая, очень похожая на отца, что-то есть у всех у них общее, эти сросшиеся у переносицы брови, и в ее взгляде тоже: горделивое, чуть-чуть заносчивое, будто именно они создали эти малые кавказские горы, и дяди, и тети со своими племянниками, ее двоюродные братья, и греховная преступная связь тетки и племянника, почти ровесники, она видит их всех в круглом зеркале на дне колодца, разбить, разбить, и она бросает вниз камни, приглушенный смех, лица на миг изуродованы, и новые камни, еще и еще, трудно их тащить, эти тяжелые камни, хватит, Ханкызы, не мучай себя, вся вода уже погребена под камнями, а ты кладешь и кладешь их, а потом, обессиленная, падаешь на груды камней, под ними погребены предки, но не уйти от их лицемерия, жестокостей, разврата.

О, как тебе выбирали жениха! Ведь ты единственная дочь последнего карабахского хана, Ханкызы, и родилась ты, когда отцу Мехти-Кули-хану было уже за шестьдесят. Непременно выдать за кого-либо из ханской фамилии, но где они, эти молодцы? И чтоб зять непременно остался на-

всегда в Карабахе! Но есть сыновья у Джафара-Джеваншира, так что не переломится спина Карабаха! Кто? эти тифлисцы, ставшие царскими офицерами? Ах, есть сыновья и у другого брата, Ахмед-хана? Что-что? мы туги на ухо, плохо слышим! Всему Карабаху известно, что родились они от незаконной, но простительной связи его жены с двумя нукерами, и ее вишить не станем: он не может, а ей что же, страсти глушить? А сколько сыновей наплодил покойный хан ширванский Мустафа; правда, дети никудышные, да и ханство — одно лишь название, но все же сыновья! От жены Бикя-ханум четверо, от второй, Гюльандам-ханум, тоже четверо, и от двух служанок по сыну, и одна дочь от третьей жены Кичик-ханум! А ты? Что ж ты, Мехти-Кулихан, ни единым сыном жен своих не одарил?! Хотя бы в зяте и внуке твоём продолжился ханский род!

Царь ждет не дождется, когда иссякнут ханские фамилии. Еще Ермолов говорил: «Болезненный и бездетный карабахский хан». Ведь думали, что долго не потянет. «И там не бывать ханству, оно спокойнее!» А хан тряхнул стариной, и белотелая его красавица Бедирджахан-ханум понесла от него, злые языки хихикали, а подросла дочь — его глаза! и брови!

Сокрушался Ермолов: «Ужасная и злая тварь,— это о шекинском хане,— еще молод, недавно женился на прекрасной и молодой женщине»; да, хан шекинский, земляк Фатали, неумный в своей похоти, в точности выполнил завет пророка — у него четыре жены: грузинка, чей стан будто стебелек розы, так и назвал ее — Гюльандам-ханум; Джеваир-ханум, затем третья, имя сначала привлекло, тоже Гюльандам-ханум, и четвертая, дагестанка, поистине Оджах-ханум, очаг, как печка горячая!

«...каналья заведет кучу детей,— негодует Ермолов,— и множества наследников не переждешь. Я намерен не терять время в ожиданиях (?? травить, что ли?). Богатое и изобильное владение его будет российским округом. Действую решительно, не испрашивая повелений».

Князь Воронцов недавно перебирал старые, тридцатилетней давности письма, полученные им от Ермолова, когда тот был здесь главнокомандующим, усмехнулся саркастически: «Болезненный и бездетный карабахский хан!» Вот и бездетный! «Такая красавица,— передавали ему,— эта ханская дочь».

Тогда Ханкызы была недоступно-закрытая, будто крепость Шуша, которую осадили полчища персидского Ага-

Мухаммед-шаха Каджара, под неусыпным оком матери Бедирджахан-ханум, внушки Джавад-хана Гянджинского, убитого при штурме Цициановым Гянджи, и они приезжали, чтоб Фатали, как большой человек в ведомстве наместника, помог им получить пенсию, — умер-таки Мехти-Кули-хан!

И Фатали составлял подробные записки об истории Карабахского ханства, расписывая деятельность генерала Мехти-Кули-хана. Не утаил, что тот «был вытеснен из Карабаха», — Фатали доволен удачно найденным словом: именно «вытеснен», а не «бежал», «и унес с собою данное ему наименование беглеца и изменника»; но! — и о бриллиантовом пере, всемиловейше пожалованном ему, и о восстановлении прежнего генеральского чина по его «возвращении» из-за границы, и о кротости нрава, «никакого властолюбия»; весьма-весьма осторожно обвинить предшественника Воронцова — Головина: вот, мол, какие прежде несуразности были, но зато теперь, при наместнике, совсем другое. «... не могло не представиться соображению, что со смертью хана вдова и дочь лишались всех способов к существованию».

И здесь Фатали ввернул такое, что иной и за месяц не придумает, ведь уже накоплен богатый чиновничий опыт, «ибо там, где он сам жаловал по своей ханской власти таковые владения в потомство, за которым оставляет их и наше правительство, и тогда еще, как со стороны его были оказаны весьма важные услуги, было бы несправедливо и весьма неприлично достоинствам нашего правительства и великодушного монарха».

Почти год длилась эта переписка. И Фатали делился с Хасаем своими заботами, хвалил Ханкызы: и умна, и красива (брови срослись у переносицы), и стройна; а Хасай ни слова: разговор о сватовстве заглох со смертью Мехти-Кули-хана, но снова возобновится: семье нужна надежная опора.

Фатали пишет — начальство заставляет переделывать, снова пишет — снова возвращают. «Я бы полагал назначить», — предлагает Фатали, и далее следуют его доводы, но сколько инстанций! Он — начальнику, начальник — наместнику, тот с отношением и особым докладом — в Кавказский комитет; секретарь, члены, управделами, председатель, мнение двух министерств — финансов и государственных имуществ, а затем журнал Комитета попадает в канцелярию е. в., чтоб г. и. высочайше соизволили, повелели,

когда вздумается взглянуть в этот журнал, написать собственноручно: «Исполнить».

Все-все было учтено: и если дочь умрет до выхода замуж, и если она умрет в замужестве, но бездетно; или же выйдет замуж и уедет насовсем за границу; «в таком случае имение оставить в пожизненном только пользовании матери ее, ежели она будет оставаться в живых».

И нашли ей мужа! Сколько разговоров!..

Как же Фатали соединить, не укладывается в сознании: Уцмиев — муж Ханкызы (а они мечтали создать масонскую — о наивные! — ложу!). Ну да, Уцмиев — из ханского рода; правда, кумык, житель низины, не то что мы и наши карабахские горы, но все же князь.

«А рост, а рост! Боже, какому карлику (а Уцмиев статен!) отдаем наше сокровище, цвет нации, надежду карабахского ханства, — сокрушалась карабахская знать, для которой все другие — холмики и низинная тварь. — Белобрыс, голубоглаз (дальтоники?? каштановые волосы и карие глаза!), сухонький какой-то (??), и часто молчит. Ибо стоит ему заговорить, как кто-то шепотом, но на весь меджлис поэтов, которые собираются у Натеван-Ханкызы: «Ну вот, опять начал коверкать нашу чистую тюркскую речь! Слушай, а когда ты научишься говорить без кумыкского акцента?!»

И у Фатали ревность к князю, увы, несчастлив их брак (постаралась все та же знать: сплетни! козни!), а у князя — ревность к Сеиду Гусейну, любимцу меджлиса поэтов, бесцеремонному, а красив чертовски, баловень судьбы, покорит-таки Натеван, и в наказание аллах отнимет у нее первенца Мир-Аббаса, хоть и рожден от сеида, святого, ведущего свой род, но кто вычертит? от пророка Мухаммеда.

— О боже, как он кумыкским своим акцентом коверкает нашу речь! — сокрушается Сеид Гусейн, и гости меджлиса поэтов согласно кивают головой.

Уцмиев служит царю, он в свите наместника и почти живет в Тифлисе, и идут к нему туда анонимные вести, порочащие Натеван, — очень, мол, вольна, но Натеван ни за что не распустит меджлис поэтов, без стихов ей смерть, а он, Сеид Гусейн, понимает ее, как никто другой.

И у Фатали к Сеиду ревность, будто сговорились с Хасаем.

Но это не скоро, суждены Хасаю с Натеван счастливые дни: и рождение сына, названного в честь деда Мехти-Кули, много лет не было детей, и зачастили в Баку, усту-

пая настоящим те́щи,— святилище в Биби-Эйбате помогает от бесплодия; и родила Натеван: сначала сына, а потом и дочь; и встречи со знатными людьми,— упомянет о славной семье в своих путевых записках Александр Дюма, восхитившись безукоризненным словоударением французской речи Хасая, который говорил как «истый парижанин», и о сыне Хасая: мальчик при встрече с неведомым гостем на всякий случай и по инстинкту держался за рукоятку своего кинжала, унаследует талант матери и станет поэтом Вефа, как, впрочем, и сын от Сеида Гусейна — Мир-Гасан тоже пойдет по стопам матери.

Юная Натеван погостит с матерью у Фатали и уедет в тревоге, а Фатали еще долго будет ходить, рассеянный, по набережной Куры, будто потерял что-то очень нужное и не может найти, не слыша и не видя Тубу, хотя, казалось бы, без нее он не мыслит жизни, настолько в ней знакомо ему все-все, да и Натеван — чужой мир, чужая судьба.

Ходит по набережной Куры, и вертится в голове стих Натеван, еще не отделанный, лишь бейт, и ему обрастать с годами новыми бейтами, ибо впереди большая и долгая жизнь, и замужество, и размолвка, и страдание, и потери, нет еще ни мужа — князя Хасая, ни поэта Сеида, ни меджлиса поэтов, ничего еще нет.

«И этот мир, кому такой он нужен?»

Только колодец, заполненный тяжелыми камнями, замуровано зеркало, но не разбито, усмехается холодным отражением на дне, и много лиц, эта знать, эти козни.

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА

А в Карабахе беспокойно: шушинский уездный начальник князь Тархан Моуравов пишет срочную депешу шемахинскому военному губернатору барону Врангелю, а тот — наместнику Кавказа князю Воронцову: только что ограблена, вторично! казна.

«Немедленно выезжайте в Джеванширский и Кебирлинский участки!» — приказывает наместник. И, признавая полезным облекь объявление наместника торжественностью, Тархан Моуравов выехал сам; всю ночь плохо спал, решил подражать наместнику и каждый вечер допоздна играл в карты, чаще всего с казием Абдул-Керимом; взял с собой и его тоже: почетное лицо из мусульманского духовенства.

А на подмогу — Фатали (может, еще какие даны ему наместником задания?!).

Собрал старейшин всех деревень и кочевий, и среди них карабахский хан Джафар-Джеваншир, недавно приезжал в Тифлис отстаивать свои права на карабахский престол (которого уже нет).

«...впечатления, принятые туземцами (а сам не туземец?), недолго действуют и легко забываются,— пишет Тархан Моуравов,— и я нашел нужным немедленно привести в действие дозволенную наместником меру». Ему сам Воронцов: «Сечь без разбору каждого десятого!» Некоторые, прослышав об этом, сконфузились: наверняка ведь прячут разбойников!

— Вот вам задание: поймать и истребить известнейших кебирлинских преступников, ограбивших казну! Можете?

— Мне? Поймать?! — карабахский хан Джафар-Джеваншир выпучил глаза на Тархана Моуравова, вот-вот взорвется, высокий, седой, грузный, шутка ли — семьдесят уже, редкие седые усы топорщатся.

— Да, вам! — мол, ваши кебирлинские преступники.

— А что я получу? — вдруг согласился хан. — Генерал-майора дадите? — Ну да, уже сорок лет как полковник, а награда никаких! Чего не сделает ради генеральских звезд карабахский хан?!

— Джафар-Джеваншир, докажи, что воля князя-наместника для тебя закон!

— А что еще получу? — таращит глаза на Аннова, уездного прокурора, и захотелось Анну, хотя бы второй степени. «И капитул доставит вам орденские знаки при установленной грамоте».

Семейства этих разбойников живут в шушинском уезде, в кочевье, где четыре кибитки в лесу, они посещают семьи, но с такой осторожностью, что решительно невозможно их поймать.

— Надо заманить разбойников в ловушку.

— Вот и заманите!

Пришли в назначенный день, с головы до ног вооруженные, а с ними их односельчанин Алипаша, отчаянный сорвиголова, который и почту, и казну грабил! А хан время хочет выиграть, чтобы ночь наступила, оставить их ночевать, а там и обезоружить, слуги хана начеку!

— Наместник бумагу пришлет,— говорит он им,— если согласитесь сдаться. Я даю вам ханское слово! Вот моя седина, вот мои слова, не верите, что ли?

— Нет,— говорят наглецы,— не верим! И грабили мы, чтобы помочь сосланным и их семьям! А ты, вождь нации, хочешь нас в ловушку!

— Ладно,— говорит,— мы с вами ни о чем не говорили, подумайте, а утром продолжим разговор! А теперь за стол.

Поели, а часу в девятом стали просить, чтоб хан позволил им уехать, в крови это у них: дерзкую вылазку совершили, шутка ли, ограбить казну! а ханскому слову перечить не осмеливаются. А хан дает знать управителю своему, он же родственник, собраться и напасть.

Софи, пятеро его братьев и два сына, да еще дюжина нукеров окружили комнату, где засели разбойники, а хан, пока они ели, ушел, не сидеть же ему с ними за одной скатертью, это и разбойники понимают. Сын Софи, Наджаф, прозванный Петухом за круглые и постоянно красноватые глаза, и четверо братьев, войдя в комнату, объявили разбойникам, что хан приказал немедленно отдаться в руки полиции, он им исходатайствует прощение. Ах так?! Алипаша, Гусейнали и Алибек разом вскочили и бросились на вошедших, закололи Наджафа, ранили одного, другого, те тоже успели выхватить кинжалы, ранили Алипашу, тот упал, а младший брат Софи убил Гусейнали, но Алибек успел выскочить из комнаты и, сразив наповал выстрелом из пистолета Софи, скрылся в темноте.

— Тогда некогда было рассказывать тебе, Фатали, расскажу теперь! — Алибек рискнул прийти к Фатали в его тифлисский дом. Да, тогда было действительно некогда.

Алибек — давний знакомый Фатали, лет на пять моложе, вместе в келье гянджинской мечети учились. Его отец, как и Ахунд-Алескер, отдал детей в духовное училище, и в медресе они познакомились: взрослый Фатали, его ровесник Гусейнали и совсем мальчик Алибек.

Прибыл в тифлисский дом, чтобы возвратить мундир и коня, спасшего его в темную ночь, правда коня другого, тот конь пал. И чтобы Фатали помог (ведь капитан) организовать побег товарищу, запрятанному в Метехский замок. Увы, вскоре сам Алибек попадет туда.

— Заманить в ловушку! — сокрушался Алибек. — На старости лет взять на душу такой грех! А мы ему верили!.. Но прежде — о той ночи. Выскочил я, а куда бежать? темно, но глаза мои видят, привычка многолетних скитаний. Вы приехали, выступали, мне передали, что и ты с ними. Алипаша рвался: убьем их! Нет, говорю, там наш чело-

век! Утром меня непременно найдут, и я решил пробираться к тебе, а вы в доме сельского старшины; я царских чиновников хорошо изучил, вряд ли станут они, думаю, с Фатали в одной комнате спать, пробрался к дому, он мне известен, наверху господа, прокурор, судья — кази, там две комнаты, в одной свет горит; с чего бы, думаю, а потом вспоминаю, ведь вся округа знает, какие это картежники, и кази, и прокурор, кази ему нарочно проигрывает, у него большие деньги от судебных разбирательств. Внизу три комнаты, в одной старшина, в другой его семья, третья для гостей, вот ты где, решил. Стучу в окно, если ты — все в порядке, если чужой — бегу! Ты! Думаю, если прежний Фатали, сразу откликнется! Можешь ли, спрашиваю тебя, поменяться со мной одеждой, будто ты спал, а тебя ограбили, оделись в твою форму, а свои лохмотья оставили! сяду на твоего коня и тогда меня никто не поймает, ускачу в горы; документы не трону, скажешь, что всегда под голову, и пистолет тоже.

— Да, на меня тогда подозрение пало, но поверили, а как же?!

— Это ты умеешь, — говорит Тубу, — притворяться наивным простачком.

— Профессия такая — поэт! — с гордостью замечает Алибек.

И Фатали рассказывает о недоумении прокурора.

«Как же так, неужели вы так спали, что не заметили, как к вам вошли, как разделись, форму вашу на себя, а вам это тряпье?! И именно на вашем коне ускакали!»

«Уж такой фатум, — отвечаю, а потом по-грузински Тархану Моуравову: мол, чего пристал? Еще хорошо, что не зарезали!»

«Вот-вот! — гнет свое прокурор. — И это тоже удивительно!»

«Но и вас бы тоже тогда!» — говорю.

«Ну, знаете! — побагровел прокурор. — А вас можно было бы и судить! Я непременно доложу князю-наместнику!»

А что толку рассказывать о нелепом происшествии с похищением коня и формы, тем более что Джафар-Джеваншир расщедрился: и на форму деньги отпустил, и коня подарил! А потом пир закатил у себя дома в Шуше: смесь восточных и европейских обычаев и образа жизни. Снаружи дом — как все тюркские дома, а внутри зала, убранная с комфортом, на стенах зеркала, у потолка люстры, у стен щегольская, красного дерева мебель, диваны, кресла,

столы, стулья, стены покрыты обоями, украшены картинами. И он сам — красивый, статный, с привлекательною физиономиею, гордой осанкой. Слуги в европейских ливреях подавали чай, варенья, пунш, шербет и мороженое. И еще восточные гости: они сидели, поджавши ноги, на диване у стен, курили трубки, пили чай и молчали. Драгоценные венские часы с музыкою играли в который раз увертюру из эФ, Фенелы. Да-с!

— Младшего брата жаль, Магеррама! — печалится Алибек.— Этот грузин решил, что я домой прибегу, и со старшиной отправился к нам.

Фатали обо всем этом читал, знает. «...нимало не медля,— писал в донесении Тархан Моуравов,— отправился к семействам разбойников. Я спешил туда, во-первых, потому, чтобы захватить Алибека, если он возвратится домой, и, во-вторых,— очень грамотное донесение,— потому, чтобы не дать времени скрыться семействам разбойников и меньшому их брату, Магерраму, который хотя и молод еще, но способен уже,— страсть, как любит это наместник: «еще» и «уже», а от него переняли стиль и Тархан, и Фатали, и еще кое-кто,— идти по следам братьев своих и известен как опасный человек, потому что не дает промаху из ружья».

— А Магеррам в жизни ружья не держал, не разрешали мы ему! Это Тархан выслужиться хотел: вот, мол, какого опасного разбойника ловить отправился, а Магерраму — четырнадцатый пошел!

«...с трудом отыскал в лесу жилище разбойников,— писал Тархан Моуравов.— Окрестные жители так боялись их, что провожатые мои до тех пор не решались идти к их жилищам, покуда я не уверил их, что все разбойники убиты. Я приехал вовремя, меньшой брат еще ничего не знал, и его нетрудно было схватить. В землянке разбойников я нашел двух шекинских беков, Джафар-бека и Ага-бека, которые схватили ружья и хотели защищаться, но, видя невозможность уйти, сдались без сопротивления. Беки эти были сообщниками Гусейнали и Алибека, предостерегали, когда их преследовали, передавали известия из Нухинского уезда и в этот раз приехали, как думают некоторые, для перемены лошадей, украденных в Нухинском уезде. Они не хотели сознаться в знакомстве с Гусейнали и Алибеком и объявили, что впервые здесь и отыскивают уворованную лошадь, но родственники разбойников уличили их. Арестовав и семейства разбойников, я отправил всех за строгим караулом, а сам уехал к Джафар-Джеванширу в Дайран

для производства следствия, по которому и открылось то, что я имел честь объяснить выше».

— Жаль Магеррама. Когда он узнал, что Гусейнали убит, кинулся на конвоира, вмиг вынул из ножен кинжал, всадил ему в спину и бросился с кручи вниз, но выстрелом... Э! да что там говорить! Хана убить легко, но сделать мучеником?! Ореолом славы его имя окружить?! Старый лицемер, пусть умрет своей смертью, проклятый потомками!

«Надо поддержать в хане усердие, дабы подвигнуть других к соревнованию, особым образом наградить его!» — просят чины.

— Святой Анны второй степени?! И только? — Джафар-Джеваншир обижен, вот-вот расплачется. — По всему Карабаху известно, что я представлен к чину генерал-майора! «А! — говорят недоброжелатели. — Вот и отблагодарили тебя!»

«Я нахожу весьма полезным и даже необходимым», — настоятельно просит барон Врангель в пространной докладной записке наместнику Воронцову.

— Вот, Джафар-Джеваншир, хоть этого делать мне и не положено, покажу вам свою докладную наместнику-князю, — шемахинскому губернатору не терпелось выказать единственному из оставшихся старейшин в карабахском ханстве свое благорасположение.

И ханский наследник на это сказал:

— Я в долгу не останусь, пусть только дело пройдет, — лишь бы барон Врангель помог ему сменить полковничьи погоны, две пустые полоски, на генеральские две большие звезды.

— Я приложу к докладной, — говорит хану барон, — и подробную справку о вашем прошлом, убежден, что вы удостоитесь! «...и есть едва ли не первое лицо между жителями всех (!!) мусульманских провинций здешнего края по происхождению и родственными связям своим».

— Да, да, — не терпится Джафару-Джеванширу, — я пять лет жил в Санкт-Петербурге! Сам Цицианов! Медаль с надписью! Сабля, усыпанная драгоценными камнями, будто небо — звездами!

Барон чертыхался: «Ведь всеми потрохами нам служит и предан. Чего скупитесь?!», запечатывая конверт, чтобы немедленно с курьером отправить наместнику Воронцову.

В день тезоименитства государь император соизволил

произвести полковника-хана в генерал-майоры в награду за отлично усердную службу его и преданность престолу.

И огромный ковер (сотканный любимой Алибека Назлы, которую отец, опасаясь за жизнь домочадцев, ведь пригрозили! подарил сыну ширванского хана, и она стала его наложницей) в дар от карабахского хана был вручен барону Врангелю; свисая со стены и дважды загибаясь, чтоб плотно обхватить широкий диван, заглушая все звуки, ковер, будто усеянное весенней порой алое маковое поле, зажег ярким светом спальню военного губернатора.

— Ты думаешь, я один? — сказал Алибек, прощаясь. «Но вас не больше горцев!»

Фатали промолчал: он не смеет говорить Алибеку, не имеет права! об их обреченности. На прощанье лишь: «Береги себя, Алибек!» Примкнуть к Алибеку?! Их дюжина, а если еще Фатали — станет чертова.

Джафар-Джеваншир того и ждал, что Алибек, узнав о судьбе своей любимой Назлы, подаренной сыну ширванского хана, объявится: в карабахских лесах он расставил сыщиков из таких же, как Алибек, голодранцев, одурманных именем карабахского хана, и те непременно поймут разбойника, — за одну только весть тому, кто прискачет с нею, обещана золотая десятка.

НОВАЯ БОЛЬ

— А, Фазил-хан Шейда! Рад тебя видеть.

— Гарью у вас пахнет, Тубу-ханум, у вас ничего не горит?

— Это у Фатали спросите. Повадился жечь бумагу. Ночью не спит, а днем, когда рассветет, жжет и жжет.

— Ты уже давно ничего не пишешь, Фатали.

— Об Алибеке писать? и его возлюбленной Назлы?

— Алибек? Этот разбойник, ограбивший казну?! А я, по правде говоря, ждал, что ты расскажешь о недавней поездке в мои родные края с генералом Шиллингом. Новый шах, почти юноша, сколько же ему лет, Насреддин-шаху? Семнадцать? Да, очередной из династии Каджаров, сын Мухаммед-шаха, внук Аббас-Мирзы, так и не дождался трона, шутка ли, твой тезка Фатали-шах царствовал сорок лет! — Но никому из них неведомо, что Насреддин-шах

просидит на троне почти пятьдесят лет!! — Сейчас, кстати, модны путевые впечатления, вот бы и ты рассказал.

Да, можно вспомнить, как ездил. И встречи с сестрами. И выхлопотал им пенсию, шахская казна не оскудеет! А Шиллинг, что ни увидит, — с расспросами к Фатали, замучил! И отчего турки — люди тьмы, а персы — люди света (?!). И имя свое откуда грузины получили (!). Фатали делился слышанным (или читанным), что-де еще при Помпее является название Грузия, означало тогда название земледельца, а может, от реки Кура, Курги, Гурга, Курги-стан.

И об «Аллаверды», что значит? Слово тюркское, но турки не пьют! И отчего святитель, крестив язычников-грузин и подав князю рог с вином, сказал ему: «Аллах верди» — «Бог подал»? И народ закричал: «Якши йол!» — «Да будет добрым путь!» И даже монастырь, учрежденный в память сего, получил название «Аллахверди», — поди ответь! Будто Шиллинг — географ, а не генерал! И об Арарате, названном персами Куги-Нух, то есть Гора Ноя. Ну да, генерал Шиллинг слышал, мол, первое, что увидел Ной после сорока дней потопа, были Кавказские горы, именно за Эльбрус зацепился его ковчег и расколол надвое, как это видно и теперь, а отплыв, пристал к вершине Арарата. И о том слышал, что значит Эривань, — когда Ной после потопа увидел с Арарата землю, то закричал (по-армянски?): «Эривань!», «Она видна», то есть «Видимый». И о Нахичевани, очень остался доволен объяснением Фатали: «Место, куда вышел, ступив ногой, Ной», «Нойчыхан» (а это уже по-тюркски). «Так что же, — удивился Шиллинг, — Ной знал и тюркский, и армянский?! Да-с, загадка!»

Но особенно поразила Шиллинга легенда о Змее-Горе, Илан-даге; Фатали ее слышал от отца, в детстве, Мамед-Таги привозил как-то сына к селению у подножья горы (и всю жизнь Фатали боялся змей!). Змея, прожив семьдесят лет, имеет силу превращаться в человека. И стала змея красивой девушкой. И встретила однажды пастуха, влюбилась в него, и они поженились. Однажды пришел к нему индийский факир и, имея при себе перстень с ониксом (которым в древности наносили резьбу на камни), тотчас узнал, что женщина — преобращенная змея (ибо оникс, или очковый агат, позволяет увидеть первозданный вид). И, чтоб убедить мужа, сказал ему: «Прикажи жене сварить кушанье и тайком прибавь в него немного соли, потом накрепко запри дом, вылей всю воду и притворись спящим».

И ночью он видит, что жена ищет везде воду и, ничего не находя, растягивает шею, достигая головою и устами соседней реки, и слышит, как вода пробегает по ее шее. И столкнул однажды по совету факира жену в печь, крепко закрыв ее тяжелым камнем. Она просила сжалиться над верной женой, но пастух был неумолим. И тогда она сказала: «Факир выдал тебе мою тайну, он жаждет моего тела...» По смерти ее муж пришел в отчаяние, ибо любил жену, и пошел скитаться по белу свету. А факир тщательно собрал золу, сохранявшую силу превращения, и посредством ее обращал металлы в золото. Султан однажды пригласил факира, чтобы тот заговорил змей на долине, где вздумал построить Баязет. Факир исполнил волю султана и, прощаясь, сказал: «Я изгнал змей, но до тех пор продлится сила заговора, пока не распадутся мои зубы». Всю ночь султан мучился, не зная, как быть, а наутро отправил погоню за факиром с приказанием отрубить ему голову и привезти сюда. И голову вместе с зубами отделал в золото, дабы предохранить от гниения. А золу по ветру развеяли, не поняв, к чему она.

«Но кому они нужны, эти легенды? Ради чего расписывать их? Чем эти легенды — а их тыщи! — утешат страждущих и страдающих?»

— Я лучше о Шамиле напишу. Его агонии.

— Дался тебе мятежник! Говорят, народ устал от возгласов: «Велик аллах! Магомед — его первый пророк, а Шамиль — второй!» Кстати, а правда, что он положил конец вражде между суннитами и шиитами? Не верится мне! Так что оставь его!

— О пожарах может быть?! Как горел Зимний? Или о Воронцове? Его победах? Это ты прекрасно пишешь оды!

— Но я восхвалял государя императора. Почему бы ему, Тубу-ханум, не последовать моему опыту? И не написать о славном победном царском оружии, о том, как царь наводит порядок в мятежной Азии и обуздывает распутившийся Запад?

— Сколько он еще продержится?

— Запад?

— Шамиль!

— Схватят и повесят. Так кончали все бунтовщики.

А Фатали недавно переводил. И за каждой фразой — государь. Круглые, как свинцовые пули, глаза: «Ну-с!»

Темно кругом. Ни проблеска. Густая-густая темень — бери и разрежай ее на куски.

Как же: поймают и повесят! Были выселицы, но для других! В одной из комнат калужского особняка, имения графа Барятинского, пленившего в Гунибе Шамиля,— фотография: четверо сыновей Шамиля в бараньих папах, в чухе с газырями, с кинжалами на поясе; у одного длинная борода и худое лицо, он насмешливо смотрит (Гази-Магомед?), у другого чисто выбритое лицо, во взгляде угроза, кажется, Наджибат, третий — у него только-только борода пробивается. Магомед-Шафи? взгляд недоверчивый и коварный, а четвертый еще дитя. А как бы гляделся Джамалэддин, отданный в тридцать девятом в аманаты; царский офицер, обмененный на семейства грузинских князей, захваченных в пятьдесят четвертом,— умрет в родном краю, ставшем чуждым, не вынеся разлуки с чужбиной, ставшей родной.

В ту же минуту, когда Шамиль сдался, на плечи ему накинули дорогую шубу на меху американского медведя, а старшей жене подарили пару часов, украшенных бриллиантами; и даже женам сыновей — бриллиантовые брошки. И Барятинскому — Голубая лента, орден Нашего Святого Апостола Андрея Первозванного, редчайший! с мечами! и чин генерал-фельдмаршала (а прежде, за четыре месяца до,— Владимира первой степени, тоже с мечами над орде-ном); а ведь молод-то как, почти ровесник Фатали,— и ему, конечно, кое-что досталось: вся канцелярия была отмечена, такая радость, слова Шамиля из уст в уста: «Надоело воевать. Опротивеет и мед, если его есть каждый день».

А на витринах магазинов на Невском проспекте в Петербурге, куда доставили пленника,— портреты Барятинского и Шамиля. Как неразлучных друзей. Так всегда: крепко повздорили, а потом дружба на всю жизнь; и кровь лилась, и было избиение ста мюридов, и три женщины вышли из крепости, чтоб сразиться, и повисли на штыках апшеронцев, яростно отбивался Шамиль, последний взмах штыка шестидесятилетней войны, и даже обмануть пытался Барятинский Шамиля,— князь вычитал, что солнечное затмение предвидится, и послал Шамилю сказать, что прикажет солнцу скрыться, а потом открыться, так что не связывайся, мол, со мной, сдавайся, пока голова цела, я всемогущ и прочее, а Шамиль ответит: «Знаю по календарю, что это будет».

«И чего упрямится?» — негодовал Барятинский.

Откалывались от Шамиля племена, особенно после падения Ведено: депутации от чаберлоевцев, андийцев, технучальцев, аварцев, а потом хушетцы принесли покорность.

Бегут верные сподвижники: Кибит-Магома Тилитлинский, и в доказательство удержал у себя почтенного наставника и тестя Шамиля — Джамалэддина, старшего своего брата; и третий его брат Муртузали, телохранитель Шамиля, бежал, и казикумухец Афенди, с кем Шамиль делил задушевные свои помышления, советник и любимец; и гехинский наиб Али-Мирза Хабан-оглы, и маюртупский наиб Осман, и пятисотенный Лапи Лачин-оглы, — каждый обманым путем. А тут еще чохский наиб Исмаил, а с ним и переметнувшийся бывший изменник султан Элисуйский берутся вступить в переговоры с Шамилем, склонить к покорности! И бурный Койсу одолен. «Легче победить армию, — говорил Шамиль, — чем ступить на наш берег»; и, зря опершись на винтовки, в разноцветных чалмах и чохах, злорадно улыбались мюриды, — ни один не сдастся, все погибнут на штыках. И полное прощение обещано Шамилю! и дозволение ехать в Мекку со всей семьей и с письменным обязательством жить там безвыездно, и дорога за счет средств императора, и ответ Шамиля (можно ли верить?!): сабля наострена и рука готова!

Что ж, и команда к штурму. И никаких условий: безусловная сдача. И верхом на лошади выехал Шамиль из крепости в окружении горстки мюридов, а пред Барятинским слез с коня.

И кому-то печаль — так и остался со взмахом штыка: не в кого, увы, вонзить.

Вся канцелярия будет отмечена, и Фатали получит орден Святой Анны, все же не последней, четвертой, а третьей степени. А разве Колдун упоминал Анну? «Неужели никогда?!» «Андрея?! Самый высший?!» — Колдун от хохота прослезился аж! «А если чудо?» — Почти седой, а ребенок.

Но до пленения еще очень далеко, а Шамиль сражается, он в силе (и будет в Тифлисе Гунибская улица у подножья горы Святого Давида).

С Фазил-ханом смотрели «на театре» представление; здание только что построено. Фазил-хан устроился секретарем у Ханыкова, помог ему получить из Карабаха «сажен десять надписей из Бердаа», полтыщи лет им! договорился, чтоб срисовали со стен заброшенной крепости Чирах-Кале близ Кубы куфическую надпись и доставили в Тифлис, и еще списка с большой куфической надписи на третьих южных воротах Дербента и с надписи на гробнице некоего Меймуна (?!), жившего здесь восемь веков назад (с помощью

Ханыкова устроился преподавателем фарси в шиитское училище).

«Но Меймун — это обезьяна!» — удивлялся Ханыков, но Фатали прервал рассказ Фазил-хана, ибо началось представление «Ночь перед свадьбой, или Грузия через тысячу лет». Но Фазил-хан успел шепнуть: «Ну вот, мы с тобой были на тысячу лет в прошлом у некоего Меймуна, а теперь оказались на тысячу лет впереди и сидим в партере!»

— Молодец граф, сочинил смешную сказку, — хвалит Фазил-хан Соллогуба (не за нее ли пожалована будет графу золотая табакерка с бриллиантами и императорским вензелем?). — И героя своего назвал нашим персидским именем, Кейхосров! И он женится на прекрасной Кетеваны! Жених напился на радостях и проспал тысячу лет, эх, нам бы такое счастье, да, Фатали, ты б согласился?! Проснулся — не узнает Тифлиса!.. Это я не тебе рассказываю, а Тубу-ханум! Да, не узнает Тифлиса, всюду женщины большими начальниками стали, а над городом летают хитро построенные аппараты, вроде птиц. И в звании уездного предводителя дворянства — Шамиль!

— Как? Он тоже тысячу лет проспал?

— Не этот Шамиль, а его прямой потомок, культурный, воспитанный, дамам ручки целует, почти француз!

ВИКТОРИАЛЬНЫЕ ДНИ

— Это дико, не правда ли? — любит иногда Воронцов поговорить с туземной интеллигенцией. — Ведь обречен Шамиль!

И Фатали согласился: дико! обречен! и вы пресекли — и власть мелких ханств, необузданные деспоты, ночью не уверен, что утром не станешь жертвой дикого разбоя, и орды персидских войск вдруг вторгаются, как саранча. Ваше имя...

— Вы думаете? — на лице наместника изумление, а сам убежден, но его удивило, что эта мысль пришла к Фатали: отыщется сочинитель, какой-нибудь Фе-Фе или Чу-Чу, это они с Ермоловым как-то размечтались, любят таинственными знаками изъясняться еще со времен мятежной юности. Черные глаза, кокетствуют ужасно, Ведьма, Злодейка, — и воспоеет Воронцова кавказские подвиги.

Как стал наместником, в первую же весну посетил Гянджу, называет по старинке; ничего не скажешь, геройски сра-

жался Джавад-хан, помнит имя, не забыл, и даже поинтересовался у Фатали, чтоб узнали, как с его могилой? И Фатали тут же, с ходу, все-все помнит, знать должен о каждом ханстве, его историю, династии, высокого ранга специалист в наместничестве, аж возгордился Воронцов; так вот — прах Джавад-хана перевезен в Кербелу, где и похоронен, а на могиле — надпись, так принято, чтоб стихами, сочинил поэт, чей псевдоним эф, Фани, Бренный:

«Очень жаль, что кругообращение небосклона не зависит от нашего желания.

В этой мрачной земле все будут погребены — и дервиши, и бедняки, и шахи, и ханы.

Во имя мученика Гусейна, шаха нашей веры, ниспошли, о боже, дождь милосердия своего на сей прах.

Увековечь место для сей династии, а равно увековечь память о вдохновении Фани и его почерк».

Навестил и квартиру Цицианова: вошел в мечеть, двор, обнесенный каменной стеной, а внутри двора вдоль стен — кельи для духовенства и дервишей, в одной из них учился у Мирзы Шафи Фатали.

«Вот здесь!» — указал Воронцов. Фатали даже вздрогнул, подумав, что это о нем; две небольшие комнаты против западной стены мечети. «Здесь жил Цицианов во время осады», — говорит Воронцов свите, слышит и Фатали.

И радость, что край навечно покорен, и грусть, что нет следов былой славы. Вспомнил посещение Дербента, когда собственными глазами убедился в том, чему не хотел поверить, — святотатственно переделали прорубленное Петром Великим окно в цитадели, где он поселился после получения городских ключей. И нелепое объяснение местных властей, будто отверстие (!!) безобразит зал, и его переделали в обыкновенное окно для симметрии с другими.

И всех удивило в Гяндже, как наместник вдруг побагровел и, обратясь к адъютанту, велел, чтоб прибили у входа в келью мраморную доску с вызолоченною надписью: «Здесь жил покоритель Ганжи князь Цицианов», — долго учил, чтоб говорить, особенно при встрече с туземцами, Гянджа, а тут как разволновался — по-старому, Ганжа. Будет дощечка, а потом пропадет, — какой-то дервиш унес, а к чему она ему, неведомо, ищи теперь доску.

— Кстати, Фатали, — спросил Воронцов, а Фатали так и не понял, с чего вдруг в Гяндже наместник вспомнил про Дербент, — напомните мне, что означает Дербент?

— «Запретные ворота», персидское слово, по-турецки

Демир-Гапы, «Железные ворота», а по-арабски Баб-Эль-Абвад, «Ворота Ворота», — выпалил Фатали, и глаза Воронцова потеплели. И он глянул потом на гигантские чинары, обступившие площадь.

«Свидетели войн»! — сказал, назвав имена полководцев: Зубова, Цицианова, Ермолова и Паскевича.

И мечеть Шах-Аббаса красуется с ее параболическим, точно приплюснутым куполом, на котором покоится месяц, венчающий здание, — не ведает еще Фатали, что много раз он вспоминать будет эту поездку, и перед глазами — неизменно Шах-Аббасская мечеть, откуда выйдет, чтоб занять шахский престол... Нет-нет, еще не ведает Фатали, кого выведет отсюда его фантазия.

А Воронцов, глядя на эти вечные чинары, укрепился в давней своей миссии преобразить сей край. Он усмирит мятежников, увы, не ему пленить Шамиля! улягутся страсти, чтоб снова расцвести в Тифлисском театре, который он вот-вот откроет, и воспоют его имя, увековечат. И непременно издаст «Кавказский календарь», из года в год, от канцелярии наместника Кавказского, — неограниченные полномочия! И роспись всем праздничным и торжественным дням: и рождения, и тезоименитства императорских особ, всех-всех, и Величества, и Высочества, и Великие князья и княжны, и восшествие на престол Благодетелей Николая Павловича, 20 ноября, но считается оное 19 ноября, и день коронования, когда судебные места от присутствия, а училища от учения свободны, и воспоминания победы под Полтавою, избавления Державы Российской от нашествия галлов, а с ними двадцати язык, и Кавалерские праздники, у него в книжечке все-все дни записаны, и он перенесет их в Календарь, — ордена Святых Анны, Александра Невского, Равнопрестольного Князя Владимира, великомученицы Екатерины и великомученика Георгия, Апостола Андрея Первозванного.

И о себе каждый год: кто он и какие награды, привычно уже, но ласкает слух: Член Государственного Совета, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, Главнокомандующий отдельным Кавказским корпусом, Командующий Военно-Каспийскою Флотилиею, и остались за ним еще Новороссийский и Бессарабский Генерал-Губернатор, Шеф Нарвского и имени своего Егерских полков, и — непременно и это!! — Кавалер орденов, все-все помнит князь, Российских: Андрея Первозванного, бриллиантом украшенного, Александра Невского, алмазами украшенного, и еще и еще, и Золотого Ба-

заржикского креста; и иностранных — Французского, Английского, Шведских, Прусских, Черного и Красного Орла, и Сардинского, и Греческого, и Австрийских, и Турецкого, Нишан-Ифтигар, алмазами украшенный; и золотые шпаги, украшенные бриллиантами, а одна с надписью: «За храбрость»; и серебряные медали: «В память 1812 года», «За взятие Парижа», «За турецкую войну 1828 и 1829 годов»; и золотая медаль «За прекращение чумы в Одессе 1837 года»; и знак отличия «Безпорочная служба за XXX лет».

И тут он глянул на Фатали, и Фатали не понял, отчего наместник улыбнулся. «И вас мы включим в календарь», — подумал Воронцов, уж очень ему симпатичен всезнающий чиновник его канцелярии, — впишут его имя Мирза Фет-Али Ахундов дважды: как переводчика письменного с языков восточных и прапорщика — и в Гражданской Канцелярии Наместника, и в Дипломатической Канцелярии; и любимый сын наместника войдет в календарь — он сам Михаил Семенович, а сын, почти как у азиатцев, Семен Михайлович, командированный по Высочайшему повелению для занятий в Дипломатической части, состоящий в Азиатском Департаменте Министерства иностранных дел, тихая, почетная и высокооплачиваемая работа, поездки и прочее, губернский секретарь князь Семен Михайлович Воронцов, и служба, и чины.

И Викториальные дни, те, что приняты, надо б и Гянджу сюда, но долго по инстанциям писать-доказывать, — такие подвиги во славу Царя и Отечества и чтоб так мало дней?! Всего-то шесть!! Торжественное воспоминание мира между Российской Империею и Оттоманскою Портою, заключенного в Кучук-Кайнарджи, и присоединения к Российской державе Таврического Царства; взятие фрегатов при Гангуте и Гренгаме; взятие Нарвы; воспоминание одержанной над прусскою армиею победы, не помнит, это без него, как, впрочем, и воспоминание победы, одержанной над генералом Левенгауптом, да еще взятие крепости Шлиссельбургской! И все?!

И сведения в Календаре, как в Европе чтоб! какие гостиницы: прежде всего Санкт-Петербургская, на Головинском проспекте в доме князя Чавчавадзе, и Московская на Эриванской площади в доме Сумбатова. И какие кондитеры, — непременно об эф, Фердинанде Сайце, что на Эриванской площади, и Адольфе Толле, что на Головинском. Какие винные, здесь же, в доме князя Чавчавадзе, — специальная торговля кахетинских чавчавадзевских вин! Эти знаменитые

вина!! И о модных магазинах Блота и Пелетье!! Все-все о городе, истинно европейские образцы! И где башмачник, и где белошвея,— прожужжала им уши невеста о Жозефине! И каретники, и колбасники, и колесники, и корсеточники, и красильщики, и кузнецы — лучшие, знает и это наместник, гордясь, что вник! Керер, на Почтовой улице, да-с! И ламповщики, и лудильщики, и медники. И даже меховые мастера: Манташев — лучший!, обойщики, парикмахеры, тот же Пелетье, модный магазин, переплетчики, перчатники, позументщики, портные, ружейные мастера, сабельщики, часовых дел мастера, шапочники.

Да, непременно воспоют его, Воронцовское Кавказское правление. И он привык, уже давно: коль явится поэт в его передней, то непременно с одою, а то с акростихом.

Но прежде, это в далеком-далеком прошлом, вспомнив о сложенных о них стихах каким-нибудь Фе-Фе или Чу-Чу, даже в опере солдатский хор исполнял в их честь песни, Воронцов и Ермолов высмеяли сочинителей. «Нужны, конечно,— говорит Воронцов,— надо привить людям чинопочитание, послушание, чтоб вся страна как казарма! А сочинителям за их службу царю и отечеству — почести, щедрые дары, привлечь и поощрить, и собрания им сочинений — Кукольнику или Албочу, Авласу или Соллогубу. Ах не слышали об Авласе и об Албоче? А это я так, шутки ради! — Он опять играет, былые годы вспомнил, знаки-с! — И даже о Полевом! Позвольте, но ведь популярнейший московский романист! — И светлейший, с чего бы вдруг? пропел, вспомнив крымского грека (или француза?): «Ах, милый друг Либре, Либре, ах разлюбезный друг!»

Но Воронцов отвлекся, ведь с туземцем он, и тот как будто что-то говорит. Да, Фатали согласен: покой! торговля! театр!.. но следом за карателями пришли царские чиновники, полиция, жандармы, все переплелось, перемешалось, кнут и шпицрутены! Прежде недоумевал: как же можно? мятежники декабря! чтоб снова шах? разбой? и поляки, думал,— чего им надобно?! и грузинские князья: что ж вы, а? мало вам шахских жестокостей?! султанских обид? и горцы! опомнитесь — бесцельная, ненужная борьба! озарение потом, но разве скажешь об этом наместнику? как иначе дать понять? увещеванием? просьбами?

Эта цепочка заговоров как петля! И дерзкие грузины! за царский грузинский род, удачно вывезенный в свое время императором Александром из Грузии в Москву и Петербург, Николай, когда провалился заговор, взялся сам, а осталь-

ных судить, казнить, сослать! Одного царевича в Смоленск, другого — в Кострому, одну царевну в Калугу, другую — в Симбирск; всех-всех сослать! И в Тамбов, и в Финляндию! И в Вятку!

А среди заговорщиков, неужто это был он? — гусарский тогда поручик, внук царя Ираклия, Григол Орбелиани: падение, но зато какой стремительный затем взлет! Посметь перевести на грузинский язык гнусные строки одного из повешенных! сорвется, но снова повесят!

«Коряво, коряво, Ваше величество», — это о переводе. «Когда была без жертв искуплена свобода?», успокоил грузин, он разбирал бумаги Орбелиани. «А вот еще фрагмент! В Вашу честь, государь! Ода!! — и с особой выразительностью перевел: «О, наша честь, о, наша слава!»

Император смягчился: это надо поощрять! на чужеродном языке! Вспомнил еще татарина: «Рядом Ваше имя и имя... эээ... — чей-то комариный писк над ухом, — сочинителя, Пушкина!»

Да, поощрять; наивные строки, но это спасло Орбелиани. «Он еще послужит мне!» — и борьба с поляками, и расправа с горцами, и аварское правление, и генерал-губернаторство, и замещение наместника — сына Николая!! — во время его лечений на целебных источниках, нескончаемых балов в Петербурге, визитов к царствующим родичам в Европе, и самый великий дядя-кайзер.

— Ой, какие вы дикие, Фатали! — говорит Воронцов. — Вашему народу надо образоваться по-европейски! Ну, отчего, скажите, юноше, который приобретает хлеб насущный и самое состояние не воровством, не разбоем, а путем истины, трудолюбием своим, прегражден путь к любви красавицы?! Похитить девушку и при сопротивлении убить ее брата, а потом жениться на ней, — разве не в этом видится у вас похвальное молодечество? Сколько раз случалось: даст клятву на Коране, что перестанет заниматься разбоем, а выпустишь — и снова за свое! Фатали, я сам видел: умирающий дома в постели не от насильной смерти слышит одни упреки, что он осрамил род свой, умирая не от кинжала и пули, — разговорился ж, однако, наместник, — и что для него нет рая в будущей жизни, и молла неохотно пойдет на его могилу. А убитого на разбое и грабительстве провожает рыданиями вся округа. Так вот, — любит себя Воронцов за это долготерпение! — почему бы вам, я слышал, что вы сочинитель, не написать пьесу, а? Вот мы открыли театр в Тифлисе, я пригласил сюда лучшего писателя России Соллогуба!

Вот она, мысль! спасение! прямо со сцены, с трибуны, не ждать, пока народ освоит грамоту,— говори ему, что накопело в душе, разбуди его; сколько веков поэзии, а народ темен, ибо неграмотен... И не это ль охладило в Фатали поэтическое рвение?! А тут театр и сюжеты! Боже, сколько их! *Показать лишь образец и подать пример.*

ПРОЦВЕТАЮЩЕЕ ОБЩЕСТВО

И уже куплена простая конторка, она возле письменного стола, белые листы в папке. И свечей закупил. И даже длинную палку с гасильником (металлический колпачок),— к чему? Он и так погасит: пальцем или дунет,— где у него серебрястые подсвечники или ярко-желтые, как золотые, бронзовые канделябры? или хрустальная люстра, которую видел однажды в доме наместника Воронцова,— она отражалась в огромном овальном зеркале, украшенном лепными амурами и золочеными лаврами. Подошел к конторке, открыл папку...

Мой милый чтец, ты, который будешь читать или, выучив наизусть, исполнять мои комедии! — да, да, мы отстали, вы правы! я принужден объяснить чтецу моему, как выступать! — Где требуется удивление — удивляйся, где имеется вопрос — спрашивай, где надо выразить страх — бойся, где ужас — ужасайся, где крик — кричи, в речах армян соблюдай их произношение с армянским акцентом.

А прежде надо объяснить, что такое театр: Театр состоит из высокого и обширного зала, внутри которого на двух боковых и передней стенах внизу и наверху расположены ложи и кресла для зрителей, и это объяснять?! обращенные к четвертой стене, поймут ли? Население страны, представители различных слоев, начиная от знати и кончая ремесленниками, мужчины и женщины, уплатив за вход в театр, когда они этого захотят, располагаются в ложах и креслах, расставленных в партере, да, да, мы отстали! что ни слово — надо объяснять! и созерцают сцену. Иногда и властелин страны со своей женой и детьми тоже приходит в театр и о наместнике б! и располагается в принадлежащей его особе ложе. Тогда мастера сцены, которых на манер европейцев называют актерами, приходят на сцену в различных костюмах и дают заранее придуманные, сочиненные? представления. Зрители же слушают их разговоры, которые они ведут между собою. Ясно ли?

И тут же глянул на него с афиши «Роберт-дьявол» — всплыл в памяти шарлатан алхимик, одурачивший их земляков.

Он выставит в комедиях на посмеище почтенное общество сородичей, этих самодовольных и тупых земляков, в чьих лицах увидят себя вожди нации, и карабахцы, и бакинцы, и шемахинцы, и нухинцы-шекинцы, то бишь *нухулулар*! И устами лучших людей он скажет своему народу правду. Чтоб никаких иллюзий (а они никогда не покинут Фатали)! Правда и только правда! И люди увидят в истинном свете тех, кто усыпляет и вершит свои темные дела, — деспотов, угнетателей, фанатиков и мракобесов.

И первая фраза: *Знаете ли вы, господа, для чего я вас пригласил?! Было уже? Да, было!* И даже в канцелярии — главнокомандующий Нейдгард каждый раз именно так начинал оперативные сходки. А Фатали повторит! Но эта фраза дань человеку, у которого он учился, чей образ вдруг возник в памяти, когда наместник предложил: «Почему бы вам?..»

Знаете ли вы, господа? — фраза уже написана, и скажет это золотых дел мастер, земляк-нухинец, ох и обидится старик ювелир, чей бриллиантовый перстень («такого и у турецкого султана нет!» — хвастал он) конфисковали и прикарманили в канцелярии; но именно он, старый друг Ахунд-Алескера, когда Фатали удалось спасти его и вызволить из комендатуры, и рассказал Фатали, как надул его алхимик. «Меня тогда поразило, — сказал земляк, — что армяне из Айлиса, побывав у алхимика, разбившего шатер в хачмасских горах, выкупили у него пятьдесят пудов чистого серебра!»

Граф Соллогуб долго ходил по директорскому кабинету, прежде чем пригласил к себе Фатали, принесшего ему нечто трагикомическое.

— Друг мой, к чему эти казни на сцене, они же царского рода, ваши ханы! Вы мастерски высмеяли азиатские нравы, это многоженство с очередностью посещения жен, сегодня очередь первой жены, но она уже увядает, хотя и полна страсти, кстати, а у вас сколько жен? ах, только одна? а говорили... ну, ладно, в другой раз! так вот, а вторая тем временем готовит себя к встрече с супругом, моется в бане, натирает молодое тело пахучими мазями, и оно, смуглое и гибкое, гладко как атлас! Да, это мило, это привлечет публику, сй подавай страсти, любовные интриги! А казнь?! Да еще особ царского рода! Не уподобляйтесь нашим крити-

канствующим писакам! А разве не может случиться, к примеру, что ваши стражники готовятся набросить кашемировую шаль на Теймура, принесена и веревка, чтоб вздернуть на виселице, но люди упрашивают хана, ведь Теймур любимец народа, он обманут, у него незаконно отнят дядей престол,— пусть все это будет, хотя сюжет этот прозрачно намекает на события в карабахском ханстве, но пусть! это хорошо! мы на это пойдем! и театр должен откликаться на важнейшие политические события! Так вот, народ упрашивает хана, но тот непреклонен, и тогда, как у вас, Теймур выхватывает кинжал, ему удастся бежать, а хан... Нет-нет, никаких казней! — Соллогуб задумался.— А почему бы вам не поселить героев в Ленкоранском ханстве? — Он недавно ездил туда, чуть не утонул.— Да, да, именно туда! Хан любит лодочные прогулки, и вот, расстроенный, что план казни сорвался,

— Но Теймура казнили!
отправляется кататься по морю, внезапно поднялся ветер, опрокинул лодку, и хан утонул! И в момент, когда Теймура вот-вот казнят, толпа приносит радостную весть: король, так сказать, умер, да здравствует новый король!

Как быть?

Соллогуб — граф, он однажды приходил к ним, и Тубуханум не знала, как угодить важному гостю,— разве можно не согласиться с ним?

И Фазил-хан: «То Шамиль у тебя на уме, то казнь! Развлекать, смягчить дикие нравы, а казни оставь Шекспиру!» Фазил-хан тяжело дышит, случается, придет к ним, сидит в полудремоте, долгое молчание, прерываемое иногда вздохами; и очень скоро появится о нем, в траурной рамке, напишет Ханыков, чиновник по особым поручениям при Воронцове: «Надо, чтоб пьеса пошла на сцене, ты первый на Востоке проложил эту дорогу, и тебе надо идти по ней!»

Мирза Шафи, а что ты думаешь? В чьей лодке, того и песню пой, так, что ли? Двум канатоходцам по одному канату не ходить.

Исчез Абовян (вот бы с кем посоветоваться!). Было уже однажды: исчез, думали, утонул в Куре, но как увидели, сначала мурашки по спине: «Воскрес?!» — а потом: «Да нет же, живой!» А ведь оплакивали друзья, даже в духане, что на Шайтан-базаре, помянули. А он бродил по холмам, шел, куда ноги приведут, от суеты, от зависти, корысти, интриг, и забрел к приятелю-немцу, из эстонских, еще когда в универ-

ситете учились, познакомились; он некогда и сосватал ему жену: «У нее ты будешь как за каменной стеной!»

Неужто снова объявится? Месяцы прошли, годы, сгинул человек — затравили, запутали, и насмешки, и издевки, и проклятья, и синод, и патриарх, и католикос, эх вы, пигмеи, не иначе как Зангу поглотила. «Посягнул на наш священный грабар!» Разуверился в духовном сане, уехал из монастыря, выгнали с насмешками! от горя умерла мать, умер отец, плач, слезы.

Фатали помнит, как можно забыть? их долгие разговоры о языке. И о грабаре тоже. «Мне не известен ни один из новейших языков,— говорил Хачатур,— который так различествует от древнего, коренного его языка, как новоармянский от староармянского. Русский? Польский? Они гораздо ближе к старославянскому! И итальянский к латыни! С десяти лет я занимался этим языком, и ни один из шести, которые я знаю, не был для меня так труден. Бóльшая часть нашего духовенства, я не говорю уже о народе, не понимает его! Учить наизусть, не понимая смысла?! Ты моложе меня, Фатали, кто знает, может, когда-нибудь возьмешь в руки перо, чтоб сочинить, ведь бед-то вокруг сколько. Но пиши так, чтоб тебя твой народ понял. Как говоришь в семье — так и пиши!»

Он всегда и боялся реки, и тянулся к ней, любил глядеть на ее водовороты — будто чудище там, и оно, только окажись в этом роковом круге, незаметно ведь! — затянет, засосет, удушит, пропал бесследно! рассказывали, слышал Фатали, рыбак нашел в те дни труп в форме чиновника, испугался и снова бросил в реку. А потом слухи, что видели нищим где-то.

Где ты, Хачатур, отзовись! Может, тайно вывезли тебя в черной карете? Замучили в Сибири? Фатали помнит, рассказывали, что где-то в Сибири отыскался какой-то из ссыльных, Абовяном назвался, неужто он?!

А что скажет Александр, их новый сослуживец? Он появился в канцелярии вскоре после возвращения Фатали из длительной командировки из Персии, куда ездил с генералом Шиллингом; был разжалованный солдат, но отличился в Дарго, спасая Воронцова, и получил прапорщика, по амуниции теперь, и часто с Фатали подолгу говорят, и все чаще их беседы завершаются, как и с Уцмиевым, а с некоторых пор и с Колдуном, разжалованием, а то и ссылкой (а потом и Метехом, а еще потом — казематом, каторгой, казнью).

Александр усмехнулся: «Между нами, только не обижайтесь, Фатали, ханы, их семейные любовные интриги и прочее — это пока забавы, может, так и надо высмеивать пороки, не знаю, вы очень и очень отстали, Фатали, не ваша в том вина, но что теперь поделаешь?! И не вы хозяин в театре (ах вот почему о двух канатоходцах!), но, кто знает, может, эта комедия и станет первой, которую когда-нибудь поставят на вашей азербайджанской сцене?»

Фатали вспомнил Александра, когда ему — четверть века спустя! — принесли весть, что в дни весеннего Новруз-байрама артисты-любители поставили именно эту его пьесу на родном языке, начав тем самым историю отечественного театра. *Я стар и ждал близкой своей кончины, но это известие, — писал он, неведомым друзьям, принесшим эту весть, — продлило мою жизнь.*

Какими еще средствами, кроме иронии и смеха, искоренить дурное и мерзкое в человеке? И чтоб пьеса осталась в сундуке?

— Ну что же вы?! Опять вас тянет к трагическим сюжетам! Ведь так важно, чтобы зритель, уходя из театра, видел: зло наказано! — И долго-долго граф Соллогуб втолковывает Фатали, никак не остановишь, сколько бахвальства, а как ему скажешь: имейте совесть, ну куда вам до Пушкина, но нет же, он еще и о туземцах, о восточной музыке, что он в ней смыслит?! бубнит и бубнит, сидя в своем директорском кресле. — Это же бессвязный, лихорадочный бред! Три человека, из которых один неистово свищет в коротенькую дудочку, другой поскребывает перышком по тоненьким струнам, а третий барабанит пальцами, дайра, кажется? Но из этого выходит нечто вроде звука, издаваемого пустою бочкою, которую везут по мостовой, на несмазанных скрипучих колесах! Удивляюсь я нашим прославленным поэтам: неужели эта дудочка и есть воспетая ими зурна?! Конечно, я не стану отрицать, Фатали, в этом скрипе и свисте есть что-то, не лишенное дикой прелести, в особенности когда где-нибудь на крыше хорошенькая грузинка, сбросив чадру (*но грузинки не носят ее!* а перебивать неудобно, ведь граф!) и закрывшись рукою, пляшет лезгинку (все-все смешал, но как остановить, знатный человек!) или когда идет грандиозная попойка, вы, слава богу, мусульмане, не пьете, да, гомерическая попойка под председательством красноногого тулумбаша, или тамады. *А что он говорит за грузинским застольем, послушать бы!* и безостановочно передаются с возгласами Аллаверди из рук в руки турьи рога с ка-

хетинским. Но поймите, эти ваши нехитрые литавры, обтянутые пузырями, известные под именем димплипито, далеки от бетховенских симфоний! Надо смягчать первобытные нравы. А вы с трагикомедиями! И вы хотите учить публику лишь горько смеяться над самим собой, как это делает, пусть и умно, кое-кто из наших?! Неужели и вам «Ревизора»? Пороки? Взяточничество? Есть, конечно, кто отрицает? Но чернить процветающее наше общество?! Да, есть и дурные люди, и карьеристы, но ведь с ними борется сам государь (недавно пышно отпраздновали в Москве двадцатипятилетие царствования, гудели колокола, Кремль затоплен народом, на площади парад войскам, мундиры горят, крики, музыка, барабан, суета служащих,— добратся до живых по мертвым; и открыл новую железную дорогу)! Но чтоб на сцене восторжествовала взятка? лихоимство?! Оставьте это нашим желчным писакам! Я тоже сдуру некогда увлекался, да-с! И меня хвалили, очень хвалили! Но потом понял: ни к чему это! Да, да, ни к чему! Оглянитесь — между саклями, отважно торчащими, словно гнезда, над обрывистым берегом Куры, вырастают красивые здания, перекидываются чрез бурливую реку каменные мосты, выравниваются площади, возникают целые улицы, кварталы. Каждый день благодаря усилиям князя, выполняющего волю государя, приносит новый успех, новую мысль, новое развитие, и куда ни глянешь — повсюду черкесы, лезгины, грузины, персияне, армяне, татары, бараньи шапки, папахи, смуглые и выразительные лица, сверкающее оружие, живописные лохмотья, кривые переулки, гулянья на плоских крышах домов, женщины в белых покрывалах, скользящие по пригоркам, как стаи пугливых лебедей, палящее солнце, горы, ущелья, да, да, надо крепить, а не рушить, именно так! Как у вас было? сейчас вспомню. Встретились купцу два армянина, казенные крестьяне, один на осле, другой пешком. И эти возмутительные речи о насильниках, о вздорожании хлеба, неурожае, наручниках, каземате, о русском следствии, которое и за пять лет не кончится! Как же с помощью купца не обрушить на властей гнев?! Увы, прием сей старый, и мы эти штучки преотлично знаем!

— Но ситуация комедийная! — оправдывается Фатали.— Трус купец, которому всюду мерещатся пограничники-есаулы да караульные, а он к тому же предупрежден, и земледельцы, не менее трусливые, чем он...

А Соллогуб и не слушает Фатали. Рукой Соллогуба в рукописи были подчеркнуты слова крестьян: *без ропота от-*

бываем повинности, и слова купца: ответите кровью за причиненное народу несчастье! А там, где о виселице,— синим карандашом: «Стоп! о виселице ни слова!»

НЕУЖТО ЛИШЬ ПЕПЕЛ?

— Ты много работаешь по ночам, Фатали! — Бумаги горят и горят. — Ты когда-нибудь подожжешь дом, Фатали! — От слов-то?!

Умереть — что есть проще? (Как уснуть!) Но как это значительно — смерть! Жизнь окончена, уже никогда ничего не будет. Подведена черта (недавно хоронили Фазил-хана), и мы можем увидеть осмысленность или бестолковость? ничемность? пустячность? Нет, именно осмысленность пройденного пути. А что оставит он, Фатали? Или так сросся с мундиром?! А что, если мундир — с большой буквы! — как действующее лицо?! Отдал преступнику, и тот спасся. Или погубил?.. Фатали без мундира: будто оголили, беззащитен, отовсюду — кто с палкой, кто с кочергой, и мясник с ножом; а ведь убьют, если мундир навсегда покинет.

Что же делать, чтобы научиться говорить без утайки? полным голосом? Но эта убежденность Фатали, откуда она? что лицо его, ах да, ведь Фазил-хан, когда хоронили его, вдруг, как показалось Фатали, улыбнулся, видел ли кто еще?! «Чудаки,— будет говорить своей улыбкой Фатали,— разве вы меня хороните? вы хороните мой мундир, мой чин! отныне я, освобожденный от всего, чему служил и поклонялся по чину!..»

Но что он оставит? И эти полсотни хвастливо самонадеянных людей, которые пришли развлечься, что им до тебя?

И когда безмолвствует народ!

И громче всех кричат фискалы: «Ай да фуэтте!» — у них в Тифлисе итальянская балетная труппа и опера.

А как потом пели! Даже наместник Воронцов! «Ах, во сне и наяву я мечтаю про Москву!» А в день тезоименитства государя — бесплатный спектакль, хор колоколов церквей, крики муэдзинов с минаретов мечетей, иллюминации, бенгальские огни, театр дрожал от рукоплесканий, а площадь лопалась от звуков зурны!

И народный гимн: явился перед всеми державный двуглавый орел, блеснул щит с именным императорским вензелем — не было предела народному восторгу, пели все: «Сигналы поданы — собирайтесь призывом батюшки царя!

Вы, слава войска — гренадеры, и вы — герои егеря! И вы — драгуны, и вы, Европы ужас — казаки, смыкайтесь в стройные полки! И вы, Кавказа дети, царю спешите доказать, врагов крамольных наказать!»

Кованые кавалерийские эполеты, шитые мундиры, и какой театр! сколько листового золота пошло! лучшими персидскими штукатурками исполнены лепные работы, самому мастеру Газеру специальные часы заказаны! центнеры красок! тысячи аршинов холста! машинист из Парижа! а для отделки парпетов выписан беспошлинно из Парижа шерстяной бархат бирюзового цвета; кресла и стулья из чинарового дерева светлого цвета, гармонирующего с залом; а люстра заказана в Париже через царского военного агента полковника графа Штакельберга фабриканту Клемансону; уложена в дюжине ящиков весом в тонну и — в Марсель! на пароходе в Одессу! в Редут-Кале и — на обывательских подводах в Тифлис! Полгода в пути! И двенадцать канделябр! И удерживает люстру в виде золотого восьмиугольника резного фонаря с приделанными к нему со всех сторон жирандолями и висячими пунцовыми кистями, плафон голубого цвета. А на своде потолка, щедрою рукою изукрашенного золотыми арабесками, размещены медальоны с именами знаменитых драматургов. И Эсхил, и Плавт, и Шекспир. Гёте? Ну да, а как же? И Мольер, и Кальдерон, и Гольдони... «Не забыт и наш Грибоедов», — восторгался Кайтмазов (когда с Фатали смотрели «Горе от ума»). И зал, похожий на огромный браслет из разных эмалей, — напоминает предметы древней утвари с разноцветною финифтью.

— И ты, Фатали, не хочешь, чтоб твою пьесу играли на сцене этого театра? — упрекнул Хасай Уцмиев; ему кажется, что именно он, привезя Фатали французскую повесть Куткашинского, воспламенил в нем эту страсть к сочинительству. — И не морочь себе голову, радуйся, что живешь на свете (с чего бы такая лихость? ах, да: родился сын у Хасая, «помогло, — шутит, — святилище»; и у Фатали родился сын: выживет ли?!).

И такие актеры! из Петербурга! До Москвы на дилижансе, далее тарантасы. Откуда деньги? А князь-наместник уже обдумал: из выручаемых от Навтлугских нефтяных колодезев — он отдает их на откуп.

И этот блестящий паркет, эти яркие люстры, эти зеркала! И начищенные хромовые сапоги, излучающие свет, — у каждой пары свой скрип, и нескончаем их долгий разговор: о дамах, о пикниках, рейдах, вылазках, балах, званых обе-

дах по случаю приезда принца персидского или консула оттоманского, встречах и проводах полководцев славной победоносной армии, театральных комедиях (водевиль «Встреча Ивана Ивановича с Шамилем»; а был ли Иван Иванович?!), о примадонне Аделаиде Рамони (*вы рамонист?*), низкий тенор, фразирует безукоризненно правильно, голос гибок, а сама как хороша! И две сестры Вазоли (*ах, вы вазолист!*), сопрано и контральто или, вернее, меццо-сопрано — нет еще той уверенности, того *brío*, или напора, который требуется от певиц, но зато какая страсть!.. Оранжереи ограблены, магазины Блота и Толле опустошены, все цветы Тифлиса собраны, связаны в букеты, перевязаны длинными лентами — цветопролитная, шутят, *бóрьба*! Забыты масленица и танцы, блины и маскарады, все жаждут «Роберта», где и черти, и ужасы ада, — успех и от достоинства оперы, и от музыкальности чувствительных туземцев. Рамони и Вазоли вызывали до тех пор, пока публика охрипла и стали тушить лампы, недавно сменившие свечи. И новички в любви, особенно Ольга Маркс, дочь госпожи Вассы Петровны, — она стала милее и подает надежду, что когда-нибудь с успехом явится в ролях первых любовниц.

А зарево бенгальских огней? А куплеты? «Горцам он внушает страх, и на турка! Ай-ли-ли, ли-ли, ли-ли!» В партере эполеты, живая узорчатая лента дам, да-с, театр дрожал от рукоплесканий, а площадь лопалась от звуков зурны.

«И уж над Турцией расправим мы крылья нашего орла! И вы Европы ужас казаки! Смыкайтесь в стройные полки!»

А маскарады, из коих два — с лотереею-аллегри в пользу женского учебного заведения Святой Нины?!

Княгиня Колубякина, баронесса Николаи, графиня Соллогуб. Примо-бассо, бассо-женерико, буффо-комики, секундо-донны, две Каролины, три Пасхалии.

Да, это было: в опере экс-наиб Шамиля Хаджи-Мурат и персидский принц Бехман-Мирза, сводный брат Аббас-Мирзы, один из двухсот сыновей давно умершего Фаталишаха. *И вы породнитесь с ним, Фатали, — выдашь за его сына дочь*, и родятся внуки, в чьих жилах будет течь шахская кровь.

Пела итальянская труппа, кажется, «Норму», а может, «Роберта-дьявола». Музыка то грустно-торжественная, то страстно-нежная, то разгульно-веселая. Глаза персидского принца Бехман-Мирзы равнодушно скользили по женским лицам, а сверкающий взор экс-наиб Шамиля Хаджи-Мурат

та беспрерывно перебегал с одного женского лица на другое, но почти равнодушно, — его занимали иные думы, иная тревожила мысль. Еще до представления Фатали спросил у Хаджи-Мурата, очень ему хотелось узнать о судьбе Сальми-хатун, той беглой горянки, чью дочь Хаджи-Мурат подарил своему мюриду.

— Сальми-хатун? — удивился Хаджи-Мурат; потом, узнав о ее дочери, вспомнил и все еще недоумевал, никак не ожидал здесь услышать такое! — Это она перед матерью так ломалась! И били ее не больно, он ведь, мой мюрид, давно ее любил, и она его любила, как же разлучить можно?! А все ее мать! Это она... как ты ее назвал? Сальми-хатун? да, да, она их тогда разлучила! Ее дочь была опоганена браком с человеком продавшимся! Сначала надо было взять ее так, обесчестив, а потом, смыв с нее грязь, жениться! И брак был заключен!

Странные, однако, понятия о чести! То, что Фатали был нухинцем-шекинцем, как-то сразу расположило к нему Хаджи-Мурата; лишь потом, после трагической гибели Хаджи-Мурата, Фатали понял, отчего тот подробно расспрашивает о Нухе, родственниках и друзьях Фатали, на кого положиться можно.

В театре Хаджи-Мурат вдруг выпалил, пригнувшись к Фатали, и лицо его стало бледным:

— Я должен быть в Нухе! Оттуда я пошлю человека к Шамилю! Он не посмеет убить мою семью!

— А ты бы посмел?

— Я бы? — Задумался. — Да, я бы посмел. Я Гамзатбека убил и не дрогнул. Я многие семьи погубил. Убьет Шамиль, непременно убьет. И ваши мне не верят, я бы захватил Шамиля, пусть дадут мне войско!

Да, вспоминают в канцелярии дни, когда в Тифлисе звучали итальянские напевы. На Майдане и тот, кто продаст бурдюк кахетинского, и тот, кто покупает, не иначе, как поют: «Un pescator ignobile! Un segreto per esser felice!»¹

И проводники верблюжьих караванов, став на ночь в кружок, сам Ладожский слышал! затягивают хором при виде восходящего месяца, но прежде помолившись: «Ah, perche non posso odiarti!»²

В воздухе так и сыплются гаммы, триллеры, фпюритуры, диезы, бемоли, теноры на все лады и все тона!

¹ «Недостойный рыбак! Секрет, как стать счастливым!» (итал.)

² «Ах, почему я не могу ненавидеть тебя!» (итал.)

«Вытеснить итальянской оперой,— писал наместник царю,— полуварварские звуки азиатской музыки».

Только в театре, увы,— но они тебе не нужны, Фатали,— нет первых любовников, да и где их найти теперь? примерные любовники так же редки, как примерная любовь. Первых любовниц тоже нет, что делает честь тифлисским нравам. Кокотка? слишком бойкая, жар, суетливость, девственная искренность, торопливость, а куда спешить-то! Искры воодушевления быстро гаснут, патетическая дикция.

А публика! В ложах — женщины, знать — тавсакрави и лечаки. В креслах — львы и аристократы. Далее — степенные горожане, или мокалаки, еще дальше — чуть ли не амкары — серая публика. А в галерее — чернь.

А нравы! Вдруг встал и ушел: как не похвастать, мол, ему уже все известно,— публично выказать умение предугадывать развязку. Ушел с грохотом, шумно, как победитель. А сколько дыму! Сколько курильщиков! И дирижер разгоняет смычком дым. А у подъезда — бичо в бурках с длинными складными бумажными фонарями. И неизменно фаэтоны. И ждет усатый фаэтонщик. И в небо бьют фонтаны лести!

— А может,— думая о своих фарисеях, *то апофеоз, а то анафема*, говорит Фатали,— показать на сцене лужайку, ну... вроде майдан жизни или шайтан-базар, и понатыкать шесты, множество-множество эФ?!

— Что за эФ? — недоумевает Соллогуб.

— Ну, Фа или Фи!

— Ах вот вы о чем! — аж глаза на лоб полезли. И вспомнил вдруг, с чего бы, тоже эФ эФ, да, да, Фон-Фок! один из вождей! непременно пояснить? основатель Третьего отделения!! — О чем вы, Фатали? Да как можно!!

А Фатали о том и не помышляет, хотя, может быть, именно в этот миг, когда изумился Соллогуб, и родилось имя его героя, хозяина зверинца, он искал, чтоб было эФ эФ! Но не Фон-Фок, а Франц-Фок (и там и здесь зверинец?!).

А Соллогубу уже мерещатся новые Фа, люди во фраках,— ведь именно они, эти фраки, а не славное воинство, как успокаивали себя в далекий декабрьский день напуганные царь и его приближенные, и смутили верноподданнический дух.

И по взгляду Соллогуб понял: другие эФ на уме у Фатали.

— Ах эти растущие на ниве фурии!..

— И не только!

Аксакалы-вожди, которым верил, очернили фаброй седые почтенные бороды!

И пришло понимание, что фанфары фараонов, феерические эффекты фраз, фейерверки пиротехники разве что способны поризвести фурор среди мумий фараонов!

И где-то гнездятся угнанные картечью фазаны с вырубленных карателями кавказских лесов!

А фетва, эта восточная анафема, источаемая устами законников, и угрозы богинь-мстительниц, этих вечных фурий, вызовет разве что хохот у отовсюду выглядывающих, будто ты — Фивы, и у тебя сто ворот, открытых миру, — филеров и фискалов, флиртующих с флюгерами и поющих фальцетом фуги и фугетты или играющих — им наскучило фортепиано! — на недавно изобретенной фисгармонии, а потом в тире, под канцелярией наместника, стреляющих на потеху из кремневых фузей, подшучивая над отставным фузилером, ведающим этими снятыми недавно с вооружения кремневыми ружьями.

«Снятыми? Как бы не так! Ну, что за ружья у нас? — негодуют все, кто с Крымской живым вернулся. — Заряжать с дула! Вот если бы бердана! нумер два! А пушки?! Нет чтоб как у всех нормальных войск — стальные. Бронзовые пушки! Вот и повоюй!»

— Ну-ну! Боюсь я!

— ??

— Ох и далеко это вас заведет, Фатали!

— Ружья? Или пушки?

— Вы о Крымской?!

— И о Балканской тоже!

— ?!

— В снегах гибли батальоны! Голод!

— И чего вы норовите лезть в эти самые, как их? фурие-ристы-фурфуристы?! не надо, не надо, Фатали! Тоже мне, фузилер!! — обрадовался Соллогуб. — Ваше дело — не стрелять, а облагораживать, да-с, не стрелять!

Соллогуб недавно прибыл из Шемахи и накануне прихода к нему Фатали посетил князя-наместника, доложил о результатах секретного дознания, а перед тем как уйти, позволил себе — с чего бы вдруг? — вольность подмигнуть светлейшему: «Помните, князь-наместник? Для ознакомления туземцев с удовольствиями сценического искусства, а также для распространения угодного нам образа мыслей мы открыли театр — вот вам и результаты, пример со вре-

мен Ноя небывалый: князь Георгий Эристов начал писать комедии на грузинском, а Мирза Фет-Али Ахундов — на татарском».

Да, да, это было: приезд наследника-цесаревича Александра в Тифлис. И на Дидубийском поле — высочайший смотр войскам, офицеры в бараньих шапках, недавно ввели в Кавказском корпусе носить вместо киверов, из твердой кожи, с развалистою тульею и плоским верхом, — пестрые лохматые бараньи шапки. В большой свите Воронцова — князь Эристов, назначенный наместником (он любит рисковать: ведь Эристов — из сосланных за участие в заговоре. Недавно только вернулся из вильно-варшавской ссылки) младшим чиновником по особым поручениям, и опекаемый наместником образованный туземец Ахундов, чья пьеса «Медведь — победитель разбойника» (о нападении разбойника на зверинец Франца-Фока, Фэ-Фэ) готовилась к постановке (в коей роль бразильской обезьяны исполнена будет г. Прево).

— Рекомендую, ваше высочество, — представил наместник Эристова и Ахундова наследнику-цесаревичу, — грузинского и татарского Мольера.

— Сразу двух?! — наследник милостиво изволил подать им свою руку, и они поспешили, и вихрь чувств!..

— А все, ваша светлость, — продолжает Соллогуб, — штык! — разговор о штыке ласкает ухо наместника. — Да-с! Штык! Он прочищает дорогу просвещению!

лицемеры и ханжи! вы, для которых нет разницы между искусством слова и ремеслом пиротехника, изготавливающего фейерверки для пиров, приемов, парадов. «Любезный граф, выручайте!» водевиль или пьеса-экспромт в честь главнокомандующего или нидерландской королевы — сестры Николая и дочери Павла, дельный совет по части меню, декорации залов, стихи а ргорос — по случаю, вам все равно, и — убив вознести! это ваша привычка: *убить, а потом вознести!* и Пушкин, и Лермонтов, и еще, и еще, и кости разбросаны на бескрайних просторах, и ветер гуляет.

А Колдун с обидой:

— Всех вы с Соллогубом вспомнили — и шарлатана алхимика, и купца-контрабандиста, и интриги ленкоранцев, и

армянских крестьян, и немца Франца-Фока с его бразильской обезьяной, и даже почти тезку его Фон-Фока! Но не упомянуть меня?! А Париж-то кто разрушил — забыл?

— Как не вспомнили? Разве не слышал? «Колдун — это хорошо! — сказал Соллогуб, добавив, правда: — Но не скажу, что я в восторге от интриги, связанной с парижским бунтом!»

— Вот-вот! — и Колдун прячет в хурджин из ковровой ткани (а какие на ней узоры, какая вязь!) домики-кубики «Нотр-Дам», «Версаль», «Тюильри», «Пале-рояль», а на одном даже по-французски «de l'Horlog».

— А это что? — спрашивает Фатали Колдуна. — И когда ты успел французский изучить?

— Это ж павильон де л'Орлож, а на нем часы!

— А это? «Ка-ру-сель»?

— Сочинил, а не знаешь?! Это ж карусельная площадка, куда въехал король на смирной лошади в надежде наэлектризовать войска!

— И они кричали: «Vive le roi!»? ¹

— Не виват, а долой! И король бежал в грязнейшем наемном экипаже!

— В мизерном фиакре!.. В июльскую пыль прибыл, в февральскую грязь уехал!

— Какова пыль, испанская, кажется, поговорка (и это Колдун из книжки Фатали, специально о французской революции, вычитал!..), такова и грязь!..

— А чем кончилось?

— Но ведь ликованье какое!.. А ты бы посмел о тех, кто разрушил Париж и выгнал короля!..

Мундир Фатали на вешалке зашевелился.

— О дивах и шайтанах?

— Да, о чертях и дьяволах!

Мундир застыл, но оба видели, как оттопырились его плечи, а потом он снялся с вешалки, с одного плечика, с другого, и двинулся к Фатали, чтоб влезть ему на плечи.

Наше прошлое удивительно, настоящее великолепно, что же касается будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение.

Фатали выписал эту фразу, а рядом переводы ее на фарси, на азербайджанский, на арабский. Не успел завершить, как вбежал курьер Воронцова: «Господа! Только что

¹ «Да здравствует король!» (франц.)

получена депеша, Александр Христофорович...» — И сказать не смеет: а вдруг неправда?! Кажался бессмертным!

И еще ряд фраз, для тренировки: *Надо! Непременно надо укрепить личность монарха. Не державную власть, а власть самодержавия, ибо пугачевский бунт показал, до чего может доходить буйство черни.*

Ах перемееееен! Неужели, когда я сам признаю какую-нибудь вещь полезною и благодетельною, мне надо непременно испрашивать на нее сперва согласия Совета?! Бился и над переводом фразы на арабский, перевод шел туго, но всех призвали к наместнику Воронцову.

— Каков Паскевич, а?! — и тычет в только что полученную депешу, в прекрасном настроении наместник, особенно как стал недавно князем и светлейшим после разорения мятежных аулов Гергебиль и Салты. — Ай да Иван Федорович! Не зря, нет, не зря пожалованы ему государем титулы графа Эриванского и князя Варшавского! Задушил венгерскую гидру! Разом отсек ей голову и бросил под ноги его императорского величества! Что? Жестокость?! Это проявление энергии, а не жестокость! И не упрямство, чтоб всюду было, как у тебя дома, не прихоть, а выражение силы — наказывать и подчинить!

«И с такими мыслями, — голова Колдуна на миг, той щекой, где муха, — чтоб тебе еще ордена?!»

Фатали резко встал, скинув мундир, но он, чтоб сохранить чиновную честь и не пасть, вспорхнул рукавами, чуть ворса ковра коснулся и взлетел на вешалку.

Не с той ли поры и началось? Иногда видели лишь мундир: сослуживец, с ужасом, — только мундир! Выскочил за ним:

— Ты что? Горячка у тебя? Пойди отоспись!

— Ну что вы, братцы, я в полном здравии!

— Или плоды спиритизма?!

Какое там!.. Потом еще кто-то сказал, что видел лишь мундир, может, еще чей-то?! но ушло — завертелось, были-небыли, а волны от слухов ширятся и рвутся, зацепившись за лавки Шайтан-базара, и краснобородый от хны Мешади, мимо которого Фатали проезжает, видел Мундир на коне!

Но тут на Фатали глянул — кто бы вы думали? — сам государь. И на сей раз такая в глазах смертная тоска!

«Неужели и ты однажды?» — пронеслось в голове. В это не верится, настолько свыклись.

Но прежде — еще война.

Но прежде — еще вспышки негодования, и выдует февральской выюгой душу тирана.

А уже светлеют воды Куры.

НОЧЬ И ДЕНЬ ФАТАЛИ

Фатали спал. И видел во сне: пара быков, натужась, аж жилы на шее вздулись, тащила на гору Давида телегу, груженную аккуратно сложенными ящиками, и солдаты подталкивали ее плечами, упираясь сапогами в каменистые уступы. Под присмотром стройных офицеров в высоких фуражках с красно-зелеными полосками на околыше солдаты разгружали телегу на плоскогорье, куда уже были втащены низкие изящные пушечки. Из ящиков стали вытаскивать длинные легкие снаряды, но Фатали — когда же успел? — уже был у подножья, миновал Армянскую площадь, оставил позади гостиницы «Азербайджан» и «Иран», баню «Фантазию» и шел по Шайтан-базару, как вдруг на горе Давида вспыхнуло во тьме зарево, и снаряд, Фатали отчетливо видел его ход, нечто огненно-светящееся, проплыл меж туч, освещая небо, и скрылся за Метехской крепостью, где в тот же миг взвилось к небу высокое пламя.

И еще один снаряд сигарой пронесся по небу, отражаясь в окнах домов, круто поднимавшихся над Курой, и, описав дугу, упал там же, за Метехом.

Фатали торопится, идет по берегу Куры, скоро уже быть дому, но дорога тянется и тянется, а за спиной, чувствует затылком Фатали, низко летит, шипя в тучах, остроносый длинный снаряд, бесшумно взрываясь за крепостью.

— Ты слышала, Тубу?!

Но Тубу спала, обняв его подушку. Ах да, такие же пушки, низкорослые и малые, у Шамиля: их отливали неподалеку от его дома русские и польские беглые солдаты.

А в Метехской тюрьме сидел Алибек, пойманный-таки с помощью карабахского хана, которому нацепили на грудь медаль за поимку: восьмиугольник из позолоченного серебра. Да, Фатали предупреждал! И о сыщиках, и о генеральском чине, и о ловушках. Через надежных людей, и даже посылал своего конюха Ибрагима — ведь он из карабахских. И слуга Фатали, Ахмед, через родственников в Шуше дал знать Алибеку, что готовится крупная облава. И никак не удалось ему помочь!

Французы? Ну да — ведь Крымская война. Усилилась подозрительность, никогда не затухавшая. Ищут лазутчиков Шамиля и турецких эмиссаров, пробирающихся к нему с секретными письмами от султана. Пристально следят за бывшими ханами, и даже карабахским — ведь связан родственными узами с шахом: южные соседи присмирели, но тайно мечтают о реванше. Шпиономания повсюду. Хватают каждого, кто вызывает малейшие подозрения.

А однажды схватили и соседа Фатали — Фарман-Кули (прибавил к имени для важности «бек»), прилежного, исполнительного и тихого чиновника канцелярии по налоговой части, работал в комиссии по разработке правил обложения жителей закавказских губерний новым окладом податей и поземельных доходов, и к Фатали часто приходил, как-никак поэт, драматург, в наместничестве с Фатали считаются, посидят, чайку попьют, о том о сем, сблизиться мечтал или показать, как рьяно служит царю.

«Вот, смотрите, Мирза Фатали, я все высчитал! Сравнительные доходы по пяти губерниям: Бакинской, Шемахинской, я сам оттуда, Нухинской, это ваш край, Ленкоранской, Шушинской, родина, так сказать, Ханкызы; как она, бедняжка, после развода? Как? Не знаете?! (Фатали знает, но к чему эти сплетни-пересуды? Молчит.) Страдает, наверно, князь Хасай... Да... Вот здесь, на таблице, то, что было прежде: деньгами, с посевов, шелка и прочее, а в итоге чистой прибыли в казну почти сто тысяч рублей серебром!»

В тот день должен был начаться утренний служебный прием. Фатали, войдя в приемный зал, застыл на месте: на коленях перед Воронцовым стоял Фарман-Кули.

— Князь, спасите! Я раб ваш, я вам предан! Это скажут все! Вот Фатали! Все скажут! — Он трясся, губы посинели.

— Мм... мм... что такое, любезный? Да успокойтесь, встаньте! В чем дело? — Воронцов протянул к нему руки и поднял.

— Ваше сиятельство, — Фарман-Кули задыхался. — Враги мои, недруги за верную службу мою оклеветали! Какой я, — затрясся, — шпион? Я ваш раб!

А у Воронцова застывшая улыбка:

— Не надо, любезный, успокойтесь, я наведу справки, все будет хорошо.

Воронцов прошел в свой кабинет и тут же вызвал Фа-

тали. Отдал папку адъютанту: «Передать по назначению», а потом к Фатали — перевести перехваченное послание Шамиля к французам.

— Что вам еще? — спросил у адъютанта, видя, что тот все еще стоит.

— Ваше сиятельство, а что прикажете насчет этого татарина?

— А, этот татарин?.. («Неужто забыл?!» — думает Фатали.) Ах, этот!.. Он, по докладам, шпионит, поступить по обыкновению, — та же застывшая улыбка. — Повесить его.

— Как?! — вырвалось у Фатали; от изумления адъютант даже повернулся к Фатали, но быстро вышел, чтоб гнев князя не захватил и его.

— А что?! — и такой взгляд!

— Я его знаю!

— Ну и что же? Верить вам?!

— Да. Его надо помиловать!

— да как вы!

— смслю!

— вы!.. вы!.. — побелел от негодования, губы посинели, как у того татарина, — да я вас немедленно! — потянулся рукой к колокольчику.

— посмейте только! я вас, как собаку! — встал за спиной и дулом под лопатку.

— да за это... вас четвертуют, сам государь!

— выживший из ума мерзкий старик! и вы смеете обрывать жизнь ни в чем не повинного человека!

— да ведь он!

— вызывайте адъютанта! но посмейте сказать лишнее!

зазвенел колокольчик.

— того... татарина, выпустите его, он... за него ручается, — дежурный адъютант удивлен: так близко к наместнику никто не осмеливается подходить.

— Мм... Что ж, если вы ручаетесь, я распоряжусь. — Преотличное настроение: сына произвели в полковники, к тому же вчера хорошо сыграл в ломбер, да еще письмо, полученное от Ермолова, все тот же почерк, только (ведь прошло лет тридцать, а то и все сорок, как переписываться начали!) еще когда рядом их части: Ермолов в Кракове, а Воронцов в Праге. «Священный союз»! а потом Ермолов —

с Кавказа, «жизнь с полудикими народами и тяжелая возня с петербургской канцелярией!», — «странно тебе, живущему во Франции, будет получать письма из Тегерана». А теперь — Воронцов в Тифлисе, а тот — на Севере, да-с, только линии букв стали неровными, ломкие и угловатые; «Тебе суждено быть смирителем гордого Кавказа», — писал Ермолов, а потом, по просьбе Воронцова, сообщал ему сплетни, «ты приказал сообщать, и я исполняю», «мнение болтливой Москвы», — и больно ударило, обиделся Воронцов, когда Ермолов ему о позорном поражении в Дарго — мол, «ты вынимал саблю в собственную защиту». — Да, чудом спасся. Но прежде Шамиль ответил на предложение Воронцова сдаться отказом: «Я не думаю вести переговоры иными средствами, как при посредстве шашки». Разыгралась непогода, отрезан путь снабжения головных сил отряда по хребту Салатау, завалы и искусственные преграды. Нет фуража, истощены запасы продовольствия и снарядов, никакой надежды на кормление в нищих и враждебных аулах. Нет вестей из Ведено, куда отправлен отряд за провиантом. Войска голодали и мучились. И горцам был дан бой. Как вырубленный, но не убранный лес, валялись трупы солдат на поле боя. Узкие каменистые и неровные тропинки утомляли пехоту и кавалерию. Отряд растянулся на несколько верст. Мучила жажда, и при виде холодного ключа бросились к нему, и неумеренное утоление жажды было губительно. Снизу выбивали их штурмом, а сверху сбрасывались камни, — горцы защищались, как орлы в облаках. Началось позорное отступление Воронцова. Последнее звено в цепи побед Шамиля.

Поражение — еще куда ни шло, а и глумление Шамиля! Решил поиздеваться и подразнить Воронцова: вывел перед боем на поляну за Аксаем колонну бежавших солдат-дезертиров, человек шестьсот, и они маршировали под звуки хора горнистов и барабанщиков. И после боя — такие потери!! убиты два генерала! вся свита! три горных орудия потеряны! полсотни офицеров! Да-с, в битвах гибель для врагов — как пели солдаты, и это звучало теперь как оскорбление — князь-наместник Воронцов (или: честь России Воронцов).

Оттаяла, оттаяла теперь обида у Воронцова: Ермолов признает в письме, оно только что получено, что именно при нем, Воронцове, правительство получило точное понятие о крае: «доходы... перестают, как доселе, быть гадательными и приходят в правильную числительность»; вот еще, как

тут не возгордиться?! — «внутреннее устройство приближает страну к европейскому порядку»; а разве нет? Воронцов убежден; столько благодаря ему сделано в этом диком краю: суконная фабрика, чугунный завод и — тифлисский театр.

Фатали окрылен, спешит сообщить радостную весть. Но Фарман-Кули нет еще дома. И ночью — нет его.

Утром к адъютанту.

— Ах, вы заступились! Ах, распоряжееенье!

Ворвался к Воронцову. «А славно утром поездил верхом!» И письмо Ермолова еще не остыло, греет.

— Увы, пока я распорядился, успели казнить. — Устал, очень устал наместник. — Но вы не огорчайтесь, Фатали! — И задумался: да, Ермолов бы прав, когда писал с Кавказа; знал ли Воронцов тогда, в семнадцатом, что спустя тридцать с лишним лет станет наместником?..

«Народы, закоренелые в грубом невежестве, — писал ему Ермолов, — имеющие все гнуснейшие свойства! Все мои подвиги состоят в том, чтобы («что же изменилось с тех пор?») какому-нибудь князю грузинской крови помешать делать злодейства, воспретить какому-нибудь татарскому хану по произволу резать носы и уши («было! было!» — согласен Фатали). Отличительное свойство народов здесь — неблагодарность, не знают счастья принадлежать России и изменяют ей многократно и готовы изменить еще». («Не правда! — возмущен Фатали. — Это вы никому не верите: ни нам, ни друг другу!»)

О, Воронцов знает здешний край! и еще до писем Ермолова! воевал волонтером в корпусе Цицианова; дядюшка, тогдашний государственный канцлер, велел Цицианову беречь любимого племянника, «он у нас с братом один», поручить ему в команду detaшмент, то же, что и подразделение, но звучит торжественней, с заграничным лоском, «токмо прошу вас не иначе то учинить, — скверный, скверный почерк у государственного канцлера, — как поколику позволяют вам нынешние воинской службы постановления»; и посыпались, как из рога изобилия, чины и ордена: при занятии Гянджинского форштата и садов. Лихорадило тогда Воронцова, и дядюшка советовал ему «на вишни не нападать неприятельски», канцлеры такие косноязычные! «а супу хотя по три тарелки».

Да-с, прав был и Цицианов: «Но лъзя ли переменить их обычай?» А как славно организовал он штурм Гянджи!

И лестный отзыв о юном Воронцове — поручике лейб-гвардии Преображенского полка, «находится при мне за бригад-майора, заменяя мою дряхлость», — писал Цицианов. С чего вспомнил его Воронцов? Ах да, письмо от Ермолова! Пристает с просьбами и чувствует на расстоянии, как гневается Воронцов: «Не правда ли, что со стороны моей много неустрашимости, чтобы, замечая негодование твое, решаться повторять просьбы?» Что-то в связи с сыном покойного генерал-адъютанта барона Розена, дела наследников и о царице Марии, жене последнего царя Грузии Георгия XIII, — ведь Цицианов выслал из Грузии всех членов царской фамилии, а Мария и слышать об этом не желала и втайне собиралась бежать с детьми, но куда?! в Персию?! «Ты позоришь род Цициановых!» — кричал он на «родственницу». Оцепили дом. «Арестовать!» А кончилось смертью генерала Лазарева: она ему нож в сердце, когда он приблизился, чтоб арестовать.

Дуло за спиной!! Еще выстрелит сдуру!! А пока Воронцов вспоминает о просьбе Ермолова, но о чем? она и скончалась в Москве, дожив до восьмидесяти, и прах ее в пути (будет погребена 18 мая 1850 года в Мцхетском соборе Двенадцати Апостолов рядом с царственным супругом).

Так о чем он с Фатали? Путаются мысли, факты громоздятся, пора в отставку! Ах, какая славная битва была под Гянджой, вспомнил, чтоб прибодриться, неуютно с дулом за спиной. Он что же, — усмехнулся, — пленник теперь?!

— Мы с вами, Фатали, не встречались? Ах да, вы же были там в двадцать шестом, а я, молодой человек, да, да, вам хоть сорок, а я еще за десять лет до вашего рождения за Гянджинский форштат и за сады... — орден Святой Анны и был уже кавалером Святого Георгия, Владимира с бантом.

тупое смертоносное дуло.

— и что дальше? так и будете стоять?

— я вас оставлю.

— и пойдете домой? — возвращается к Воронцову самообладание. — к жене и детишкам? и ночью за вами явятся. ах, какой был великий драматург, какие бы еще были написаны пьесы, а исчез. вся семья вдруг в течение ночи сгинула, и когда еще народ взрастит такого поэта? реформатор языка, философ! и из-за чего?! выбрал нелепую

гибель, и никто не узнает, где он и что с ним! сгинули и его жена Тубу-ханум, и его две дочери, и сын, ах, какие были надежды!

ШАЙТАН-БАЗАР

Фатали ушел от Воронцова, ничего не видя, оглушенный и подавленный. Над головой огненно летали снаряды, горели дома за Метехом, огромное зарево, будто именно оттуда, изменив привычный ход, взойдет солнце.

«Эй, народ!..» — хотелось ему крикнуть. Но где та площадь, с которой кричать? с Армянской? На Шайтан-базаре? Да и кому? Лавочникам? купцам? перекупщикам? кустарям шапочного или чувячного рядов? жестянщикам? лудильщикам? «А ну покажите нам горлопана, который нас от дела отрывает! Мы ему такую шапку сошьем!..»

Фатали переступил порог глинобитной лачуги. Сначала была радость: «Ай, какого знатного гостя нам аллах послал!» Но стоило ему только заикнуться о несправедливостях жизни, как радость сменилась испугом, а потом яростью: «Чтоооо? Да чтоб я на своего хозяина? Эй, Али, зови скорей Вели, пусть кликнет Амираслана, Гейдара! А ты, сынок, беги к старосте!»

Но староста не поверил: «На мундир замахнулись? Да я вас!» И, цыкнув на крестьян, просит прощения у Фатали, а крестьяне падают ниц, боясь быть битыми (и будут биты). А потом пристав: «Видите, какие они клеветники?»

Что же остается еще, если душа народа закрыта на семь замков... Масонская ложа, общество благоденствия? Пятеро собрались, чтоб деспота свалить! Якобинский клуб? Ну да — и надпись, украшающая двери: *Что сделал ты для того, чтобы быть расстрелянным?* Знатные офицеры, в своих ротах, батальонах, аж в самом Санкт-Петербурге, а не где-то здесь, в захолустье. И слова, слова... Закоснелость народа. Крепостное состояние, когда никакого права мысли, лихоимство властей, презрение к личности, человеку вообще. Никаких стремлений к лучшему. И чтоб снова шах? новые раздоры? и грабеж пуще прежнего? кто удержит шекинцев против бакинцев? карабахцев против ширванцев? а возвысится хан гянджинский — в каждую область своего гянджинца! возвысится низкорослый бек нахичеванский —

о!.. и по новому кругу новые головы слетают! А что другое ему остается делать (и на их места — своих)?! Как прежде, так и он, иначе нельзя!

Мелкум-хан, чтобы не навлечь на тебя подозрения, я дам тебе псевдоним, сам некогда ими, громкими, увлекался, да бросил. Но тебе дам: «Рухул-Гудс», «святая душа» — расскажи о своих масонских ложах в Иране, я тоже, как ты, пытался, собрал двух-трех, поболтали и разошлись. Исмаил-бек накануне паломничества в Мекку, князь Хасай, да еще Мирза Шафи... думали, примкнет, а его Фридрих у нас похитил. И родственник мой, брат Тубу, почти брат — Мустафа. Как разбудить, а главное, кого? Крикнуть у самого уха так, чтоб отозвалось в Баку и слышали в Нахичеване: «Эй, народ! Доколе на голове твоей орехи разбивать будут? Доколе тащить будешь по грязи, как вол, эту проклятую телегу, в которой расселись твои вожди, сытые и наглые?»

А многого, Рухул-Гудс, вы добились в «Доме забвения» — «Ферамуш-хане»? А? Не слышу! А как насчет вашего активного выступления против деспотического режима? А что с «Обществом человечности»? А как ласкает слух — «Джамияте-Адемият»? И тебя тоже? Тебя, личного переводчика шаха, удостоенного титула принца! И тебя выслали! Тебя, говорившего правду! *За то и выслали!* И народ безмолвно согласился?

— Кто-кто? Мелкум-хан?! Это же армянин, чего ж ты хочешь? И по отцу, и по матери, чистейший!

— При чем тут армянин?

— А вот при том! Станет он за нас печься, у него свое на уме. Пусть скажет спасибо, что только выслали из страны, на соляные прииски не сослали! Не вырвали язык ядовитый! Руку, пером гусиным водившую, не отрубили! Что еще? Бороду его рыжую, истинно армянскую, к хвосту осла не привязали!

Потом был обыск в доме казненного Фарман-Кули. И Фатали поразили вылетевшие из черного отверстия форточки белые-белые перья. Ветерок их подхватывал и нес на своих крыльях, а они качались, будто на волнах, уплывая к мутной Куре (жена с сыном Фарман-Кули исчезли в ту же ночь).

Может, и Мечислав армянин? Поляк, призванный мечом своим прославить имя,— возник и исчез. Будто и не было его. Утонул в Куре? А с чего он был так разгорячен? И о Вильно, и о Варшаве, и о польском восстании, и о великом

князе, и о Паскевиче. Фатали понимал его плохо, как и тот — Фатали, но как же удавалось Фатали еще учить поляка? Оба говорят не на родном, к тому же — что за странное желание? на старости лет учить фарси! в его-то положении! Весь отряд, к которому примкнул Мечислав, был сослан на Кавказ, и до Тифлиса, и то после многих лет, добрался лишь он один: кого-то скосила лихорадка, кто-то сбежал к горцам. Столько лет прошло, огню бы давно угаснуть, пепел лишь один остался, а нет — ведь какой был порыв, какое буйство, как пламенел гнев!

— А началось с вашего великого князя!

— Почему моего?

— Вы разве не служите его брату?

Фатали сначала не понял: ну да, ведь брат — это сам государь.

И будешь служить племяннику великого князя, четвертому сыну государя Николая — наместнику кавказскому генерал-фельдцейхмейстеру Михаилу.

— Ах какая была сеча! Какой мятеж! Мы разделились на две части: одна пошла к кавалерийским казармам, другая к Бельведеру, где жил великий князь, чтоб убить его. Вот она, спальня наместника. Мы знали: он вечером спал, чтоб встать в полночь и работать до утра. Но его нет. Трогаем постель: она еще хранит тепло вице-короля. «Где князь?!» — спрашиваем у камердинера. Молчит. Узнали потом, что схватил насильно князя, а тот спросонья упирался и даже пощечину влепил, когда камердинер вбежал к нему с криком: «Революция!», и вытолкнул через потайную дверь в узкий коридор.

В Варшаву! Тридцатый год. Идем по центральной улице Новый Свят! С барабанным боем, триумф. Люди выскакивают из кофеен, трактиров, кондитерских! В Краковское предместье! Через Сенатскую улицу — в Медовую, где у университета к нам вливаются еще студенты, и мы направляемся к арсеналу. Всем — оружие! Строим баррикады, к нам присоединяется артиллерийская школа! — И пять гробов, покрытых трауром. И на них — имена казненных в декабре. И знамена: ваше и наше. И клич, начертанный на знамени, — «За нашу и вашу свободу!» Вырыли пять могил — и вот уже пять холмов в честь повешенных. Кенотаф — пустая могила! — Мечислав умолк: дальше известно — потопили мятеж в крови. — Ах, как хорошо бился мусульманский конный эскадрон! А Паскевич?! Великий пол-

ководец штурмом взял Варшаву. Могилу бы его навестить, положить свежие цветы. А ваши земляки — ах как славно они рубили нас шашками! И ваш Бакиханов, видите, как крепко обнимаются они с Паскевичем? Нет? А я очень хорошо вижу Паскевича: с перебинтованной рукой. Земляк мой, зрение у него ни к дьяволу не годится, промазал! И раздражен, и ропщет Паскевич: «Я их в люди вывел (кого? поляков?), обвесил орденами, обогатил, а ты думаешь, они благодарны?»

— Ладно, давайте мы ваше имя арабскими буквами напишем! Итак, эМ, а по-арабски Мим, Чэ или Чим, эС или Син, эЛЬ или Лам, а здесь еще Алиф, Вэ или Вав. Точка здесь, и сразу три — здесь!

— Ах, как красиво!

— И емко!

— О боже, сколько точек!

Мечислав исчез, когда еще Паскевич жив был. Но как предугадал, что князя ждет смерть именно в Варшаве? Но еще нескоро; будет даже грандиозная авария на варшаво-венской железной дороге, в сорок седьмом, много убитых и крепко искалеченных (и легко зашибленных).

Так и не увидит Мечислав родной город. «О, Варшава! На каждом шагу у вас духаны, а у нас кофейни, цукерни! И такой кофий со сливками! А крендельки! А какое цветенье каштанов в Саксонском саду!» Сначала исчез Абовян, потом Мечислав, а еще через год — Александр.

И ты летел с ним, Фатали, помнишь?

Прибыл Муравьев, отозванный Николаем из Варшавы, и спешно направился на Кавказ, стар уже Воронцов, да и Муравьев немолод, под шестьдесят. Государь был ласков, но в смятении: крах в Крыму, обезопасить Кавказ, турки вот-вот обрушат удар. Не раз выручал царя и за это произведен в генерал-адъютанты, генерал-фельдцейхмейстер, на австрийский манер, — имеет право объявлять высочайшую волю; знаток Кавказа, еще при Ермолове состоял, при Паскевиче; случалось, воевал с турками, а бывало, и карающим мечом султана выступал, выполняя волю государя и быв начальником экспедиционного корпуса (в тридцать третьем), назначенного для защиты султана от египетского паши Магомет-Али.

Да-с, Муравьев, еще не Карсский,— неужто родной брат одного из смельчаков, съевших, как говорил Ахунд-Алескер, «волчье сердце», и троюродный того, кого повесили,— Муравьева-Апостола? Ах, и родной брат того, в ком спит, но скоро пробудится Вешатель?! «Да, мы не из тех,— пойдут из уст в уста его слова,— которых вешают, а из тех, которые вешают!»

Не успел Муравьев прибыть, как известие о кончине Николая, траур на полгода: какой вам еще театр?! ах, изощрение нравов! и слияние туземцев с нами!.. боже, какие проекты! все внимание поглощено военными обстоятельствами! всем усилиям лишь одно направление: сбережение средств и покрытие расходов! распустить артистов, отправив по домам,— и грузинскую труппу, и итальянскую оперно-балетную, достаточно одной русской труппы, чтоб развлекать воинство и чиновников. Военных музыкантов возвратить в свои команды!

«Ну что ж,— сказал итальянский оперный певец Фанфани, почему-то глядя на Фатали, а не на Муравьева, у которого была собрана его свита перед поездкой на фронт («переводчик Ахундов», как запишет в своем дневнике Муравьев) для участия в Турецкой кампании,— не ехать же в далекую Италию, когда порты Черного моря блокированы?!» — И открыл близ караван-сарая модный магазин шляп.

Да-с, конец золотого века тифлисской сцены. Всем — на войну! И Муравьев возглавит армию на борьбу, пойдет на Карс, штурмом захватит его,— в обмен на Карс оставят Севастополь. И неблагодарность нового царя — уволит Муравьева, поверив Барятинскому, который своими действиями (?) лишил его доверия государя, поставил в необходимость проситься от места (!). Что ж, запечатлеет Муравьев в своем дневнике (и спрячет в тайник в своем имении Скорняково близ Задонска, что в Воронежской губернии): «Карс был взят и возвращен, пленный Вильямс с англичанами проехал всю Россию, и, возвращаясь в Англию, воспел во всей Европе славу мою»; а слава многоликая, и за то еще, что во время обеда с пленными англичанами говорил с разными лицами на пяти языках, и с Фатали на турецком.

«Разисан?» — мол, «доволен ли» удачным походом на Карс?

«Чох разиям», «очень, мол, доволен», — ответил командующему-наместнику Фатали.

А потом Муравьев к грузину. И к армянину. Плюс по-английски и, кажется, что-то на французском. Но умолчал о главном: государь разгневан, что медлит Муравьев: надо брать Анапу! «Оплошность Муравьева», а мог бы по Парижскому трактату. А этот, как его, Сефер-бей, главнокомандующий всеми горскими народами и начальник турецких сил в Анапе, как величал он себя, дезертир, бывший наш лазутчик, а теперь ставленник Порты, негодовал Муравьев, никак не хотел очищать Анапу, «наши послы», «мы в союзе с Портою», «вручили ноту» и так далее, тянул, оттягивал, скрываясь за громкими фразами, а покинул, разрушив крепость; и интриги, запутался Муравьев, между Сефер-беем и, как же его звали? не вспомнит! наместником Шамиля, шумным, могучего телосложения, блестящим оратором, да! Магомет-Эмином! К тому же Барятинский предложил свой план укрепления Кавказа, покончить и утвердить владычество; пришелся по душе императору: не устраиваться на побережье, ибо вряд ли возобновится скоро война после Парижского трактата,— без толку усиливать Анапу, Новороссийск, форт Раевского, довольствоваться тем, что есть, а покончить прежде с Шамилем, отвоевываая шаг за шагом земли и укрепляясь на них; и отражая угрозы всякого рода проходимцев, нанявшихся под именем эФ, флибустьеров, к горцам.

Началось со штурма Адагумского укрепления, здорово постарались пластунские пикеты и крымцы, особенно пластуны (на их костях и вознесся).

ИЗ ТУМАННОГО ЛОНДОНА В СОЛНЕЧНЫЙ ТИФЛИС

Но туманным в этот день, когда Фатали и его сослуживец Александр бродили по набережной Куры, был Тифлис. Еще недавно здесь, на левом берегу, были заросли камыша, песок отливал желтизной, и ютились лачуги, и черномазые худущие голодранцы удили рыбу, чтоб перевезти затем улов на правый берег, где Майдан,— на утлых челнах, а их относит быстрым течением вниз, и надо бешено грести, чтоб добраться до того берега и продать; скоро построят и мост. Фатали часто их видел, проезжая верхом к Штабной площади, за которой Военный штаб и далее — дворец главнокомандующего, он же наместник. Рыбаки горланили, чтоб купили у них огромные бело-розовые рыбины с выпученными глазами, приставали к прохо-

жим, и торг шел небойкий. Река порой разливалась в половодье, рушила дамбы на Орта-Чала, средней впадине, камыши уходили под воду, и лишь кое-где торчали острыми пиками, сады заливало, а потом вдруг отступит вода, и маленькие старицы в пойме сверкали на рассвете как зеркала.

Кое-где берег уже одет в гранит, тифлисцы застраивают левобережье, да и правый берег разрастается, кипит работа во всем городе. Кажется, что очень давно, а ведь всего семь или восемь лет прошло, как отстроены у подножья Нарикалы серные бани,— они были всегда, сколько помнят себя тбилисцы, но все же только недавно им придан приличествующий расцветающему городу нарядный вид. И красуется роскошный дворец наместника, привыкли и к арсеналу, и к госпиталю, будто был он всегда. И гимназия, и женский пансион, куда Фатали, уговорив Тубу, отдаст свою дочь учиться, и театр, где прежде был пустырь, и лотерейные клубы, и торговые дома, и сады с эстрадою, откуда ветер доносит трубные звуки,— играет военный духовой оркестр.

А сколько развелось в городе носильщиков! Только по головному убору и различишь, грузин ли он, армянин или тюркок-татарин; у грузина-имеретинца на голове кусок сукна, и он тесьмой привязан к подбородку, у армянина — колпак, похожий на опрокинутую чашку, а у тюрка или персиянина — рыжая папаха. И на спине у них, в этом схожи все, подушка, набитая войлоком, и тащат они то огромный комод или сундук, а то и рояль, обхватив его за ножки своими ручищами.

Туман над рекой, над городом, и тот берег растворился в белом-белом, такое не часто здесь, в двух шагах ничего не видать, лишь угадывается близость реки и слышно, как она дышит. Они одни как будто в этом мире, и больше никого.

— Как туманный Лондон,— тихо произнес Александр.

— А вы были в Лондоне?

Александр промолчал: был ли он?! Он каждый день мысленно там и ловит вести с того далекого берега. Прежде многого не понимал, только порыв и юношеский запал, чужие слова, читанные из книжек, а потом ссылка (только за то, что однажды слушал чьи-то злые записки), и эти вести из Лондона, такая правда, от которой и боль, и надежда.

— Мне кажется, что я, как птица, чую приближение бури. Вот увидите, Фатали! Все пошло вверх дном, готовится катастрофа! А впрочем...

Пока шли по берегу, и туман рассеялся, исчез так же неожиданно, как и нагрянул, и на воде заиграли кровавые отблески солнца. Мимо — «Эй, берегись!» — прошел носильщик, взвалив на спину, как живого барана, бурдюк с вином.

— Да, Тифлис как вечный город, живет своей безмятежной жизнью, и нет ему дела до наших с вами печалей.

— Как знать, Александр.

Фатали вспомнил недавний кулачный бой на Мтацминдском плоскогорье, который поверг царских чиновников в панику: триста раненых, пятеро убитых! Как бы не разгорелись от кулачных боев страсти черни. Была срочная депеша Воронцова царю и царский запрет на кулачные бои. Напуган был и Александр.

«Да,— сказал он, бледный,— разгул черни, это страшно»,— давние сомнения Александра, он частый гость Фатали в его новом доме: как стал заселяться берег, Фатали, получив ссуду, построил дом с застекленной галереей, опоясывающей двор. А началась у них дружба с бани, куда повел Александра Фатали. Не сговариваясь, оба вспомнили Пушкина, и это сблизило их: *ничего роскошнее тифлисских бань!* И банщик, как описывал Пушкин, был без носу. «Узнайте, не Гасаном ли зовут?» — «Да, а что?» — уставился тот на Александра, и оба хохочут; только на спину не вспрыгивал и ногами по бедрам не скользил, а и вытягивание суставов было, и намыленный полотняный пузырь, и шелковая струя мягкой горячей воды.

А потом долгие-долгие разговоры: да, все пошло вверх дном. Время тупого сохранения обрядов, всеобщая подозрительность и недоверие, равнодушие. А нас ничем не удивишь. Был долго у Александра страх, когда разжаловали в солдаты: могут выпороть!! и прикажут сбрить усы! как же тогда жить?! Отчаянно дрался, чтоб заслужить снова офицерское звание, и выпала удача в Дарго: прикрыл спиной наместника, и пуля попала в плечо.

Что же дальше? Чуть-чуть отпустить? Но чтоб буйство черни?! Да-с, ораторы станут возбуждать к резне, чернь — разбивать витрины, насиловать женщин, терзать чиновников, а воины будут стрелять. Чем же помочь? И, как всегда, о чем бы ни начинали говорить, грезы оканчивались катор-

гой или казнь. И никогда — триумфом (ибо два горьких урока: в декабре — декабристы, в апреле — апрелисты-петрашевцы, к которым причастен Александр). Так что же делать? Кричать? Посадят в крепость. Писать? зашлют! бить тревогу? но как? с кем? где? для кого? кто услышит и поймет? и после декабря, когда страна кишит сыщиками и доносчиками!

Увы, и прежде о том же. Мелодичный звон колокольчика, и председатель: «Господа!» Но входит прислуга: «Чаю?» А потом о Будде: ну да, собранное по кусочкам рассыплется; ах, мозаааика! инкрустацияааа! кусок к куску и чтоб никаких пустот, лучше перламутр, если хочешь инкрустировать свой трехструнный саз, или цветные стекла, могут сойти за рубин и бирюзу, яхонт и сапфир.

Некогда, может, через сотню и более лет, жить не случайными и несчастными объединениями людей, грызущихся друг с другом, а... ну да, я говорил, уже много раз слышали: союз, разумная цель и так далее, не потрясая ни на волос ничьих прав! и право всем подавать свой голос, и выборность, и гласность — не мнимая, а истинная, да-с, гласность.

Как насчет монарха?! это ключ, это стержень, было и будет, ибо нельзя, не получается, весьма-весьма надолго, страх, что затрещит и грохнет... ах душа е.в.!.. фурууу — и сказать истину нагую, ах какая пышнотелая нагота! И никакой цензуры? а кому ж трудиться, без палки ведь разбегутся, а как с интригой в труде? за спиной одного — двое бездельников! нет, некому будет, некому — ни сеять, ни жать, ни молотить, ни хранить, — одна гниль!

Да, да, а как же, амнистия скоро, вернутся, кто выжил, из сибирской ссылки, сотнями их погнали, молодых, а вернутся старцы — всего девятнадцать или двадцать шесть, кто-то уже не в уме, в ком ясная мысль — держится в дряхлом теле, а кто сломлен и духовно, и физически. А как выжил — трудно объяснить, предками было заложено долготеление, не иначе. И не одни не найдется из тех, кто судил, предал, строчил доносы из энтузиазма, исполняя священный долг, и здесь, и там, в сибирских острогах, скреплял подписью приговоры, и даже из тех, кто верил по недомыслию, опьяненный славой империи, и разуверился потом, что мишура, звон, фанфары и жалкий фарс, — чтоб уйти добровольно из жизни и этим доказать хотя бы самому себе, что ты все же человек. Ах, найдется один из чинов и

застрелится! а разве не состояние сильного опьянения тому виной? даже будет записка? прочитанная и уничтоженная другом?! а может, и впрямь умопомрачительство? Но нет, будет готовиться тщательно: приведет в порядок письма и дневники, а в тот день, когда застрелится, отошлет домочадцев на праздничное гулянье в Летний сад, и всем слугам оставить подарки, не забудет даже курьера, который уже многие годы привозил ему важные бумаги из сената, будет еще одна записка — барону, издавшему книгу о восшествии на престол почившего деспота императора, полную раболепия, подбострастия и лести, ведь именно сам император незадолго до смерти правил ее. Но тиран еще жив! Страх перед декабрем не покинул императора и на смертном одре, никогда не покидал его. Ему мерещились заговоры и покушения: выходит из Зимнего дворца, идет по Дворцовой набережной, нет-нет, не здесь! У Прачешного моста поворачивает и по Фонтанке — именно здесь! не доходя до Аничкова моста! отовсюду выглядывали эти люди во фраках! а были князья! оплот! цвет нации!

Барон, которому адресовалась записка, прочел ее и вышел бледный-бледный, но где она, эта записка, и что в ней было?!

И именно в те годы, когда Фатали, полный иллюзий (*Ах, каким ты темным был, Фатали!*), поступил на службу в царскую канцелярию, в имперской ночи (это сказал Александр) раздался выстрел.

— Читай, что писал Чаадаев: *«Я научился любить родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами».*

— Александр, не его ли хоронили, когда мы пролетали над Москвой?

— Нет, он пережил своего палача, случается и такое!

Не глазами барона, или статс-секретарей императора, называющих людей декабря буйными безумцами, не фразами гоф-фурьерского журнала будут судить потомки о страшных борцах. Всеобщее отвращение к позорному прошлому, всеобщее негодование к разлагающейся деспотии, — иначе мы дадим миру небывалый пример самовластия, рабства и насилия, вооруженного всем, что выработала история, и поддерживаемого всем, что открыла наука: *нечто вроде Чингисхана с телеграфами, пароходами, железными дорогами, с конгревовыми ракетами.* Мы освободили мир — и от какой чумы! каких полчищ, а сами остались рабами, под-

властные какой-то кордегардии в Грановитой палате, какой-то многоэтажной канцелярии с *батыевым кнутом в руках!* Внизу, вверху, все неволя, рабство, грубая наглая сила, бесправие, ни суда, ни вольного голоса. Люди декабря ушли, и резко понизилась в обществе температура мужества, честности и образованности, оно сделалось пошлее и циничнее, стало терять возникающее чувство достоинства.

Надежды, надежды!.. неужто в длинном и мрачном туннеле начинает мерещиться свет?! или снова иллюзии?! но ведь была же телеграфная депеша о смерти императора! да, да, цезаристское безумие! яд! свершилось горестное событие, Россия лишилась великого государя, а Европа и мир — великого человека!

И амнистия: перерезали веревку, и открылись пути за границу, и хлынули первыми те, кто на самом верху; при Николае заикнуться не смели, а тут — всем сразу захотелось, и болезни нашлись, где же лучше всего лечиться, как не за границей, — и доктора, и воды, и неведомые новые лекарства.

А можно ли довериться татарину? вы хотите сказать: *азер* плюс *бай* плюс *джанцу*? как же можно довериться, если народ его толком не назовешь? разве доверились вожди декабря? апрелисты?..

Разбудить! вот он, голос, бьют в колокол далеко, но доходит и до них — до Александра, сослуживца, прапорщика по амунии, почти ровесники они с Фатали; назвал его как-то Искандером, а тот вздрогнул, но Фатали не понял — отчего, ведь Александр — это по-тюркски Искандер.

Листок этот, тонкий-претонкий, шел издалека в закавказский край, Сухум и Тифлис, через Стамбул и Трапезунд.

Друг возражал:

— Как? через враждебную России страну?! никогда! это антипатриотично! — Еще живы в друге Искандера эти остатки верноподданничества.

— О какой родине ты толкуешь?! о каком недруге?! главный враг — в сердце империи!

Спорили долго, и Александр убедил.

Молодой турок, живет в Стамбуле на улице Кипарисовая аллея, хотя здесь, на Кипарисовой, ни одного кипариса не осталось с тех пор, как называли улицу, когда ворвались в Константинополь и штурмом взяли его, давно, очень давно, лет четыреста назад, и называли Стамбулом, Исламбо-

лом, Ислам Через Край, Много Ислама, лишь узкая улочка, круто убегающая вниз, да низкие лачуги.

А из Стамбула, с Кипарисовой аллеи, уже другой, до Туапсе (или в Сухум), турецкая кочерма — легкое суденышко, белеет маленьким парусом, если попутный ветер, никакой крейсер не угонится, пристаёт к безлюдному берегу, не врезаться б в скалу, ух как качает на волнах!.. но хорошо изучено кавказское побережье, все форты, где какие войска стоят и берега какие безопасны; и — в Тифлис (и уже говорят об этом пути, вспоминая славное десятилетие, в новом шахматном клубе, он только что открылся, в Петербурге, в январе 1862 года, в доме купца, на Невском, 15).

А храбрые горцы (убыхи, пехувцы, джигеты, абхазцы, адыгейцы), им дано право, возят летом и осенью с гор дрова на посты, а между дровами — запрещенные товары; глядишь, листок и просочился сквозь посты.

Царские сыщики охотились за людьми Шамиля, французскими шпионами и новыми лазутчиками — а это свои, они везут тонкие и свернутые трубочкой листочки белой как мел бумаги, одни лишь слова, но гремят словно колокол.

Хлынули, хлынули в Европу: в Париж, Рим, Лондон... в Берлин успеется, это никуда не уйдет, тем более что всюду царские родственники: по матери и по отцу; смешана и перемешана кровь, так что не надо искать этот первородный чистый дух; едут, видят, удивляются — лучше, чище, есть чему поучиться, есть что привнести, но не могут или не хотят, — и хлынули именно те, кто был ближе всех к престолу; и почти первой — вдовствующая.

Александр и Фатали узнать о своих делах у себя же, так нет: свежие вести, только что испеченные, приносят эти тонкие-тонкие листочки в бамбуковой трости, а на ней — латинские слова: «*Patit exitus*» — «Страдай, несчастный»!

Можно ли довериться Фатали?!

А Фатали ищет свои пути: Шамиль? в это он не верит — что может Шамиль?

Сначала о пустяках: Александр о детстве своем, об отце-щеголе, пел, недурно танцевал мазурку, в ушах звучат отцовские восклицания, а мать нервничает: «Ах, ах! Какие красавицы! Княжна Нарышкина! Княжна Урусова!», о стерляжьей ухе, — облизывается Александр, — «подавалась в честь голубеньких (Андреевских) и красненьких (Алек-

сандровских) кавалеров!» Кто не мечтает о голубой ленте высшего ордена — Андрея Первозванного!

«Неужто никогда?» Колдун хохотал над наивностью Фатали в пик его иллюзий.

А потом, когда сослуживцы ушли и они с Александром остались одни, — о пьесах:

— Вы хотите разбудить пьесами?! Даже выстрелы не разбудили!

Фатали сразу:

— На Сенатской? — накипело, чего таиться? амнистия ведь!

— Не только! — Александр к тем, которые пошли в декабре на царя, не причастен.

— Я верю в силу слова.

— Да... — задумчиво произнес Александр. — Невежда говорит мертвыми фразами, льстец лжив, слабый труслив.

— Но герой отважен!

— А изрекает истины наивный или блаженный.

— И чистый душой и помыслами.

Александр усмехнулся:

— Знающий мудр, а мудрый молчит.

Фатали слушал. Что же еще скажет Александр?

— Да-с, разбудим и их, что же дальше? Поодиночке будут пробуждаться, их будут поодиночке топить. — И страх, который никогда не покинет Александра: разжаловали и могут сечь, как солдата!! Но ведь уже офицер. А страх неистребим.

— Что же вы предлагаете? Не помогут ружья, не поможет слово, что же остается еще? Что третье?

Вот именно — что же еще, кроме ружей и слова?

Тупик.

Но наступает утро, надо жить, надо идти на службу, надо видеть: униженье, лицемерие, обман, ложь, всеобщая говорильня! Еще сражается Шамиль, бунтуют Куба, Закаталы, Шеки — задушат, сошлют, сгноят, — но пусть!..

И все же слово! и прежде — освободить его от оков цензуры: *без вольной речи нет вольного человека!* Не бесплодный ропот в кругу семьи и двух-трех близких, не утешенье благородным негодованием, чаще молчаливым, — молчанье рыбы или раба.

А нужно ли, Фатали? не проклянет ли тебя спящий, когда пробудится? чем ты можешь ему помочь?! И все-таки:

будить спящих, стращать деспота, грозить гласностью верховному правителю; отрекись, если во взоре сонная тупость, если немощен и нет сил управлять! Грубая лесть! сколько уже было, а коротка память!

Взятки. Видят и знают все. Но всеобщее молчание, ибо нельзя. Мертвечина. Застой. Губернатор оказывается взяточником: судить?! Его делают сенатором. Или членом Государственного совета. Но зато строго наказывается — и об этом трубят повсюду! — мелкий чиновник, стянувший гривенник.

Поехал как-то Фатали навестить больного Ахунд-Алескера. Вышел на улицу. Три крестьянских парня, и он:

— Бек измывается над вами?

— Ну что вы, мы так ему благодарны, кормильцу нашему!

— Он же тебя вчера нещадно сек!

— Нас иногда полезно сечь, чтобы дурь в башку не лезла!

Баррикады? Кровь?! а потом топор палача?! Об этом говорят глаза крестьянских парней в родной Фатали Нухе.

— Знаете, господа, новые подметные письма! оттуда!

Ну да, откуда же узнаешь новости о том, что под носом?! Только издалека. Не успели отрезать веревку, на которой всех держали, сам не ездил и других не пускал, как вдовствующая императрица дала Европе зрелище истинно азиатского бросания денег, варварской роскоши; она больна — как не заболеть, когда амнистия? ее пугают призраки, восставшие из рвов Петропавловской крепости, из-под снегов Сибири.

В Риме августейшая больная порхает как бабочка; «в Ницце — пикники, *déjeunés flottans* — на море, *Фатали, надо изучить французский!!* какую надобно иметь приятную пустоту душевную и атлетические силы телесные (Зашел кто-то: «Что вы тут?» — «Да вот, наш Фатали сюжетик своей новой пьесы рассказывает»), какую свежесть впечатлений, чтоб так метаться на всякую всячину, чтоб находить *himmlisch*¹, *Фатали, и немецкий бы! А разве недостаточно моих фарси, арабского и турецкого?! Увы!* то захождение солнца, и все толпами устремляются, чтоб увидеть закат, то восхождение ракет, — находить удовольствие во всех этих

¹ Божественным (нем.).

приемах, представлениях, площадях, парадах, полковой музыке, церемонных обедах и обедах запросто, на сорок человек, в этом неприличном количестве свиты, в этих табунах — лошадей, фрейлин, экипажей, статс-дам, камергеров, камердинеров, лакеев генералов, наших послов!»

Хлынули, хлынули, чтоб предаться *сенсуальной* жизни, окунуться в омут (парижских?) любовных утех, но непременно с гигиеническими перерывами, чтоб заняться (в Италии?) античностью. А кое-кто и в жокей-клуб (и в демократические *консилиабумы*).

Надежды? новый государь? может, без огнедышащих катаклизмов? как англичане, с обычным флегматическим покоем, тихо и у себя, и в колониях, где, так сказать, туземцы?

Или мы настолько забиты и загнаны? Или так привыкли краснеть перед другими народами? И считать неисправимыми наше крепостное право, тайную полицию и дикости, взятки и розги, что потеряли доверие к себе, мол, труд этот не по плечам, авось будущие поколения! Или это шутки, сочиненные иностранцами?

О, Фатали! цены бы тебе не было, если б к твоим восточным да эти европейские языки! Ты б властвовал, помимо турецкого и арабского (и фарси), еще в трех мирах: романском, германском и русском!

Да, манифест! Официальные приемы, пышные балы, торжественные богослужения, парадные обеды и спектакли, народные гуляния по всей империи, иллюминации,— заставить забыть и проигранную войну, и звон кандалов, всюду кости, скелеты, черепа,— *вы, кажется, хотите приобрести для трагического противовеса суетному оптимизму и раболепию за звезды и ленты хоть какой череп?! а отечество им что дойная корова, озолотить любовниц и льстецов,— в какой-то век кто нами правит?!*

Ах, прогнан ненавистный всем Клейнмихель!

Ах, возвращены из ссылки те, кому судьба отпустила почти библейское долголетие! Снят запрет показываться у священных ворот Зимнего дворца и у дверей дома московского главнокомандующего! Что еще? Не слышно! громче!.. Ах проект железных дорог! да еще новый тариф на кофий! Ну да, ведь настоящего кофию нет, лишь замены — цикорий, желудевый! а как же? и то, и другое, и третье, абвгдеж... я!

И отменен дикий налог на заграничные паспорта! А то как прежде пробирались во Францию? Секретным, воров-

ским путем! Помните: ведь в наших паспортах воспрещалось официально поименование сей страны!

Что еще?! Неужто уже прошло время гаданий в узком кругу? глубоко запрятанных надежд? всяческих аспираций? Иллюзий, что государь ничего не видит из-за стропил лесов канцелярий, из-за пыли, поднимаемой грохочущими сапогами, идущими карать, и не слышит, ибо глохнут уши от орудийных залпов (и лести)? Но от кого узнаешь? от поэтов Третьего отделения? Эти беллетристические фабрикации! амврозии возвышенных чувств! от чиновников? они знают службу, но не знают России. Случаются, правда, дискуссии, полемика, можно кое-что выудить, но ведь полемика эта — часто полузатаенный, полувывысказываемый дрожащими губами донос! петербуржцы расскажут? они заняты поисками связей с должностными лицами, жаждут Владимира, чтоб надеть его, и не ведают, что он висит у них или как ошейник с замочком у собаки, или как веревка оборвавшегося с виселицы.

Или москвичи расскажут, занятые только тем, что каждый день доказывают друг другу какую-нибудь полезную мысль, — к примеру, *Запад гниет, а Россия цветет?* Популярны в верхах, им и журналы, им и всякие в подмогу утки-селезни, и безголовые солисты, тугие на одно ухо, и чалмоглавые, но с крестом под рубашкой, лихо чавкающие и чевкающие, — прославят, профимиямствуют, да-с, популярны, пожурят их и отпустят, чтоб еще пышнее цвели, ибо предполагается в них нравственная связь с самыми глубокими затаенными стремлениями национального духа.

— А как же? — в минуту откровенности делится с Фатали Ладожский, после того как не удалось уговорить (насчет принятия христианства). — Ведь заявлена ненависть к европейскому движению и благоговение к святости духа, и потому относительно большая свобода мнений, чем у других, которые, увидев пятно, кричат караул, а это — всего лишь игра света и тени; впрочем, чтоб не зарывались, нужен и надзор, да-да, рука администрации, чтоб не очень уж дразнили!

Министры?! Погашения и помрачения?! Дело у них идет, но не двигается. А кое-кто и грабительством казны занимается, обогащает себя через государство и службу. Вот вам и реестр идеалов! Или джентльмен западный с подстриженной головой (*Вы что же, стрижетесь у эф, Фогге?!*) и щегольской бородой? Живущий амфибией посре-

ди двух миров — западного и азиатского? По ту сторону ему рассказывают (и он лишь усмехается в пышные усы), что-де «ваши мужики детей продают в сераль великого хана *Тартарии*», а по эту — выльют ушат грязи (а заодно и бороду в щи ткнут) за пристрастие к миру лореток и горячее желание, родившееся в пылу похмелья, бросить капитал в жерло предстоящей революции.

А он, кто амфибия, понимает, что на него смотрят в том мире, где жокей-клуб (и мир лореток), как на подосланного царского шпиона или бессовестного обманщика (и с эФ: афериста). «Только, — слезно умоляют вежливые господа, — не вмешивайтесь в польские дела!»

О, неофиты критицизма! Не довольно ль этого колобродства? Не старайтесь офранцузить себя — в языке, образе жизни, нравах!

И эти утомительные разговоры: и тех, кто на Запад смотрит с надеждой, и тех, кто ушел по уши в извечный дух, о переходной эпохе, всегда у нас всякая эпоха — переходная, и эти амфибии с патологическим состоянием мозговых органов — тоже, кстати, признак переходности. Но что толку рассуждать, думают плывущие меж ними амфибии, про пути-дороги, кто как куда с кем пойдет, про сомнительные чувства, лживые заверения, — все равно никак не ускользнуть от когтей того или другого из мертвецов, ходивших еще недавно по земле, время от времени их призраки меж нами, — но не иначе как комичный или трагический абсурд эти страхи, ибо время надежд, время новых иллюзий.

БАМБУК С ТРЕЩИНКОЙ

Как узнать? Кто ж расскажет государю об истинном положении? Быть может, за хребтом Кавказа тифлисец расскажет? фаталист? какой такой фаталист? Ах, Фатали! Это что же, такое имя?! жди, тифлисец расскажет! если он свободен, то пьет в шумной компании, вспоминая бывшее величие, а если не пьет, то нежится в татарской бане.

Не ходить же государю, как Шах-Аббасу, переодетым, по улицам Петербурга или Москвы? А если б и стал, что толку? кто же у нас говорит о чем-нибудь на улицах? зная, что в корпусе жандармов есть много господ, которых не

отличишь по пальто, всеслышащие уши и всевидящие глаза?! не из зарубежных же колоколов узнавать ему правду?!

Может, все же в Тифлис? Царю, конечно, следовало бы войти в город через Гянджинские ворота, главные из шести ворот Тифлиса, торговые, обогнув верблюжий караван с огромными тюками (кожа? парча? атлас? шали какие? шелка? пряности?), трескучие арбы, набитые до краев мохнатыми коврами,— как бы не сбили его с ног тюком-горбом на спине или буйволиным бурдюком с вином — и выйти на торговую площадь — Майдан; как будто сыт, но как удержаться при виде жаровни с шашлыком на алеющих угольях?

Нет, не станет царь подражать какому-то презренному шаху, да и язык надо знать хоть какой восточный, чтоб уразуметь, о чем думают верноподданные; а ведь зря: с трех до четырех в тифлисском наместничестве анекдотцы! даже при делопроизводителе, хотя все знают, что он — глаза и уши Никитича в канцелярии; ну да — успехи вольномыслия! Ах вы фрондер!..

«Господа, среди нас определенно анонимный корреспондент!» — вещает делопроизводитель. И — взгляд на Александра и Фатали, будто именно они или кто-то из них и есть «анонимный корреспондент», питающий кавказскими новостями лондонского изгнанника. А вообще-то вежливый малый, их делопроизводитель. Учтив. Корректен, но вежливость сродни равнодушию, исполнительный и дисциплину знает (трусость?); долго уже служит в канцелярии, и на лице неизменно улыбка — ироническая, когда говорит с младшими по чину, и подобострастно-заискивающая, когда к начальству позовут, богатые оттенки взгляда.

«Жестоко пишут, ах как жестоко!» Даже в уме страшно повторить, что пишут: привыкли-де видеть нашу судьбу в руках неспособных стариков, получивших места вроде премии от общества застрахования жизни, за продолжительную крепость пищеварения.

Ловят простачков, будто не знают о секретном циркуляре ко всем начальникам губерний строго наблюдать за водворением издаваемых за границу на русском языке разных сочинений и своевременно останавливать сей незаконный промысел,— некоторые-де появляются в России и находятся в обращении между частными лицами; усилить ме-

ры; осторожность; бдительность; в случае чего оную немедленно конфисковать.

А тон! тон!! а выражения! Мол, вести с родных мест можно разделить на две части: из сумасшедшего дома и из смиренного. И о шарманке, которая пришла в негодность: лопнула струна, певшая про народность, осипла в ней давно песня православия, и не поправить, увы, хрип самодержавия.

А кому нужна гласность при абсолютной власти? Ловушка, куда попадают простачки! ну да, а как же — ффюитть! или узнать, что у нас берут взятки? что нет приличных дорог? падает торговля и растут цены?.. Ведь и так ясно! губернатор с купцов, казенной палаты, дворян, мужиков; министры с губернаторов, а там, наверху, — с министров!.. А разве гласности нет? ограничивается, правда, дозволением говорить о злоупотреблениях на местах не очень высоких, притом не называя имен! Но чтоб о совете государственном? сенате? синоде?..

Слыхали? Про посягательство на жизнь императора? Отравить ядом в ванне! Химически разложили воду и нашли яд!

Провокация? Было уже!

Свободы печати захотелось? Как в Англии, да?! Или Голландии?.. дебатов в меджлисе? в султанском диване? в государственном совете? где еще? в ландтаге? ну да, и там! где? не слышу! громче! оглох, что ли! Как же, помогла свобода печати Голландии уплатить ее государственные долги! А бельгийская революция? Раскололась Голландия, как та гора, что в Гяндже, — полстраны не стало. Этой свободы вы хотите?! Англия! нам Англия не пример, там еще полтыщи лет назад парламент был! Швейцария?! да, счастливый край, ничего не скажешь; сколько ругани из-за этой свободы печати наслушались в Европе! рогатые и копытные аж вздрагивали, недоумевая: за что люди их так невзлюбили?! и чем они провинились, особенно ишак. Вот вам плоды свободы печати!

Ну да, ведь Кайтмазов читает по-немецки! О прусских дебатах ему — «А вот, полюбуйтесь!» — Ладожский передал, и Кайтмазов видел на полях пометки Никитича.

А все потому, что несовершенен человек, как это у вас, Фатали, — *сырое молоко пил человек и оттого звериные инстинкты!* А что Пруссия?! мы с нею духом родственны! и у них, и у нас всеподданнейшая и благоговейнейшая. *Как*

это перевести? — спросил у Фатали. «А правда, как перевести?» — задумался Фатали.

Кайтмазов глядел на чернильные пятна своих помарок, и ему казалось, что это солнечные пятна, не беда, мол, светило б только! и перечеркивания цензорские ему представлялись математическими построениями, вроде корня квадратного или разделительной линии между числителем и знаменателем, аж перо поет соловьиной трелью!

Кто это там?! и что он смеет говорить? не острый нож разума, а тупые ножницы произвола? Я выкалываю цензорскими перьями глазки? вгоняю сыпь на больном теле внутрь, чтоб не видеть ее? стригу свободные мысли, как волосы арестанту?! О наивный юнец, никак не переведутся! «Свободная печать»! Он, мол, как это у него? выписал я, только бумажку... где ж она? вот! нашел! *Воплощенное доверие народа к самому себе*, говорящие узы, соединяющие, во как! отдельную личность, тебя вроде бы, с государством и с целым миром, и с Турцией, значит! вот еще: *Исповедь народа перед самим собой*, духовное зеркало, в котором народ самого себя лицезреет, так сказать, а *самопознание*, смотри мудрец какой! *есть первое условие мудрости*, видал?! а вот за эти речи мы говоруна за его бороду!

— А разве есть у него борода? — спрашивает у Кайтмазова Фатали.

— И усы, и борода, ой-ой-ой! И смотрит дерзко!

— Уж лучше всю голову!

— И то верно, чтоб по волосам не плакать, такая пышная шевелюра, как у мавра!

— Так за что его? — пристает к Кайтмазову Фатали.

— А чтобы не говорил: мол, правительство слышит только свой собственный голос, но поддерживает в себе самообман, будто слышит голос народа, и еще требует, чтобы народ поддерживал, не смея пикнуть, этот самообман! и что народ частью впадает при цензуре в политическое суеверие, а частью — в политическое неверие, а те, кто ни туда и ни сюда, отвернувшись от государственной жизни, становятся толпой, живущей только частной жизнью. Народ — до чего договаривается, эй, вдумайся! — вынуждается, мол, рассматривать свободные произведения мысли как противозаконные, приучается считать противозаконное свободным, свободу — беззаконием, а законное — несвободным! — И пошло, и пошло, разговорился Кайтмазов,

не остановишь теперь. — Истина! А кому она нужна? И что вы в ней смыслите? Истинно то, что приказывает правительство. Скромности бы вам побольше, господа писаки!

Неужто и это сжечь?

Немножко понюхали свободы и опять натянули вожжи: инквизиторы в голубых мундирах, энтузиасты, пылкие юноши, доносом начавшие карьеру. У нас с давних пор каждое выражение недовольства, всякий громкий разговор называют восстанием, бунтом. И карандашом Александр, но царь: «Не смей писать *этого* слова — «прогресс»!»

— Да, да, скромности!!

И чего это Кайтмазов раскричался?! Но ведь надобно, чтобы не только Фатали услышал, а и Ладожский! и Никитич! и кое-кто подалее. Нет, не зря Кайтмазов ездил в Санкт-Петербург! еще поедет, нескоро, но поедет — ознакомиться с новейшими цензурными инструкциями. Вот и сейчас: «Тоже мне, протест оскорбленного права против торжествующего насилия!» — И говорит, и говорит, не остановится никак, — из того, что наслышался в С.-П., сам министр! насчет всяких книг и как их под нож, ибо сочинитель под прикрытием прозрачного и легко доступного пониманию вымысла осмелился изобразить личности людей, осужденных у нас как государственные преступники! пропаганда коммунистических (!), социалистических и материалистических теорий!

А что сочинитель? Наказан за преступный умысел! арест в военной гауптвахте! но вполне достаточно, чтоб выйти оттуда ээээ... — не закончил, и так ясно!

О, наши камеры, наш суд! Александр рассказывал: и об отравлении наркотиками, белладонной! Расширение зрачка, прилив крови к голове, галлюцинации, бешенство, бредовые фантазии, раздражение слуха и осязания, точно кожа снята, и малейший стук кажется пушечным выстрелом!

А что издатель?

«Возбуждено-с! А какая, — улыбается Кайтмазов, — фамилия у него презабавная: Гиероглифов!.. Что-то, — хохочет (определенно слышал от кого-то!), — тупо-величественное, как пирамида!»

А что с арестованными книгами?

Переданы на Кучкуринскую (почти Куринская; у нас,

что ли?) бумажную фабрику! Сожгли на императорском стеклянном заводе!

А может, при Басманном частном доме? или картонной фабрике Крылова? посредством обращения в массу? или разорваны и разрезаны на мелкие части и направлены на бумажную фабрику в размол?

Кайтмазов удивлен: откуда Фатали знает такие подробности?! будто не он, а Фатали в Санкт-Петербург ездил. А в голове эти тайные идеи, которые внушал ему Никитич: допустить сдержанную в границах дозволенного благоразумия оппозицию; был бы за границей наш «вольный» журнал, язык бы у колокола вырвали! да-с, оппозицию, необходимую в двояком отношении: во-первых, само правительство нуждается в откровениях и с благоразумною целью сообщаемых указаниях, а во-вторых, и потому, что с виду беспристрастная оценка действий правительственных возвысит кредит журнала во мнении общественном и придаст вес его суждениям в тех случаях, когда ему, то есть нам, придется опровергать ложные мысли врагов нашего порядка!

«Да, жаль, не осмелились!.. а может, оно и лучше,— спешит Кайтмазов вернуться на санкционированную выше стезю,— тактика замалчивания, опровергать без полемики, не называть имени, будто и нет его вовсе».

Крики о миролюбии — Шамиль потому что. А учебная наследника похожа на кордегардию. Прислали очередную партию кадетов к наследнику — играть в войну в залах Зимнего дворца: войну в черкесов и наших; ружья, штыки, сабли, биваки, и камер-лакей зажигает спиртовую лампу на полу, вроде бы костер в горах,— и рассказы, чтоб представить себе поле битвы, кровь по колено, стон раненых, «стоните, кадеты!», груды трупов и дикий крик победителей; кадеты хвалят начальников и содержание; говорят, что у них всегда чистое белье, но одна печаль — о незабвенном отце отчества, да-с, больше всех скорбят военные, о величайшем монархе века, на которого Европа и Азия смотрели с благоговением. И преподается особенная наука, как бы сказать покороче? Ах, да: «Zwon popeta razdawaiss!..», или, если перевести на понятные Фатали языки,— «Победные звуки свирели» (сделанной из кавказского бамбука, или камыша).

А что у Шамиля? Там свои игры: черкесы гяуров с утеса в реку, коли и режь!

В семь рапорт, в восемь прием, в девять парад, в десять ученье со стрельбой, и за две тыщи верст, в час — пятьдесят, ямщики избиты в кровь, лошади надорваны, — летят осматривать вторую армию, опять марши, пыль, распекающие ямщиков; будущий наследник, что прусский каптенармус, играет в деревянных солдатиков и вешает по военному суду крыс, сделанных из картонной бумаги.

Ах, я дерзок?! Ах, обидно слышать? Ах, я ужаснейший *киник*?! Ну да, дико раздается речь свободного человека в залах Зимнего дворца или аллеях Летнего сада!

А слышали, как наш константинопольский посол Бутенев упрашивал великого везира турецкого султана: запретить! задержать! не пущать эту лондонскую крамолу в страну! Но даже великий везир отверг эту дикую просьбу! Турция победила Россию при Николае в отношении гуманности, не выдав ему венгерских бунтарей — славных Кошута, Бема и других.

А он сам, лондонский вещатель? Тоже мне оракул, этот ваш Искандер! Да, чист, ничего не скажешь: продал крестьян в Костромском своем имении в России, а деньги — миллионы! — себе в карман и сбежал за границу, проповедует теперь — чего ему терять-то? — ратует за освобождение крестьян!

Ну зачем так? Оно-то, имение, под секвестром!.. Не знаете, что сие значит?! Запрет-с! Наложено актом государственной власти! В самодержавных интересах!

И взорвало однажды Александра. С Фатали они сопровождали Лорис-Меликова, диктатора сердца (?). Проезжая через Сунженскую станицу (с пленным Хаджи-Муратом), Александр встретил земляка, разжалованного солдата. А как отъехали, Лорис-Меликов вдруг:

— Были декабристы, теперь вот апрелисты! — Александр выпрямился, прислушался. — Безбожники проклятые! — разразился бранью Лорис-Меликов, имея в виду, очевидно, земляка. — Знаете, в пятницу на страстной неделе, — и смотрит на Фатали, как будто собеседник истинный христианин, — кощунствовали над плащаницею в доме Петрашевского!

— Неправда ведь! — взорвался Александр.

Лорис-Меликов вздрогнул:

— А чего вы-то?

Фатали понял: случилось непоправимое. Не из-за этого ли исчез Александр?

Но еще успеет походить во фрондерах. И на мутную Куру вдоволь наглядеться. И вчитаться с Фатали в строки, идущие издалека — из туманного Лондона.

А государь тем временем изволил прибыть в собор (не разобрать — какой; бумага отсырела то ли под Стамбулом, то ли под Туапсе. Лодка, что ли, дала течь? или бамбук, в который бумага была втиснута, с трещинкой? как из бутылки во время кораблекрушения). Собор едва мог вместить собравшихся для вожде(ленного?) лицезрения благочестия(вейшего?) вшествия царя земного в дом царя небесного (слова разъеты, не разберешь). Кратко, но сильно чувство (всеоб?)щей благодарности за щедроты о благе вверенного его скипетру народа сердце царево, с умилением предшествуемый при соответственном пении двумя хорами, приложившись... помазанника божия.

СОН И ЕГО РАЗГАДКА

— Александр, полетим, а?

— Как полетим?

— Пройдем через мост, потом по сухой выжженной траве, которая колется, мимо серых камней и жестких диких кустов выйдем к развалинам древней крепости Нарикала и далее — к горе Давида, а там — вот смотри: встанешь на пригорок, оттолкнешься слегка ногами, сильно руками взмахнешь и — взлетишь. Где-то в глубинах души, понимаешь, живет эта мысль в тебе, что уже не раз летал.

— Ты так рассказываешь, будто вчера еще был птицей!

— С чего же тогда это умение? Эта легкость, с которой взлетаешь?.. Полетим, Александр! Смотри, а Кура не такая уж грозная... Скоро будут горы!.. Снега-то как много!.. Давай чуть пониже, дышать трудно... Вот они, мятежные аулы!.. Мы можем нагрянуть сверху на крепость Шамиля, но где отыскать тот аул, где Шамиль? И горы, и минареты, и аулы, и ущелья — как одно: где Гуниб, а где Гергебиль?

— И всей войне конец?

— Увы, уже объявлен преемник, сын Шамиля, а сам он на три дня заперся в аульной мечети, скрылся с глаз людских, не ест, не пьет, а размышляет: как быть? как нака-

зять предателей, предложивших — и через кого? через мать имама!.. — мешочек золота, к ее ногам бросили!.. чтобы она уговорила его сдаться!

— Может, всю семью, а?

— Пари, дай отдых рукам!

— Что за толпа на площади? Хоронят кого?

— Не отвлекайся, нам еще лететь и лететь!

Часовой перед Зимним дворцом (штаны из лосиной кожи и высокие сапоги), увидев летящих людей, пал замертво — вот первая жертва, а ведь не хотели! Ударились о крышу, рухнули прямо в покои государя.

— Вставай, государь!

— А, Александр!.. А это кто с тобой?

— А это мой переводчик, может, ты не поймешь меня, турок какой или туземец?! — и за ухо г. и.: мол, мы не сон, а явь! за брови потянул, в нос щелкнул: — Не больно??

— Что вы мне бумагу суете, не разберу ничего: буквы русские, а слова тарабарские какие-то.

— Не ту бумагу дал, это же перевод! — торопит Александр Фатали.

А Фатали изумленно смотрит на императора:

— Как вы сказали? «Русскими буквами»?! Как же раньше я не сообразил? Именно русскими буквами!! Ведь какая идея! Ай да государь!

— Не отвлекайся, Фатали, переводи!

— Отречение от престола?! Вы шутите!

— А ну-ка, Фатали, всади ему клинок!

— Ладно, подпишу! Только дайте время подумать!

Военный министр ломится в дверь — плохи крымские дела!

Шеф жандармов ломится: у него сигналы! зреет заговор! готовятся новые покушения!

— Или уьем и погибнем сами, или вели им — и министру, и шефу — вон! Ты объявишь всем: я виноват перед отечеством и престолом! Я погубил тысячи жизней, провалил Крымскую кампанию, не сумел сговориться с Кавказом и поверг этот край в кровопролитную жестокую бойню! Вырубил леса! Залил кровью чистые горные реки! Лучших людей, говоривших правду и только правду, я сослал, выгнал из отчизны, объявил сумасшедшими! Эти суды без гласности! Страна погрязла в лихоимстве и казнокрадстве! Все руки переплелись, даючи и беручи взятки!

Разорение и голод! Произвол! *И я добровольно покидаю трон!* Распускаю продажных министров! Этих бессловесных манекенов — членов Государственного совета, умеющих лишь поддакивать да помалкивать! Сената! Синода! Эти комитеты, которым нет числа! Всю жандармерию и полицию!

— И Воронцова тоже! — подал голос Фатали.

— Да, да, Воронцова!

И Фатали добавляет:

— Со всем его семейством, сыном, невесткой (версальские духи!!), врачом, всей этой свитой! Со всеми! — И оба слушают Фатали — сослуживец Александр и царь Николай. — Тайными и действительными статскими, коллежскими, надворными и титулярными советниками, камер-юнкерами! Этих Лелли (сс), — но он-то при чем? — думает Александр, и Фатали знает, что тот так думает, но не может остановиться, это копилось долго, хотя Лелли и милейший человек, прилежный управляющий Дипломатической канцелярии наместничества, — Жеребцовых! Шраммов! Значко-Яворских, Индутных-Спафариев! И этих бездельников...

— Может, хватит? — волнуется Александр. — Это потом!

— Нет, сейчас! — говорит Фатали и добавляет: — Да, да, бездельников из Комитета о предохранении края от чумной заразы! — А холера свирепствует всюю!!

— Ну?! — говорит Александр, глядя на императора.

— Но наступит хаос! Страна рухнет! Масоны! Карбонарии! (аж визг).

А потом они остались вдвоем: Александр и Фатали. Александра трясло: лихорадка! усилились пароксизмы.

— Ах как некстати! — сокрушается Александр.

— Надо холодной водой обливаться, — ему Фатали. — Утром и вечером.

Только что вошло в моду лечение холодной водой. Но где здесь, в покоях, умывальник? А обольешься — сильная транспирация, никак не согреешься.

— Ладно, оставим!

— Ты будешь новым царем? — недоверчиво спрашивает Фатали.

— Нет, верховный глава не по моим силам. Мы пригласим другого Александра, лондонца! Я офицер, буду по де-

лам военным, друг того Александра — по всем делам экономики, а ты, Фатали, — по делам Востока!

— И все так быстро и просто?! А как Шамиль?

— Мир с Шамилем. Мир в Крыму. Ни к кому никаких притязаний и претензий!

Аварское ханство?

И вот тут-то все и началось. Всполошились карабахский, ширванский, шекинский и прочие ханы! И даже бакинский! Разве?! Ай да смельчаки! Мол, хотим как Шамиль. И грузинский царский род — мы еще живы! Дошло до персидского шаха (и даже узнал о пароксизмах Александра!): «Не тот ли это Фатали, кому я орден Льва и Солнца вручал?! А ну проверим его силу!»

«А мы? — Это уже новые голоса. — Мы некогда были могучей ордой! — И множество цветов называет: — Голубой, Золотой, Белой, Синей и прочих окрасок!» — И хлынули из дальних глубин тьма-тьмушая, мириады!!! тощие, лишь скула да кости, обтянутые кожей.

Объявился к тому же лжецарь, как это исстари водится.

И два царя: лжецарь как настоящий и настоящий как лже; очная ставка (но прежде троекратно облобызались, уколол друг друга торчащими усами и пощекотав шелковыми бородами, сивушный дух), философический спор:

«Ты — это я, и тебя нет!»

«Как же так — вот мои густые брови, мой костлявый кадык, мои мускулы на ногах, я тренируюсь, а вот мое некогда плотное тело, я подтянут, и оловянные мои глаза столь же холодны, как и страстны!»

Не успели даже прибыть те двое издалека; толпа ворвалась в Зимний дворец, а здесь то ли карнавал, то ли маскарад, вырядились кто Амуром, а кто Аполлоном (но версальские духи!).

«Хотим старого царя-батюшку!.. Триумвират?! К дьяволу эту фатальность! Со скуки помрешь в этом новом раю! Поди, под туземцами ходить будем, прут отовсюду, караул! Турка всякая расплодилась, а с запада француз, усы пушистые, как хвост кунцы, за уши, чтоб держались, загибает, били и бить будем! пусть только сунутся! И воли никакой не надо — хотим царя-батюшку!»

С вилами, топорами, пиками! И даже колья!

«Видали? — мужики в серых армяках, кафтаны и фри-

зовые сапоги, из трактира только вышли.— Знамение небесное: два ангела над нами пролетели!»

«Нет, не видели!»

Шапки в снег упали, ветер в бороде застрял.

«А один-то ангел в нашей военной форме!» — Мужик в красной «пугачевской» рубаше (с черными лаптовиками!).

И вот покои пусты: ни Александра, ни Фатали. И торжественно въехал во дворец государь император.

А Шамиль тем временем уже вышел из мечети, где три дня и три ночи размышлял: как наказать предателей? «Сдаться?! Мать имама подкупить вздумали?!» Вышел и созвал народ: «Поступок предателей заслуживает казни! Но поскольку они действовали через мою мать, я предлагаю те удары кнута, которых заслуживают предатели, перенести на меня!»

И когда высоко-высоко летели над аулами — видели, как на площади-пятачке перед мечетью лежал на земле Шамиль и на его обнаженную спину сыпались удары: так приказал под угрозой смертной казни Шамиль, и его воин повиновался. Когда полилась кровь, народ с проклятиями отстранил воина, готовый его растерзать, но Шамиль осадил толпу и, еле волоча ноги, двинулся в мечеть.

И с новой силой разгорелась горская война. По широкой просеке шагали роты. Дымились сакли. «Запеваай!» И грянула песня. Шах отошел к своим границам. Убрались восвояси из Сибири чудные племена. На время затихла Польша, чтоб разразиться новыми волнениями.

И Крымская с новой силой разгорелась.

— Что же мы, а? — почесал затылок крестьянин, видевший летящих ангелов. А что — так и не уразумет: то ли к бабе чужой на печь влез, то ли благодать на него снизошла. И так радостно на душе, что волком выть хочется.

А что до ангелов (вот тут-то и пригодились Фатали уроки Ахунд-Алескера по разгадке снов!):

Если кто увидит, что над городом пролетели ангелы, непременно в том месте очень скоро умрет большой человек — или своей смертью, или умертвят его насильственным и жестоким образом. (В ту ночь царь спал тревожно, часто думал об Александре, старшем сыне, каково ему будет?! Скоро — пора февральских метелей, завьюжит, прогудит в трубе, выдует из тела душу.)

А если кто увидит, что летит с ангелом (кто ж для кого ангел: Фатали для Александра или Александр для Фатали?), то получит в мире почести и славу, а под конец уделом его будет мученическая смерть, и долго-долго будет ждать тело, пока земля его примет.

А если кто увидит, что он, сидя с царем во главе стола, что-либо ест (а они ели? Фатали не припомнит, кажется, нет, не ели!), и скатерть не будет убрана перед ним до тех пор, пока глаза его не освободятся ото сна,— тоже смерть; нет, скатерти никакой не было.

А если простой смертный себя самого царем увидит — близка его смерть! Фатали видел царем Александра, но тот ведь отказался!

Если же кто увидит себя вместе с царем, то дух его порабощенный получит свободу,— ах да: русскими буквами тюркские слова! вот оно — дух порабощенный!..

— Тубу, меня осенило!

Эти премудрости арабской вязи! как пелена на глазах, не дающая разглядеть смысл, суть, глубины, иные подтексты! что пьесы? их посмотрят десятки и сотни людей! надо словом, книгой, чтоб усвоили миллионы! Идея нового алфавита! нового письма! надо немедленно разработать для всего Востока: для нас, для турок, для персов, для татар, для всех, кому слепит глаза эта вязь, как сеть для рыб!

Но это потом.

БУСИНКА ОТ СГЛАЗА

Тубу встала давно, она почти не спит с тех пор, как родился сын, Рашид. «Хорошее имя Рашид!» — вспомнил Фатали, давая имя сыну, Лермонтова, когда тот, записывая легенду об Ашик-Керибе, попросил Фатали еще раз поговорку повторить: «Как тебя зовут?» — «Адын недир?» Рашит, «бирини де», одно говори, другое услышь, «бирини ешит!» Звонкая рифма: Рашит — ешит, шуршащая, как речная галька, записать непременно!

Давно, очень давно это было, двадцать лет назад. Был холост, и книга земляка на французском: *Рашид-бек и Сеа-дет-ханум*, привезенная некогда Хасаем Уцмиевым. А потом длинные-длинные дни, сплошной траур по детям, которые рождаются и умирают.

«Если б у меня родился сын...» — голос Одоевского (вот тогда-то у Фатали и мелькнуло: сына назову Рашидом, но назвал только теперь, третьего, — первому сыну, так принято, дали имя отца, второму — имя названного отца, он же — отец Тубу, оба умерли). Умолк Одоевский, а потом тихо спел какую-то песню, и Фатали удивило странное имя, произнесенное Одоевским: «Сын, мой Атий!» И Лермонтов прислушался: «Атий?»

Родился Рашид, пришел в гости Александр, сослуживец (а прежде Хасай: у них одновременно родились сыновья — у Хасая первенец, а у Фатали — третий сын, выживет ли?), и Фатали рассказал и о легенде, и о Лермонтове, и об Одоевском. Неужто это было?

«Ты что-то путаешь, Фатали! Нет такого имени «Атий»!
«Но я сам слышал!»

А потом, когда стали проникать издалека тонкие-тонкие листки, эти голоса, и открылось: шифр! Кондратий! И смысл сказанных Одоевским слов: «Нет, не может оборваться цепь! Иные звенья заменяют... Но жаль, что нет у меня сына. Оковы, оковы! Сойдет к тебе другой хранитель, твой соименный в небесах. Ах, как жаль! И вспомнит сын земной его конец, и грудь его невольно содрогнется. И он дарует цель его земному бытию! Нет, не оборвется цепь, только жаль, что нету сына».

Тубу хотела воспротивиться: «Ну что за имя Рашид! Будут дразнить его: «Адын недир — Рашид!»

«А вот и хорошо: пусть дразнят («Лишь бы жил», — слышала будто Тубу и согласилась)».

Растет у них и дочь, четыре года уже ей, тьфу-тьфу! Наше и на руке дочери повесила бусинку от сглаза, хотела и Рашиду на руку, но Фатали не позволил, и она под подушку ему бусинку, в колыбель, — круглая черная бусинка с белыми точечками: если глаз дурной взглянет на ребенка, еще одна точечка белая появится на бусинке, и чем больше их — тем лучше. И растут, как звезды в небе, эти белые светлые точки.

А за эти двенадцать лет, что они вместе, — уже пять могил!

— Фатали, ты столько работаешь, отдохни! — Уже не говорит: «А мы все равно бедны!», хотя это так. Не помогает и надбавка к зарплате, еще наместник Воронцов распорядился: за длительный стаж службы и многосемейность; а каждый раз в начале года надо напоминать начальству:

«с разрешения бывшего наместника», чтоб не забыли. Но Фатали слышит в ее призыве «Отдохни!» и слова: «Ты много работаешь, Фатали, но что толку? Мы все равно бедны!»

Как-то Тубу пошутила: «Жаль, что я не грузинка! За меня бы ты получил хорошее приданое». И перечислила, что привезли в дом жениха, известного купца Бабалашвили (брата жены казненного Фарман-Кули), он живет рядом, и Тубу пригласили помочь сварить плов — на свадьбе будут и знатные купцы, мусульмане из Борчалы.

— Нет, ты только послушай, что жених получил в приданое: золотая чаша, серебряная пиала, шуба бархатная, пять ниток ожерелья, булавка золотая с жемчугом, золотые серьги с жемчугами, три золотых кольца — изумрудное, рубиновое и жемчужное.

— Как ты запомнила это, Тубу? — изумлен Фатали, а она продолжает:

— А какие тазы для варенья! Серебряный поднос весом в десять фунтов, даже полдюжины кутаисских веников, и выбивалка для пыли в придачу к коврам, и, будешь хохотать! пять банок козьего сала, и хна, и басма, перемешанная с сушеной гранатовой кожурой, помогает от головной боли, и сушеная дикая груша — от болезней желудка излечивает, а какие платья!.. — Тубу вздохнула, устав перечислять, а Фатали:

— Ай да молодец, Тубу, — хвалит, — я и не знал, что у тебя такой дар наблюдательности! Может, и ты сочинять станешь?

Тубу вдруг стало не по себе и, боясь, что Фатали подумает, будто она жалуется, тут же добавила:

— Я тебя решила развеселить, Фатали! Знаешь, я чувствовала себя... как объяснить? И вдруг эта твоя книга: «Комедии Мирзы Фет-Али Ахундова»! И внизу: «Тифлис. Напечатана в типографии канцелярии наместника Кавказского». Я горда, что у меня — ты! Жаль только — не на нашем языке! Мой брат Мустафа, ты бы видел, как он радуется! Всех, говорит, узнаю, и родственников, и твоих сослуживцев, чуть ли не самого наместника... И о революции тоже, правда? Но как сумел?!

— А ты прочти, увидишь!

— Но я по-русски не могу.

— Учи!

Заплакал сын, и она ушла, но вскоре вернулась, и от взора Фатали не укрылось, что Тубу принарядилась (мол, и мы не бедны): на ней было ее любимое темно-фиолетовое канаусное платье и три нити крупного жемчуга, подарок Ахунд-Алескера, а также золотой браслет, попеременно звеня зеленого и червонного золота.

— У тебя очень душно!

— Тубу, а кто положил эту книгу мне на стол?

— Ты сам, наверно. А что за книга?

— Древняя история. Но я точно помню, купил и спрятал ее в шкаф, чтоб никто не брал.

— Ты знаешь, сюда никто не заходит,— недоумевает Тубу.

— Может, колдун какой? — улыбнулся Фатали, а жена привычна к шуткам мужа.

— Как же,— говорит она,— твой Колдун из пьесы как член нашей семьи.— А потом: — Сегодня жаркий день, пойду окно открою.

И вдруг порыв ветра с такой силой ворвался в комнату, что книга раскрылась и зашелестели ее встшие страницы.

— Закрой, все сдует! — крикнул Фатали и ладонью прикрыл открытую книгу, а меж пальцев — строки, зацепился взгляд за фразу, читает, уже прочел, и вспыхнуло, загорелось: «Вот оно! вот о чем!»

Нет, не вдруг, не озаренье, не случайный порыв ветра, боль копилась и ждала выхода. Написать о своем времени! заклеить деспотическую власть царя, который не в силах править государством, оно разваливается, трещит по швам. Он ее искал, эту книгу о жестоком из деспотов — Шах-Аббасе, и так обрадовался, когда купил!

Уже новый царь, сгинул тиран, но изменится ли что? Как часто Фатали и Александр мечтали (Хасай уже не заговаривает на эти темы: постоянно в свите наместника), надеясь на чудо: вот она, власть, берите и правьте! Читает, глазам своим не верит, а ведь он это читал, и не раз: *шах добровольно уступил трон простолюдину!* Фатали использует исторический сюжет, чтоб сказать правду о своем времени! Он напишет о далеких временах — о шахе-деспоте, и царь-тиран (только ли он?) увидит в нем себя! И их с Александром мечта и долгие разговоры (во сне и наяву): как мудро и справедливо править государством.

Давно не подходил к конторке — вот они, белые лис-

ты в папке, открыл ее... вот и перо, его бессменный товарищ.

Неужто впереди зажегся факел надежды и в долгожданную гавань — ведь случится же когда-нибудь! — вошел фрегат фортуны, миновав рифы фарисейства и фальши, — о эти нескончаемые эФ, которыми усеяно необъятное поле из края в край!..

Весна пятьдесят шестого года, жаркое тифлисское солнце пьянит, в ушах шум — кричат дети, щебечут птицы, журчат, слепя глаза, воды Куры.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ,

ИЛИ

ВСПЫШКА НАДЕЖДЫ



Ай да молодец этот Искандер, еще один Александр, надо б вспомнить о всех, если позволят! — и о затравленном светом и убитом на дуэли, зарезанном фанатиками, сраженном пулей горской, измученном лихорадкой, которая нещадно косит, холерой, от которой нет спасения, изгнанном и объявленном сумасшедшим, а то и исчезнувшим при загадочных обстоятельствах, и начать ряд с царственных особ, и прежде всего Александра Македонского, чьи орды проходили через родное село Фатали — Хамнэ, и государя-императора, с чьим именем столько надежд, а потом и лирики, и генералы, и перебежчики в чужой стан, и новые католики, изменившие мусульманству, и христиане, ставшие магометанами, но некогда Фатали, как-нибудь в другой раз составит схему (еще чего!), тем более что новые и новые возникают на пути, и даже грек, почему-то болсующий за интересы халифата, но такого Александра еще не было, — древний шахский писарь Искандер-бек Мунши, создавший «Историю украшателя мира Шах-Аббаса» и протянувший Фатали из дали веков, сам того, может, и не желая, свою щедрую руку, а в ней — луч, озаряющий тьму (и быстро гаснущий).

УКРАШАТЕЛЬ МИРА

Пока нет названия сочинению Фатали, — он искал и нашел емкий исторический сюжет, чтоб сказать о своем времени, лишь ясен жанр — это проза, а не драма, рассказ или повесть, а может, если хватит сил, и роман, и Фатали уже не терпится сесть после служебной круговерти за стол, чтоб светом угасающей свечи зажечь утро.

Надо начинать с того времени, как Шах-Аббас уверовал в свое бессмертие. Возможно ли, чтоб ему — умереть?!

Ему, чье имя у всех на устах. Теперь бы, кажется, и царствовать: недовольные изгнаны или сосланы, противники истреблены, а сильные роды — поголовно.

Здесь, на этой земле, блистали могущественные государства Ассирия, Вавилония, Финикия, Мидия!.. Сразу после коронации Шах-Аббас посетил гробницу Кира с ее великолепной пирамидой, построенной уступами из глыб белого мрамора. Сколько народов было покорено! И он, думалось Шах-Аббасу, вернет стране былое величие. Да, страны платили серебром и золотом, Египет обеспечивал хлебом, Киликия и Мидия доставляли лошадей, мулов, рогатый скот, Армения — жеребят, Эфиопия — черное дерево и слоновую кость. Вот они, следы былого величия, неужто рухнет и его держава? — развалины Персеполя; остатки стен из полированного камня, мраморные колонны, одиноко устремленные к небу, или поваленные, как поверженные воины. Изваяния сказочных животных. Шах-Аббас притронулся к чудищу, похожему на льва, — камень был теплым. Вот и широкая мраморная лестница, ведущая в подземные залы.

Пали династии, пали государства, пронесся через их земли Александр Македонский, а потом арабы, новое закабаление. Но персы отомстили им, заняв в споре суннитов и шиитов сторону шиитов, и Шах-Аббас сумел сплотить свой народ и другие поработанные народы единой идеей — шиизм!.. Он поощряет сограждан на воздание почестей убиенным вождям шиизма в месяц плача Махаррам, когда запрещены всяческие торжества, люди не ходят в бани, ибо баня — это праздник тела, не бреют головы и, соединившись вокруг зеленого знамени, устраивают шествия с факелами, бьют себя цепями по спине, и поют, *вот и объяснил бы, что такое театр*, и, затаив дыхание, слушают диалог между убийцей Шимром, или Шумиром, и «вождем веры» Гусейном (да не переведется род великомученика).

— Знаешь ли, какой сегодня день? — спросил Гусейн.

— Пятница и час молитвы, — ответил Шимр.

— А знаешь, кто я?

— Кто ж не знает тебя? Нет тебе равного в достоинствах!

— А знаешь, кто мой отец? Кто мать? И кто — дед?!

— А как же? Дед твой Мухаммед! Отец — светлоликий Али! А мать, о! кто не знает дочери пророка Мухаммеда?

Но я все равно убью тебя, ибо так начертано! —

И вынул Шимр (народ затаил дыхание, скоро разразится крик и площадь будет сотрясена рыданиями) из-за пояса меч и — ах! Отрубил голову Гусейну!

И так из года в год вот уже тысячу лет: плач по убитенному внуку пророка Мухаммеда — Гусейну.

Искусство проповеди возведено Шах-Аббасом в ранг великих занятий: сначала спокойно и тихо, потом, воспаляясь все более, вести речь на волне экстаза,— изложение истории убийства имама должно быть полно огня, увлекательности, проповедник, представляя рыдающую сестру пророка, должен сам рыдать, и чтоб при этом выражения сильного гнева, страха, печали попеременно сменялись на его лице одушевлением, страстью, призывами к мести убийц — презренных суннитов!

И передается искусство проповеди из поколения в поколение. Фатали уже в детстве видел и понимал (но отчего? кто вселил в него эту греховность?!), как много значит умение зажечь людей: ни один актер не достигнет такой силы и вкрадчивости голоса, такого выражения мимики (но надо ж суметь написать для них такой текст! сумеешь ли, Фатали?) и увлекательности, которые б отразились на слушателях. И суметь словами, мимикой, голосом приобрести власть над толпой (а толпа в мечети — и есть народ).

И Фатали именно в мечети понял впервые мощь фанатизма,— и ложное учение силою речи может завладеть умами.

Но прежде Фатали это понял Шах-Аббас (а еще прежде... кто же еще прежде?!). И иные меры для сплочения народа, тоже возведенные Шах-Аббасом в ранг искусства, с опорой на кызылбашей (все в одинаковой чалме с дюжиной пурпуровых полосок в честь двенадцати шиитских имамов): образ жизни по Корану — пятикратная молитва; омошение (даже песком, если нет воды, ибо сыпуч и льется!); взнос в пользу бедных в общественную казну, пост в месяц Рамазан; паломничество в святые города, и прежде всего в Мекку; и вера: в единого и милосердного бога, в предопределение судьбы и поступков людей, в загробную жизнь (и воздаяния за добрые и злые дела), воскрешение мертвых и страшный суд.

Строго соблюдается по стране обряд поста: нельзя, пока не станет различаться на заре белая нитка и черная нитка, есть, курить, вдыхать благовония, купаться, даже глотать слюну! Но зато ночью запретов нет, базары и улицы кишат людьми, вдыхай кальян, вкушай кебаб, услаждай слух музыкой, хохочи над фокусниками. Но чу: пушечный выстрел! скоро рассвет!.. И снова нетерпеливое ожидание заката.

Торговля расцвела: разводят табак, привезенный португальцами из Индии и поставляемый в Турцию, Египет, Аравию и Закавказье, производят мак, из которого изготавливается опиум, и вывозят в Китай, где он очень ценится и даже кое-где вытеснил рис и пшеницу. В конце мая, когда маковые головки подросли достаточно, их надрезают, и вытекающую жидкость собирают в сосуды; она высыхает и превращается в густую массу, из которой нарезаются плитки различной величины,— опиум.

Развито шелководство, и шелк утекает в Россию; поставляются лошади — туркменские, арабские, карабахские, ширазские; четко поставлена служба связи: почтовые гонцы по державе — верблюды двугорбый и одногорбый; верблюды — это и тяжелая служба, и шерсть, и молоко; ценятся в мире персидские шали из пуха кашмирской козы; со дна Персидского залива достается жемчуг — храбрецы смазывают уши жиром, чтоб не попала вода, вставляют в нос роговую трубку и ныряют в воду, чтобы добыть раковину.

Что же будут говорить потомки о нем?! У него постоянное войско, вооруженное новейшим огнестрельным оружием, отборные части из армянских и грузинских юношей, обращенных в ислам, вроде янычаров. Он завел торговлю с Европой. Построил дороги, мосты. Украсил свою новую столицу Исфаган дворцами и мечетями. Только семь лет! И ему — умереть? Теперь, когда он окреп, расправившись прежде всего с теми, кто помог ему вырвать трон у собственного отца. Теперь, когда близка победа над заклятыми врагами — турками-суннитами. В день страшного суда они станут ослами для иудеев, и повезут их в ад! Теперь, когда в поисках союзников он направил в Москву посольство с предложением царю Федору Иоанновичу, австрийскому императору Рудольфу, королям испанскому и французскому сплотиться в борьбе с турками!

Переговоры с послом шаха Ази-Хосровом вел везир Годунов, шурин царя. Он недоверчиво выслушал Ази-Хосрова и сказал, что по его сведениям персы ведут двойную игру: шах заключил договор с турками. Посол ответил, что султан — исконный и давний враг шаха. Предложение Ази-Хосрова, упомянувшего австрийского императора Рудольфа, Годунов воспринял как осведомленность Ази-Хосрова о тех переговорах, которые велись со времен Ивана Грозного, когда затевался общий поход христианских государств против Турции.

Шах располагал кое-какими письмами Ивана Грозно-

го — его посланиями к венгерскому и литовскому королям: «Мы с божиею волею как наперед того за христианство против поганства стояли (но шаха передернуло, хотя имелись в виду турки: еще неизвестно, кто чист, а кто поган!), так и теперь стоим».

Шах понял, что Годунов хотя и везир, но первый в царстве человек, ибо «много разумен и справедлив», и потому, как сказал Ази-Хосров, «положил надежду на шурина царского Годунова».

В Москве был и посол от императора Рудольфа — Варкоч.

«Если три великих государя будут в союзе и станут заодно на турецкого, то турецкого житья с час не будет». Что с того, что шах заключил мир с султаном и отдал в заложники шестилетнего племянника? «Ведь племянника своего мне не добить же было?» — сказал шах для передачи Годунову, а Ази-Хосров при этом вспомнил, как недавно шах, испытывая военачальника, заставил его принести ему голову своего сына, и тот принес, и шах сказал ему: «Ты теперь несчастлив, но ты честолюбив и забудешь свое горе — твое сердце теперь похоже на мое». Ази-Хосров об этом умолчал, но добавил: «Один племянник шаха у турецкого султана, а два посажены по городам, и глаза у них повынута: государи наши у себя братьев и племянников не любят». И в глазах Годунова Ази-Хосров, как показалось ему, прочел понимание.

— Стоп-стоп-стоп! Не пойдет! — цензор Кайтмазов снял очки, и Фатали увидел его голые розовые веки. — «Прочел понимание»? Параллели?! — И выразительно, одна бровь за другую зашла, взглянул на Фатали.

— Но ведь и там, и здесь ослепляли!

— ??

— Могу напомнить об ослеплении Дмитрием Юрьевичем, Шемякою, великого князя Василия Третьего. И прозван он был Темным, этот слепой князь.

А Кайтмазов не намерен слушать объяснений Фатали:

— Я тут карандашом, аккуратно. И это тоже: насчет свергнутого сыном шаха-отца.

— Но Шах-Аббас действительно...

— И это, — перебил его Кайтмазов: «Ази-Хосров, узнав, что толмач крещеный татарин, брезгливо поморщился». Это поощряется, как вы не понимаете?! Разве не знаете,

что уважаемый в столице христианин (то ли назвал имя, а Фатали не расслышал, то ли проглотил, не назвал) из бакинских беков?! А Мирза Казембек?! Был Мухаммед-Али, в имени сразу два имама! а стал Александром!..— И, хихикнув, добавил: — Вот вам в копилку еще один Александр!.. (Но откуда узнал?!).— И тут же, это Кайтмазов умеет, вдруг серьезно: — Он, между прочим, очень почитаем наверху!

Ладожский в минуту доброго настроения: «Знаете, Фатали, о чем я мечтаю? Вы же истинный христианин. Вот если бы вы приняли христианство... Могу ходатаем выступить. Вы — человек Востока и Запада, в вас соединились две стихии».

Фатали молчал, и никакого гнева, и вспомнил Мирзу Казембека, мол, стал христианином.

— Нет, нет,— забеспокоился вдруг Ладожский,— я все не против магометанства! — И стал пояснять:— Владимиру предстоял выбор меж трех соседних религий: магометанства, иудейства и христианства. Нравился ему чувственный рай магометан, но он никак не соглашался допустить обрезание, отказаться от свиного мяса, а главное — от вина. «Руси есть веселье пить,— говорил он,— не может быть без этого!» Отверг он и иудейство. Когда Владимир спросил: «Где ваша земля?» Ну нельзя же, в самом деле, перебивать, ведь видите, что занят! — закричал он (впервые видел его Фатали рассерженным) на Кайтмазова.— Так вот, иудеи сказали, что бог в гневе расточил их по чужим странам, а Владимир отвечал: «Как вы учите других, будучи сами расточены?»

— Да, читал,— удивил Фатали Ладожского.— Но вы забыли сказать и о гневе божьем!

Кайтмазов потом объяснил Фатали, отчего забеспокоился Ладожский, когда Фатали Мирзу Казембека вспомнил: ведь тот стал католиком, преуспели шотландские миссионеры: они очаровали Казембека рассказами о папе — про омовение ног в приделе Петра, крещение евреев в Латеране, и папа с высоты балкона святого Петра отпускает народу грехи; шепот водопадов соборной площади, говор толпы, коврами покрыты стены домов, и в Сикстинской часовне исполняется *Stabat Mater*¹. Переполох был в царском стане, боялись, как бы не переметнулся Казембек

¹ Начало молитвы католического богослужения во время страстной недели.

к извечным врагам! Тут же секретный циркуляр: «Необходимо иметь за ним некоторый надзор,— это Ермолов предупреждал министра, графа Нессельроде,— и не допускать его до связей с англичанами, в особенности же должно отделить от него всякую возможность отправиться в Англию». Но главное,— Кайтмазов, оказывается, не высказал до конца свои цензорские замечания, пока Фатали предавался воспоминаниям,— насчет объединенного истребления турков! А этого у Фатали и в мыслях не было!

— Да-с, помню, поэму запретили, цензурный комитет нашел, что едва ли может быть дозволено к выпуску в свет сочинение, в котором все народы призываются к уничтожению (??!) существования Турецкой империи, вопреки требованиям политики, чтобы было сохранено равновесие народов. Ты этого добиваешься, Фатали? Хотя поэма и не заключала в себе ничего собственно противного цензурным правилам!

— Но здесь все правда.

— И на это у меня запасено, Фатали. Помню, о кавказских событиях повесть мне показывали, о сновидениях черкеса. Запретили. Военный министр прочел книгу и ужаснулся. Он указал на нее шефу корпуса жандармов, сказав при этом, я сам слышал: «Книга эта тем вреднее, что в ней что ни строчка, то правда». А ведь вначале допустили. Думали извлечь из продажи, а государь, очень у нас мудрым он был, покойный, распорядился: не отбирать, а откупить партикулярным образом, дабы не возбудить любопытства, и — в архив-с.

— А я у Никитича видел эту книгу.

— Ну да, выпросил из архива Третьего отделения, знают ведь, что коллекция у него...— А сам же Кайтмазов и привез Никитичу.

— Но ведь была амнистия, доколе?

— Кстати, и я спросил о том же, лично у самого министра.

— Неужто у самого Тимашева?

— А что? Он, между прочим, большой поклонник Радищева! И даже добился отмены запрета на его книгу! Чего ты улыбаешься?

— Еще один Александр!

Кайтмазов сразу не понял (но ведь знает!) и решил, что тот о царе. Похолодело внутри. Но нет, Фатали не посмел бы — и чтоб мускул на лице не дрогнул?! А о ком — Кайтмазов с мыслями не соберется, смутил его Фатали:

— Ну и как? Привез хоть одну? — А Кайтмазов никак не выйдет из оцепенения. — С дарственной надписью Тимашева?

— Фу, — отлегло. — «Привез»! Ты очень уж больно спешишь! И пойми: начало самодержавной власти, монархические учреждения, окружающие престол, авторитет и право власти, начало военной дисциплины составляют и доныне основные черты нашего государственного строя! — И смотрит на Фатали: мол, радуйся, что у тебя, хоть и чуть моложе, такой опытный наставник. — А вдруг бы на моем месте другой?!

Но Фатали спешит к Шах-Аббасу: неужто неотвратима смерть? А как удачно прошла ночь у любимой... — Фатали задумался в поисках имени: как же назвать любимую жену шаха?

У Фатали был листок с женскими именами; правда, многие уже покинули сей листок и поселились в пьесах; листок не нашелся, и Фатали взял в руки свою книгу, она всегда перед глазами, и весь воскресный день ушел на поиски имени, и не мог оторваться от чтения: неплохо, черт побери, получалось у него! Но издадут ли когда на родном? Он хлопочет уже несколько лет, еще с тех пор, как решился вопрос об издании на русском, — «Комедии Мирзы Фет-Али Ахундова», книгой восторгалась Тубу и не могла точно выговорить: «в типографи канселари наместик кавкаски», — и целовала Фатали. «Не «наместик», а «наместник», — поправлял Фатали. А «цэ» и вовсе не получалось — нет в тюркских этого звука, и язык не приспособлен!

Издадут ли когда на родном? В первой пьесе ни одной женщины, во второй Колдуну, решившему разрушить Париж, надо было угодить ханум и ее дочери, и Фатали взял имя двоюродной сестры Ахунд-Алескера Шахрабану-ханум и ее дочери Шарафнисы. Не успел вспомнить Колдуна, а вот уже он сам, обложки ему показывает; или это видения? Но вот же — обложки! «на татарском языке». «Капитана?»

— Ты прежде удивляйся не этому, ибо в свое время произведут и в капитаны!

— Комедии и повесть! И повесть издадут?! (А год Колдун скрыл, и вот уж другая обложка.) Постой! — Ему хо-

телось получше разглядеть изображение тонкого месяца на звездном небе, но взгляд поймал лишь разночтение фамилий на русском «Ахундов», а на своем — «Ахунд-заде», а тут — новая обложка.

— Лондон? Везир Ленкоранский?

— Я тебе переведу обложку: издана как «книга для чтения для европейских путешественников, резидентов (!) в Персии и студентов в Индии», дабы глубже постигли нравы восточного мира — «с грамматическим введением, примечаниями и словарем, дающим произношение всех слов». — Колдун скрыл год и здесь: ведь выйдет через четыре года после того, как Фатали не станет. Что Фатали? Какие люди были — и те ушли! Даже Шах-Аббас!

«И ему умереть?» — сокрушался шах в те далекие годы, еще живой, полный сил и энергии. А каким удачным был вчерашний день, когда ничто не предвещало об опасном предсказании звезд, — пришли личные поздравления от английской королевы Елизаветы! Четырех персидских шахов пережила и все еще королевствует! Неужто и его, пятого, переживет эта вечная королева?

А потом поздравления от испанского и португальского короля — съела-таки Испания португальского гиганта, — вот оно, колесо фортуны! «Может, — думал Шах-Аббас, слушая поздравления, — времена такие наступили, чтоб во главе каждого государства сильный монарх? Елизавета, Филипп и он!» Но, кажется, в далеком-далеком прошлом была эта уверенность, это ликование, а не вчера!

На рассвете его ждали омрачающие дух предсказания звездочета. А какая прекрасная была ночь у любимой... — И вдруг осенило Фатали: есть имя! Он вспомнил женщину, очень она была хороша собой, чуть не накликала ему вторую жену! И как она горячо и быстро говорила, огонь, а не женщина, и не поверишь, что девушка рядом — ее дочь, — тогда о сюжетах не думалось, он только что женился, спас шекинского ювелира от неминуемой гибели, а тут не успел осмыслить случившееся, как пригласили в военную комендатуру, где допрашивали беглую горянку. И потоки слов!.. А как красива!

«... Да, я Сальми-хатун, сумела сбсжать! Дом мой возле русской бани был, я его отдала, когда ваши войска были, под лазарет для раненых, а Хаджи-Мурат, заняв Аварю, приказал сломать мой дом, а меня посадил в яму за

то, что уступила саклю под больных, моя дочь красивая, Ури ее зовут, по-вашему Гурия, Хаджи-Мурат отдал ее своему мюриду, а он молодой здоровенный изверг, был бы хоть обряд какой, она ведь жена офицера русской службы, Османа, он же ее убьет, когда вернется из похода, ведь есть у мусульман, хоть обряд временный. Ури не соглашалась и была наказана плетьюми, а потом мюрид взял ее на руки и унес, и она уже возвращаться не хочет, это Хаджи-Мурат такую месть придумал, чтоб нашу семью за родство с царским офицером обесчестить. А тут Кибит-Магома приезжает в Хунзах, все вышли его встречать, а я ушла с младшей дочерью, переночевали в Мокохе, утром перешли вброд Койсу, к вечеру были в Гергебиле, где и провели другую ночь после побега, а третье утро проходили Аймакинским ущельем и через самые Аймаки вышли на подъем, но нас задержали люди Шамиля; мюрид слушал меня и не верил, что я иду к родственникам в Апши, арестовал и отправил нас в Оглы. А оглинский наиб, я-то знала, но молчала, оказался дальним родственником моего покойного мужа, мне знаки делает, чтоб не выдавала наше родство, все мы родственники, а если начать копать, и с этим красивым мужчиной,— на Фатали показывает,— если долго говорить будем, родственниками окажемся». («Отчего вы краснеете, подпоручик? Ах, вас похвалили! Поздравляю!.. А дочка хороша, но сама еще лучше, глаз с вас не сводит!» — шутит прапорщик Илицкий.)

«Вы думаете, я не понимаю?» — вдруг женщина говорит.

«Так какого черта вы нам голову морочите с переводчиком?»

«А мне по-своему легче, не кричи, начальник, у меня зять царский офицер! Да, я бы с удовольствием отдала дочь вашему подпоручику!»

«Вы опоздали, он женился уже».

«А он мусульманин, может иметь и двух, и трех!» (Что же вы, Сальми-хатун, эти слова произнесли? Фатали ведь Фатальный — ему и это на долю выпать может!) И пойдут потом слухи: мол, у Фатали в Стамбуле жена. А распустит слух... Но о том — в иной раз, если Фатали представится случай.

«Наиб дал мне свободный проезд до Дженгутая,— продолжала женщина,— Хаджи-Мурат, едучи из Тлоха в Сиух, упал с лошади и ушиб себе голову и ногу, чтоб он и вовсе не оправился, в Хунзахе был с перевязанною голо-

вою и сильно хромал, а Кибит-Магома к Шамилю ехал, собираются окружить Темир-Хан-Шуру, а Хаджи-Мурат велел — кощунство какое! — сломать все дома рядом со старой мечетью и саму мечеть, где был убит второй имам Гамзат-бек, будто затем сровнял с землей, чтобы почтить память имама, возвысить его в глазах народа, а ведь сам-то его и убил! Благоустроил могилу Гамзат-бека, каждый день ходил туда, — ненавижу, мол, тех, кто убил его! А ведь сам, сам! это все знают! сровнял с землей, мстя за убийство Гамзат-бека, самому себе мстя, могилы аварских ханов. И свою собственную могилу, если б она была, растоптал бы!..»

Вот оно — имя для любимой жены Шах-Аббаса: Сальми-хатун! А раз имя найдено и дух нашел свою плоть, перо стремительно побежит по бумаге, ища средства от губительных предсказаний звезд.

Какая была ночь у Сальми-хатун!.. она, правда, капризничала: когда же привезут ей меха соболя и горноста? Но и в капризах своих Сальми-хатун была хороша.

Да, послы от белого падишаха привозили меха. Еще при Узун-Гасане были привезены соболья шуба и три шубы лисьи, шуба горностаева.

«Где же водятся такие звери, в каком государстве?» — спросил шах у послов, а те отвечали, что звери эти водятся в государевом государстве, в Конде и Печоре, в Угре и Сибирском царстве близ Оби, реки великой, от Москвы больше пяти тысяч верст, что земель у их царя много, в длину ходу двенадцать месяцев, поперек девять, «зачав, родит», — так же измерялось и батыево войско: занимает пространство на двадцать дней пути в длину и пятнадцать в ширину (а шах послал для царицы тридцать миткалей без трех жемчуга, и в миткале — по тридцать зерен без двух).

«Когда же?!» — не терпелось Сальми-хатун.

А ведь впервые за семь лет правления пришли поздравления. А в первое время, когда разнеслись по миру вести о казнях Шах-Аббаса, именно они, англичане и испанцы, стали проявлять беспокойство, выразили опасение, не отразиться ли, мол (??), на их отношениях (!). А их Филипп? Отравил родного брата! Убил — и все ради короны на голове! — родного сына! жену! «У вас бы мне поучиться, а еще с советами!» Ну да, жесток! Не первый и не пос-

ледний! И поголовное истребление непокорных племен,— где бы кто ни находился из кочевого племени текелю (за то, что восстали!),— правитель обязан схватить и казнить, чтоб ни одного на земле не осталось! И что же?! Или монархи забыли: монголы громоздили поле сражения пирамидами из голов убитых, а строя башни, устраивали столбы из человеческих тел и обмазывали их глиной и известью.

А когда султан Мехмет II, завоеватель Константинополя, а ведь недавно это было! приблизился к Бухаресту, он встретил на равнине перед городом двадцать тысяч турок, болгар, женщин и детей, посаженных на кол государем Валахии Владом-Дьяволом. И это возбудило в Мехмете II, вот что такое истинный монарх! не ужас, а восторг. «Как лишить такого человека его владений?» — воскликнул он. Тот же Влад-Дьявол любил пировать, окруженный трупами посаженных на кол людей.

Или мы забыли, как Кинис, бан Темесварский, сподвижник Стефана Батория, после победы при Кенчер-Безе над нашими воинами, плясал с куском убитого турка в зубах?

Истории известны полководцы,— к примеру, полководец арабского правителя Абдальмамка Гаджаджи,— которые с младенчества питались горячей кровью вместо теплого молока матери.

А крестоносцы, эти образцы, так сказать, рыцарского духа, занимались людоедством, лакомились мясом молодых арабов и жарили детей на вертеле, и один из ваших архиепископов (ну да, ведь Шах-Аббас мысленно говорит с европейцами, возмущенными его жестокостями!) уверял, что не следует им ставить в вину людоедство: ведь ели они мясо еретиков!..

А однажды, чтоб поразить послов (после победы над султаном), Шах-Аббас велел принести корзины, мешки из грубой кожи,— развязали и стали вытряхивать их, и на ковер посыпались отрезанные человеческие уши и носы, кровь на них почернела, и сразу запахло затхлой кровью.

Северные соседи, слава всевышнему, молчали, ибо им своих жестокостей не счесть; английский купец проездом был, из Шемахи, для вывоза отсюда шелка сырца, а то ли чтоб шаху угодить, то ли правда: дескать, только и делают там, чтоб длиннющий титул царя вызубрить, повторив его вполне от начала до конца, тщеславясь тем, что титул царский длиннее титула королевы английской; такое требование производит иногда большие неприятности и даже ссо-

ры с татарскими и польскими послами, которые не хотят употреблять название царя, то есть императора, и повторять в подробности весь его длинный титул,— рассказывал английский посланник, и записи свои он вручит вечной королеве, дабы она ужаснулась, прочтя о тиранической форме государства, далеко не сходной (!) с образом ее правления; «поступки их,— напишет посланник,— в какой степени они тягостны и бедственны для несчастного угнетенного народа, населяющего эту страну, в такой же мере могут подать мне повод признать себя счастливым за истинно королевское правление Вашего Величества, ибо Вы повелеваете не рабами, а подданными, которые исполняют свои обязанности из любви, а не из страха» (?!).

И об отце нынешнего царя, прозванного Грозным, говорил шаху посланник: во время прогулок или поездок царь приказывал рубить головы тем, которые попадались ему навстречу, если их лица ему не нравились, или если кто-нибудь неосторожно на него смотрел; приказ исполнялся немедленно, и головы падали к ногам его; и о массовых казнях — истреблении неугодных от чрезмерной мнительности и страха, впал в сильное подозрение, родившееся в нем вследствие худого положения дел, что изменники состоят в заговоре с поляками и крымцами.

Но создалось впечатление, что Шах-Аббас насытился казнями, тем более что основные соперники были истреблены, кое-кто, правда, сбежал, но с некоторыми он справился и за пределами империи. Шах создал даже меджлисы поэтов, музыкантов, нечто вроде «вольного клуба». И дошло до него, что новый духовный глава шиитов Ага-Сеид, образованный малый, странно толкует догмы Корана, мол, пророк Мухаммед повелевает мусульманам, не исключая и монархов, управлять, советуясь.

И Ага-Сеид смеет говорить это, когда даже невысказанное сомнение, отразившееся во взгляде, жестоко подавляется. И шах неожиданно пришел к идее «вольного меджлиса» — собрать людей и послушать, о чем они думают? Шаху открыться побоятся, а умному и образованному Ага-Сеиду — доверятся.

Но сказано поэтом: «Говорящего воодушевляет слушатель». Еще куда ни шло, когда Ага-Сеид толковал туманные части Корана насчет многоженства,— мол, Мухаммед ограничил четырьмя, но и это разрешение обставил условиями: «Если не можете делить ровно свои чувства между женами, берите только одну». А возможно ли делить?

Нет! Вот и получается, что многоженство противно духу Корана.

Молва об изъянах Мухаммедовой веры идет по миру, и надо пресечь ее, думал Ага-Сеид. И доказать, что ислам лучше христианства и иудаизма. Что? Рабская доля женщин? — Ага-Сеид вздохнул, и печаль отразилась на его лице: «Вы напрасно думаете, что положение женщин по исламу печально. До пророка арабы на женщину смотрели как на исчадие ада, низкую тварь, дьявольское порождение. Девочек, случалось, живыми зарывали в землю. К этим невеждам Мухаммед обращается в Коране так: «О люди, бойтесь Аллаха, который сотворил вас» — и мужчин, и женщин — «из одного и того же вещества». Это ли не проповедь равенства между женщинами и мужчинами?! В Коране целая глава уделена женщинам! А как следует толковать восклицание Мухаммеда о том, что «Аллах поместил рай у ног матерей»?.. После бегства Мухаммеда из Мекки в Медину к нему приходили нагие арабки и, возлежа в непристойных позах, говорили: «Рассказывай про своего аллаха, Мухаммед». И пророк принужден был сказать: «Закрывайте свои тела». Это ли затворничество!»

Накануне у шаха был главный молла: необходимо упрочить в народе авторитет властелина, укрепить мысль о священном происхождении династии Шах-Аббаса — Сефевидов, прочертить его родословную со времен пророка Мухаммеда. Прежде главный молла пришел посоветоваться с Ага-Сеидом. «Култ шаха и без того велик,— заметил Ага-Сеид,— к чему еще родословная? Есть в мире ученые мужи, и они в душе будут посмеиваться над нашей родословной, рассчитанной на темную массу!» — «Но, создавая култ,— возразил главный молла,— мы, приближенные шаха, обезопасим и себя!..» Как-то между слов главный молла проронил фразу о том, что, дескать, есть люди, ваше величество падишах, которые скептически относятся к идее родословной! Кто? Ага-Сеид! А тут еще упрямство Ага-Сеида: не назвал имя презренного раба, несомненно агента турецкого султана, спросившего в вольном меджлисе о спорах между суннитами и шиитами на право владения Багдадом. В следующую минуту Ага-Сеид, может, и назвал бы имя христианина или иудея, но было поздно — шах и сам не помнит, как вонзился в грудь Ага-Сеида тонкий, как стебель, клинок... Меджлис был разгромлен.

И чего это он вспомнил об Ага-Сеиде?! Ах да: если был

бы он жив, непременно подсказал, как обмануть звезды, предсказавшие гибель венценосцу.

А какой накануне был прекрасный день! После английского и испанского посланников был созван меджлис поэтов в честь Шах-Аббаса: читали оды. Семикратный рефрен возносил трон, и меркли семь планет пред славой шахиншаха (обыгрывали седьмой год его царствования). Семижды семь бейтов-двустийшей единой рифмой воспевали Сулейманову мудрость и Рустемову мощь шаха. «Аллах мой,— прослезился он,— как меня любят мои поэты! Удивительно устроен мир: чем больше слез и крови проливаешь, тем больше любят тебя! А все потому, что казнил ради блага царства!»

Сладкоречие ласкало, но строки, прожужжав над ухом, улетали.

И с такой силой вдруг потянуло к Сальми-хатун, что шах оборвал царя поэтов. С другими женами нетерпелив, лишь голод и его утоление, а с нею не любит спешить. Другая, застигнутая врасплох, и не поймет сразу, что же произошло: влетел, сразил, и только шея горит от колючих усов,— почему не дал знать заранее, как это обычно делается, через главного евнуха?!

Поди разбери, какая сила потянула его в покои голубые, а не оранжевые или серебристые, и не к индианке или грузинке, а к румийке или еврейке. Или к розовощекой, белой-белой, с синими глазами, светящимися и в ночи,— славянке. Есть и голландка, подаренная почему-то турецким султаном,— долго думал шах над разгадкой столь таинственного символа, а есть, несомненно, какой-то знак; не разгадав, в долгу не остался: тот ему христианку, к которой и не знаешь, как подступиться, а он султану — турчанку, напомнить об удачном набеге (а тут и разгадка: мол, владения султана простираются до неведомых шаху земель). И конечно же в гареме шаха немало персиянок, и среди них самая желанная — Сальми-хатун. Неведомо, чем прельстила. Обычно утолит — уйдет или задержится из любопытства: чуждых кровей, веры и языка — познаем и эту! А у Сальми-хатун на всю ночь. И никакие мировые события не оторвут от нее. А в минуту, когда кажется, что именно это — и ничего более не надо,— готов и от трона отречься.

Нечто подобное было у шаха и в пору террора — с персиянкой; испугало его чувство, когда показалось, что она власть над ним заимела, тянет к ней, и чувство это рас-

слабляет, сладостно до слез, готов любое ее желание исполнить, но, к счастью, она молчит! А если заговорит? А однажды в разгар дня, когда везир докладывал о положении на юге страны, где по наущению афганцев был поднят мятеж, а тут же рядом, дожидаясь очереди, чтобы рассказать, как была подавлена эта неслыханная самонадеянность черни, стоял командующий, Шах-Аббас прервал везира и удалился к ней. И пробыл у нее допоздна. А в зале его ждали! И он, презренный, еще смеет мечтать о великой державе?! И Шах-Аббас в гневе задушил персиянку, самым дьяволом подосланную к нему, чтобы воля царя была мягче воска.

А Сальми-хатун и умна! Вот и теперь, перед рассветом, он в который раз потянулся к ней, а она: «Усни, мой шах, завтра тебе решать судьбу преданного тебе народа!» И ей бы, подумал, засыпая, шах, учредить титул; но какой? Может, «Солнце царства», «Шамсуль-Салтане»? Это было бы впервые в истории Востока: титул женщине!

ЗВЕЗДЫ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ГИБЕЛЬ

И тут у дверей послышался шорох, чьи-то шаги остановились у покоев Сальми-хатун. Шах вскочил, схватившись за кинжал.

— Эй, кто там? — В дверях со свечой в руке стоял главный евнух Мюбарек. — Что еще? — нахмурился шах, встревоженный столь неожиданным появлением евнуха. Поистине случилось невероятное, если евнух осмелился, не дожидаясь утра, потревожить шаха.

— Мой шах, — низко поклонился Мюбарек, — главный звездочет только что прибежал ко мне и запыхавшись сказал, что немедленно хочет удостоиться лицезрения его величества царя царей вселенн...

— Короче! — оборвал его шах.

— ...видеть вас по весьма важному делу.

На первый взгляд расположение звезд казалось благоприятным: благодетельные Солнце и Юпитер шествуют в созвездии Рака, полонив Марс. И Сатурн, не менее вредная, чем Марс, планета, находится в созвездии Скорпиона и потому не в силах прийти на помощь пленнику, а Меркурий, планета изменчивая, — в созвездии Льва, в доме тоже счастливом, и потому от него никаких козней ждать не приходится... Но не спеши с выводами, говорил учитель, подумай еще. Да, действительно Марс пленен, он в осаде,

но Меркурий-то и от Солнца далек и потому болен, а болезнь Меркурия — предвестник насильственной смерти! Венера могла бы помочь обессиленному болезнью Меркурию, но между ними — Солнце, и лучам Венеры никак не пробиться. А кто господствующая планета гороскопа? Луна! Ведь она живет в созвездии Рака, стало быть, Солнце и Юпитер у нее в гостях! Но хозяйка, находясь рядом с Солнцем, близится к полному своему уничтожению и потому обессилена!

Звездочет уловил коварство звезд и за обманчивым хитросплетением планет, сулившим, казалось бы, счастье, разглядел истинный смысл — смерть венценосца! Нельзя медлить! до рокового сближения Марса и Сатурна, когда обрушится удар на венценосца, остаются две недели! Очи царства, «Эйнуд-Салтанэ», этот титул дал звездочету шах за его могущество, заспешил к шаху. Но какая сила нужна, чтоб уста вытолкали слова о фатальной гибели! Может, подождать до утра? Он вернулся, еще и еще раз подсчитал и прочертил ход звезд, заглянул в новейшую астрологическую таблицу Улугбека: никакой ошибки! Раздумывать некогда — шах всемогущ, и он найдет способ!

И только тут Очи увидели, что шах — такой же смертный, как и он, Садрэддин; шах побледнел, но звездочет не смеет это заметить, голова его низко опущена, и он смотрит на свои загнутые кверху острые носки чувяков, видит кончик торчащей белой бороды. И только сейчас дошел до звездочета ужас его положения: мало ли случаев, когда за дурные вести казнили?!

— Ты свободен, иди!

Так и не разгибаясь, поплелся к выходу.

Шах смотрел на светлеющее небо: за что?! и теперь, когда жить да жить ему на радость народу, крепя мощь! Дай ему срок — и он вернет Багдад! Укрепитесь в Арабистане, Туране, Индостане!.. Может, звездочет ошибается? Но астрология — династическая профессия звездочета, ведет свой род чуть ли не от Абу-Али-Сина.

И шах приказал немедленно вызвать доверенных людей (тут-то и пожалел, что нет в живых Ага-Сеида!): везира, военачальника, казначея и главного моллу. Если не помогут — отрубить им головы и призвать новую партию ханов, на сей раз титулованных.

Сколько ханов в этой восточной стране, а помочь шаху некому! Эти Очи, Особозаслуженные или Высокодоверительные! Чуть выдвинется человек — и тут же ему титул

хана. И как не быть суеверным, когда колесо фортуны в своем странном повороте превращает вчерашнее ничтожество в хана-советника только за то, что он обладает зычным голосом и может прокричать о своей верности шаху?

Лишь венценосцы прежде величались ханами; в Турции только султан носит это звание; а Сефевиды, дабы унижить турецкого султана, а заодно и суннитскую Турцию (недаром ведь Шах-Исмаил, родоначальник Сефевидов, принципом веры заменил принцип этнический. «Важно,— говорил он,— не то, что ты перс, турок или туркмен, а то, что ты шиит или суннит!»), стали давать ханское звание каждому испытанному слуге и рабу, и титул хана почитается выше титула султана.

Прошли закалку на верность многие, особенно эти четверо, которых ждет Шах-Аббас.

У военачальника он отнял его самую красивую жену,— она ему понравилась, и тот уступил. А ведь из-за нее военачальник рисковал жизнью, ворвался во дворец к турецкому вельможе и увидел в углу испуганную девочку, созревшую для утех; еще не обидно, если бы шах взял ее себе,— так нет же, он унижил военачальника, отослав ее в дар турецкому султану (в ответ на голландку!); и вручил султану сам военачальник. И рабы доказывали, кто как мог, свою верность. Военачальник, он же министр по делам безопасности шаха, предотвратил покушение, а стрелу, которой неизвестный пытался убить Царя Царей, на память шаху вручил: наконечник обмазан ядом гюрзы. Сидел, врагом подосланный, в укрытии, нечто вроде бойницы в крепостной стене, и ждал, когда выедет на своем белом коне Шах-Аббас. «Гяур?» — «Да нет же! Свой, наш, шиит!» Куда тянулись нити: родственные? дружеские? кто просто здоровался, как и положено мусульманам: сколько на дню встретятся — столько и здороваются; и к кому привела нить — казнь. А злодея убила собственная же стрела. Дорога, по которой любил ехать шах, вдруг оказалась опасной: вырыта (за ночь, что ли?) глубокая яма, а на дне — острые камни; и укрыта, спрятана яма так искусно, что не разглядишь. И опять же первым министр шаха узнал.

Шах-Аббас, как-то обходя караул собственной конной охраны, в которой служил и сын везира Ашраф-хан, уловил в его взгляде недобрый огонек, и конь его («Научись управлять им, когда шах устраивает смотр!») перед шахом сильно головой мотнул... Ашраф-хан побледнел, и этого было

достаточно, чтобы шах объявил везиру об изменнических планах его сына. Везир залепетал невнятное, но тут же, понимая бессмысленность возражений, осекся и уже в следующий миг, выказывая верность господину, произнес, надеясь на снисхождение: «Вот тебе мой меч — отсекай голову изменнику!» И этим же мечом палач казнил сына везира — Ашраф-хана, и невдомек отцу, что история с изменой сына всего лишь испытание на верность; и затяни он свой неуместный лепет — перестать ему быть главным советником; а случится, и в первом неудачном багдадском походе сын самого шаха попадет в плен к туркам, и он обменяет его на турецкого туменбая, и прикажет в назидание воинам казнить; «Уж если сын, — скажет шах знаменитые свои слова, — оказался предателем, не ждать успеха от похода!» И эти его слова войдут в историю: «Пусть покарает сына мой меч!»

И поскакали гонцы, гулким топотом коней вздымая пыль, белеющую в рассветный час, чтобы немедленно доставить к шаху партию советников.

И вот уже скачут они во дворец.

«Может, новая война?» — думал везир. Но ведь вчера еще, слушая поэтов и музыкантов, шах был весел и ничто не говорило о его намерении затевать новую войну. А главный молла ночью плохо спал: думал о способах обращения в шиизм иноверцев. Казначей был, как всегда, бодр, — благодаря его усилиям казна ломится от богатств; а деньги — и власть, и армия, и оружие; шах наметил широкую программу созиданий в стране, расширяет гавани в портах Персидского залива, куда входят корабли далекой Англии, Португалии и Испании, благоустраивает дороги, строит мосты, караван-сарай, чтоб облегчить участь паломников, которые устремляются из Индостана в Багдад (и лазутчики!) на поклонение шиитским святыням, — Багдад незаживающая рана, шах непременно вернет Багдад! А военачальник считал, что за него думает шах, и ехал к нему, ни о чем не печалась.

Известие было ошеломляющим. Им даже разрешено в присутствии шаха сесть, что делается при крайне ответственных заседаниях(?).

— Что ж ты посоветуешь, Опора царства, мой Азидуль-Салтанэ?! — начал шах с везира.

— Преданность ничтожнейшего раба, наш великий царь царей... — вовремя осекся, чтоб не сказать «вселенной»: не надо напоминать о звездах! — благородные пред-

ки шаха по безграничной доброте своей назначали везирами людей недалеких.

— Вот и докажи, на что способен!

— Мой шах,— это конец, подумал везир,— не было случая, чтоб ничтожнейший раб твой... но как предотвратить движение звезд, убей меня, мой шах!..— хоть раз мужчиной быть!

— А что посоветуешь ты, Меч Царства, мой Сейфуль-Салтанэ?! — обратился шах к военачальнику.

— Победоносное войско твое еще сотрясает мир, дай срок, и султан...

— Поздно! Он сожрет вас, когда меня не будет!

Военачальник уставился на шаха, от натуги лопнут вены на шее, пот будто бородавки.

— Может, мой шах,— еле слышно говорит казначей, Помогающий Царству, Насрус-Салтанэ,— звездочет ошибся в расчетах, я готов ему помочь!

А шах уже смотрит на главного моллу:

— Ну, Вера Царства, мой Этимадус-Салтанэ?!

«Неужели шах забыл о моем генеалогическом древе?!» Но молла ухватился за мысль казначея: пришла пора рассчитаться со звездочетом, этим выскочкой, будто он один служит шаху!

— Мой шах, видано ли, чтоб, указав яд, звездочет не знал противоядия?! Если он мудр и учен, пусть найдет средство от беды, которую предсказал!

Звездочет знал, что за ним еще придут, и лихорадочно листал астрологические книги. Но ни в астрономических таблицах аль-Баттани, ни в космографическом труде «Жемчужина чудес и перл диковинок» Сираджэддина Абу Хафс Умар ибн аль-Варди, даже в такой многомудрой книге, как «О небесных движениях и свод наук о звездах» Ахмеда ибн Мухаммед ибн Касир аль-Фаргани,— нигде не указано средств!

И он, дабы отвратить от себя беду, придумал длинную речь в защиту астрологии.

«Да,— скажет он,— звезды управляют судьбой людей, а Аллах управляет звездами. Нелепо думать, что Аллах создал небо и звезды без пользы для мира. Небо — часы для года, месяцев и дней. Но для этого было бы достаточно Солнца и Луны, к чему остальные пять планет? Сатурн медленный, Юпитер блистающий, прекрасная Венера — подруга Солнца, звезда вечерняя и утренняя, Марс и Меркурий?! И остальные звезды — неподвижные в своем обли-

ке? Или они не влияют на людей? Солнце меняет времена года, фазы Луны увеличивают и уменьшают головной и костный мозг животных, древесные соки, тело раков и улиток. Встреча Венеры и Марса вызывает дождь, а Юпитера и Меркурия — бурю и непогоду. Когда планеты в знаках неподвижных звезд, их действие усиливается, ибо звезды подобны женщинам и сами по себе бесплодны, если не оплодотворены планетами».

И он напомнит шаху о недавнем наводнении, которое тоже предсказал: когда планеты влаги соединились в созвездии Рыб, грозившем новым потопом, — президент Тулузы даже построил Ноев ковчег. И о небывалой засухе, когда Сатурн и Марс соединились в знаке Весов, а Солнце и Юпитер — в знаке Льва.

«Разве не помнит шах о недавней чуме, которую предвещали звезды, — Сатурн и Юпитер сошлись в знаке Льва вблизи туманных звезд Рака, что еще Птолемей считал предвестником мора?» И он, звездочет, предсказал чуму! А разве не влияет расположение звезд в момент рождения человека на соотношение в нем долей четырех элементов: огненного, холодного, сухого и влажного, от чего зависят темпераменты и характеры, болезненные задатки? Еще Арастун-Аристотель говорил, что тело, рожденное во время соединения Солнца и Луны, слабеет и недолговечно, в особенности если Луна идет навстречу Солнцу. Опытные повитухи и матери особенно беспокоятся о таких детях, и понятно почему: Луна управляет соками новорожденного, и если она не вливает своего света в тело, то соки в нем иссякнут, и ребенку суждены чахотка или проказа, а если при этом Сатурн и Марс вливают в тело свой яд, то ребенок проживет недолго.

Все жидкие части тела — кровь, головной и костный мозг — прибывают и убывают в зависимости от Луны. Но влияние Солнца и Луны усиливается или слабеет в зависимости от остальных пяти планет. И разве не соответствует каждая часть тела особой планете? Сердце — Солнцу, мозг — Луне, печень — Юпитеру, почки — Венере, селезенка, скрывающая в себе черную желчь, — Сатурну, желчный пузырь — Марсу, легкие — Меркурию?

Медицина не объяснит, а моя астрология объяснит, почему даже близнецы, зачатые и рожденные вместе, столь непохожи! А разве можно пренебрегать предсказаниями звезд? Даже европейцы верят им! Астролог Родриго Фалейро, учивший своего друга Магеллана вычислению по

звездам долгот, отказался от участия в его кругосветном путешествии, так как прочел в звездах, что астроном, сопровождающий экспедицию, погибнет по дороге. И севильский астроном Андреас де Сан-Мартин, поехавший вместо него, был умерщвлен на острове Зеба».

(Бывало, конечно,—но об этом астролог умолчит,—когда фанатики астрологи видели, что их предсказание не сбывается, то они пытались сами приложить к этому руку. Некий астролог предсказал пожар города, и когда этого не случилось, поджег город, решив прийти на помощь звездам, но был схвачен и казнен.)

«А разве я,—продолжал тем временем астролог (а Фатали заслушался, очарованный познаниями шахского звездочета),—не предсказал мор, обрушившийся на соседнюю Турцию и миновавший нас, уйдя в Европу? А сумел я это предсказать, ибо денно и нощно наблюдаю за звездами, чтобы отворотить неожиданные удары. К тому же появилась комета, и лихорадка, которую я предсказал, унесла тысячи жизней!..»

Но станет его слушать шах! И точно.

— Как осмелился ты грозить мне бедою,—не дав опомниться звездочету, разразился гневом шах,—и не обмолвиться ни словом о средствах борьбы?!

— Я думал, мой шах!

— Говори!

— Дай срок!

— Палач! — и в мгновение из-под земли вырос палач с мечом за поясом и веревкой в руках: рубить или вешать? — Уведи изменника и отруби ему голову!

«Если его казнят, не миновать казни и нам!» И военачальник пал на колени:

— Шах, кто же выручит нас из беды, если этому презренному ишаку, достойному смерти, отрубят голову?! Пусть подскажет, а потом и казни!

Но тут вошел главный евнух и доложил о старейшем звездочете Мовлане. Неужели еще жив этот астролог, служивший чуть ли не Длинному Гасану?!

ЗВЕЗДЫ ОБМАНУТЫ

— Старческой немощью я обречен, мой солнцеликий шах,—Мовлана часто-часто задышал,—проводить остаток жизни в одиночестве. Но неблагоприятное расположение

звезд принудило меня поднять старческие кости и предстать пред вами, мой шах! Через пятнадцать дней планета Марс...

— Знаю! — прервал его шах.

— И о созвездии Скорпиона?

— Да!

— Хвалю, хвалю ученика! Но неужели вы знаете и о том, как отвратить беду?

— Это я хочу услышать от вас, Мовлана!

— Да, вряд ли кто подскажет! Звездочеты пошли нынче неопытные, не то что в мое время! Мой учитель, бывало...

— Мовлана, вы хотели подсказать! Я жду!

— Запаситесь терпением, мой шах, ибо то, что я предложу, ни в одной книжке не прочтете. И нет на земле человека, кроме меня, кто бы подсказал. Рок фатален, его не избежать, но рок слеп, и от него можно спастись. Мой шах, в эти злополучные дни, но не позже чем завтра, вы, Шах-Аббас Великий, должны отказаться от престола...

— Что ты говоришь, Мовлана?! — Шах подскочил, и все вздрогнули.

— Имейте терпение, мой шах! Да, отказаться от престола, передав трон какому-нибудь преступнику, достойному смерти, и удалиться с глаз, пребывая в неизвестности. Когда разрушительное действие звезд разразится над головой грешника, который в это время будет полновластным шахом, вы вновь займете свой трон и будете царствовать в полном счастье и здравии во славу нашего могучего отечества! Но рок начеку. Народ должен считать грешного злодея подлинным шахом. Необходимо также расторгнуть брачные узы со всеми женами, и с теми из них, которые согласятся стать женой простого смертного Аббаса Мухаммед-оглы, можно будет заключить новый договор.

Все молчали: хвалить? а вдруг шах не одобряет? хулить? Но шах заметно повеселел, и все стали хвалить Мовлану — его находчивость и стратегический ум. Да, но где найти такого человека?! Чтоб, во-первых, был нечестивцем, достойным смерти, и чтоб, во-вторых, став шахом, не казнил их всех?!

Шах обратил взор к везиру, и тот сразу:

— В стране нет недовольных, мой шах! Все славят тебя! — И, уловив сомнение во взгляде шаха, добавил: — Может, один-два презренных отщепенца, — во взгляде шаха недоумение, и везир поправился: — Но и тем мы оторвали головы!

А шах смотрит на военачальника, вспомнив, что он к тому же министр по делам безопасности престола.

— Есть у меня один на примете, мой шах, мы ведем за ним наблюдение.

— Почему не докладывал прежде?

— И очень хорошо поступал, мой шах! — осмелел Мовлана, чувствуя себя героем дня. — Кого б тогда мы на трон посадили?

— Твоя правда, Мовлана, — похвалил его шах. — Так что же он?

— Грешник, которых свет не видел! Появился здесь недавно.

— То-то я думаю, где у нас взяться нечестивцу?! Откуда он?

— Кажется, из Гянджи.

— Быть не может, чтоб с родины шейха Низами Гянджеви!

— А может, из Шеки?

— Это возможно! (Знал бы, вспомнил о Фатали, но как в такие дали взором проникнуть?) Ну, так кто же он?

— Прибыл к нам с армянскими ремесленниками.

— А может, армянин?

— Нет, нет, чистокровный шиит! Юсиф его имя!

— И что же он?

— Хулит бескорыстных служителей исламизма! Будто обманываем народ, вдалбливая ему в голову повиновение и послушание. Утверждает, что все должностные лица, начиная с сельского старшины и кончая самым венценосцем, — тираны!

— И он до сих пор не казнен?! Чем же занимается твое министерство безопасности?

— Я хотел разом обезвредить всю его шайку! Но кара звезд...

— Что еще говорит этот Юсиф? — перебил военачальника шах.

— Он считает, что каждый сам по себе аллах.

— Аллах? О боже! — расхохотался шах, и, подражая повелителю, захохотали все; лишь Мовлана, по рассеянности упустив, о чем шла речь, не понял, отчего все так дружно хохочут.

— Я осмеливаюсь думать, — решил сказать решающее слово Мовлана, — что шекинец Юсиф это и есть тот человек, которого заждались в аду. И благодарение судьбе, что хоть один негодник нашелся в нашей избранной аллахом стране!

Ему суждено стать лжешахом и погибнуть от разрушительных действий звезд.

Тут же был составлен шахский указ о присвоении Мовлане титула «Солнце царства» («Шамсуль-Салтанэ»); идея возникла сегодня, и титул мыслился как женский, но судьба распорядилась иначе,— для Сальми-хатун (и шах поспешил к ней) он придумает новый. Но этого не случится, как не успеет и Мовлана получить шахский фирман,— слишком разыгралась сегодня фантазия у Мовланы; вздумав тягаться со звездами, он сместил могущественного шаха, возвел на престол лжешаха, предначертал его гибель и адские муки: в келье, всеми позабытой, ждал Мовлану, кто бы вы думали? сам Азраил, ангел смерти.

А на следующий день собрались во дворце министры, вельможи, сановники, ученые, потомки пророка сеиды, чиновники.

Вот и шах: на голове сверкающая корона, в руках золотой скипетр, усеянный драгоценными камнями. Он с печалью оглядел свой верховный совет; каждого он знал лично, многих одарил чинами и титулами, и в их взорах, обращенных на шаха,— неистребимая покорность и рабское подбострастие; здесь Высоты Страны и Доверия Государства, Руки Царя и Уши Царства, Роскоши Государства и Доставляющие Победу Царству, Тени Царя. Благоговейно взирают на повелителя Знамя Страны и Осведомляющий Государство («Мукбируд-Довле»), Степенность Царства и Правота Страны («Муваккрус-Салтанэ» и «Сидкуль-Мульк»), Абсолютно Правдивый Человек Государства («Сиддикуд-Довле»).

В последний миг, перед тем как произнести речь, взгляд шаха зацепил Пышность Трона, он же заведующий шахским гардеробом, Сундукдар, и Узы Царства, он же... но должности его шах не вспомнил.

— Уже седьмой год,— начал шах,— я царствую над вами. Но по причинам, которые не считаю нужным открывать вам, я вынужден отречься от верховной власти и предоставить ее лицу, более меня достойному и опытному в делах правления. Его вам назовут, и вам — повиноваться ему! Несчастье падет на голову того, кто нарушит мой приказ и осмелится проявить к нему малейшее неповиновение!

Накануне шах издал, это он придумал ночью, фирман об отмене с сего дня и впредь казней посредством пролития

крови и удушения: власть звезд не подвластна никому, даже шаху, ну, а все же?! что сильнее — приговор звезд, он неотвратим! или указ шаха, он тоже неколебим!

Шах снял с головы корону и положил ее на трон, отстегнул меч и облачился в простую одежду:

— Отныне я бедняк Аббас Мухаммед-оглы.

В задних рядах кто-то всхлипнул, слышался звук падающего тела.

Увидев шаха в простом наряде, красавицы гарема готовы были расхохотаться, но грозный взгляд властелина подавил их смех.

— Милые мои подруги,— сказал женам шах,— я принужден сообщить вам о весьма печальном событии: с этого дня я уже не шах.— Страх овладел красавицами, когда по окончании обряда расторжения брака Мюбарек разорвал брачные акты.— А теперь,— обратился к красавицам шах,— если какая-нибудь из вас согласится стать женой простого смертного Аббаса Мухаммед-оглы, то молла совершит брачный акт.

Все женщины дружно выразили согласие вновь стать женами шаха, ибо он был молод и красив. Все, да не все! Сначала отказалась вступить в новый брак грузинка. Потупив смущенно глаза, она заявила, что во всех отношениях чувствовала себя удовлетворенной, находясь в брачном союзе с шахом, но теперь, когда она может изъявить свое желание, ей, помимо своей воли взятой в шахский гарем, хотелось бы вернуться на родину. Что ж, она прислана в дар правителем Грузии, пусть возвращается и держит ответ перед своим царем (там не поверили ее рассказам и решили, что сбежала, хотели вернуть, но разразились такие события, что не до нее — уцелеть бы самим). И приданое свое забрала грузинка, покидая шахский дворец... «А какое приданое у нее могло быть?» — задумался Фатали. И тотчас вспомнил про жену.

— Тубу! — позвал он ее.— Вот и пригодился мне твой рассказ!

— Какой? — насторожилась она.

— Помнишь, о приданом.

— И что же?

— Грузинка покидает Шах-Аббаса и настаивает, чтобы вернули ей приданое. Ты тогда не досказала насчет платьев.

— А она что же, из простого рода?

— Ну что ты — ее прислал шаху в подарок правитель Грузии!

— Тогда я ей такое приданое придумаю, что и Шах-Аббасу не снилось! Пиши: платье испанской парчи изумрудно-желтое с пуговицей золотой; и платье красное вязаное с девятью пуговицами жемчужными; и платье французского атласа соломенного цвета с девятью парами золотых крючков. И девять платьев чесучовых, и девять платьев французского шелка, два подобных цвету граната... Еще?

— Спасибо тебе, Тубу-ханум. Издадут повесть, куплю тебе на гонорар, как ты сказала? — «подобных цвету граната» (и действительно купил, но не платье, а ковер, и то отдал его потом нищему). А еще хотел купить (видел однажды у невестки Воронцова) три рубиновые запони, пришитые на темно-лиловую бархотку, обхватывающую ее шею, — но ведь не станет носить Тубу!

Вслед за грузинкой отказалась вступить в брак еще одна красавица: сама Сальми-хатун! Удар был столь предательским, что шах, забыв на миг, что он отныне просто Аббас, ринулся на нее, но та, будучи всего минуту назад женой шаха и став по велению рока шахской вдовой, властно подняла руку и показала простолюдину, чтоб он знал свое холопское место.

Еще ночью, когда шах был с нею, она подивилась чрезмерной его ненасытности, уже не хочется, а пристает, подогревая себя, будто кто-то отберет ее! Вероломная!.. А он даже, грех подумать! ей пел! Да, да, пел в новогодний праздник Новруз-байрам! «Нет праздника без жертв, да буду твоей жертвой я!» И декламировал любимые стихи предка — Шах-Исмаила! Наивная, она решила, что Шах-Аббас навеки оставил престол! А разве нет? Или ты забыл, шах, что отречение должно быть искренним и чистосердечным?! Иначе, если в душе ты будешь считать себя повелителем, достигнет тебя кара звезд, где бы ты ни скрывался.

Сколько перьев тростниковых да фиолетовых чернил, перья их пьют и пьют, надобно, чтобы рассказать о Юсифе, искусном мастере по седлам, которого верховный совет наметил на самую высокую из придуманных человечеством

должностей: шах!.. По-разному у разных народов и в разные времена называется эта высокая должность, а без нее как обойтись?! Пытались — не вышло! И седло, которое шьет Юсиф, что трон: воссесть, чтоб удобно было погонять, — кто коня, а кто — меня.

Юсиф по отцу, как и Шах-Аббас, Мухаммед-оглу, сын Мухаммеда; чистое совпадение, ибо Мухаммедами населен мир, исповедующий ислам. Седельное дело — потомственная профессия, но отец решил отдать сына Юсифа в гянджинскую, основанную еще шейхом Низами Гянджеви, духовную школу. И Юсиф в медресе изучил Коран, астрологию (сомнение в ней и погубит!), историю царских династий, особенно Сефевидов, язык фарси как государственный, сменивший во времена Шах-Аббаса язык азербайджанско-тюркский, введенный в свое время первым Сефевидом — Шах-Исмаилом (чьи стихи любил Шах-Аббас).

И вот однажды между учителем (Мирзой Шафи?!) и учеником (Фатали?) произошел в келье мечети разговор...

— Ну это ты брось, Фатали! — Кайтмазов откинулся на спинку кресла. — Пересказывать свою жизнь! И как отвратили Юсифа, то бишь тебя, от духовного сана! — Фатали молча слушает, уставившись немигающими глазами на Кайтмазова. — И насчет битвы у могилы Низами, когда чужие войска столкнулись у твоего порога! Войска грузинского (читай: русского!) и персидского принца! И затоптали чужие кони родную землю — сначала кони царя, потом кони принца! И расписывать ужасы, я их выписал, не пропадет у тебя, где-нибудь используешь: «Отрезали язык, источавший хулу, и уши, слышавшие ее, и бросили на съедение псам» и «седая борода, темно-багровая от крови», картинно, хотя увлекаться подобными описаниями, поверь моему эстетическому вкусу, не следует, ибо непоэтично.

Но так было, помнит Фатали: рубашка на Ахунд-Алескере обгорела, висят лохмотья, пытался вытащить корову из горящего хлева, да не успел, лицо в саже, на руках следы крови, бороды коснулось дыхание огня.

— Но цензура в сюжет не должна вмешиваться!

— Что?! — такой хохот, никак не остановится Кайтмазов. И сразу хлоп, серьезный, копирует Никитича: — А подтексты?!

— Ну какие здесь подтексты?

— А насчет бывшего величия грузинского царства?! особенно в свете известных вам волнений!

— Но ни слова у меня об этом!

— А что мечтают о Гяндже как осколке великой империи Тамары от моря и до моря?

— Но я осуждаю этот бред!

— Вот именно! И расписываете, как потерпели крах шахские войска! Эти излишние напоминания южным соседям об их поражении под Гянджой! — Ах да: ведь Кайтмазов по двум ведомствам, внутреннему и внешнему! — Мало ли что нет Ладожского? — удивляется Кайтмазов. А для Фатали это новость. — А ты что, не слышал разве?! Сместил его государь! Да-с, груб был! А точнее, оголенно выражал идеи, а это нынче не в чести! Но ты прежде времени не радуйся: идеи-то его не отменены!

— И кто же твой новый?

— А нового нет и не будет, функции Ладожского исполняет Никитич! Это ты, кажется, сказал о нем: «Вечный Никитич!» Очень мудрые мысли ты порой изрекаешь. О тебе тут, между прочим, один высокоокий чин сказал: «Учитель нации!» Так что не усложняй свою жизнь, оставь подтексты. В исторической хронике как сказано: простой седельник! А не бунтарь! А ты Юсифа — в мыслители! И эти его, я успел перелистать твоё сочинение, просвещенные идеи! опасные мысли! И где он этому научился? Ты бы его еще в кругосветное путешествие отправил! На поиски новой Индии!

А что? С Колумбом, увы, нельзя, это было еще до Шах-Аббаса. Можно б, конечно, изменить имя путешественника, но очень уж известен маршрут Колумба; и Фатали, положив перед собой карту, детально вычерчивает великий путь Христофора Колумба. Фатали хотел бы, но как это сделать? показать Юсифу и Лиссабон, и Мадрид, — разве не мог Юсиф быть связан с испанским или персидским купцом, торгующим коврами? пряностями, шелком, жемчугами?

И однажды в каравелле, дабы сколотить деньги, столь необходимые для поддержания большой семьи, потерявшей все свое добро во время битвы чужих войск у твоего порога, отправился в Мадрид и был свидетелем того, как Филипп Испанский снаряжает «Великую Армаду» для отмщения королеве-протестантке Елизавете за казнь католички Марии Стюарт, единокровной ее племянницы, и казнь эта

совпала со вступлением на престол Шах-Аббаса?! Почти как шииты и сунниты эти протестанты и католики.

И не мог ли Юсиф, выехав из шумного торгового порта Ормуз, что у входа в Персидский залив, оказаться вскоре в английском порту Гарвич? в Лондоне (снится ли Фатали, что его сын Рашид, ему еще два года, окажется в Брюсселе?! А ведь будет! уже было, давным-давно случилось это! И Рашид, и Брюссель, и иные поездки!)? И видеть на сцене в Лондоне, где показываются страсти, бушующие во дворцах, столь не похожих на себя, и до упаду хохотать, турецкого султана, посаженного бывшим скифским пастухом Теймурланом в клетку и источающего оттуда проклятия, не переносящего унижений и разбивающего голову о прутья железной клетки!

Видеть сразу на сцене, будто это религиозное представление шахсей-вахсей о мученической смерти имама Гусейна, царей персидского, аравийского, фесского, марокканского, алжирского, трапезундского, иерусалимского, еще каких-то — амадийского, правителей Вавилона и Дамаска, короля мадьярского, здесь и жены царей, их дети, военачальники, придворные, слуги! Сколько падишахов сразу на сцене! И зарево пожаров, и столкновения масс, льется кровь, которая, как оказалось, была лишь красная краска, очередной фарс, вроде их религиозной мистерии.

А Теймурлан, этот хромой, сухорукий, черноволосый и рябой,— а на Юсифа глядел со сцены высокий широкоплечий красавец с играющими мускулами на теле, светлокожий и золотоволосый.

А можно и не в Лондон, в пределы иные: через Тифлис — как же не привезти Юсифа в родной для Фатали Тифлис? — в Азов и Каф, куда ездят русские купцы, чтоб купить цветного шелку, брусы мыла халынского, косяки тафты ездинской и бурской, батманы перцу, нюги шафрану, аршины ожерелий, кантари ладану; и с купцами в Москву; или в Стамбул, погостив сначала у крымского хана, к султану, удивляясь смелости гяура — московского князя Бельского, разгневанного на своих падишахов и тайно бежавшего в Литву, став презренным отъездчиком, а оттуда, обманув новых друзей-литовцев и под предлогом поездки в Иерусалим, застрять в Стамбуле; и узнать от него о диковинных правах, почти как в родной Персии: не дозволяют путешествовать, дабы не научились чему-нибудь в чужих краях и не ознакомились с их обычаями,— отвратить от нововведений и удержать в рабском состоянии, и потому редко

встретите путешественника, разве только с посланником или беглого, как сам Бельский, но бежать трудно, потому что все границы охраняются бдительно, а наказание за подобную попытку, если поймают виновного, есть смертная казнь и конфискация всего имущества; и по той же причине не дозволяют иностранцам приезжать иначе как по торговым сношениям, чтоб сбыть им свои товары, как-то: меха всякого рода (черно-бурые лисьи, собольи, рысьи, бурой лисицы, куньи, горностаевые, серые беличьи, бобровые, меха росомахи, шкуры большой морской крысы, имеющей запах выхухоли, беличьи красные, лисьи красные и белые, а также белые волчьи и белые медвежьи меха), воск, сало, выделка лосиных и воловьих кож, ворвань, или рыбий жир,— для смазывания шерсти для сукон и мыловарения, икра белужья, осетровая, севрюжья и стерляжья, деготь, который гонят из сосновых деревьев, и рыбы зубы, вывозимые персиянами и бухарцами для делания четок, ножей, сабельных рукояток, и тертый из них порошок как противоядие, а рыбы, снабженные этими зубами, — моржи, ловятся близ Печоры; и для получения чрез их руки произведений чужеземных: шелковых материй, сукна, свинца, жемчугов и иного добра; и о грабительствах царя, от которого сбежал Бельский; и запомнил бы Юсиф слова царя о том, что народ сходен с его бороною: чем чаще стричь ее, тем гуще она, или с овцами: надо стричь по крайней мере раз в год, чтоб не дать им совершенно обрасти шерстью.

Можно и на Восток отправить Юсифа, в Индостан, в страну Великих Моголов, к Джалалэддину Мухаммед Акбару: у него родился наследник, и шах бросил клич, чтоб хлынули к нему зодчие и камнетесы, плотники и землекопы,— будут строить новый город, столицу Фатехпур, почти Фаталиград, он растет на глазах, уже больше Лондона, а какая здесь торговля! какие базары! Мощеные мостовые, бани, падишахский дворец, а вода какая здесь вкусная! И везут купцы индийские золотые слитки в Европу, из которых чеканят голландские дукаты или французские экю.

Но Фатали под оком цензора Кайтмазова лишает героя столь заманчивых путешествий, дабы не ограбили и не пленили его морские пираты, напавшие на каравеллу испанского купца.

А ведь чуть не судили в Лондоне Юсифа, посадив в Тауэрский замок: он поспешил, боясь заразиться чумой, слухи о которой поползли по Лондону, в таверну в одном из близких местечек (Депфорд?), где провел целый день, нарушив

предписание ислама и выпив вино за успех своего, увы, убитого на его глазах друга, — Юсифу чудом удалось спастись, убегая от погони, как в Гяндже, когда фанатики с факелами ворвались в духовное училище, чтоб расправиться с еретиком учителем, отвратившим Юсифа от духовного сана; и с рассветом он оказался в Лондоне и, найдя купца, с которым прибыл сюда, ждать его возвращения — покинуть сырой, мрачный и неуютный город и пристать к жарким берегам родного края.

И попала о Юсифе фраза в доклад канцелярскому суду двора ее величества Елизаветы, написанный на казенной судебной латыни:

«...защищаясь и ради спасения своей жизни, тогда и в том месте вступил в борьбу с названным Кристофером, чтобы отобрать у него упомянутый кинжал. И так случилось в этой схватке, что названный Ингрэм, защищая свою жизнь, нанес кинжалом стоимостью в двенадцать пенсов Кристоферу смертельную рану над правым глазом глубиной в два дюйма и шириной в один дюйм, от каковой смертельной раны Кристофер тотчас умер. Кинжал был выбит из рук названного Ингрэма субъектом с длинными черными усами и глазами с сатанинским огнем, оказавшимся купцом из Персии, *Josephus Mochammedi filius*¹, был подвергнут аресту, но сумел бежать, поиски названного субъекта оказались без результата».

И новоявленный тюрок или перс, изучивший латынь в университете, натывается на некоего подозрительного субъекта *Josephus Mochammedi filius* и тщетно пытается распутать, кто да что, теряя на это годы, а может, и всю жизнь; а известие сие — всего лишь подрезанные Кайтмазовым крылья фантазии Фатали.

Ах, какая встреча с драмоделом и непристойным поэтом, жаждущим скачек с отпущенными поводьями (а это по части Юсифа-седельника!), который, впав в ожесточение, утверждает (вот у кого Юсиф нахватался бунтарских идей!), что религия — выдумка политиков! Не потому ли Юсиф, став шахом, ополчится на главного моллу, а потом — и на всю религию.

И, начав с пьес, которые напишет потом Фатали, — пора иллюзий, пора надежд!.. — перейдет к собственному жизнеописанию — повести о себе-лжешахе, чтоб плыть в море новых иллюзий.

¹ Иосиф сын Мохаммеда (лат.).

Мастерская седельника Юсифа, прозванного Пехливаном за богатырское телосложение, находилась на площади, у шахской мечети. Вчера ханским конюхом ему было заказано зашить новые ремни к седлу и починить уздечку, и он, получив за срочность один туман, обещал к вечеру сдать заказ. Сидели пятеро друзей, и он рассказывал им: сначала, это он очень любит, о своих кругосветных путешествиях, когда был молод, а потом о дороговизне — то сгорает урожай из-за длительной засухи, то гниет из-за обильных дождей.

— Удивляюсь я безмозглому нашему правительству!

И вдруг на площади показалось густое облако пыли. Юсиф, держа в руке шило, поднял голову и увидел торжественную процессию. «А вдруг ко мне?! за мной?!» — мелькнула мысль.

— А ну-ка, друзья, уходите, пока целы!

Но что это? Впереди шли слуги в пестрых костюмах и четырехугольных шапках, за ними знаменосцы, далее еще слуги, и один нес на голове большой круглый, будто солнце, медный поднос, потом стражники, вооруженные остроконечными пиками, — думали, металлические, а это крашенные палки! — и сопровождающие главного конюшего, который вел под уздцы красивого коня туркменской породы. Седло и попона на спине усеяны драгоценными камнями, нагрудник расшит золотом, уздечка украшена жемчугами, с шеи коня свешивалась кисть изумрудов. За ними — главный молла, военачальник, везир, казначей, звездочет, почтеннейшие ученые, богословы, славнейшие потомки пророка — сеиды, вся знать двора.

Шествие остановилось перед мастерской.

— По предопределению судьбы, — начал главный молла, — ты, мастер Юсиф, с этого дня...

Очнись, Юсиф, это же говорит тебе главный молла!

— ...обряд твоего восшествия на шахский престол!

— Высокочтимый молла! Не сошли ли вы с ума?! — «Ах, какой дерзкий! Будь иные времена!» — Пристало ли вам, почтенному человеку, потешаться над седельником?

Тогда выступил вперед военачальник:

— Ты, мастер Юсиф, являешься ныне...

«Что за бессмысленные речи?! Приняли гашиша? Нагло-тались опиума?!»

— ...а мы презренные твои рабы, псы твоего двора, можешь повелевать нами!

И начались чудеса. Будто Юсиф в Лондоне, в театре, и появляется белотелый красавец Теймурлан!.. Сняв с Юсифа поношенное платье ремесленника («А как же срочный заказ?!» В кармане остался один туман!), слуги надели на него богатое царское облачение. Главный конюший подвел коня, Юсиф сел, и процессия торжественно направилась во дворец.

Из окон и с крыши глазела на Юсифа удивленная толпа.

И тронный зал! И молитва моллы! И почтительное ожидание знати! И корона — в пору, чему немало подивился главный молла. И опоясали мечом, осыпанным бриллиантами. И в руку скипетр. И дружные несмолкаемые крики: «Слава!» Торжественный гимн! Взмыла сигнальная ракета, и тотчас за городом раздались раскаты ста десяти пушечных выстрелов.

Хотя после Хафиза и Саади персидская поэзия пришла в упадок, но нашелся в этот день поэт, Царь Поэтов по имени Сируш, который переиначил недавно сочиненную в честь Шах-Аббаса оду, не пропадать же стихам?! и прославил редкие достоинства нового шаха, тем более что Аббас и Юсиф — двусложные!

А потом придворные удалились. Но ушли не все.

— А кто вы?

— Мы евнухи шахского гарема, я старший, а это мои помощники.

— Удалитесь все, а ты оставайся! — Уж для кого-кого, а для главного евнуха Мюбарека нет никаких тайн. — По твоему лицу я вижу, что ты хороший человек, объясни мне, что это значит?

— ...Ах звезды! — «Вот дураки! Ну и ну! И кто нами правил!!»

Но в Юсифе-Пехливане заговорил голод: ведь ничего не ел!

— Я покажу вам дворец, пока будут готовить ужин.

Какие покои!.. Первый зал устлан дорогими узорчатыми коврами, на стенах портреты шахов династии Сефевидов, а во взгляде Шах-Аббаса — изумление: «Как ты здесь оказался?!» Юсиф не выдержал взгляда, отвернулся. Далее портреты знаменитых царей других династий: Ахемениды — Дарий, Кир, Сасаниды — Хосров, шахи персидские арабских тюркских, монгольских династий; возможно ль, чтоб и его, Юсифа, портрет?! Но какой он династии?!

А они уже в четвертом зале — стены расписаны фресками: иранский богатырь сражается с мазандаранскими дивами, имеющими рога и хвосты; воин, цепями хлестающий море, которос посмело разметать персидский флот.

А вот и комнаты гарема: изображены юноши, предлагающие девушкам цветы, и девушки, протягивающие юношам золотые кубки, наполненные вином.

И вдруг — живая душа!

— А это кто?!

Удивился и Мюбарек, застав здесь Сальми-хатун: разве не дал ей Шах-Аббас разводную грамоту? Но успел шепнуть на ухо Юсифу:

— Сальми-хатун, любимая жена Шах-Аббаса. Должна была уйти, ведь развелась с ним!

Сальми-хатун встала и, повернув красивую голову к Юсифу, гордо посмотрела на нового шаха. На миг в ее взгляде Юсиф уловил: мол, я твоя, хочешь — оставь, и я буду верна тебе, а хочешь — прогони!

— Можно прогнать, — робко предложил Мюбарек.

А Юсиф залюбовался ею.

— Пусть остается! — Не гнать же женщину, если она привыкла здесь жить!

Но что бы он ни делал в этот день, перед глазами возникала картина: коврами устланная комната, а посреди — гордо глядящая на него молодая женщина. «Я рождена для шахов и остаюсь в гареме нового шаха», — сказала она Мюбареку для передачи Юсифу.

— Но нельзя же без брачного договора — кябина?! — удивился Юсиф (А вскоре случится: Мюбарек, войдя к шаху, низко поклонится и попросит на миг отлучиться от государственных дел; он привел моллу, чтобы тот — неудобно ведь, посторонняя женщина живет во дворце! — закрепил брачный договор между Юсифом и Сальми-хатун. «Евнух прав: неудобно!»).

— Да, а где же хранятся наряды жен? — вспомнил Юсиф про жену.

Хранитель сундуков провел к сундукам: какие кашемировые шали, шелка, платья из дорогой парчи! И очень маленькие сундуки — диадемы из самоцветов, бриллиантовые серьги, дорогие кольца, ожерелья жемчугов. И он выбрал для жены и трех своих дочерей платья, шали, диадемы, кольца, ожерелья. Сыновьям послать было нечего.

— Отвезите жене и скажите, чтоб обо мне не беспокоились!

— Она могла бы переселиться сюда, мой шах!

Юсиф почему-то вспомнил Сальми-хатун.

— Нет-нет, не надо!

В золотых подсвечниках горели свечи, накрыт стол. Юсиф отломил лишь ножку фазана, а до иного и не дотронулся: и осетрина, и икра, и гора плова, и шайтан знает какие хитрые яства!

— Это тоже ко мне домой!

Подали кофе, потом кальян. «Да, хороша шахская доля!» Клонило ко сну. Приказал начальнику охраны расставить стражу в том же порядке, как это было раньше, пошел в свою опочивальню.

Но прежде спросил:

— А как Сальми-хатун? — Мол, не забыли накормить?

— Сыта! И довольна! — ответил Мюбарек.

Всю ночь ворочался в постели. «А ведь Сальми-хатун рядом!» — шепнул, это уж точно, дьявол. Но ему было невдомек, что Юсифа одолевают иные думы: «Если это сон, то лучше не спать, если явь, то что он будет делать завтра?» «А ведь...» — снова шепчет дьявол. «Брысь!» — и перевернул подушку.

А утром чуть свет ему объявили о приезде послов из Москвы, от царя Федора Иоанновича. О Москве Юсиф слышал, а о царе понятия не имел (ибо не посетил Стамбул и не познакомился с презренным Бельским). Соскочил с трона, главный евнух аж отпрянул от неожиданности, приоткрыл дверь и увидел чужестранцев. И те по короне догадались и были изумлены. «Приму после полудня!» — сказал шах через главного свнуха, а те, это были князь Борятинский, дворянин Чичерин и дьяк Тюхин, оскорбились и, выразив шаху через толмача неудовольствие («И ты думаешь,— это Кайтмазов,— я пропущу?! Чтоб только что прибывший наместник Барятинский...» — «Но у меня не «Ба», а «Бо»!), покинули дворец. Каким-то утраченным восточным чутьем толмач-татарин уловил, что это именно евнух вел с ним переговоры; но промолчал, дабы не сердить князя Бо- («Пиши, пиши!..») рятинского.

Вскоре во дворец прискакал Ази-Хосров и, подавляя в душе страх перед троном, мягко упрекнул Юсиф-шаха, что с послами из Москвы так обращаться нельзя, и рассказал о своих переговорах с русским падишахом.

— Твой падишах и твой Шах-Аббас кровопийцы! — заметил растерянному Ази-Хосрову шах. — И затевали вы подлое дело, и ты, и твой шах, и царь московский!

— Но они гости!

— Гостей приму, вернее, гостя! — И Юсиф велел позвать того, кто одет проще, это был дьяк Тюхин, и толмача.

«Новое оскорбление!» — хотел возразить Ази-Хосров, но сдержался; Ази-Хосров знал, что князь и дьяк — это глаза да уши, чтоб друг за другом шпионить, вследствие их взаимной зависти и соперничества; а их разлучили!!

Юсиф говорил с толмачом и по-арабски, и на фарси, и на их татарском, и по-тюркски, и по-турецки; увлекся — как успевал перевести толмач Тюхину? — языковыми сходствами и расхождениями, Ази-Хосров злился, а Юсиф все видит. Толмач порой забывал, что перед ним шах, а дьяк Тюхин был восхищен образованностью и богатырским сложением Шах-Аббаса. «Шах-Юсиф!» — поправил его толмач и стал что-то говорить на их языке быстро-быстро, от чего лицо Тюхина то краснело, то бледнело: «Ну и дела! Отрекся добровольно! В пользу седельника! Такого сроду еще не было, а у них немыслимо даже!»

(А князь, кому доверяли и царь, и Годунов, вскоре от удивления, возможно, и помер в Персии, а Чичерин... «Помилуйте, вы же дворянин! Как могли поверить бредням дьяка?!» А толмачу определили вывих ума и со службы прогнали.)

От даров Юсиф-шах хотел было отказаться, да раздумал, чтоб гостей не обижать, взял меха, вспомнив почему-то Сальми-хатун. Тюхин вдруг перестал улыбаться и сказал о целях посольства. При этом дьяк слово в слово изложил грамоту, присланную царем; она хранилась у князя и только ему велено было вручить лично шаху:

— Шахиншаху великому, — вовремя заменил Аббаса на Юсифа, — между бусурманскими государями ты падишах! Федора Иоанновича, божиею милостью единого правого господаря всея России, отчич и дедич и иным многим землям от севера и до востока государь, — в грамоте по понятным причинам не были названы эти иные земли, приписанные к титулу Федора Иоанновича: «государя земли Иверской, Грузинских царей и Кабардинской земли, Черкесских и горских князей», да и вообще полный титул, дабы не затемнять смысл послания (Великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, а также Лифляндский, Кондинский и всея Сибирския земли, и иных многих Государств Государь и Обладатель — с многоточием для приращения), — величеству твоему слово наше таково: наши гости из наших земель в твои

земли ездят, нашим и вашим людям от этого большие выгоды есть. Но гости наши били нам челом — в твоих землях великие насилия терпят. В Ардебиле и Реште, а также в Тавризе и других твоих городах, оценив их товары, возьмут, а потом отдадут половину. Если между нашими гостями, живущими по пяти и по шести человек вместе, при одном хозяйстве, в одном котле,— толмач перевел как «в одном казане»,— один разболится, еще при жизни отсылают от него товарищей, товар печатают, и когда больной умирает, то товар отбирают; а теперь при тебе недавно начались насилия.

И еще говорил дьяк, что с оружия пошлину берут.

— Но они,— не сдержался Ази-Хосров, понимая, что чин у него повыше, тот — дьяк, а он в ранге посла,— как выйдут из таможни, я этим занимался, мой шах, продают оружие!

Шах велел передать толмачу, что немедленно издаст фирман, чтоб строго наказали ардебильского, рештского и других ханов.

— Вы мне составьте такой фирман, Ази-Хосров!

— Шах,— шепнул ему на ухо Ази-Хосров,— надо и нам свои упрёки высказать! задета честь трона!

— Напишешь, как они, в грамоте пошлем! — Надоело пустяшными делами заниматься! страна ждет его новых указов! И, поручив посланников Ази-Хосрову, «ты будешь моим министром иностранных дел!», он простился с толмачом и дьяком.

КОЛЕСО ФОРТУНЫ

Да, да, и прежде всего очистить государство от всякой нечисти: титулованных глупцов, бездельников и взяточников! Сломать иерархическую систему чиновников, примазавшихся к трону краснобаев молл и иных проповедников, продавших совесть и погрязших в лицемерии и лжи! Полдня ушло на послов, а он задумал в первый день своего царствования столько дел!..

Никак не уснет и вторую ночь: с чего начать? Ну вот, ты мечтал: «Если бы я был шахом!» Вот ты и шах!

Не спит и Фатали: что бы я сделал?! Царь отказался и вызвал тебя: «Возьми вожжи, вот тебе конь, вот тебе седло, а вот моя плеть!» Разложил перед собой лист, расчертил его, кружочки — должности, соединения — связи, с чего начать?!

Ну да, Фатали изучал — всю жизнь изучал! — как, вспы-

хнув, погасла французская революция. Манифест о правах человека (?!). Все люди свободны и равны (в те-то времена!). Имеют право сопротивляться произвольному притеснению (?!). И что закон выше государя! И насчет «выборных от нации», что-то вроде Учредительного собрания.

Как будто слуга недавно внес свечи, а уже в который раз Фатали пожницами снимает нагар, чистит и чистит. Как с мечетью? Деньги? Суд? Но кто отречется добровольно от своих преимуществ?!

Сначала как бы он сам, Фатали, а потом как если бы Юсиф, который в одной из лож гарема никак не уснет, — поди объясни жене, что думает о том, как править государством! а рядом, в ложе другой, тоже одна, не спит Сальмихатун, а ведь все ложи пусты, и можно каждую ночь!.. о боже, как погасить? («Вот это и развивай!» — ему Кайтмазов отчего-то по-русски, насмотрелся всяких любовных водевилей.)

А страна затаилась: что сй готовит новый шах?

Слышал Фатали, книга есть, ему как-то итальянский трагик Фанфани рассказывал (который открыл магазин модных шляп, когда перестала существовать оперно-балетная труппа, ибо Крымская война, траур на полгода по случаю кончины императора Николая), о государе, как править. Но где ее достать? Он-то как-нибудь приобретет, а вот Юсиф, где и как он купит? Почти во времена Юсифа, правда, жил этот великий философ (Макиавелли?). Уж вряд ли Юсиф знал итальянский, хотя случается, и сын служанки, плебей вчерашний, а как вознесется!.. или латынь, — можно было бы завести Юсифа во Флоренцию или Рим, где впервые были изданы эти труды о том, как править; да и в Лондоне мог бы прочесть, если б знал английский. Узнал Фатали в беседе с турецким консулом, выполняя задание Никитича, чтоб приблизить его «к нашим», что есть перевод и на турецкий, «да, да, точно помню, в руках держал, «Государь» Макиавелли, достопочтенной памяти султан Мустафа Третий перевел, постараюсь достать для вас». А ведь достал! Увы, увы, зря б привел Фатали Юсифа в Стамбул — через сто лет после правления лжешаха родится султан, ох и тщеславен был — для него сочиненье это будто зеркало в золотой оправе, глядится и глядится в него, чтоб следовать заветам мудрейшего Макиавелли: о фортуне, которую надо познать, и о флирте, которым можно ублажить эту самую капризную фортуна, эти эф.

Как там у проницательнейшего Макиавелли? Во-первых,

уничтожить всеми имеющимися средствами (и ослепление, и живьем в землю, и пытки, и прочее, и прочее) всех, кто угрожает безопасности и самому существованию государства, да-с, справедливая кара, а не тиранство! Что? Вера в добро? Эти морализующие фарисеи! Надо — ты добродетелен, надо — и ты казнишь: найдется нечто, что кажется добродетелью, но верность ей была бы гибелью для государя, и найдется другое, что кажется пороком, — а разве оно не порок?! — но, следуя ему, государь обеспечит себе безопасность и благополучие. Что еще? Вернее внушить страх (а разве иначе поступал Шах-Аббас?!), чем быть любимым, ибо подданные неблагодарны, изменчивы, точь-в-точь как в Коране о людях! лицемерны, трусливы. Страх — это и любовь, и верность, и послушание, — не смущаться именем жестокого, потому что без этого ни в войске, ни в чиновничестве, ни во всем народе не будет ни единства, ни готовности идти в бой во славу государя и престола.

Ах, как жаль, что не узнать Юсифу о советах итальянского мудреца, — уж следовал бы Шах-Аббасу, современнику Макиавелли!.. И еще: быть лисицей, чтоб распознавать западню, и быть львом, чтоб устрашать волков. Особенно правилось султану, о чем Фатали прочел в комментариях к гурецкому переводу, насчет верности государя слову и честности: разумный государь мало считается с обещаниями, хитростью кружит головы людям и в конце концов одолевает тех, кто полагается на честность, — люди злы и не станут держать слово, данное тебе, потому и тебе нечего блюсти слово, данное им. И о трех силах — народе, знати и армии: держать первых в узде, угождать вторым, опираться на третьих; и занимать народ празднествами и зрелищами. И создавать о себе молву как о великом и выдающемся. Нет, Юсиф-шах, Фатали это знает точно, вряд ли станет, хоть и лже, следовать Макиавелли: пусть кто другой из бывших слуг, который красив и статен, изучил итальянский и еще языки и мечтает быть советником у правителя, ибо наделал долгов, кости да кожа, и жаждет славы и состояния, — пусть он и проповедует, изображая себя диалектиком (?!), — а его в охрану к мелкому вельможе, входить со стуком (и даже кланяться бондарю). Наслышан и Кайтмазов о Макиавелли, прочел на немецком, скоро выйдет и на русском, и Фатали приобретет эту книгу, «Монарх», в переводе эФ Затлера; султан и здесь опередил царя — две книжки рядом: в Санкт-Петербурге вышла в 1869 году, а в Стамбуле ровно сто лет назад, почти месяц в месяц, в 1183

году Хиджры, что как раз соответствует 1769 году от Рождества Христова.

Но как Юсифу править? Ты, презренный ремесленник, отлично знающий, как шить седла, получил власть, что же дальше-то?! Как изжить рабье?

Вошли в тронный зал дряхлые, еле держатся на ногах, и Юсиф-шах встал, поклонился им. Ордена и другие знаки отличия, висящие на груди, тянули их вниз, и, согбенные, они еле носили свои бранные тела.

— Уже тогда были ордена?! — удивился Кайтмазов.

— Увы, были.

— Отчего увы?! — спросил он. — Ну да, понимаю, — продолжил, видя, что Фатали молчит. — Рад бы иметь сам, да вот только!.. — И развел руками. — Ни слова б не сказал, если грудь красили ордена, согласись хоть раз, что я прав!

— Мне о том же как-то и Колдун намекнул. И он и ты, вы оба правы, Кайтмазов! Имеющий умножает их, а неимеющий, вроде нас с тобой, хотя, извини, ты меня обогнал! ропщет, гневается на тех, чья грудь уже не вмещает, а желания неумны.

Да-с, еле носили свои бранные тела. Или не уверены, боятся, что уйдут и обрушится на них гнев современников? Но кому они нужны, какую тайну они носят в себе, чтоб кто-то вздумал их похитить?! Пытать их, чтоб выведать? Или опасаются, что придут иные, и империя, которую они создавали и с таким трудом собрали по кускам, затрещит по швам, наступят времена доверия, братства, свободного союза, возобладают конституционные формы правления; но кто знает, что это за люди ходят под молодецкими папахами, о чем они думают?!

Всех Юсиф знает: видел их врозь и вместе. То кто проедет в окружении свиты телохранителей и приближенных, и тогда устрашающие крики и звуки извещают об их вступлении на шахскую площадь — уйди с дороги, не то раздавят копыта, подковой распорют брюхо, шмяк твою печень! А то соберутся перед людскими толпами в дни всенародных праздников — видеть-то их Юсиф видел, да разглядеть как следует не мог: глаза не выдерживали! Лучи солнца, столь щедрого здесь, играли, отражаясь на золоте орденов, ловили грани бриллиантов, многократно изламываясь.

О боже, они как дети, и власть для них — забава: дарят друг другу, как игрушки, высокие чины, звонкие титулы, награды то в виде круглой броши на ленте с крупным бриллиантом, то звезды, сделанной из платины, с золотым полу-

месяцем, а вокруг — бриллианты. И каждый раз, как кого одарят, соберутся и — а ну давай выхваляться друг перед другом, кто кого перещеголяет, оттачивая мастерство лести и подбострастия; до каждого, знают, дойдет черед, сегодня эта награда ему, а завтра — другому; а ведь неизвестно, как повернется судьба в этом ой каком вероломном царстве: отколупывай в черный день чистые, как детская слеза, бриллианты и выходи на узкие улочки восточного базара, крытого кое-как чем попало, дабы была тень и не жгло нещадно солнце.

Нет, ни за что не выпустят из рук власти, если, конечно, новый шах... Ах, как трудно стало им додумывать мысль!

— Я ж наказывал, чтоб без телохранителей! — возмутился Юсиф.

— А их нет! — изумлен евнух.

— Кто же за дверью толпится?!

— А это, — шепчет на ухо шаху, — их личные лекари и собственные астрологи! — Неужто, удивлен евнух, шах не знает, что эти чины уже давно без них ни шагу!

— Но мы еще в силе!

— Вот и идите к своим внукам и правнукам, не цепляйтесь за шахский подол!

— А как же ува... ува... — и застопорился.

Мюбарек на ухо Юсиф-шаху:

— Он длинные слова выговорить не может!

— Уважение? — догадался, придя на помощь, Юсиф.

— Да, да, к нашему поло... поло... — С другого фланга решил: — Ведь мы, как вы чув... чув... — как не пожалеть, что не все слова короткие? — К нашим се-се-седидам?!

«О боже! Кто правит нами!» (Хочет спорить, но мысль, загоревшись, гаснет, и ночью, страдая бессонницей, будет говорить и говорить.)

— Я обеспечу ваш покой, из казны получите щедрые дары, хотя изрядно, — хотел бы сказать «награбили», но уваженье к старшим! — обогатились за годы правления!

— А наш, как бы это, опыт?

— И писарей к вам приставлю, ведь, поди, писать разучились, за вас другие и думают, и сочиняют, а вы дрожащей рукой лишь подпиши, разве нет? И расскажете о своем бесценном опыте. — Хотел бы: «о том, как одурачивали, хапали, лицемерили, строили козни, сажали, казнили, прикрываясь именем аллаха и шиизмом!», но как изжить рабье?!

Заерзали на креслах.

— Что вы так забеспокоились?! Ах да, я забыл: вы же быстро устаете! А у меня к вам столько важных и неотложных государственных дел, как же вы, а?! — Но такая мольба в глазах чинов: как не пожалеть их? не пойти им навстречу?

Собрать народ на главной площади, выйти с этими вождями и при всех низложить их, эту рухлядь, дабы не смели потом в ореоле славы, как мученики, — пусть слышат, что могут изречь их уста!

Дряхлые-дряхлые, но всюду на ключевых постах их люди. Счастье твое, что шахская власть — власть божественная, не смеют ослушаться.

То же и с секретной службой, шахской полицией, духовными властями.

Но кого на их места?

Пятеро друзей.

И сношения с иностранными державами! Но здесь уже есть: Ази-Хосров. Армия. Пешие. Конные. Артиллерия. Оружейные склады.

Сверху донизу менять, чистить, обновлять!

Итак: через Ази-Хосрова вызвать всех посланников, пусть немедленно извещают свои страны о восшествии; а англичане уже послали срочную депешу в южный порт, чтоб немедленно доставили Елизавете: как быть? добровольно отрекся в пользу седельника! и другие успели — испанский, султанский, и эти, кого он принимал, уже в пути, только неожиданно скончался их главный, князь Борятинский, — предлагается всем мир, никаких козней и притязаний!

А часы и дни уходят.

Пусть грузины подыщут себе правителя! И армяне пусть! Пусть и Азербайджан! Может, к ним опытных персов направить? Самим, правда, людей негде взять, чтоб заменить, где уж о помощи думать?!

И уже идут гонцы к Юсиф-шаху: у грузин правитель есть, но армян пока не удалось собрать!

— А что азербайджанцы!

— Спорят! Вовпит Билбил-хан Бакинский, дерет глотку Феил-хан Ширванский, жаждет крови Кан-хан Карабахский!..

— А гянджинцы что?

— ?

— А что мои шекинцы?

— Эти нухулулар?!

— Ясно! — «Придется,— подумал Юсиф, — отложить с правом на самостоятельность!»

А тут новая неожиданность: племена взбунтовались! Ах, мир и автономия? Так и поверил шаху Асадулла-хан! Посланец Юсиф-шаха убит, и племена вторглись.

Вот и покажи, друг Курбан-бек — он ведь назначил одного из славной пятерки друзей главнокомандующим! — свое воинское искусство!

Что тот говорил воинам, как он их воодушевлял, о том Юсиф не ведает: но враг вторгся в их земли! Курбан-беку не верилось, как же сумел он? но войска оттеснили племена афганцев, отличилась конница, всадники ворвались в стан Асадуллы-хана, пленили его и вынудили подписать условия мирного содружества.

А потом курды.

Заявили о непокорности грузины, узнав о мятеже, но и здесь обошлось мирным договором, по которому шах признал, что...

— Стопстопстоп!.. Что за намеки? Пик Шамиля!! А заговор князей?! Может, еще о варшавском буйстве?!

— Помилуй, Кайтмазов, какая в составе Персии Варшава? И горцев, как ты знаешь, я не одобряю, ибо бесцельная и безнадежная борьба! Но есть высшая справедливость! К тому же в свое время полякам конституция была дана, Союз...

— Конституция! Союз! — с чего-то вдруг прорвалось в Кайтмазове, он поперхнулся, закашлялся (нервический кашель? надо налепить себе мушку!), потом переживал: чиновному человеку непозволительны эти вспышки эмоций. — Никогда не соглашусь!

— С чем? — удивился Фатали.

— Что конституцию им дали! Завоеванной стране! Союзнице Бонапарта! И эти возмутительные вирши Мицкевича!

— Но я-то при чем?

— Э, нет! — взял себя в руки Кайтмазов и уже улыбается, сладил с дерзкими вспышками. — Меня не проведешь!

— А Юсиф, представь себе, друг Кайтмазов, договорился на основе полного доверия! И, кстати, вернул грузинам христианскую святыню — Христову ризу!

— Ту, что Шах-Аббас вывез из Грузии? И, разделив на четыре части, первую отослал в Иерусалим, вторую в Царьград, третью в Рим, а четвертую в Москву?! И ты думаешь, я позволю тебе хоть слово написать об этом?! Сия святыня,

Фатали, помещена в Успенском соборе и в честь ее положения утверждено ежегодное празднование почти в день нашего Новруз-байрама!

— Но Юсиф успел вернуть! И никаких праздников!

— Постой, ты уже что-то путаешь; если он вернул, то как же я мог ее видеть в Успенском соборе?!

Гладкое-гладкое перо у Кайтмазова, гусь был белый-белый, перышко так и летит, тонко-тонко перечеркивая лист.

Так что же Юсиф-шах надумал? Вызвал главного евнуха, должность, прямо скажем, лишняя при таком шахе, и это пустые разговоры, мне, мол, одной достаточно: умел бы — имел бы! Но куда прогонишь старика! вызвал, и сердце тревожно застучало: Сальми-хатун! Но Мюбарека уже не проведешь: он слышал, как застучало сердце! А Юсиф поклялся бы, что зов Сальми-хатун услышал: «Мой шах, твои заботы никогда не кончатся, а сладостный миг упустишь!» Юсиф сбросил с себя это заманивающее наваждение: Мюбарек ждал его распоряжений. И вдруг, сам того, может, не желая, Юсиф-шах спросил:

— Как там Сальми-хатун?

Мюбарек заметно оживился: шах как бы утвердил необходимость его должности!

— В полной красе возлежит на дарованных послами мехах! И... — помедлив добавил: — Ждет вас!

— Потом, потом! — отмахнулся Юсиф (и снова Кайтмазов: «Вот он, сюжет!!»). — А как жена? — казалось, год ее не видел.

Евнух сник:

— Окружены заботой и вниманием.

— А где везир? военачальник? главный молла?

— Могу тотчас же!

— Нет, нет, не надо! Без кровопийц! — Евнух побледнел и еще больше согнулся. — Да выпрямись! Надо немедленно собрать сюда всех писарей столицы!

— Кого-кого? — не понял евнух.

— Писарей! Пусть являются со своими тростниковыми перьями и чернильницами, а пергамент отыщется в канцелярии, отведи им самую большую залу во дворце, ту, где на стенах Сефевиды висят, всю ночь работать будут! Кстати, — вспомнил Юсиф-шах, — а где главный шахский писарь, Великий Секретарь, кажется, его титул? (Именно из его книги и вычитал Фатали фразу о лжешахе!).

— Искандер-бек Туркеман Мунши?

— Вот-вот! Мунши! Этот хитрец, который в своем ис-

торическом сочинении о Сефевидях условными титулами заменял имена шахов, дабы возвеличить их!.. Как он называл отца,—вовремя осекся, хотел назвать Шах-Аббаса, а впору бы и себя, ибо Мухаммед-шах по версии, которую он прошлой ночью наметил, и его отец.

Мюбарек тотчас понял:

— Мухаммед-шаха?

— Ну да, кто же, как не он, мой отец?

— «Государь, достойный Александра Македонского».

— А деда моего, Тахмасиб-шаха?

— «Шах, место обитания коего рай». А родича вашего рода Сефевидов,—подыгрывает Юсиф-шаху Мюбарек,—блаженной памяти Шах-Исмаила Первого называл «Государем, достойным Соломона, или равным по мудрости Сулейману».

— Так где этот Мунши?

— Увы, Шах-Аббас забрал его с собой, и они скрылись.

(Что же напишет он о правлении Юсиф-шаха? И как назовет его в своей книге «История украшателя мира Аббаса»? Какой ему условный титул придумает? Реформатор, достойный... Но кого? Или с именем Арастуна-Аристотеля свяжет? С Афлатуном — Платоном? А Искандер Мунши ждет приговора звезд и посвятит Юсифу всего лишь одну, но длинную, фразу, о чем в свое время, ибо финал еще неведом никому.)

— Что ж, — вздохнул тревожно Юсиф-шах, — обойдемся без Великого Секретаря, а призовем рядовых писарей.

ВОЖДИ НАЦИИ

А члены шахского верховного совета ждали приказаний нового правителя; пока их не призовут, приучены Шах-Аббасом, нечего являться. Ждать пришлось долго, но и отлучаться опасно: надо быть начеку. Выпили не один стакан чаю, выкурили не один кальян, а шах не зовет. Можно вообще ничего не делать: как шло — так и пойдет; недаром ведь военачальник (когда шли в лачугу к седельнику, чтоб вознести его на престол) шепнул на ухо главному молле: «Шах-Аббас навел в стране такой порядок, что каждый дурак сможет управлять ею».

А Юсиф, пока собирали писцов, которые сядут за написание и многократное умножение новых шахских фирманов для рассылки по всем главным городам страны, посадил по

левую руку за невысокий столик личного писаря и задумался: с чего начать? с какого фирмана? О стольких фирманах ночью думалось, а тут растерялся вдруг, улетучились идеи.

— Мюбарек, а где мои советники? Ах да, ты говорил мне! — И Юсиф вспомнил нескончаемые беседы в дружеском кругу.

Накануне того дня, который стал поворотным в его судьбе, сразу после ухода конюха — срочный заказ! — к нему пришли друзья, пять Пехливанов, или Богатырей, как их прозвали мастеровые, и они провели полдня за долгой беседой. Неужели это было всего два-три дня назад?!

Рамазан учился с ним в медресе, образован, начитан, даже сатиры сочиняет, а всего лишь помощник моллы в шахской мечети: выбить ковры, подмести двор, следить, чтоб не стащили чусты и чувяки прихожан во время молитвы. «Эх, если бы я был главным моллой!..» — размечтался Рамазан, но его слушать не стали: чего зря языком трепать?

Курбан-бек — а Фатали видит Хасая Уцмиева, а может, еще кого, — никакой он не бек, за внушительный вид в шутку прозвали солдаты, дослужился до сотника, отличился в битве с султанскими янычарами (как и Хасай в Крымскую войну с турками, будто назло карабахской знати, — никак не примирятся родством с кумыкским князем, и новый слух, чтоб внести раскол в семью, — «Хасай — агент царизма при Карабахском дворе») еще при отце Шах-Аббаса — подсказал тысячнику, как ударить янычаров с флангов, и осмелился высмеять приказ военачальника об оставлении Тавриза: мол, лучше отступить, чем дать бой. Спасло от казни заступничество тысячника, который пользовался у шаха особым расположением после одержанной победы под Тавризом, а теперь служит у какого-то испанского купца, вроде телохранителя. «Пойду-ка выпущу псов, — сказал он в ту памятную ночь, — чтоб воры не забрались! Вчера всю ночь на звезды лаяли! По их лаю определяю: на воров или на звезды». Часто рассказывал о тупости военачальников: только одна хвальба о былом величии! А чуть что: или, отступив вглубь, заманить, а там аллах поможет, или — победа людскими трупами! «Эх, если бы я был военачальником!.. — размечтался. — И с чего это псы мои на звезды лаяли?!»

Мирза Али, умнейший среди пятерки друзей, тоже с ним в Гяндже в одной медресе учились, и в ту ночь, когда Юсиф бежал, за ним, оказывается, Мирза Али гнался, а Юсиф решил, что погоня. Обыкновенный писарь у какого-то не-

вежды хана! «Тебе бы, — часто говорил ему Юсиф, — главным советником, везиром у шаха быть!» А Мирза Али рукой махнул: что за глупые мечты?

И Баки; дай пересчитать звезды на небе — сосчитает, если ясная звездная ночь и рядом любимой нет, потому что в ясную летнюю ночь, да еще на крыше, под теплым одеялом!..

— Да, Мюбарек, ты можешь одолжить мне один туман?

Мюбарек, привычный к неожиданностям шаха, не удивился:

— Казна в твоей власти, шах!

— Казна! Я спрашиваю тебя об одном тумане!

— Да, да, конечно, вот он, туман!

— Верни этот туман конюху Вельвели-хана, а я потом тебе отдам, заказ его не выполнил, — и показывает на корону: мол, причину сам знаешь!

Вот они — те, кто привел его во дворец по велению звезд.

— Хочу говорить о делах государства, — обратился к ним Юсиф. И начал с везира: — Хочу услышать, везир, о ваших заслугах перед престолом и народом!

— Преданность ничтожного раба высокому престолу ни для кого не составляет тайны хорошо помнит в плачевном состоянии а также общее благоденствие молочные реки и ус в меду и все короны мира а также престолы христиане иудеи а также ингилис. — И умолк.

— Что еще?

— Разве мало?!

— Вы накопили громадное состояние. После Шах-Аббаса, говорят, вы самый богатый человек, как это вам удалось?

— Я знатен великими предками, а не деньгами, мой шах!

— Великих предков мы вам оставим, а вот деньги заберем в казну. — И писарю: — Пиши! Конфискуется наличное золота и камни везира, ибо добыты нечестным путем!.. Ах ты еще грозишься?! — Тот забыл, что Юсиф — шах, а Юсиф уже привык, что все — его подданные. — Вызвать стражей! В тюрьму его!.. А теперь послушаем тебя, военачальник, поведай о своем полководческом искусстве! — Юсиф удивляется: как же быстро он научился так грозно разговаривать с людьми, вчера еще могущественными?

— Борода вашего покорнейшего умело семидесятитысячное турецкое войско чтоб сохранить воинов шаха распо-

рядился по всему Азербайджану посевы крестьян истреблены дороги испорчены мосты разрушены перейдя границу не встретил сопротивления зато дороги!!! пустыня!!! сожжено угнано разрушено чтоб вглубь вглубь и здесь уничтожить ни одного зерна ни одного быка изнуренные и голодные а порча дорог и мостов настолько мудро что сочли необходимым дабы иноземное нашествие на страх враждебным соседям!! и презренные сунниты-турки!!!

— Дааа... Еще два таких похода!.. И это ты называешь как?

— Это искусство ведения войны, мой шах, и другие народы!

— Пиши! Шахский фирман о смещении! А, это ты, главный молла! Да, твои дела на виду у всех! Это ты возвел в сан святых шахскую династию, чтоб упрочить авторитет (а главный молла такого слова и не слыхал прежде!)? Ты настолько хотел обратить в шиизм иноверцев и разжигал страсти, чтоб отвлечь от насущных бед! Эти погромы!

— Меня оклеветали, мой шах!

— Ты нажил нечестным путем несметные богатства! Чего уставился на меня? — крикнул на писаря. — Пиши! Все, что я говорю! И за это, главный молла, я предаю тебя суду! Эй, стражники!.. А чем славен ты, казначей? А, вспомнил, это ты придумал не выдавать жалованья чиновникам? И молодец, что не выдавал дармоедам ни гроша! Что еще придумал? Да, а на какие нужды вы тратили казну?

— А шахские увеселения? А членам верховного совета?

— Это те, с которыми я встречался? Кого ноги еле держат?!

— Лучшие люди империи! — говорит как поет.

— Цвет нации! — подзадоривает шах.

— Вожди! — в тон ему казначей.

— Ну-ну, еще на что разбазаривали?

— А охоты? А пиры? А содержание шахского гарема? Мой шах, есть еще одна статья, но!.. — Все тотчас вышли. — У нас множество шахских глаз! — И стал перечислять такие страны, о которых Юсиф, хоть и совершил почти кругосветное путешествие, и не слыхал! — И ушей! Слышат, видят и нам докладывают: и у султана, и на северных землях, и в крымском ханстве, и в ногайских владениях, и в астраханских!

— Чего умолк?

— Еще есть. Среди нашего народа. В каждом квартале,

в каждом доме, в каждой семье! Отец на сына, сын на мать. И собственному народу верить нельзя.

— Дааа...— разинул шах рот, никак не сомкнет уста. Казначей надо б уволить, но прежде напишет, у кого какое состояние.

Вошли все.

— Вы не выслушали меня, мой шах!

— А ты кто?

— «Не узнает!» — Я есть, — гордо выпятил грудь, — главный звездочет империи!

— Ах это благодаря тебе!..

— Я надеюсь, вы должным образом оцените мои заслуги!

— Да, крупный ты мошенник! Хотя не будь тебя («и тупости правоверных», — подумал Юсиф), сидел бы Шах-Аббас на троне, а я б шил седла в своей лачуге. Но я, увы, упраздняю должность звездочета, как вредную для народа и государства! Пошлю-ка тебя рядовым учителем астрономии! Хочешь?

— Меня? учителем?!

— Не хочешь, да? — и улыбается: «Ох ты мой капризуля!»

— В школу?!

— Ну да, крестьянских детишек учить. Не согласен? — И за бороду его, волосок остался в руках, тонкий-тонкий, седой-седой, дунул, а он поиграл с лучами солнца да вылетел в окно, летит и летит над империей, — сколько их вдруг, седых волос, в бороде Юсифа!..

— Мой шах, писари собраны.

Вышел к ним:

— А, и ты здесь! Ну да, ты же писарь! — Мирза Али был смущен, увидев Юсифа (лицо знакомо, а облик уже иной: шах!). Не подойди к нему Юсиф, он бы, пожалуй, не рискнул. — Куда вы подевались? — Неужто это их Юсиф? — Немедленно пойдите и приведите ко мне Рамазана, Курбан-бска, Баки!

— Так нас и впустят к тебе! (под стражей?!)

— С почестями введут!

И вскоре явились. И были назначены. Но прежде — иные указы.

Фирманы, фирманы, фирманы!!!

За злоупотребление властью!

За тупость, проявленную при управлении государством!

Преступное равнодушие к бедам народа!

За попрание прав!

Одурачивание подданных!

За ложь на каждом шагу, везде и во всем!

Снять с постов! Лишить титулов! Чинов! Наград! Конфисковать награбленное в пользу казны!

— В тюрьму! в каземат! в яму!

Пятеро друзей!.. Фатали задумался: то ли пишет в уме, прочерчивая сюжет, то ли рисует — но что это?! перекладина, а с нее свисают пять петель! виселица?!

Но какой издать фирман, чтоб устранить всеобщую подозрительность: шаха — к подчиненным, везира — к главному молле, моллы — к звездочету, звездочета — к Тени Царя,— этих бездушных кукол, немых и слепых, неспособных управлять государством, лишь умеющих — а что остается им делать? — поддакивать, ибо одаряемые щедрыми побрякушками, некуда уж вешать, не видят и не желают видеть всеобщей нищеты и развала.

Найти и выдвинуть новых! Но где они? И кто может ручаться, что те, кого шах приметит и кому пожалует отнятые у других титулы, эти новые Совесть, Прямота и Опора царства, не станут грабить и брать взятки? лицемерить? лгать? строить козни? создавать новые семейные или племенные кланы? глохнуть от звуков лести и слепнуть от блеска побрякушек?!

И какой издать фирман, чтоб исчезла вражда племен?!

Я издам фирманы! Они будут сводом идеальных слов!

Но сколько их было, фирманов! И Моисей! И Христос! И Магомед!..

И я, Юсиф-шах, издам указ: «Люди!..»

И ОКОВАННАЯ ЖЕЛЕЗОМ ДВЕРЬ

железная решетка у окна, мундир сняли, он в легкой рубашке, а ведь зима, холодно очень, через темный мост, темные своды, неуютная кровать, накрытая жестким одеялом, длинная холщовая рубашка.

— Это ты, Александр?

грубые чулки и пахнет свежей краской, гремят связки ключей, или это кандалы? о боже, какой вкусный черный хлеб!! и кружка воды!

Рассказывал Александр или снова — видения Фатали?

сальная плошка, гарь душит, нечем дышать! за-

тушить! цепной мост, крепость, странная фамилия коменданта Набоков! и колокольный звон донн-донн-донн через каждые четверть часа, табуретка, крепостной вал и пустой дворик, лишь ветка торчит за окном, уже весна? какие здесь чинары?! гудит голова, изгрызены ногти, хоть какую книгу! хотите — Коран? и немец-офицер, почему немец? «Фатали? ай-яй-яй, какой у вас был замечательный второй отец, Ахунд-Алескер, не послушались его советов, жаль мне вас, Фатали!» откуда ему известно?

дым табачный, Фатали не курит, но запах табака!! такой же курил Александр! или он тоже здесь? рядом камера?

— Эй, Александр!

«что вы кричите?» — это голос стражника, вдруг пальба, зачем стреляют?!

«а вот новость вам скажу, — говорит стражник, — император Европу покорил!»

идут и идут, утопая в снегу, откуда же столько снега здесь, стоят столбы, их пятеро, надели саваны-колпаки, щелкают затворы, но почему еще столбы? и на перекладине пустые виселицы.

— Фатали! Фаталии! Ты меня слышишь?

Донесся запах дыма.

— Ты опять жжешь бумагу!

Фатали не обернулся: бумага, вспыхнув, загорелась сразу вся, и он осторожно положил ее в медную тарелку, пусть сгорает вся. Огонь быстро слизал арабскую вязь и не успела бумага почернеть, как Фатали поднес к ее красному язычку новый исписанный мелко-мелко, со вставками, стрелками, вклинивающими в текст новые добавления, обведенные кружочками, и какие-то звездочки, полумесяцы, кресты — как плюс и как распятие.

Не от слов же, вспыхнув, загораются? А как загорятся — одно и то же, никак не отвяжется: Зимний горит! Самая долгая ночь тридцать седьмого года. Что-что? Ах, довольно уже писано в публичных листах о сем событии? Так уж и много? Как пусты и мрачны обгоревшие стены? Эта черная громада! Ну да, вся поэзия нашей истории, весь ее разум! Пышные праздники. Веселые вечеринки. Вдохновенные оды восхвалителей державной власти. И Екатерина! И Павел! (?) И Александр! И святое причастие. И святая купель. И начало, и юность! И выход, да, да, тот, знамени-

тый, когда картечь, на площадь из дверей Зимнего. А потом мертвая тишина. Оцепеневшее многолюдство. Шепот тревожных вестей. И тяжкая безызвестность — ведь на ружейный выстрел от фронта бунтовщиков! И воля промысла.

Ах, какая стихия! Пляска мести. Громада огня. И он знал, падишах, что непременно случится. И даже перед смертью — плясало пламя пред очами.

И над медной тарелкой полетели чернокрылые насекомые, похожие на многократно уменьшенных птиц, или есть и такие?

«Что ты снова сжег?»

Так теперь часто. Раньше почти не было: напишет, как молодой разбойник или хитроглупый купец одурачивает есаулов, прочтет жене — и вскоре газета «Кавказ» печатает из номера в номер.

А теперь иное: сидит над бумагой долго, за полночь засиживается, свеча догорает, сжигая тьму и ускоряя приход утра, а потом — чернокрылые птицы.

ах вы *пропогаторы!* в четыре часа пополуночи майор жандармского дивизиона, господин в голубом, а голос нежный. какой-то звук от удара, сабля?! пристав полез в печку, пошарил чубуком в старой золе, нет, я не курю, это так, для забавы, отделан серебром, а жандармский унтер встал на стул и полез в печь, известное дело, там прячут (везде на юге!) золото в мешочке, — пусто. ай да *пропогаторы!*

но я не подозревал политического общества! в часы бессонницы! беснование духа!

а это что ж?! «что мы видим? лишены прав человеческих, ах посадить бы чадолюбивого императора...» это ж ваш почерк! так куда посадить, а?! а вот еще: «все тайна и ложь. говорю о рабах — приверженцах деспотического порядка, а также проникнутых страхом» или и это не вы?

случайно взглянул: «агент по найденному делу». доносчик! и фамилия закрыта большим пальцем, блестящая роговица ногтя и запах табака, который курил Александр.

— Эй, где ты, Александр!

«а это что? (неужели было?): «И в *Туреччине* был, что за оказия? Турки-то, право, ну то же, что и мы!» «а это: «нет возможности и дышать свободно. что же делать, что нельзя переродить-

ся физически, ну хоть бы через натурализацию!» сожгу, пусть останется во мне. и снова чернокрылые птицы.

да-с! шпицрутенами. «в две шеренги стройсь!.. вторая шеренга — крууу-гом!»

торопливо роздали шпицрутены, длинные прутья толщиной с палец.

а ну махать! надо освоиться, проверить, как гнутся, на свист.

Фатали раздели догола, связали кисти рук накрест, привязав их к прикладу ружья, — это дворян, бекские и ханские сословия нельзя, а Фатали — это ж такая точка, что и не увидишь, — за штык которого унтер потянул его по фронту меж двух шеренг, жаль, свиста шпицрутенцов не слышно, заглушает барабанный бой.

а ну сильней! упал, два медика, полковой и батальонный, ну-ну, не очень-то! и спирт нашатырный, и по лицу его, и воду на голову. ну-ну!

и снова барабан, от шеи и до конца икр красное свежее брызжущее кровью, висит кусками, кусочки обрываются, отбрасываются, висит шматок содранной кожи, а ступни и конец ног не тронутые, ведь никак достать нельзя, белесые на фоне красного, как голубой мрамор.

а потом заковали, поручик фельдъегерского корпуса при трех жандармах.

А в Метехском замке — Алибек.

Ну да, что есть проще: к Шайтан-базару, потом по Барятинской улице в сторону Воронцовского моста, Фатали идет, и будто наместники рядом с ним, даже не верится, что Воронцова уже нет, а казался бессмертным; а Барятинский — тот еще долго-долго, как телохранители при Фатали, чтоб люди сторонились, — мимо Монетного двора и — к Метехскому замку освободить Алибека. Да, очень просто!

— Нагнал тирану страху! Кто — кому!

— Какому?

— А не все ль равно?

— Попробуй нашему пригрози! Сколько их было, которые грозили? И где они нынче?

— Ты о шпицрутенах? и отлетают куски!

— А Шах-Аббаса, для этого никакой смелости! можешь и казнить!

— Увы!

— Не можешь?!
— Он фирман издал!
— Ты тут столько жжешь, и фирман этот!
— Я жгу свое, а не чужое! И... начинать правление с крови? Нет, не могу!

— А это что за фраза: «Юсиф,— подумал Фатали,— это я». Ты что же, пишешь о себе, как персы, со стороны как бы?! — и подчеркнул два имени и местоимение, связаны одной — чем же? судьбой? веревкой? цепью-цепочкой?!

— Ты думаешь, что Шах-Аббас — это Шах-Аббас?!

О господи! Эти наивные намеки! Николай? Но его уж нет! На радость старшему сыну! Но ах как хорошо начал! Пузыри, так сказать, надежды! Банально! что-что! уже было? Как умеем! И еще! да, да! неразборчивое имя! то ли царь, то ли его наследник, то ли еще кто, нрзбр...

И что дальше?

ПЕЧАЛЬ ПАЛАЧА

Задумались пятеро пехливанов-богатырей: «А правда, что же дальше?»

— Может, — чешет голову Рамазан, он занял пост главного моллы, — пригласить иностранцев? — А вдруг понравится Юсифу, их Пехливану?

— А что? — поддакивает ему Баки, главный над бывшим казначеем.

И Мирза Али тоже (как ученостью не блеснуть?):

— Ведь не побоялся султан Мехмет Второй назначить великим везиром Махмуд-пашу, сына христиан — серба и гречанки, и дела шли неплохо!

— А что скажешь ты, Курбан-бек?

— Надо Ага-Сеида найти!

— А разве не убит?!

— Сердце-то справа оказалось! Случается такое. Но кем его сделать? Все посты как будто заняты!

— А сделаем мы его нашим, — слово-то какое нашел Юсиф! — мыслителем.

Кто-то понял, а кто-то поймет, если, конечно, звезды не подведут! Собрать на центральную площадь, трибуна, четыре знамени вокруг: красное, зеленое, желтое и белое, и — историческая речь: «Я — ваш царь. Старайтесь возвыситься во мнении народов земли! Свободны отныне от всех молитв, постов, пилигримств!» Это уже было: реформация, славный

муж Гасан, он же Алазикрихи-асселам, сожженные рукописи, а в золотом сундучке Юсифа чудом сохранившийся манифест этого удивительного правителя, с обожженными краями. О нем — после, а пока, может быть, землю крестьянам?!

— Пустая затея! — это Рамазан.

— Как? — вспыхнул Юсиф.

— Ну вот, ты уже гневаешься! А ведь предупреждал, говорите мне в лицо, когда я не прав!

— Вернуть земли снова ханам и бекам? К этому вы клоните? — И смотрит Юсиф на Мирзу Али. — И ты тоже?!

— Хищнические инстинкты!

— И что же?

— Те, кому мы дали земли, передрались, полезли друг на друга с ножами!

— Но почему?!

— Каждый желает новым беком сделаться, — в тон им и Ага-Сеид.

«Ага-Сеид? — изумились горожане, а пуще всех — простолудин Аббас Мухаммед-оглы. — Воскрес?! Но этого звездочет не предсказывал!»

— Твои фирманы ай какие хорошие! — качает головой Ага-Сеид. — Длинноваты и скучны, но зато какие занимательные!

— Ты хочешь, чтоб я вселил страх? Чтоб казнил?!

— Но как иначе?

— Никогда! Мои фирманы!

— Ну да, я разве не о том же?! — Издевается?! — Особенно этот, насчет свободы, я не поленился, вызубрил, как там у тебя? *«Если общество не дает своим отдельным индивидуумам, слово-то какое! новый фирман надо, чтоб объяснить! свободы мысли и потребует от них, чтобы они, замкнувшись в рамках всего того, что унаследовано от предков, и установок, о боже! данных духовными предводителями, то тогда индивидуумы превратятся в автоматов, я сам впервые это слово слышу! они превратятся в мельничных лошадей, вот что значит, а я не знал! с утра двигаясь по определенному кругу и в положенный час поев свой ячмень и саман, выпив воду, а что еще надо? успокоятся. И так до последнего дня своей жизни, а что в этом плохого? я сам мечтаю о такой доле! И эти несчастные лошади, пишешь ты, да кто такой фирман издает? так никогда и не узнают о существовании лугов, ты что же, поэму пишешь, Шах-Наме,*

или это шахский фирман?! *прекрасных пастбищ, благоухающих цветников, журчащих, о боже! родников, о горах, прекрасных долинах, ибо обречены на лямку и круг; будто люди, окованные китайской стеной*, кому это понятно, Юсиф-шах? кто знает у нас о какой-то китайской стене?! будто люди — *это те же мельничные лошади!*.. Конечно, шахиншах Юсиф, — издевается?! — фирманы твои ой как хороши, но кто станет выполнять их? Ладно, оставим эти перлы, — «терпи! терпи!» — сдерживает гнев Юсиф, сам велел, чтоб критиковали, — но народ-то понимает, что ты — седельник! То есть такой же, как Али, Вели, Мамед, Гейдар. Даже ниже — кого бы назвать? — чувячника! Да! И потому тебе надо прежде всего создать харррошую биографию! Как? А мы возьмем схему главного моллы, зря, зря ты его прогнал, человек он, конечно, поганый, мне тоже своим доносом навредил, но ведь ему не откажешь в знании психологии прихожан! Ему все равно — кому служить, лишь бы купаться в лучах короны, — и вычертим тебе линию вот сюда, к шахским династиям, к Сефевидам, а далее — к святым! А ты не удивляйся! был любимым сыном Мухаммед-шаха, недавно обнаружилось в золотом сундуке, где и рукописи Алазикрихи-асселама, его завещание!

— Асселама?

— Нет, Мухаммед-шаха, и Шах-Аббас это скрывал, а звезды восстановили справедливость! Далее мы переименуем Шахруд, ибо, преследуемый Шах-Аббасом, посягнувшим на твою корону, именно там ты скрывался.

— Я сроду там не был!

— ...скрывался, — повторил Ага-Сеид, — в Юсифабад.

— Я там не был! — взмолился Юсиф.

— Но ведь гонение на тебя было!

А ведь и впрямь гонение было! Юсиф скрывался у ремесленников, переселившихся сюда из Грузии; скрывался в лавке христианина-мясника, на двери которой висело алое полотнище с вытканым на нем Авраамом и ягненком, и это полотнище с доверчивым ягненком не раз снилось Юсифу. А потом прятался в мастерской плотника, тоже выходца из Грузии, — тот выстругал древко и приделал к нему знамя, на котором изображена была лодка. «Ноев ковчег», — сказал ему глава мастеровых плотников.

— И потом под видом седельника, — рассказывает Ага-Сеид, — появился здесь, чтобы с помощью добрых духов воздействовать на движение звезд!

— Но я упразднил фирманом должность звездочета как вредную для народа!

— Ты допустил, мой шах, крупную ошибку!

— Бред какой-то с добрыми духами! Я хочу с чистыми руками и ясным убеждением. Я верю в разум народа.

— Ну где у нашего народа разум?!

— А мы? А наша пятерка? Вы сами, наконец!

— «Вы! Я!..» Ведь вам звезды помогли, и вы еще смее не верить в чудо и добрых духов!

А тут главный евнух шепчет на ухо Юсифу: «Заговор сторонников шаха! решили помочь звездам,— ускорить расправу».

И умелый дворцовый стратег Ага-Сеид подивился мудрости Юсифа. Когда главный евнух спросил: «Но как узнать, где прячутся заговорщики?» — Юсифа осенило: по доброте своей ему помогли скрыться мастеровые, привычные спасать каждого, кто прячется от властей,— они могут и теперь, когда новый шах преследует своих противников, давать убежище заговорщикам.

Сам Юсиф со стражниками отправился к мастеровым, и в лавке мясника нашли двоих заговорщиков, а третьего, самого главного, обнаружили у главы мастеровых-плотников, и вдруг раздался треск — это треснуло иссохшееся под жарким солнцем знамя с Ноевым ковчегом.

А потом Юсиф кое-какие идеи Ага-Сеида претворил: на счет Юсифабада и шахского происхождения. И непременно опереться — хитер же Ага-Сеид! — на чей-то авторитет. Может, Алазикрихи-асселама?

— Правда,— заметил Ага-Сеид, подав идею,— Алазикрихи-асселам скомпрометировал себя в глазах истых правоверных, но мы сначала превратим его в великомученика!

И всюду появились глашатаи:

— Наш учитель Алазикрихи-асселам!

— Мы верны идеям Алаассе!..

— Наше знамя Ала!..

— Но кто вам позволит, Фатали??

— О чем вы, любезнейший Кайтмазов?

— Эти грубые намеки!

— Вы о чем?

— Елизаветполь!

— Вы через Зе, а надо через эС!.. По-вашему и эту страницу сжечь?!

— Да-с! Никто не отменял, учтите, цензурный устав одна тысяча восемьсот двадцать шестого года!

— Чугунный?

— Скажи спасибо, что мы кавказцы, в Петербурге за это!.. Запрещены, напомню тебе, материалы возмутительного характера против властей, ослабляющие должное к ним почтение! И еще, это к тебе: помещение проектов и предложений об изменениях в их деятельности!

— ??!

— И обсуждение внешнеполитических дел!

— Друг Кайтмазов, побойся всевышнего, ведь я о временах Шах-Аббаса! Бориса Годунова! Юсиф-шаха!

— !!?

«Но я не виноват,— это Фатали дома, и то не вслух,— что с тех пор мало что изменилось!..»

— И далее,— гнет свое Кайтмазов,— бесплодные и пагубные мудрствования также запрещены! А знаешь ли ты, что я обязан сообщить имя автора, который представил произведение, обнаруживающее в сочинителе нарушителя обязанностей верноподданных: с двумя эН и двумя Дэ!

— Но я же!..

— Вот именно! А ход мыслей? Движение сюжета? Эти реформы? Вот, из речи Юсиф-шаха: «Правители провинций подобны пиявкам, которые вздуваются от высосанной крови». Очень банальная, между прочим, мысль! А вот еще: «Фирман о сокращении расходов двора — на пышные приемы, празднества, на содержание иерархии бездельников, чиновников, служителей культа, призванных одурманивать людей, вдалбливая в их головы небылицы, мол, самая совершенная и справедливая эта наша шахская держава, платных агентов, всяких надсмотрщиков!» Я не ханжа, а разве может государство без них?!

— Как, и у нас? — изумлен искренно Фатали.

— А вы шутник! Ну да, ведь комедиограф! А это? «Чтоб отныне никто не осмеливался подносить подарки ни ему, то есть шаху, ни высшим представителям власти, ни другим чиновникам, а также не добиваться чинов путем неумеренной лести, подношений, семейных связей, так как чины должны предоставляться лицам энергичным, доказавшим свою честность и способность к государственной деятельности. И чтоб никогда впредь высший чин, о котором в народе ходит молва как о казнокраде и взяточнике, не был, смещаемый здесь, назначаем на другой высокий пост!» Что за формулировки?!

— Увы, ты прав, Кайтмазов (мы с ним то на «вы», то на «ты»!), никудышным оказался Юсиф-шах правителем, безмозглый Пехливан, да и только! Знаете, что сказала Сельми-хатун Юсифу?! Ведь не сдержался он, стал-таки жить со второй женой! Ну, я семейные скандалы описывать не буду, Юсифу судьба государства доверена, он поседел за эти дни, а на него с двух сторон — жены, рвут его на части! пристала к нему дошаховская жена, мол, сыновей пристрой! «Но они малы еще!» — отбивается Юсиф. «А ты пожалуй им фирманом провинции! старшую дочь замуж выдай! За сына турецкого султана!» А он ей: «Может, за сына русского царя? а?» — «За гяура?!» — «А суннит лучше?» И умолкает жена, не зная, что ответить. А Сальми-хатун...

— Подожди! — перебивает Кайтмазов. — И насчет Сальми-хатун тоже! Я понимаю, ты не хан, не Бакиханов, хе-хе, не бек, не князь, как Орбелиани, и тебе, конечно, хотелось бы... И не спорь! Ни о каком равенстве сословий речи быть не может! И чтоб Сальми-хатун!.. А знаешь, чья она дочь?

— И Шах-Аббас затруднился бы ответить!

— А я отвечу! Сальми-хатун — дочь египетского паши! Принцесса!

— Спасибо, я не знал! Мне казалось...

Кайтмазов говорил столь убедительно, что Фатали стал сомневаться, забыл даже сказать собеседнику о том, как он искал ей имя и что она горянка. Но Кайтмазов уже скакал по страницам рукописи.

— И чтоб Сальми-хатун предпочла шаху простого седельника?!

— Шаха!

— Лже! — Фатали умолк, и только собрался, вспомнив о горянке, возразить, и на его недоуменном лице появились признаки саркастической улыбки, как Кайтмазов вдруг заявил такое, что Фатали и вовсе опешил:

— Молчишь? думаешь, о тайных твоих мыслях не догадываюсь? (тоже мне, новый Колдун выискался!) Надеешься на повторное издание? Не успели это выпустить, а ты уже о повторном издании мечтаешь?! Думаешь восстановить вымаранные мной отрывки? Вот, я прочту тебе, а ты запиши, авось придется замещать меня: «Места, не согласные с требованиями цензуры, будучи выпущены в новом издании, делаются сами по себе лучшими указателями для приискания их в старых экземплярах, которые изъять из употребления нельзя; а через то и самые идеи, составляющие отступления от цензурных правил, становятся гласными и видными для

всех (о чем ты толкуешь, Кайтмазов,— нашелся б десяток читателей!), быв до того времени для многих, по крайней мере, совсем незаметны!»

— Но дай хоть досказать, что сказала Юсифу Сальмихатун, насытившись ласками!

— Зачеркну ведь, что зря писать?

— А может, я раньше тебя сожгу? — Снимает и снимает нагар со свеч длинными ножницами, это он любит делать сам, пока свечи не сгорят.

Да, ножницы. Еще не раз вернется Фатали к срезанным цензорскими ножницами усам и отрубленной топором бороде (это Кайтмазов: «А мы за конец бороды и — топором, как Петр!»), и однажды после второго приезда из столицы Кайтмазов успокоит Фатали: «Что мы? американцев — и тех не издают! полюбуйся, я тут выписал, когда знакомили с новейшими инструкциями цензурного комитета, точь-в-точь как ты мне говорил: «достоверность!», «историческая правда!» и всякая чепуха: вот, послушай: «Автор, нет-нет, не ты, а американец, чью книгу у нас зарезали, желая нарисовать настоящую картину настроения умов, приводит в сочинении мысли американских политических деятелей, порицающих монархические принципы вообще и принципы Священного союза в особенности. Эти места, нелокализованные, видал, какое слово! делают книгу неудобною к обращению в нашенской публике, как памфлет на монархию и апологию республики. Как книгу, могущую поколебать в легкомысленных людях надлежащее, так сказать, уважение к нашим монархическим принципам, единству Священного союза во главе с Россией, следовало бы подвергнуть действию Первого пункта закона...» и так далес!

— Может, позволишь вернуться в прошлое и заглянуть в ложу Сальмихатун? — А заодно и вспомнить, но это не вслух, как были разочарованы покойным государем,— не помнил Кайтмазов, ибо пришел работать в канцелярию сразу после царского смотра войскам в тридцать седьмом.

«А точно ли царь приехал?!» Ни тебе отрубленных голов, выколотых — хотя бы! — глаз; и на кол никого не посадит! хотя мог бы: ибо рассказывал Фатали, как это делается, когда с ним в фаэтоне сжал, и привычны.

— Мой Пехливан,— говорит Сальмихатун Юсифу,— скучная и однообразная жизнь у нас пошла, ни казней, ни пыток. Знаешь, о чем люди шепчутся? «Странно, мы не ви-

дим изрубленных на части и висящих у городских ворот человеческих тел. Страшно, но зато кровь не застаивается! Новый шах, должно быть, человек кроткий, хоть с виду Пехливан!» А кое-кто и не то говорит!

— Что именно?

— Не обидишься?

— Говори уж!

— Спорили: действительно ли новый шах милосерден, или это объясняется слабостью его характера? И насчет гарема тоже: или скуп, говорят, или врут насчет богатства и пехливанской силы! Я-то рада!

А все же она и в неудовольствии очаровательна! И как ей удастся разжечь голод? Как дотронешься, а уже нетерпение!.. Но разговор такой, что впору и отрезвиться.

— Не такой уж я добрый, Сальми-хатун! Тюрьмы переполнены! Я пересажал всю знать, обогатившуюся за счет казны и взяток. Я обратил их сокровища на постройку новых дорог! Одно благоустройство столицы чего стоило! Я расширил улицы, выровнял на них ямы и рытвины, чтобы прохожие, попадая в них, не калечили себя.

Сальми-хатун зевнула:

— Скучно!

— Я открыл школы, чтобы дети учились грамоте!

— О боже!

— Я послал четырех талантливых юношей, красивых, статных, молодых...

— А кто они? — оживилась Сальми-хатун. — Ах, сыновья твоих друзей! — Снова заскучала. — Да, я слышала: с армянскими караванами, которые ежедневно идут из Исфагана в Смирну, оттуда на кораблях в Марсель и далее на почтовых лошадях. И зачем послал?! Жаль мне оставшихся девушек!

— ...В Англию и Испанию, они научатся управлять государством! Я заменил всех надзирателей, перестань зевать! в округах и назначил честных и справедливых!

— Из родственников своих?

— Я верю в их честность!

— И головой ручаешься, да? А новые тюрьмы ты строишь? Как бы не пришлось тебе пересаживать и этих новых!

Юсиф подивился мудрости Сальми-хатун: она прочла его мысли.

— Я хочу... — и задумался.

А Сальми-хатун (неужто его мысли?!):

— А хочет ли народ твоего счастья? Надо ли это ему? И разве он несчастен?!

— Он же раб! Я разбужу его!

— И сделаешь несчастным! В неведении его — счастье его! Ну что тебе стоит, мой Пехливан! Ради меня! Устрой, как Шах-Аббас, показательную казнь! Уж очень народ истосковался! Хотя бы вели, чтоб отрубили кому голову и воздели на пику! Или чтоб выкололи пару глаз, а? Ты увидишь, как возрастет к тебе любовь народа! Как станут тебя хвалить! Народ истосковался по крови, ну что тебе стоит? Смотри, будет поздно, а я тебя так полюбила, ты умеешь меня всю всколыхнуть, я забываюсь и потом долго-долго не могу прийти в себя, все нутро горит!

«Я его сожгу, этот фирман, запрещающий казни! — подумал Юсиф.— Ах, бестия: сам казнил, а мне решил руки-ноги связать?!»

Юсиф упразднил и должность палача, он сейчас главный мясник на столичном базаре, жить-то надо! Ловко рубает — такая практика! — любую баранью тушу.

Как-то пошел Юсиф посмотреть, давно не был на площади, где его мастерская: здесь сейчас нечто вроде музея — рассказывают о злоключениях любимого сына Мухаммед-шаха, вынужденного скрываться в Шахруде, ныне Юсифабад, от преследований Шах-Аббаса. И генеалогическое древо искусно на всю стену расписано — отштукатурили, масляной краской покрасили, а поверх — это ветвистое дерево, по схеме главного моллы, слегка переделана Ага-Сеидом, — аж до самого пророка!

И палача увидел. Тот сник и с тайной печалью посмотрел на Юсиф-шаха, даже слезы на глаза навернулись. «Что ж ты, шах,— говорил его взгляд,— на какую работу меня обрек? Бараньи туши! Мои могучие мускулы, играющие и поющие! Стоило мне появиться на площади в сверкающей красной парче, как взрыв восхищения вздымался к небу! Народ замирал, о, этот миг! Я слышал, как бьется одно большое и единое народное сердце, и я поднимал над головой сверкающий топор, он стал, увы, покрываться ржавчиной, и в стремительной мощи опускал его, и бил мне в затылок — о, сладостный миг! — горячий вздох народного восторга. А то ни с чем не сравнимое наслаждение, когда я хватал за волосы и показывал шаху отрубленную голову. Чистая была работа. Одним ударом. Нет, не знаешь ты нашего народа. Ему на твои фирманы — тьфу! Кому нужна

эта твоя свобода? Тебе на голову не корону, а сбрую на шею и уздечку под язык!»

«Но-но! Смотри у меня!» — строго взглянул на палача, а он — разззз! и туша надвое.

БУЙСТВО ЧЕРНИ

«...Нет, не поверю! Вы клевете, лжете! И ты, и твои евнухи! Я принес народу облегчение! Я показал ему радость свободной жизни! Я избавляю его от голода и рабства!..»

Фатали последние ночи долго не может уснуть. Вскрикивает во сне. Это голос Юсифа! И как поседел он! Да, да, катастрофически седеет! Юсиф? И он тоже!

— Люди, я же хотел вам добра! — кричит Юсиф.

И этот крик будит Фатали, он вскакивает во сне, еще не рассвело, еще очень темно. Что же вы со мной сделали?! Нет, это только сон!

А предсказанье звезд?

Какие еще звезды? Я призван самой судьбой!

А свнух Мюбарек никак не дождется шаха.

— Ах, какой он!.. — жалуется евнуху «законная» жена. — У нас с ним был честный брак!

Глупая, как будто с Сальми-хатун нечестный! Молла был, свидетели были!

— Ах, какой он! Уже третий день не вижу его! Или у него появились еще какие Сальми-хатуны?!

— Увы, — огорчается Мюбарек, — только вы двое!

— Ах вот как! — Она бы обрадовалась, если б Мюбарек сказал, что есть еще. — У!.. Сальми-хатун!..

— Твой ропот противен аллаху, женщина! — В обязанности главного евнуха входит и забота о моральном образе мыслей обитателей гарема: никаких ревностей.

А в столице тем временем начались беспорядки.

Зачинщики — уволенный новым шахом главный конюший и сбежавший от кары управляющий государственным казначейством (распространял среди населения фальшивые деньги), он же хранитель сокровищ.

Уволил их шах в день сплошных увольнений: первая половина дня — позорное изгнание высокопоставленных, вторая половина — низших чинов.

Писари сменяли друг друга, не поспевая за фирманами.

«Ты пиши! — диктовал он. — Советник государства, он

же министр иностранных дел. Ничтожный человек. По ошибке был передан ему шахский фирман, предназначавшийся другому, более опытному и умеющему, и в этой ошибке увидели божий перст, тут же выхлопотали ему ханское звание, присвоили титул Ключа Страны, стал ведать и войсковыми книгами, и сметными расходами армии. За присвоение денег, еще при старом режиме, где порой, это тоже пиши! для истории! для отвода глаз кого-нибудь наказывали, он был посажен на цепь, но жена через двоюродную сестру, жену везира, доставила ему в тюрьму красную растительную пищу, которую он забирал в рот и при караульных начинал кашлять и харкать, будто бы кровью. Ты все-все пиши, это важно для истории! Потом через везира стал министром, обладает дьявольски тонким нюхом и, когда в перспективе видит жирный куш, делается мягким как воск: это он за крупную взятку разрешил англичанам монополию в деле табака! Это он склонил гм... моего отца Шах-Мухаммеда продать золотые стулья и кресла дворца якобы для выдачи жалованья солдатам!» Кто дальше? Ах да, начальник дворцовой охраны! О боже, каких только людей надо вносить в фирманы! Но ты пиши! «Сын уличного брадобрея! попал в помощники к дельцу, дом которого был ночным убежищем развратников из высокого класса! Здесь для людей, эээ... страдающих половым уклонением, находили красивых мальчиков. Был замечен и увиден Очами Государства и попал в свиту наследника Шах-Аббаса. Придумал себе биографию, что он будто бы из Сеистана, а это — колыбель национальной поэзии: именно по сказаниям Сеистана написана поэма «Шах-Наме», отсюда вышла династия Сасанидов! Удалось ему жениться на дочерней внучке шаха Тахмасиба, замучил ее до смерти ненасытностью, но успел этой женитьбой выдвинуться и стать начальником дворцовой охраны, сколотил огромную сумму денег,— вернуть в государственную казну, а самого — уволить!»

Так вот: главный конюший, уж кого-кого, а не его опасался Юсиф; но так всегда — откуда не ждешь! встретившись с отстраненным от дел хранителем сокровищ, спросил:

— Скажи, ради бога, что говорят жители столицы про нового шаха?

— Как будто сам не знаешь — они ненавидят его!

— Клянусь всевышним, простой народ гораздо умнее нас! Какую же мы допустили глупость, добровольно избрав в повелители седельника! Опозорили себя на весь мир!

— Такова была воля Шах-Аббаса!

— Но теперь, когда его нет, кто может помешать нам уничтожить этого нечестивца, верующего, по слухам, в переселение душ?! Удалив его, мы бы посадили на его место достойнейшего из благородной династии Сефевидов!

— А где они, достойные? Все искалечены или уничтожены. Но ты прав, надо действовать!

И они отправились к начальнику артиллерии. А что говорит начальник конницы? Он, правда, еще не уволен, но кто может быть спокоен за завтрашний день при таком сумасбродном правителе?

— Кстати, я слышал, будто вчера на общем приеме шах сделал ему выговор за то, что тот приревновал, видите ли, жену к самому венценосцу!

— Аллах с ними, но нам важно склонить на нашу сторону начальника конницы! Если он согласится, то присоединится к нам и начальник пеших войск, ведь Фарадж-хан — двоюродный его брат и зять. И к бывшему начальнику полиции надо пойти, пусть повлияет на низших чинов полиции и уличных старшин, тоже уволенных!

Объявился и вождь воинствующих фанатиков, некий шейх, выдающий себя за святого потомка пророка Мухаммеда, — он возглавил борьбу и бросил клич: «Аллах велик, смерть шаху, да здравствует Шах-Аббас!..» (а дикция! а дикция!.. так шепелявить!)

Мятежники решили в субботу рано утром окружить шахский дворец и, ворвавшись во внутренние покои, убить Юсиф-шаха.

А в это время полководец Юсиф-шаха Курбан-бек только что ступил на площадь с конной гвардией, возвращаясь с иранско-турецкой границы, где он разгромил вторгшийся в страну отряд врага: это султан Мурад, прослышав про отречение Шах-Аббаса, решил испытать силу нового Юсиф-шаха и получил отпор.

Узнав о мятеже, Курбан-бек стал уговаривать толпу образумиться. Но куда там! Подоспели еще люди, и завязался бой. Обнаженные мечи, пики, просто дубинки, не поймешь, кто за, а кто против, истосковались по драке!

А тут еще народ, воодушевленный бывшими вождями — не голодранцев же, как они сами, им слушаться? Этого мямлю Юсиф-шаха поддерживать? Седельника?! Нет, народ пойдет за знатными! А раз вступил в бой народ — пиши пропало, надо бежать, покуда цел!

Мятежники ринулись во дворец, выбили двери и ворвались в шахские покои. Но где Юсиф-шах?! Вот залы, вот

комнаты гарема — ни души! Нету Юсиф-шаха. Даже в сундук заглянули, а один — аж в шкатулку (?!). Исчез бесследно.

Одни утверждали, что видели его во время сражения в обычной воинской одежде, он вдохновлял единомышленников и дрался как пехливан, пал в битве смертью храбрых. Но среди убитых Юсиф-шаха не оказалось.

Ринулись в старый его дом, а на его месте — пустырь, и крапива разрослась густо-густо. Может, прячется в бывшей мастерской? Вернулись на площадь, а там вместо мастерской-музея — лачуга какая-то, крыша искривилась, в стенах щели.

Но ведь была схема!

Среди живых Юсиф-шаха не обнаружили.

Дали волю обуявшей воинствующих мятежников страсти: народ разгромил дворец, отправился на базар и опустошил торговые ряды и постоялые дворы, даже разрушил благоустроенный Юсиф-шахом родник на площади, — шах велел обложить родник синими изразцовыми плитами, и горожане, ныне мятежники, любили здесь постоять, прислушиваясь к мелодичному и чуть загадочному журчанию стекающей в арык прозрачной воды, перебили пиками плиты. А потом двинулись в армянский и еврейский кварталы, чтоб учинить там, ведь повод какой! погромы.

Солнце закатилось, все разошлись по домам, устали, трудный день был. А наутро главари восстания отправились в темницу Арик и выпустили всех на свободу. И главного звездочета тоже.

— Ну вот, мы вас освободили!

— Ай да молодцы, — сказал военачальник, но ему не понравилось выражение лица бывшего начальника артиллерии, он как-то часто-часто моргал. «Ну ничего! Мы глаза твои ой как быстро излечим, чтоб моргать не смели!»

— Ну, так кого посадим на престол? — по-молодецки лихо заговорил начальник конницы, забыв, что он-то служил Юсиф-шаху. «А мы тебя самого сейчас посадим, — хотел сказать везир, да пока нельзя! — на острый кол!»

— Скажите, ради аллаха, какой сегодня день? — взмолился главный звездочет.

И главный конюший ответил, что от новогоднего праздника Новруз-байрам прошло ровно шестнадцать дней. Сердце главного звездочета переполнилось радостью:

— Друзья мои! (Что за обращение?) Братья мои и сестры (а сестер никаких — только мужчины: рассудка в

тюрьме лишился?). Гроза, которую предсказывали звезды, разразилась над лжешахом, и опасность миновала. Да здравствует наш отец Шах-Аббас!

И торжественная процессия двинулась к дому, где прятался шах, и повела его во дворец. Удивительное дело: и корона, и доспехи, и скипетр на месте, будто не трогал их никто.

Шах-Аббас воссел на престол, только недавно им оставленный, и уже из уст в уста передавался сочиненный опытным поэтом акrostих в честь шаха: «В сердце нашем Шах-Аббас!»; причем, начальные буквы выражали этот смысл *чего не родит всенародная любовь?* на двух языках: фарси и арабском; некоторые говорили, что на трех,—еще тюркском; увы, акrostих не дошел до наших дней, сокрушался Фатали.

А что Юсиф-шах и остальные богатыри, эти пять Пехливанов? А что красавица Сальми-хатун? Куда ж она могла исчезнуть? Ага-Сеид?! Ну что вы, шах, эти бредни насчет правого сердца!

ЧТО? ДАННАЯ НАРОДУ ВОЛЯ?!

Кахетинский царь меж трех огней: султан теснит с одного боку, шах — с другого.

«Счастье твое,—сказали ему бояре,—что между недругами ты, пользуйся!» И он бил челом царю, чтоб приняли его в подданство. И отправлены были в Кахетию учительные люди, монахи, иконописцы, священники для богослужения среди народа, окруженного иноверцами, и снаряд огнестрельный отправлен.

«Я холоп царя русского, и царя Турского не боюсь!» — говорит кахетинский царь, а бояре советуют: не очень, мол, хвастайся, хитри, лавируй: «Когда грозит султан, ищи защиты у шаха, а когда шах гневается — иди на поклон к султану!» Но чаще не успевает султан очухаться, как проносятся через кахетинские земли кызылбаши шаха, топча виноградники.

Еще до отречения Шах-Аббас велел Ази-Хосрову выведать, верны ли слухи насчет «бил челом». А царь кахетинский, дабы показать верность шаху, позволил сыну своему Константину принять мусульманство, но и это не помогло: шах — вот они, плоды мягкосердечия Юсифа! — истосковав-

шись, велел отступнику Константину убить отца и брата за их вероломство — союз с Московией. «Или мы убьем тебя!» Дружина шаха сопровождала отступника, а рядом с ним — его отец и брат; напрасно предупреждал их посол Годунова Татищев не доверять изменнику: они не смели изъяснить подозрение, дабы не разгневать могущественного шаха.

И, готовясь ехать на обед к отцу Константина, Александру, — сбиться можно со счета, сколько Александров! — Татищев вдруг услышал крики, шум, посылает толмача узнать, что делается? И толмач, входя во дворец, видит тела и отсеченные головы пред Константином — головы его отца и брата: убил их Константин! И был объявлен царем. И речь его, чтоб успокоить Татищева: «Родитель мой сделался жертвой междоусобия сыновнего, несчастье весьма обыкновенное в нашей земле. Сам Александр извел отца своего, убив и брата. Я тоже сделал, не знаю, к добру ли, к худу ли для света, по крайней мере буду верным моему слову».

А потом Шах-Аббас обрушится на Кахетию, чтоб отомстить Теймуразу, — велел оскопить детей его, Левона и Александра: не вынеся мучительной боли, оба вскоре скончались.

И казнь матери Теймураза, царицы Катеван: палачи по приказу шаха совлекли одежды с царственной мученицы, распростерли ей руки и раскаленными щипцами стали терзать нежное ее тело и сосцы. И стон ее тихий: «Господи, не медли взять душу мою!» На раскаленные раны положили горячие угли и взятым из пылающего костра медным котлом накрыли царственную голову. До вечера тело Катеван лежало, обогренное кровью, посреди площади в Ширазе, и никто не смел подступить к ней.

И мысль мелькнула у шаха, он растит царского отпрыска — из грузин же, которого посадит вскоре как своего наместника на картлийский грузинский трон, — не успеет Шах-Аббас, осуществит преемник, и будет править, верный шаху, царь Ростом, он же Хосров-Мирза, он же Ростом-хан, грузин, принявший мусульманство, — старше шаха, но раб ему. И станет им дорог вместо Иисуса — Мухаммед!

И даст Ростом-хану свиту из омусульманившихся пленных грузин, и через них распространит там и роскошь, и кызылбашские пиршества, и наслаждения тела, и бани персидские, и песнопения мусульманские.

Наскучили думы шаху, и он велел призвать к себе гру-

зина, которому пожаловал бекский титул за безропотное принятие мусульманства,— Сиаош-бека, славного искусством рисовать пером, изображая горы, и долго глядел на его тонкие кисти, как выводит тот лица красавиц и узоры на их одеждах, а потом снова стал обдумывать, как казнить наместника-предателя, ведшего за его спиной переговоры с северными соседями. И он, укоренив в своих и неверных рабах двуличие и лицемерие, пропитав их ядом лжи и лести,— по зову крови и языку — правители одни, а по вере — другие, и надо ладить и со своими, и с теми, кто посадил их на трон, ослабит и обессилит их (а грузинам враг с Востока — персы, враг южный — турки, и на Север надежда мала!).

А что же посланные на учебу в Испанию и Англию?

А как посольства в страны с предложением мира? И о тех, и о других ни слуху ни духу и по сей день.

А посланцы царя, вернувшиеся на родину, крепко пострадали. Царь решил, что шах, ведя переговоры с дьяком, унизил его посольство, и пошли взаимные оскорбления и обиды. И как только в Москву вместе с Чичериным и Тюхиным прибыло посольство Юсиф-шаха, царь велел запереть послов по дворам, купить ничего не позволил, а у ворот поставил стрельцов.

Дьяк Тюхин жестоко поплатился за то, что пошел к шаху один, вопреки прежним обычаям, и выслушивал неудовольствия шаха неведомо для какой веры и потому чаять в нем воровство. Чичерин и толмач показали, что Тюхин ездил к шаху поневоле, но бояре решили, что неспроста, и нашли еще другие грехи: что пристава Гусейн-бека — к нему на подворье ходил! — братом, кардашем, называл, принял к себе и говорил с обусурманившимся малороссийским казаком; расспросить и пытаться крепко, ибо знатно, что он делал это для воровства, или измены, или по чьему-нибудь приказу; было ему семьдесят ударов и две встряски, а также клещами горячими по спине жгли; в измене и воровстве дьяк не признался; и еще пытали: кнутьями били, сделанными из белой кожи, а потом привязали к вертелу и жарили на огне — то подведут, то отведут; нет и нет; а черкешенина взял к себе в Персии для толмачества; и кардашем называл Гусейн-бека без хитрости; и тело под ногтями разрезали,— двужильным оказался дьяк; бояре приговорили сослать его в Сибирь и посадить в тюрьму.

По возвращении послов, Рустам-Бека и Булат-бека, Шах-Аббас, забыв, что они отправлены были не им, но

отправлены-то от имени империи, сочинил царю гневное письмо, вспомнив и старые обиды: «...грошовое дело птица ястреб, купил их мне мой торговый человек в Астрахани, а воевода ястреба отнял, а татарина, у кого купил, посадили в тюрьму, зачем продавал заповедный товар? Вы привезли мне от государя вашего птиц в подарок, а я из них только велю вырвать по перу да и выпущу всех — пусть летят куда хотят. А если в моих землях мои приказные люди вашего торгового человека изубычат, то я им тотчас же велю брюхо распороть».

И все же, несмотря на обиды, шах в грамоте писал о дружбе, любви и соединении.

А следующие посланники нового царя — Василий Коробьин и Евстафий Кувшинов (с толмачом) — получили иной прием, шах осыпал их любезностями и, поднимая руки к небу, говорил: «Бог меня убьет, если я брату моему, царю Михаилу Федоровичу, неправду сделаю, государство мое, и люди мои, и казна моя — все не мое, все божие да государя царя, во всем волен бог, да он, великий государь Михаил Федорович!»

Но цепь обид была нескончаема: царь жаловался шаху на его послов, тех же Рустам-бека и Булат-бека, которые привозили царю и патриарху Филарету драгоценный подарок — христианскую святыню, ризу Христову, похищенную в Грузии, были, мол, в непослушании, а в чем? — ни слова, но шах отозвал Рустам-бека и казнил его; выместил злобу за то, что тот был послан в первый раз именно седельником! но и жаль его, Рустам-бека, знающим человеком был, и в отместку пожаловался царю на его людей — новых послов — князя Тюфякина, дворянина Феофилатьева и дьяка Панова; был в багдадском походе, просил их прислать ему туда кречетов, не прислали, а потом две-три живых птицы поднесли, у которых хвосты и перья убиты; оконночных мастеров не прислали вовремя; не пошли к нему представляться, когда другие послы пошли, мол, хотим особо; шах звал их на площадь смотреть конское учение, не поехали; не пошли к шаху в том платье, которое он им подарил.

И царь, к удивлению шаха, сказал в своем ответе, что верит шаху; был еще один довод, царь утаил: когда за столом у шаха пили царское здоровье, то князь Тюфякин — кто же из трех донес? дворянин? дьяк? толмач?.. не сам же Тюфякин! — не допил своей чаши; за такую вину послов следовало бы казнить, но государь для сына своего, царе-

вича Алексея, и по просьбе патриарха Филарета, кому была привезена из Грузии похищенная риза Христова, велел только посадить их в тюрьму, отобрав поместья и вотчины; но отыскалась еще вина: князь Тюфякин в Ардебиле велел украсть татарчонка и продал его в Кумыцкой земле, а в Кумыцкой земле велел украсть девку и вывез ее тайком, положив в сундук!..

Вот оно, Юсифово добро: хотел подправить бровь, а и глаз выколол, вздумал бороду отпустить, а и без усов остался.

Ай-ай-ай! Как неразумны эти звезды! Не поняли, что их обманывают! Что седельник Юсиф — лжешах! Но как упрекнуть звезды? Им надо было уничтожить человека, который занимал престол и носил шахскую корону в пятнадцатый день после праздника Новруз-байрам, а в этот день шахом был седельник!

*«И до чего же глупы эти англичане: чуть было не за-
теяли войну с таким хитрым и коварным народом!»* (фраза Фатали, которой завершается рассказ о лжешахе, — она осталась нетронутой Кайтмазовым).

МАТ КОРОЛЮ

Фатали, ты ж хотел иначе?! (Это Колдун.)

А как обрадовался, когда открыл историческую хронику времен Шах-Аббаса! И прочел фразу о добровольном отречении шаха. Вот он, сюжет!

И что же?! А какие были надежды! Не насилие, не мятеж, не восстание. По доброй воле отречение деспота от престола! Развернутая система управления государством!

Увы, мы тоже верили, что Александр, но царь!

«Вы хотели власти? Вот она, берите! И правьте на здоровье! Вы прилетели с Кавказа, чтоб заставить, а я сам — вот вам моя корона, вот вам мой престол!»

Программа социальных преобразований, предлагаемая Фатали: сломать деспотическую власть с ее произволом и самоуправством! возвысить простолудина до управления государством! учредить справедливые законы и неуклонно следовать им! вытеснить просвещением и наукой суеверия и фанатизм! благо народа — прежде всего!

И такой финал!

— Возмущенная толпа (чернь?) хватает пятерых.

III

— А разве нет? Ю, он же П, Р, К, Б, ну и...

— Полностью не можешь, что ли? Или снова шифр какой?

— Помилуй, Кайтмазов, какой шифр? Ну, Юсиф, он же Пехливан, и так далее, а пятый Мирза Али!

А у Кайтмазова, как же он раньше проглядел такой пустяковый шифр?! выстроились в голове инициалы других пяти, Пять Повешенных! очень, слава богу, далеких и давних, и вспыхнули созвучия, как?! Юсиф, или Пехливан?? Пестель!! Убрать из текста Пехливана! Что? Р?! Рылеев!! К?! Это ж Каховский!! и Б!! без эР,— Бестужев?! Без Рюмина!! Заменить Баки!! (и стал всюду Баки—Заки). А дальше пошло такое, что у Кайтмазова волосы на голове зашевелились, холодный озноб на макушке,— последний! Мирза Али!! Муравьев-Апостол!! Сменить!! — И стал Мирза Али Мирза Джалилом. «Ну, что скажешь ты? — обращается к нему Юсиф. — Мой Молла Насреддин?!»

Откинулся Кайтмазов в кресле:

— Ай да Фатали! Ну чего лезешь в драку?! — И вдруг жаль его стало, все же столько лет вместе работают, сколько плову он ел у Тубу-ханум! Случалось, по ночам дежурили в канцелярии, и Фатали рассказывал, ну да, это детское: «Могу ли я разбить?» — Неверие и — а вдруг? — изумление, что может, только захоти! «Эй, не разбей кувшин!» — предупредил Фатали Ахунд-Алескер.

Кувшин вдруг треснул и с грохотом раскололся. И часто потом думал, никак в голове не укладывалось, и чем дальше, тем чаще: с виду громадина, а сам хрупкий, неужто достаточно легкого удара?! «Колосс на глиняных ногах!» — усмехнулся Кайтмазов. Поседел, а о том же, вот оно, детское! — «Ох, чешется, по веревке истосковалась твоя шея!»

Хватают пятерых: «Отрубить им головы!» Но ведь фирман Шах-Аббаса: никаких кровопролитий! Повесить! А у Юсифа веревка обрывается! Еще, еще раз! Эй, новую дайте! Но — удивительное дело! — не успевают набросить на голову, тончает, вся уже истончилась. И рвется. «Ты бы еще,— подумал Кайтмазов,— вспомнил: «И повесить как следует не умеют у нас!» О, наивный!»

Ах вот почему: звезды предвещали казнь путем отсечения головы! Юсиф не успел, а палач сжег фирман.

— Но Юсиф ведь пропал! — оправдывается Фатали.

— Ты думаешь, пропавшие отыщутся? И Хачатур, и Мечислав, и Александр? Что же дальше?

Воины будут биться, ораторы возбуждать к резне... Новые Пугачевы и Разины... и тьма-тьмущая... как желтые-желтые пески...— и не остановишь! Кричать? Посадят в крепость. Писать? Сошлют. Бить тревогу? Но как? Еще придут на смену либералы! Не помнишь, чей стих?

Ты только что сочинил сам!

И восторг,— сколько их было, царских манифестов, на бумаге только, эти эФ, эта вязь: два кружка, а меж ними Алиф.

И объявят в церквах, мечетях, кажется, в синагогах, костелах; в церкви — в торжественный час литургии, а в мечетях — в пятничные проповеди:

«Божиею милостью мы, Александр Второй (имя по выбору), император и самодержец Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский, и прочая, и прочая, объявляем всем нашим верноподданным...»

Фортуна? В фору ферзя? Вы что же, возомнили себя Морфи?! Он только что блеснул на шахматном небосклоне как ярчайшая звезда, и Фатали, загоревшийся игрой (а вдруг поможет победить шаха-деспота и вернуть Юсифа?), расставил простые деревянные фигурки на раскладном бумажном картоне, не с кем ему играть, а научил игре князь Хасай, Фатали видел у него подаренные Александром Дюма шахматные фигурки из слоновой кости, бело-синеватые турки-османцы в чалмах и с пиками, и темно-каштановые персы-шииты с топориками (а Уцмиев подарил Дюма атласный кошелек, бисером вышитый руками Натеван, и возможную свою игру (с Колдуном?) Фатали выразил стихами, сочиненными на загородной даче Коджори, куда вывез семью и застрял там, ибо в Тифлисе снова свирепствует холера: *Уж некуда отступить королю, а ему объявлен шах! Король пленен: неужто мат?!*

А Колдун, именующий себя порой факиром, неужто потерпел fiasco и оказался простым фокусником? И, увы, не знает, как быть,— не возвращаться же ко временам фаллического культа, хаосу и разгулу страстей? Сколько лет он отдал на поиски философского камня! А как верил, что хоть краешком глаза увидит, как возрождается феникс из пепла (сожженных Фатали бумаг?).

О, эти фолианты доносов, до которых — сколько лет уже прошло! — так и не доберутся!

Да, да, преодолев высочайшие вершины фарса, все выше и выше! и, выкарабкавшись из глубочайших пропастей фарисейства, ноги скользят, а ты выползай! из фальши! из липкого месива фразерства! эфемерные триумфы! фузейная пальба!

Что? Факел? А разве не было?! И флибустьеры, нанятые к горцам и орудующие у прибрежных вод, и сигнал им — раскачиваемый факел.

О, эти нескончаемые эФ, которыми усеяно поле, а уже пора, или время не подоспело? собирать плоды! может, финики? их привозили филистимляне и финикийцы фламандцам, фризам, франкам, фриулам-фурланам, флорентийцам, а уже близко финиш.

ЧАСТЬ ТРЕТья,

ИЛИ

КРАХ



И мчатся сквозь проклятия фатумных фанатиков, сгорающая в пути, и обжигающее слово Фатали, и огненный дух его,— в Петербург! Лондон! Париж! Тегеран! Брюссель! к огнепоклонникам!

в Стамбул, куда прибыл и сам Фатали, эти зеленые отлогие холмы, чистые бирюзовые воды Мраморного моря, будто голубой шелк, и бухта, благодаря своей форме и богатству торговли получившая название Золотого Рога,— сам Аполлон указал императору Константину, где воздвигнуть ему столицу империи, Константинополь — Царьград, вожденная мечта, а подсказал оракул: «Слепой да не увидит красот, удобств и преимуществ!», неприступная крепость Порты Стамбул,—

мчатся и слово и дух Фатали, чтоб достичь финиша, когда явится Колдун и покажет Фатали купленную в магазине уголовного дома, что в центре Каира, неподалеку от отеля «Вавилон», у европейского негоцианта, чьи предки — выходцы из Иерусалима, диковинную волшебную трубку, чтоб кое-что в будущем разглядеть пристальней.

Но прежде — служба и наивные речи бородатых детей из Баку, Нухи-Шеки, Закатал и Кубы,— четверо сбежавших крестьян (ех, или экс,— крепостные, бывшие) были схвачены аж в московском Кремле! И что царь не знает, а начальство утаило от народа настоящую свободу!

Но прежде — Мундир. Он плотно облегает тело, и в нем чувствуешь себя как в крепости, отовсюду защищенной, никакие стрелы не возьмут!

А однажды Мундир чуть не погубил Фатали. Кто знает, может, было бы лучше погибнуть? думает Фатали. С какими почестями хоронили!

И несли бы его в гробу, как несли павших от рук взбунтовавшихся крестьян: три гроба, а в первом — полковник Белуха-Кохановский. В четвертом лежал бы он, Фатали. И глядел бы на него новый наместник — августейший сын императора (бывшего) и брат нынешнего, чей высочайший манифест о воле читали с амвона во всех церквах, мечетях (костелах и синагогах), и был энтузиастический прием (но кое-кто и зевал: «Царский манифест читают, а ты рот дерешь!»).

И он (не августейший, а Фатали!)... улыбается!! Да, да, улыбка в гробу! Умереть — как уснуть (если не знать, что умираешь). Найдется же клочок земли в этом мире, чтоб взять и укрыть меня! И могилу потом разрывают, чтоб... «Ах какой еретик!!» Изъять, чтоб!.. И снова, многие годы спустя, — с почестями! А где?! «Да будет проклят — чьи же слова?! — тот, кто потревожит мои кости!»

А началось с Конахкента, «села для гостей», перевел Фатали Белухе-Кахановскому, — так некогда называли деревню, что в Кубинском уезде. О, эти кубинцы!! Чуть что — бунтуют, каналы! Корни шамилевские выкорчеваны, да не везде! Вот и пришлось Фатали отправляться в дорогу, он — переводчик при полковнике военного отдела Белухе-Кохановском; заработок по совместительству, ибо дороговизна, и цены растут с каждым днем, а семья большая — жена, и четверо детей (но скоро двоих сразит свирепая холера, выживут лишь Рашид и самая младшая, она недавно родилась, — Ниса), и семья брата жены, одним котлом все, и еще родственники, они приезжают из Нухи в Тифлис, и куда? — конечно же к Фатали.

Трудный путь — через горные ущелья, над головой высоченные горы, а под ногами — где-то далеко внизу шумная, кричащая река, глохнут уши.

Но еще в Кубе полковник вызвал Фатали к себе и при жене («с чего бы здесь быть ей, Белухе-Кохановской?»), шея обнажена, такая белая и пышная! ни морщинки на лице, а над головой — корона пшеничных волос, и взгляд царских голубых глаз: «Не задерживайтесь, полковник!» — И на Фатали (а он вспомнил Сальми-хатун, где она теперь?) взгляд: «Ах, какой у тебя седой переводчик!»

— Дать знать народу! Едем наказывать!

Конахкентцы в эту ночь, как сказал Фатали крестьянин-

тат, намерены напасть и вырезать всех. «И меня тоже?» — спросил Фатали. «А то как же?» — ответил, будто шутит.

— И вы,— недоумевает полковник,— верите подобной глупости?! Вы! Неужели не раскусили своих земляков?! А еще пиесы! А еще о звездах!

Ночь была тихая, звездная. А в полдень пошли к народу. «Я буду разговаривать сам!» Посередине полковник и, как два крыла,— чиновники, прибыл даже адъютант его императорского высочества великого князя наместника Кавказского гвардии поручик Георгий Шервашидзе (А он-то чего здесь? «Не оставаться же ему в Кубе?!» — и многозначительный такой взгляд на полковника, который оставил полковничиху в Кубе; взгляд скользкий, сладкий, с фамилией такой, что не упомнишь, ах да! титулярный советник Варвацци), и хорунжий казачьего войска из Апшеронского полка, и штабс-капитан, и корнет, и еще чины.

Сначала говорил выборный от народа — Мама́ Осман. Начал издалека: турецкий султан, магометане, родство с кавказскими горцами, а внучатый племянник их бывшего владельца, Сафар-бек, принял даже христианство, и было объявлено от имени великого князя-наместника, что пышным их усам блестеть от масла, а брюху быть в жиру. Но полковник, да, да, вы! и ты, Фатали, переводи! Это говорю я, Мама Осман! Мы народ темный, туземцы, вы столько стесняли и оскорбляли нас, что сердце наше переполнилось! Довольно!

Будто со сцены, закончит монолог, снимет грим, усы сдернет и пойдет к детишкам, лысый. «Ай да Мама Осман!..»

— Мы не верим, что государь и великий князь-наместник соизволили нам выкуп определить! Покажите нам царский указ со знаменем царским: с золотой печатью и Георгиевским крестом! Это грабеж. Неужто государь так бедны (царь Польский, великий князь Финляндский, и прочая, и прочая), что не может выкупить нас?! А то, господин полковник с длинной фамилией да коротким ростом, так и переведите! мы сами пойдем к наместнику! А нет — позвольте выселиться кому в Турцию, а кому в Персию!

Фатали потерял голос, охрип, переводя Мама Османа. «Ай какой дерзкий! Жаль, раньше не знал тебя, Мама Осман, вставил бы в свои звезды!»

— Выселиться?! Что ж, и выселим! В Сибирь! В кандалах!

Откуда Мама Осману знать (о том и Фатали не ведает), что через наместника сам государь по телеграфу сообщил: мол, разрешаю, выноси приговор без суда, по своему усмотрению. «Что? бунт?! манифестация?! ввести войска!» Телеграф телеграфом, но увлекся, погорячился Белуха-Кохановский, взгреть бы его за это: выселиться хотят? ну и пусть выселяются. Мы сами, если знать хотите, повола ищем... спровоцировать, чтоб выслать и никогда не вернуть. Белуха-Кохановский удивлен, никак не поймет, ибо гнев дурной советчик, а это так очевидно: «Избавиться от беспокойных элементов и освободить земли для поселения, скажем, казаков». Уже было, два массовых переселения — после пленения Шамиля, в пятьдесят девятом, и недавно, вслед за крестьянской реформой. Грядет третий, самый массовый, чеченцев и карабулаков, им будет ультиматум (в строжайшей тайне готовится, и главный деятель — Лорис-Меликов с бархатным голосом и прозван «бархатным диктатором», делающий ой-ой какую карьеру, будущая диктатура сердца. «Либо переселяйтесь на плоскость за Кубанью, либо уходите в Турцию», низинных — в горы, а горцев — в низины, оскорбить и вынудить, ибо очень нужны земли для поселения казаков).

Но в это время молодой, из господ, единственный в туземной массе, что восседал на лошади как князь, бросил народу клич: «Пора!» И народ, Фатали не успел даже рта раскрыть! выхватив кто что, вдруг и ружья, и револьверы, — кинулся на полковника.

— Что вы делаете?! — выскочил вперед адъютант; это было так неожиданно — по-тюркски, но с турецким акцентом! что народ замешкался. И по-русски к полковнику: — Бегите, народ обозлен!

Все побежали к двухэтажному дому, где остановился полковник, и толпа за ними. Раздались выстрелы. Бросились в первую комнату на втором этаже, а с ними армянин Оганес, был здесь по торговым делам и, надо же, попал в передрагу!

— Употребите свой дар! — просит полковник Фатали.

— Велите наших арестантов выпустить! Не то всех, как цыплят, перережем.

— Бросьте им ключ от тюрьмы! — приказал полковник (Когда успели арестовать?!) уездному начальнику, спутав его фамилию: не Алабужев, а Ажубалис. — И отдайте приказ, чтоб казаки сняли с тюрьмы караул!

Четыре казака, караулившие тюрьму, оставили свой пост и бросились в дом, чтоб спрятаться от бунтовщиков. Опасно в первой комнате, прошли во вторую, а оттуда — в третью. А бунтовщики за ними, вторглись в зал, с ходу убив двух денщиков полковника и штабс-капитана.

— Ломай все!

К дому никак не подступиться, казаки пробились в мечеть и спрятались там, пригрозив молле, чтоб запер ворота.

Адъютант высунулся из окна и закричал по-турецки:

— Эй, сумасшедшие, что вы делаете?! Зачем убиваете нас?!

— Полковника выдайте! — кричит толпа. — Иначе подожжем дом!

Но как выйти? Народ стал ломать дверь, очень крепкую, она никак не поддавалась, выломали лишь одну ореховую квадратную доску и стали стрелять:

— А ну выходите!

Подпоручик, хорунжий казачьего войска, титулярный советник, еще кто-то полезли в выломанное отверстие, и каждого, кто вышел, ждала смерть.

«Ну как? Улыбка в гробу?! Герой??» Навалились на дверь, выломали ее, ворвались с кинжалами — и прямо к полковнику: насмерть! Потом к штабс-капитану: «Стойте!» Но поздно: убит! Вбежал в комнату тот, что был на коне: «А их не трогать!» Их — это Фатали, грузинского князя и армянского купца Оганеса. Они прошли сквозь толпу, потом сели на лошадей, которые были заранее приготовлены, и прибыли в дом одного из беков («Не родственник ли Бакиханова?» — подумал Фатали). А вот и адъютант наместника — и это спасло Фатали от излишних расспросов. Их держали (плен? или дорогие гости?!), не зная, что с ними делать и как похоронить убитых. Бек вдруг тоже куда-то исчез, и молла заложником сидит в мечети, не с кем посоветоваться, а Мама Осман как заколдованный сидит, растерян, а тем временем прибыли две роты солдат.

«...ожесточение крестьян было таково, — писал в донесении подполковник, сменивший павшего полковника, — что они ложились по несколько человек друг на друга, чтоб воспрепятствовать команде идти вперед; не иначе как чрез воинскую силу, которая и вступила, полумеры более неприменимы (да-да, государь-либерал!) и до крайности вредны! Секли розгами при огне, и многих после наказывания уносили полумертвыми и бросали, а некоторые находились в

таком состоянии, что были нанутствованы местным моллой; а при наложении кандалов на бунтовщиков кто-то из толпы крикнул: «В Сибирь так в Сибирь! Всех нас! Всей деревней!» Решимость, с которою главный мятежник Мама Осман шел под розги, терпение при перенесении им боли могли дурно повлиять на крестьян, и как бы ни тяжела была подобная сцена, однако же (ведь государь-либерал!) от этой минуты зависело, а потому я отдал приказ продолжать экзекуцию, пока не испустит дух».

Записка Фатали о начале бунта и докладная подполковника о его жестоком усмирении уже через неделю были в Петербурге: «Государь император изволил читать 1 сентября».

— Кто это? Ах, приславший мне книгу! Это насчет обманутых, что ли, звезд?! Так он что же, бомбардир?! — Царский адъютант не понял. — Так и передайте ему: «Вы что же, бомбардир?! А власть вам этого не поручала! Мы сказали: улучшать дикие нравы, но не велели, чтоб всякие прожекты...» — не договорил мысль. — «Как это у вас: «Говорю тебе, шах, а ты слушай, царь!»

Записка встревожила. Скоро начнутся и здесь: петербургские пожары! закрытие университета! упразднение, устрашение, удушение, убийство...

Да, кстати, а посланы звезды шаху? Царю — это неплохо, а вот шаху!.. Во всех цивилизованных странах, мы хоть Азия, но числимся по разряду Европы, все великие, помнится, посылали.

ДЕРВИШ В ШКУРЕ ПАНТЕРЫ

А Фатали думает о словах нового царя: «Вы что же, бомбардир?!» Не прекрасна ль сама по себе отпущенная жизнь? Одумайся, Фатали!

Ах, обострить восприятие фальши! Не дать обмануть звезды! Освободиться от всего, что мучает и не дает покоя при виде того, что делается на свете, этой неправды, демагогии, обмана и тупости, — чтобы жить хотя бы с чувством уважения к самому себе, что ты не раб, и не слепец, и не глухой! Всколыхнуть хотя б десяток людей, которые, может быть, прочтут то, что ты напишешь.

Но почему именно ты?! Был один из великих, Фатали собирался его переводить, но он, увы, жаловался: меня, мол, не так поняли, не так трактовали, я «за», а меня в ряды тех,

кто «против», мечтал заслужить благосклонность царя и быть учителем сына наследника, — чем не должность?! «Я учился у вас, вы меня всполошили, разбудили, я пошел следом за вами, а вы теперь в слезы?! в кусты?! Мол, не надо дразнить? Нас принимал Сам? К чему вызывать гнев государя?! Он пригласил, — какие перспективы! Какой размах либерализации! И звания! И награды!»

И зачем тебе, Фатали, эти стихи, эти комедии, сколько их было на Востоке и на Западе! И что нового скажешь ты? И эта головоломная, беспокойная твоя проза! Или не довольно тебе службы? И земляки с восхищением взирают на твои эполеты.

А гордость? А радость, когда издал книгу? И надежды, когда просил, чтоб издали?

Так уж получилось: в шахские времена вся переписка велась на фарси; при султанах турецких — на турецком, и мы лишены своей родной литературы на родном языке; а если и есть у нас свои сочинения, то это малопонятная народу смесь арабо-персидско-турецких слов! Именно на мою долю выпала честь впервые, первым!.. На языке, понятном народу, о его жизни и его бедах. Этого, конечно, писать барону Николаи не надо, — но это ведь так! И я перевел свои сочинения, тоже впервые в нашей национальной истории, на русский язык!

И что же?

Ужель рука твоя не устает? Глаза на слезятся? В них будто попала соринка, хочется зацепить и вырвать, чтоб не колола изнутри (и зрачок вытечет!); не щипчиками же, которыми Тубу создает узоры на сладких пирогах — ромбики, кубики, волнистые линии с выступами, словно зубья крепостной стены; и прочитать написанное с каждым годом труднее — и кириллицы на службе, и эта вязь, эти точки и знаки дома!.. Кто он, тот враг твоему покою, семье, близким твоим? А как он командует, наглец! Сядь, пиши, сочиняй! А ты скажи ему: «Нет! не буду! не хочу! Не забивай мне голову всякой чепухой в ночные часы! Дай уснуть — завтра мне на службу!»

И переписка с горцами! И когда при тебе их бьют, а ты не смеешь слова сказать. Отчего это? Откуда это рабье? И разбор крестьянских жалоб, и падают ниц при виде пристава, и ты слышишь, как Али зовет Вели, а тот кличет Амираслана, — весь в лохмотьях, а какое звучное имя! Эмир львов! А сам, чуть выступит шеренга солдат, — готов пасть

и клясться в верности! И увещеванья, когда душа горит, а уста изрекают рабье, и крик: «Эй, где ты, мой народ!..» — загнан глубоко, не пробьется наружу, чтоб всколыхнуть? И кого?!

Бросить службу? А с чем — к народу?! И кто пойдет за ним? Что смогут отчаявшиеся десятки? даже сотни! Эти бунты и возмущения как щелчки по лбу империи: на одного с дубинкой — десять штыков.

И нищие! О боже, сколько их, нищих, исступленных дервишей, которые по обету никогда не моются, не чешут головы и бороды, к поясу привязан сосуд из тыквы — это и сумка, и сосуд для воды; и шкура пантеры или леопарда накинута на плечи — днем плащ, а ночью одеяло; ожерелье из четок на шее, и палка с железным острием в руке — отгонять собак, и войлочная шапка с густой бахромой, ниспадающей на глаза: и от солнца защищает, и помеха, чтоб не смел глядеть на небо, обитель всевышнего, ибо удел смертного — не отрывать взоров от земли. И бредовые их рассказы о мучениях борцов за власть!

И люди верят дервишу, заученно повторяя за ним, когда он, семижды обвязываясь поясом, состоящим из разноцветных веревок, связывает семь низменных страстей человека: себялюбие, гнев, скупость, невежество, алчность, чревоугодие и похоть, а затем семижды развязывается, выпуская на волю семь возвышенных страстей — великодушие, кротость, щедрость, богобоязнь, любовь к аллаху, нравственное насыщение и истязание плоти. И шерстяной пояс, состоящий из разноцветных веревок, с двумя узлами: один призван связать злословие (дил-баги), другой — обуздывать плотские страсти (бел-баги). И семиугольный камень в поясе — намек на семь небес, семь земель, семь морей и семь планет (и семь возвышенных и низменных страстей). И непременно топорик, украшенный мистическими надписями: в минуты экстаза дервиш размахивает им и восклицает: «Я порастил порок (или страсть)». И четки, состоящие из девяносто девяти зернышек — по количеству имен всевышнего в Коране, и, перебирая четки, дервиш вспоминает эпитеты, которыми окружено имя всевышнего, как они идут в Коране: Аллах, Милостивый, Милосердный, Святой... — все девяносто девять зерен! (Фатали знает их наизусть и учил этому Рашида, обещал записать ему на отдельном листочке, да некогда.)

Вышел Фатали однажды на балкон, облокотился на перила — Тубу затеяла уборку, вывесила ковер, почти но-

вый, красивый, узоры так и горели на солнце,— а тут нищий старик:

— Помогите, ради аллаха, дети голодают!

Жаль стало старика:

— Эй, хочешь ковер? Постелишь в лачуге.— А нищий не верит.— Я тебе его опущу, а ты хватай и беги, пока жена не видит.— И спустил нищему ковер.

А Тубу:

— Фатали, здесь же висел ковер!

?!

— Куда он девался?

— Понятия не имею.

— Но ведь ковер!!

Фатали пожимает плечами:

— А ты пригласи Колдуна, и он поможет отыскать вора.

Тубу поверила:

— Да?

— Зарежет петуха, что есть проще? так все колдуны делают, непременно черного! потом велит всем прохожим кольнуть петуха иглою, и когда кольнет его виновный, петух запоеет!

— Я же серьезно, а ты!..

И у Фатали уже отсутствующий взгляд: у него, мол, голова занята более возвышенными делами, чем какой-то ковер.

«Нищий? — появился Колдун, легок на помине.— Это был я, а ты принял меня за нищего дервиша!»

«Но ты без седой бороды!»

«Разве трудно привязать?»

«И зачем тебе мой ковер, купленный на гонорар?»

«Он обладает волшебными свойствами!»

«Летит?.. А мы его топтали!» Увы, и без ковра однажды летали, с Александром, а что толку?

Фатали возвратился к своим бумагам, перебирает их, думая и даже мечтая засесть за стол в тихие ночные часы,— но о чем? для кого? Эти стихи! эти комедии! и эта повесть — прочтет ли кто? поймет ли? то надежда, то сомнение. Еще недавно спорил с Александром, нет-нет, не наместником, тоже Александр, Бярятинский, а сослуживцем, а сегодня и перо взять в руки не хочет: поймет ли кто?

— Но я верю в силу слова! — говорил Александру.

— Разбудить? И что дальше?! — как бы мягче сказать,

чтобы не обидеть Фатали.— Извини, Фатали, но эти твои комедии, эти алхимики!..

— Чему ты смеешься, Александр?

А он вспомнил, как отец ему говорил, и сбылось! увлеченному в далеком детстве алхимией,— алхимические препараты, основанные на ртути и могущие создать золото. «От алхимизма — к мистицизму,— говорил ему отец,— далее к скептицизму, либерализму, гегелизму, коммунизму и — к нигилизму, мечтающему о терроризме».

— Как бы и ваш алхимик туда не кинулся, Фатали!

Но прочтет ли кто его сочиненья? Поймет ли? И эта вязь, эти изгибы линий — напрягай память! поймай смысл! а он уходит, уползает, как ящерица, никак не схватить, вся интуиция на помощь.

АЛИФ, ПОХОЖИЙ НА ЗМЕЮ

И он никак не отцепится от крючков. Это был давний детский страх, когда Фатали учили арабскому,— каждая буква цеплялась за одежду, волосы, кололась, жалила, царапала. Чтоб вырваться — оставь клочок одежды, а клочья треплются на ветру.

Алиф — лишь одна палочка, но вдруг, будто в отместку, алиф изгибал голову, похожий на змею,— резко выбросит вперед и вцепится ядовитыми зубами в руку.

Да, сколько нелепостей в шрифте, в этом письме, удобном, быть может, для арабского, но не приспособленном к тюркским языкам. Точка выпала или чуть сползла, и тогда «шедший в пути» читается как «умер в пути».

Не трогай это письмо! Не трогай! На нем священный Коран! Тебя забросают камнями, несчастный!

Упростить и облегчить. Но почему именно ты?! Разве армяне посягают? А грузины?! Честолюбие! Выслужиться? Чтоб о тебе как о первом заговорили?!

Эх вы! Но у них нет этого множества написаний! И звук и шрифт как одно! Да и как иначе образовать?! Надо непременно расплавить крючки, отлить их на манер европейцев!

Не трогай!..

Нанизывая смысл на смысл крючками-закорючками, сцепляя их, каждый будто соревнуется с другим по длине и витиеватости написания; но если перевести на графику европейских языков, ни один лист не уместит, это ясно, и

здесь нужны упрощения, чтоб тяга к выкрутасам словесным не затемняла смысл; выстраивать караван слов, чтоб — пусть бессмыслица! — пощеголять ученостью. Это пристрастие к длинным и слитным оборотам, доставшееся в наследство от придворных поэтов (халифата?), которые в угоду мелодическому ритму втискивают в строку бессмыслицу. «По голосу его самозабвенному и по глазам его, пылающим любовью, я понял, что он хвалит меня, но смысла не уловил».

Боже, сколько слов:

«Сладострастно светлеющее сияние сокровенных сокровищ (!), сокрытое ставнями страдающего сумрачного созвездия, сияло страстью слова, сожженного светом свечи» (!!).

И сколько ночей, понапрасну потерянных, ушло у Фатали на то, чтобы придумать — после тринадцати веков!! — новые штрихи и черточки, приведя к единству звук и его плотность, предложить — и все во имя образования народа — знаки восклицания, вопроса, утверждения, сожаления, раздумья, и даже два восклицания или вопрос и восклицание, и другие их комбинации, щедро проставленные в иных сочинениях, когда в душе клокочет ярость или хочется показать тщетность усилий хоть что-то изменить в этом мире деспотии и рабства; знаки незаконченности мысли, когда автор желает не все досказать и что-то оставить на размышление читателя.

И многоточие в начале, если прежде была прервана мысль или предполагалось наличие какого-то начала. И многоточие в конце. Знаки, выражающие законченность мысли, — ведь точка может быть воспринята как спутница черточки, обозначающей букву: поди поищи, откуда она, эта точка, выпала: с Чэ или с эн?

А потом докладная записка управляющему дипломатической канцелярии наместника Лелли, — как это соседствует, серьезное и смешное, подумал Фатали: ведь это его, милейшего управляющего, предлагал Фатали, когда летели с Александром, изгнать со всякими Жеребцовыми, Шраммами, Значко-Яворскими... — да, просьба послать свой проект «улучшенного арабского алфавита» правительству Ирана и в турецкий диван, — где, как не в этих двух могущественных (?) мусульманских государствах?! И каждому — подробно разъяснить: о выражении оттенков, о точках, о гласных, которых почти нет, — ускорить непременно процесс образования (?!) народа.

А султан еще не выспался после бурной ночи — такой гарем, успеть бы до каждой!

А шах? О, дерзкий еретик!

И сыновьям — ну и плодовит был! — Фатали-шаха: принцам Алигулу-Мирзе, он же министр просвещения; Фархад-Мирзе, он правитель Фарсистана; своему будущему — но Фатали о том еще не ведает! — родственнику Бехману-Мирзе, правителю Азербайджанской провинции; самому юному из сыновей Фатали-шаха — Джелалэддину-Мирзе, умнейшему из шахского рода, случается такое; новый шах Насреддин им всем внучатый племянник! эти двоюродные деды во как надоели шаху, особенно этот, последний, почти ровесники они с шахом!

Новые люди, новые имена, новые экземпляры.

Письма, прошения, записки — действительному статскому советнику и кавалеру Алексею Федоровичу Крузенштерну, возглавляет гражданское управление, чтоб испросил (так положено) разрешение у наместника — князя Бярятинского — выйти на связь с европейскими учеными-востоковедами; влиятельному Аскерханбеку (мало ему «хана», еще и «бек»!), Мирзе Алекберу, переводчику при русском консульстве в Тавризе, гостил у него Фатали. Даже келайщику — продавцу шелковых платков, Гаджи-Расулу, — маленький человек, но вхож во дворец! И мучтеиду Гаджи-Мирзе-Багиру, — очень тот расспрашивал о беглом главе мусульман-шиитов Фаттахе, а алфавит для просвещения народа лишь повод, чтоб выведать о беглом.

«Придумал (!) знаки, облегчающие восприятие текста, создал, одним словом, — резюмирует Фатали, — новый алфавит (!!)

И добавляет, что кое-кому покажется сумасбродством, но *«я готов на все оскорбления ради того, чтобы образовались миллионы моих и ваших сограждан»*, о тупоголовые вожди: шах и султан!!

Услышал Фатали, что из бывших земляков, из Хамнэ, из рода мугаддам («И отец мой тоже!»), влиятельный человек при шахе находится, и даже титул имеет — Порядок Государства, Низамуддовле, и пишет ему, просит посодействовать: «К тому же ваш близкий родственник и друг Мирза Джафар-хан был дружен с моим дядей Ахунд-Гаджи-Алескером, знает он и меня лично, когда находился в Тифлисе, мы часто виделись, и его подарок — роскошное издание «Тысячи и одной ночи» всегда перед моими глазами».

И академику Дорну. И окрыляющий ответ: «похвальный труд». Но между строк предупреждение — великий риск. Фатали понимает, что предстоит борьба, и он пишет академику Дорну:

«Я чувствовал себя человеком, пылкость и энергия которого уступили место хладнокровному благоразумию, и я спокойно стал думать о своем проекте».

И Бутеневу, управляющему Российской миссией в Константинополе, «действительному статскому советнику и кавалеру», Аполлинарию Петровичу, может, он поможет? И еще, и еще письма, экземпляры проекта. «...надеюсь, что мое истинное желание добра народу...»; «...через вашего генерального консула в Тифлисе Мирзу Гусейн-хана».

О! Гусейн-хан! А вы, оказывается, мастер интриг!

— Это политика, а не интриги! — как-то сказал Гусейн-хан Фатали. — И вы не станете отрицать, что моя верность престолу шахиншаха... — И смотрит выжидающе.

— Да, да, а как же? И исламу. Вы часто это говорили!

— А раз так... — И снова ждет.

— То дозволены все средства, да?

Фатали пишет и пишет: и в Шахиншахский Меджлис, и в высокий Диван Блистательной Порты: «Единственная моя корысть — грамотность мусульманского народа»; а в Порте этого слова и не знают, а шах впервые слышит!

И новые экземпляры проекта; с помощью Крузенштерна, безотказно подписывает все бумаги в папке, надоела служба в треклятом крае, тянет в Вильно! «Ссылка? Но за что?!» — и письма Фатали с проектом реформы мусульманского алфавита посылаются в институты по изучению восточных языков: в Петербург, Берлин, Вену — господину Титце, в Париж — известному востоковеду де Тассу, Лондон.

Столько писем — впору б таблицу эпитетов составить, формы всякого рода восточных вежливостей, поразить и султана и шаха: «Выражаю вам искреннее пожелание, да сделается челн моей судьбы, то бишь проект алфавита, украшением пристани счастья, да привлекут паруса моих желаний (просвещение народа!) ваш взор»; может, иначе? «С этим пожеланием осмеливаюсь я окунуть перо в море мыслей и возбудить в нем следующие волны речи»?; «Распустить все паруса и пустить в ход все весла»?..

Да-с, как в глубокий колодец крохотный камушек эти

его письма в Диван Блистательной Порты и в Шахиншахский Диван или Меджлис.

И зреет идея: поехать самому. Здесь называют город Константинополем, а там Стамбулом... А кто работу Фатали здесь выполнять будет? «Об этом вы подумали?» — спросит тот же Крузенштерн. Уже взрослый брат Тубу Мустафа, и Фатали представляет себя, когда знакомит в канцелярии, как двоюродного брата; моложе Фатали на много лет, не напишешь же, как есть на самом деле, по родственной генеалогии, — «двоюродный дядя»; Мустафа знает много языков, может, мол, заменить «в случае моей командировки», — надо непременно поехать в Стамбул!

А между тем Фатали шлет и шлет новые письма. Мирза Казем-бек — известный востоковед, с чьим мнением считаются в столице, принял христианство (католицизм!.. еще в далекой юности, в Астрахани, — такая радость шотландским миссионерам: поколебали веру Казем-бека, в чьем имени соединились и пророк и его ближайший друг, соратник и родственник, — Мухаммед-Али, и стал он называться Александром... Был у Фатали о нем разговор — и с Кайтмазовым, и с Никитичем (а не Ладожским?), когда предлагали Фатали полушутя: «Почему бы и вам не принять христианство, а? Нет-нет, упаси боже, — это когда Фатали упомянул про Мирзу Казем-бека, — не католицизм! Наша православная церковь...» — это уже всерьез, о преимуществах православия, долго и путано, Фатали терпеливо и с почтением внимал собеседнику, но не проронил ни слова). И Мирзе Казем-беку сочинил письмо Фатали: «...много слышал о вас; я написал несколько пьес в стиле европейцев о жизни мусульман-земляков, посылаю вам, может, скажете, дерзкая мысль, но ведь кто-то должен начать первым! Посылаю и повесть, на родном еще не публиковалась...»; непременно узнать мнение и об алфавите!

В Дипломатической канцелярии наместничества Фатали сообщили фамилию главного переводчика при российском поселе в Константинополе. «Мусье Тимофеев, — пишет ему Фатали, — вы исполняете в Турции ту же должность, что и я в Тифлисе, узнайте, как там в Диване с моим проектом?!» И ему — книгу комедий на русском, «увы, не на родном тюркском»; а Тимофеев уже отбыл из Константинополя, через Одессу, в Петербург.

Конечно, я не доживу до того времени, когда мой алфавит победит и это станет подлинной революцией в мире Востока, но что это будет так, я не сомневаюсь! — и убеж-

денность Фатали, и думы его, и сомнения, и неуверенность: все это в его письме к академику Дорну, в Петербург. И Дорн, один из немногих, к кому Фатали писал, откликнулся: идея встретила поддержку.

А вокруг комедий, и особенно повести,— недовольства.

Началось с того, что каждый раз, проезжая через Шайтан-базар, мимо лавок, Фатали стал замечать колкие взгляды; а один лавочник, краснобородый до хны Мешади, прежде Фатали его не замечал, стал резко вскакивать с места, отчего конь однажды чуть седока не сбросил. Низко кланяется, почтителен, а во взгляде дерзость: «А мы твоего коня и вспугнем!» И, вскакивая с мягкого сиденья, всем телом высовывается из лавки наружу: «Здрасьте!» — мол, я твой герой, и вам мое почтение! И хихикает, обнажая золотые зубы, дороже головы. «Что ж ты, Фатали, измываешься над своим народом?!» Шустрый такой лавочник, другие побаиваются Фатали, а этому хоть бы что, хотя на Фатали и мундир, неприкосновенная, так сказать, личность. «Разве армяне о себе так напишут?! А грузины?..— Это лавочник вслед Мундиру; ведь Мешади, с той поры как началось, иногда лишь Мундир и видит? — Ты посмотри: ни один слова дурного о своих не скажет! А те, кому ты служишь, разве над собой глумятся?! Что? Гоголь?! — чисто это имя произносит, без акцента.— А ты попробуй попроси, чтоб перевести разрешили!» Будто не Фатали, а он, этот лавочник, с Кайтмазовым на дружеской ноге!..

А Кайтмазов, узнав о намерении Фатали и как будто подслушав тайные мысли лавочника, сочинил — ибо служба прежде всего! — секретное донесение Никитичу, прося разрешения отказать Фатали: «...чисто с цензурной точки зрения, конечно, и речи быть не может о каких-либо препятствиях к изданию какого бы то ни было перевода «Ревизора»; Кайтмазов помнит, как на представлении сказал о пьесе высокий чин: «Это невозможность, клевета и фарс». «Но в данном случае,— продолжает Кайтмазов,— нельзя не обратить внимания, что наша жизнь представляет очень неприглядную картину, горькую для нас, и для какого-нибудь татарина она дает не только пищу, но и побуждение к проявлению и без того враждебности... нехорошие стороны которой так метко... и, таким образом, под личиною почтения едва ли не кроется злорадный предлог к осмеянию».

Никитич согласился с доводами Кайтмазова и велел

ему уладить дело миром (?!). И Кайтмазов обнял Фатали за плечи, о том о сем, о «Горе от ума» (смотрели недавно с Фатали, бенефис госпожи Вассы Петровны Маркс), «жива, развязна и тверда, особенно превосходна в ролях субре-ток, а каков муж? превосходен, слов нет, но иногда утрирует в некоторых ролях, и девица еще у них, ой как вы переживали!..» А переживал не Фатали, а сам Кайтмазов: «Боже мой!! Чацкий! Софья Павловна!..» А как вышли из театра: «Вот бы нам такое на Востоке!» — сказал Фатали, а Кайтмазов промолчал.

«Может, перевести?» — продолжал Фатали. И тут же о «Ревизоре». «Ну, что толку в переводе? — не сдержался Кайтмазов. — Где вы его поставите?!» А ведь правда, где? Вот и теперь, когда Никитич одобрил действия Кайтмазова, тот и попытался отвадить Фатали от новых несбыточных затей: «Дождемся лучших (??) времен»; мол, не лезь с идеей перевода: ни «Горе от ума», ни тем более «Ревизора». «А сунешься, — думает Кайтмазов, чувствуя, что Фатали упрямится, — я на тебя новое секретное!.. К тому же необходимо подвергать установленной цензуре, а сверх того, — это можно не в уме, а вслух, — имея в виду, что на основании приложения к 147-й статье XIV тома сво-да уставов, — точь-в-точь по-кайтмазовски, Фатали однаж-ды видел, когда тот цензорское заключение сочинял, но не разобрался, что к чему, — о пред. и прес. прест. (§ 23 лит. А), драматические сочинения одобряются к представ-лению в театрах III отделением Собственной Его Импера-торского Величества Канцелярии, переводные тоже!!»

А между тем лавочник распоясался, через Мустафу, брата Тубу, даже огорчение свое выразил, мол, передай своему зятю:

— Что ж он выставляет нас на посмешище? Из любви?! Ничего себе — любовь! А в нашем народе столько доброго! Столько светлого! И почитание старших, и долготерпение, и послушание властям!..

— Даже когда орехи на голове народа разбивают? — нашелся с ответом Мустафа, а лавочник — мимо ушей, и упреки, и сожаление, и даже угрозы:

— Уж кому-кому, а не мне об этом твоему зятю, наме-стническому чину (ай да молодец лавочник!).

Наконец-то! Прибыл из соседней южной страны высоко-поставленный муж, послом к кайзеру едет, Абдуррасул-хан, по пути в Европу решил пожить в Тифлисе, остановился у

персидского консула Али-хана, через которого Фатали в меджлис посылал свой проект алфавита, а тот упоминал при этом — вот и запомнил Фатали! — Абдуррасул-хана.

Пригласили Фатали, и он тут же с ходу, не успев сесть в предложенное ему кресло, спросил:

— Как насчет моих идей? О реформе алфавита и просвещении народа.

Лицо у Абдуррасул-хана вытянулось:

— А я впервые слышу!

— Да как же? — растерялся Фатали. — Ведь я вам посылал.

— Клянусь аллахом, я не получал! — А в глазах ложь; отводит взгляд. — Не будете ли так любезны прийти вечером и почитать? Очень вас прошу!.. — Воспитанный, вежливый, в Европу едет, стоять на страже персидских интересов.

«Может, и впрямь затерялось?» — думает Фатали. И снова пошел к нему, на сей раз вечером. Входит к послу, а перед ним — бутылка водки и рюмки. Фатали отказался, а тот не настаивает, слушает собеседника и рюмка за рюмкой пьет и закусывает. Хмель ударил в голову, ведь непривычно, только-только к водке приобщается. Глаза осоловели, как у барана, а тут вдруг заявляется слуга:

— Абдуррасул-хана зовут. — Прямо обращаться — непочтительность.

Он тотчас вскакивает и бежит. «Проститутку к нему привели!»

Через полчаса заявляется расстроенный:

— На чем вы остановились? Я вас слушаю. — И консул с ним. Сладко хихикающее лицо, ни тени стыда!

— Я стану читать тому, чья душа светла, а голова ясна! А у вас ни то, ни другое, и душа трепещет от встречи с проституткой!

Консул тут же на помощь хану:

— Не сердитесь! Вы правы, но мы мужчины, пойдем друг друга. Давно в пути... Уж простите, в другой раз прочтете! А теперь разрешите Абдуррасул-хану уйти, там его ждет луноликая красавица, бах-бах-бах!..

Не успел Фатали собрать рукописи, как слышит крик в соседней комнате: визжит красotka, экстаз, всплеск, вопль.

Вздрогнул даже консул, привычный к сладострастью земляков. Да, тут не до просвещения народа. Надо непременно самому поехать в Стамбул!

А вот и просьба: в Константинополь, для обсуждения в Академии наук Оттоманской Порты проекта алфавита и сочинений, исходатайствовать перед наместником — великим князем, на время летнего отпуска, а вместо себя — канцелярия ведь требует! — двоюродного брата, даже короче — брата, коллежского секретаря Мирзу Мустафу Ахундаде, и чтоб специальное отношение от наместника, «пусть турки видят, как ценят здесь мусульман, находящихся на службе у государя императора»; а почему, собственно, не разрешить, а? да еще приложено письмо-ходатайство академика Дорна, кто знает, с кем он там наверху связан?

— Получить иностранный паспорт?! (А не удерет?!). Вас, царского чиновника, в Турцию? Да как можно? С вами там какую-нибудь провокацию, знаем мы этих турок! — у Никитича лицо ничем не примечательное, такого в любой роте встретить можно, никаких особых примет. («Разрешить татарину Фатали поехать в Турцию?!» К тому же еще в памяти, как Фатали того, с лошадиными зубами, личного человека Никитича, дураком выставил перед иностранцем!)

О, Никитич!..

У него обширное, шутя говорит он, и то не вслух, ханство, а речь о досье, и ни одна душа в них не обойдена — ни живая, ни мертвая, и на Фатали тоже копится.

И о настроениях мусульманского населения, это досье пятое, с него — параллельно с Ладожским! — Никитич начинал, и о выезде из Турции эмиссаров с секретными поручениями, и о переселении русско-подданных мусульман в Турцию, и о выдаче иностранными государствами русских преступников; с год, как передали Никитичу после Ладожского досье второе — сначала временно, а потом насовсем: донесения о волнениях среди населения Закавказья и Дагестана; и тут же, рядом, сведения о приведении в повиновение непокорных народностей и племен.

Для Никитича папки эти как живые, со своим даже запахом, что ли, — царские рескрипты и отношения министров к наместнику о проведении рекомендованной ими политики при управлении вверенным краем, указы правительствующего сената; и рядом — пухлые, в гладких переплетах, прохладных и крепких, папки: об отдаче в солдаты крестьян за преступления, ссылке горцев в Сибирь, выселении евреев из Грузии; и переписка о контрабандном провозе пороха турецкими жителями и торговле горскими пе-

больницами,— преемник почему-то завел на них одну папку, а у Никитича руки не доходят, чтоб развести порох и невольниц;

закроют Никитичу глаза, играя с ним в его любимую игру жмурки, и он без труда отыщет досье одна тысяча сто пять — о наблюдении за иностранцами, приезжающими в Россию, не всю, конечно, а в пределах подчиненного Никитичу Закавказского края;

и — хотите верьте, хотите нет — достанет из досье семнадцатого, благо они рядом, но разве догадается кто? постановление о высылке из Петербурга студентов-кавказцев на родину за участие в студенческих буйствах и волнениях, совсем-совсем свежие есть, на «терековцев», «испивших — о боже, какие юнцы! — ухмыляется Никитич, — воды Терека!» да, да, на тех самых, кем ты восторгался, Фатали: ах великие?! ах поклялись?! еще Воробьевы горы вспомни!! ну да, полные сил и энергии переверотить весь мир, а как же?! неразлучные друзья — Илья и Акакий!»

И еще один листок, по-грузински.

— Вы что же, Никитич, и грузинский изучили? — спрашивает Фатали. — А то как же! — листок, рукой Ильи. — Очень-очень ценный автограф (но как он попал к Никитичу?!), ему цены нет (но это в плюс бунтарю студенту). — Видите, я объективен! Я перевел эту запись так (!!?): «Грузия обрела под сенью России покой! Эти вечные войны! Этот великий страх перед неумолимыми врагами! Разорения и опустошения! Эта распятая на кресте Грузия! Отныне все! Отныне конец!» Видали?!

— А ведь прекрасно перевели, Никитич!

Еще бумага, тоже на двух языках, услышана и переведена, но Никитич о ней умолчал, ибо не твердо убежден, что это слова Ильи: «Если бы мы желали перерождения, то нам проще было бы отуречиться. Ведь турки — совсем рядом».

Писарь Никитича по наблюдательской части, у него красные руки, будто обморожены — оттаивают, завел алфавитную картотеку на этих бунтарей студентов, на «Цэ» — Илья и «Чэ» — Акакий, «извините, — лицо писаря побагровело, — Цэ Акакий и Чэ Илья!», не очень далеки друг от друга в этой картотеке, и к каждому из них надо здесь глаз да глаз! Любимцы грузин Церетели и Чавчавадзе.

Досье Акакия тоненькое, никак не наполнить («конспирация на высоком уровне?!»); и о жене из Петербурга никаких вестей не поступает: как она там, без мужа? и что

за семья?... Обозначен путь, как ехал в Петербург: до Орши — на лошади, там на корабль, по реке Риону; два дня плыл до Цоти, жил там три дня, лишь перечень!! ни разговора, ни слова!! потом на военном корабле в Одессу, а там — визит к вдове Воронцова (ох и хитер Акакий!!), а брат его — но за ним крепко следят — в конвое! в Царском Селе!

Акакий полюбил Фатали, и родилась идея: перевести пьесы на грузинский, непременно возьмется; издаст, увы, уже после смерти Фатали.

Ключок бумаги, на котором воспроизведен диалог человека Никитича и Акакия: «Служить?! Ни за что! Стихи и есть моя служба!»

«Плохо работаете!» — внушает своим людям Никитич. Но зато досье Ильи очень занятное! и о землячестве в Петербурге — касса, библиотека, устав, товарищеский суд; и о посещениях салона Екатерины Дадияни, да, да, сестра Нины Грибоедовой, владетельница, так сказать, Мингрельского княжества, усмехается Никитич, был высочайший рескрипт о ее «добровольном» (!) переселении в столицу, все увиваются вокруг княгини, и даже Орбелиани, иногда замещающий наместника, ходит в холостяках, а чего ждет — неясно!

Запечатлен момент передачи Екатериной Дадияни Илье альбома (что в нем?!) со стихами Бараташвили, тоже был влюблен в княжну, и даже после того, как та предпочла ему владетельного князя Дадияни; и огненные речи Ильи о переносе тела Бараташвили из Елизаветполя — Гянджи, где он похоронен, в Тифлис; так и позволяют им! что? любовная лирика? о музе поэта?! прислали, редкий экземпляр (те, конечно, успели кое-что списать, но экземпляр — в ведомстве Никитича, пусть теперь ищут этот альбом!), в рукописи, сборник на грузинском, составленный в Петербурге, а там... о боже, сколько в сборнике ереси, дерзости, бунтарства! специально перевели строка в строку, — «куда цензура смотрит?!» — но инородческая литература в самом центре — кому она страшна? вот если б в Тифлисе!

«Перерезать дороги», — команда такая поступила, — «чтоб ни одна не просочилась строка! и о посещении летней резиденции в доме Багратиони в Царском Селе; и дерзостные речи там!!»

Да-с, испившие воды Терека!.. У татар — Аракс, мол, та и эта сторона, и мечта воссоединиться, а у этих — Терек, мол, по ту сторону, в России, значит, испили воду, а в

ней — бунтарские микробы! И ценнейшее донесение — о встрече с этим, как его? ну самый-самый их идеолог! гражданский суд и прочее! «Что делать?»! да, да, с самим!! «Помните,— Никитич об этом идеологе Кайтмазову как-то говорил, в минуту левых вспышек, случается у него такое, а Кайтмазов, тоже в минуту откровенности,— Фатали, и тем просветил, впервые Фатали услышал именно от Кайтмазова,— помните? позорное, так сказать, пятно! медленное убийство долголетней ссылкой!.. А что, разве нет?!» да-с, Никитич осуждает репрессии (!!). Но вслух фамилию ни за что не назовет, это в их среде не принято, пусть догадываются сами. Встреча зафиксирована, а о чем говорили — не ясно; а впрочем, о чем они могут, оба на Чэ?! догадаться нетрудно, какие идеи у этих Чэ, уж так и быть — назовет: Чернышевского и Чавчавадзе! насчет крестьян, конечно,— освободить всех, и непременно с землей! Слежка, слежка, а потом надоест людям Никитича, да и папка-досье распухла, сколько можно копить и копить бумаги!.. Убьют однажды,— нет-нет, упаси боже, не Никитич, но его люди; по пути в Сагурамо, неподалеку от Цицамури. «Цицамури, Цицамури!..»; якобы ограбление — трижды стреляли, две раны на лбу, а одна смертельная — в сердце; соскочил с коляски, а его — насмерть! забрали даже жилет, очки; а Илья работал, и об этом тоже сигналы были! над проектом запрета (у нас-то!!) смертной казни; и о каких-то правах (??) малых народов,— сами не имеем, а тут — им!

Да-с, толстенное досье, и их, Фатали с Ильей, разговор. Илья юн, а Фатали вдвое старше. «Приехал? Изгнали! Могучники!» — и рукой на север показывает. И еще фраза Ильи: «Вот я, председатель общества по распространению грамотности среди грузин! Но что я могу?!» — стоило ли подслушивать? но как знать! надо ж послушать, о чем толкует этот юный член комиссии по урегулированию отношений между дворянством и крестьянами в связи с реформой, князь Чэ!

Но нет! шпик-раззява проглядел! не воспроизведено: об обыске в Петербурге! «Фотопортреты? Герцена? И даже Бестужева?» Были найдены во время обыска. И перевод на грузинский «Марсельезы». «О, Петербург!.. Как у вас, мусульман? Тонкий как волос и острый как меч мост, сират? над адом,— и он, Петербург,— говорит Илья,— для меня волосок, который судьба точно мост перекинула между тьмою и светом!»

Есть еще студенты, бывшие, большей частью грузины и

армяне, татар, слава богу, нету, смиренные, двое только, да и то один с горской, а другой с персидской примесью,— успокаивает себя Никитич. Тем, из грузин и армян, кажется, что — «ох, юнцы!» — у них конспирация на высочайшем уровне, а писарь на каждого завел карточку — и из «Лиги свободы (?) Грузии», и «Союза защиты прав (!) Грузии», и «Общества арменистов», и — ну и придумали! — «Российского узла», мол, разрубим, вроде «За вашу и нашу свободу», а их собственные хвосты в этих «узлах»!

Фатали, зная он об этом, сказал бы, вспомнив мать, — «шайтаньи хвосты»; смеясь, ловила «шайтанов» в свои узлы, еще когда в Хамнэ жили: возьмет кончик белой собственными руками сотканной шали и завяжет, убежденная, что именно в этот ее узел сунул хвост их доверчивый домашний шайтан!

Сколько уже было, а нет же, не угомонятся, и лезут, и лезут! ну, куда лезете, крикнуть им. В петлю ведь! На штыки! Чтоб сгноили вас? Дышите горным воздухом, наслаждайтесь природой! Ведь красота какая, а! Ездили как-то с Фатали в свите наместника. То спускались в ущелья, обгибая ручейки, то снова поднимались на отвесный берег, за которым опять красовалось море. И много раз то в теснины ущелья, а то — ввысь. И рощи каштанов-исполинов! Какие только деревья и цветы! И гранат, и тюльпаны, и миндаль, и мушмула (японская?), кипарисы, и в садах — персики, абрикосы, черные сливы. То холод, а то жар. И неизменно море рядом. А ночью — светящиеся огоньки летающих жуков, сколько их! Сон ли это, — одинокий кипарис, освещенный луной, как серебристый.

А утром воздух прозрачен и удивительно легкий, и они, сидя на балконе, любовались морем. Сад спускается уступом, на первом плане терраса, обсаженная магнолиями, за нею фруктовый сад, и просека сквозь небольшую рощу, открывающая вид на море. А за домом — горы, цепь снежно-главых вершин, — какой талант погубил в себе Никитич! Лес, тропинка вверх, а там вдруг открывается взору обширная долина с сочными лугами. А ведь и серные источники здесь!! запах тухлых яиц. А вскоре перед ними открылось обширное плоскогорье с пальмовыми лесами среди горных ущелий и быстрых потоков.

— А ведь, — не сдержал Никитич восторга, — имея собственную ривиеру, нет надобности переселяться путем стадным, подчиняясь моде, на ривиеру итальянскую, — сам не едет, и других не пускает!

— Правда, там Monte-Carlo, могучая приманка нашего времени. Будем надеяться, что у нас, на нашем побережье, подражательность не пойдет так далеко!

«И имея эти красоты, куда вы,— негодует Никитич,— лезете! Эти комитеты, союзы, общества!!!»

Восторги не покидали Никитича и на пристани. Фатали провожал Никитича и группу его людей, отправлялись в Одессу. Плавню и медленно подошел пароход «Цесаревич» и бросил якорь. Подбежали матросы и ловко взялись за весла. Никитич взобрался в лодку (фелюга?), матросы дружно ударили в весла, и лодка пошла в море, плавно покачиваясь. Пароход был не так близок, как казалось; потом спустили трап и — в каюту! Да-с! жизнь!! «А вы?! Куда вы, юнцы?!» — сокрушался Никитич: и жаль ему обреченных, и гнев клокочет в душе, всеми ее фибрами — вот еще к фелюге эФ!! — ненавидит Никитич этих возмутителей порядка. И обожает свои досье.

Особо любимая Никитичем полка — с русскими книгами, время от времени он очищает ее, сжигая лишние книги в печи, а ведь мог бы какие большие деньги заработать, — цена на них нынче немалая, чистым золотом платят, — русские книги, изданные за границей, они присланы сюда, в цензуру, из Тифлисской, Бакинской, Гюльюстанской, даже Ак-Огланской — ни одна не просочится! — Редут-Кальской таможен (здесь затем будет карантинно-таможенная застава), из Батумского таможенного округа, Потийской таможни; и таможенных застав — как кольцо!! — Аджибайрамской, Ахалцыхской, Башнорашенской, Джаватской, — все-все зафиксировано у Никитича! — Ленкоранской, Озургетской, Сухум-Кальской, Сальянской, еще каких-то; кстати, почти во всех заставах — вакансии, и Никитич никак не заполнит их; это постоянно, вакансии, надо закрыть — и адъютантские, и дивизионного гевальдигера, и оберваган-мейстера, надо б и Фатали сказать: «А ведь вакансия и в твоём родном городе (авось согласится? не отпустят, конечно, а все же?)! Законоучителя магометанского исповедания в Нухинском уездном училище! Никак не отыщат!»

Да, редкая коллекция у Никитича! Из тех, что задержаны, и из тех, которые цензурой зарезаны; большей частью присланы из столицы, он просил, писал начальнику Главного управления по делам печати, давнему университетскому товарищу эН эН: нельзя ли, мол, по протекции получить?! и записку передал с помощью Кайтмазова, когда тот ездил в столицу повышать цензорские свои знания: «Желая

пополнить пробел в моей библиотеке, обращаюсь к вам, многоуважаемый эН эН, с покорнейшею просьбою выдать мне из склада вашего управления по одному экземпляру означенных в прилагаемом списке книг...»

Кое-какие из задержанных на таможне книг Никитич перелистывает, даже перескажет иногда — искренне, без капканных целей — в кругу высшего офицерства, однажды и Фатали слышал:

— До чего же наивно, ведь о нашей жизни они не знают, ну, год-другой старые обиды выплескивают в книжонках, а дальше что?! — И умолк, оглядывает собеседников: может, кто что скажет?

А они ждут: что же дальше?

— Этот, ээээ... ну как его? писака был у нас, запомню, черт!.. — Высшие офицеры затаились, молчат, Фатали тоже, пусть сам Никитич и называет, а он, ну ей-богу без злого умысла, забыл! А тут как молчат собеседники, так ему вдруг и тоскливо делается: ведь он к ним по-братски, с доверием, а они... Эх вы, трусы! — и, вспомнив, уже не называет фамилии. — Ну и шайтан с вами, не хотите поддерживать беседу, не надо!

Уходит в тир, здесь он, под канцелярией в просторном подвале, постреляет из фузей в чучела горцев, похожих на Шамяля, и отведет душу. Любит Никитич и штыковой бой — неподалеку на пустыре, за казармами тоже чучела горцев выставлены, — «коли!..». Для солдат свой, а для офицеров — тоже свой, так сказать, майдан.

А потом пригласит Фатали, задание ему, для рассылки среди горцев новые грозные правительственные прокламации перевести, весьма-весьма срочно!

— Но поездка очень важна! Мой проект!.. Если его примут, это же (проглотил «революцию») переворот в мире Востока! И он на пользу нам! — внушает Фатали.

— Проект? Переворот? Или Восток? — ухмыляется Никитич, уточняя не вслух.

А Фатали, увы, еще не научился читать мысли.

— Исчезнет вражда к иноверцам, вернее, иноверцев... — запутался Фатали: есть и то, и другое!..

— не думайте, Фатали, что я забыл, как вы провалили дело с турецким консулом!

— а вы расскажите, как свою коллекцию книг пополняете! как вам полицмейстер или доверенный его пристав, составив акт о сожжении вредных книг, по экземпляру крамолы дарят!

- дарят?! — Никитич вспомнил про свою тетра-
дочку, куда заносит каждую приобретенную
книгу и — за сколько рублей серебром, а кое-
кто — знает Никитич, но молчит, как заядлый
коллекционер, ибо испортишь отношения, —
сбывает за хорошие деньги при помощи буки-
нистов или своих постоянных покупателей, —
сколько их, коллекционеров?
- ай да стражи предержащей власти!.. — не уни-
мается Фатали, — а можно заглянуть в списо-
чек, что вы передали Кайтмазову, когда он в
Санкт-Петербург поехал? кстати, есть у вас
там «сплетни», переписка жителя луны с жи-
телем земли.
- не морочьте мне голову, — не верит Никитич,
что есть такая книга, — мы поручали вам ус-
тановить с ним контакт!
- с жителями луны?!
- повлиять!

Фатали еще в пору юношеских — не по годам — иллю-
зий понял это задание как вполне естественное стремление
царского правительства установить через него более тесные
дружеские отношения с Портой.

— Может, и с шахским консулом тоже? — спросил он
тогда у Никитича.

— Нет-нет! — поспешил тот. — Только с османским!

Ах, вот почему! Ну да, шах за Араксом уже не опасен,
а сосед по ту сторону моря!..

- а я разве не установил? не пытался внушить?
но вы захотели немыслимого! вы задумали
обратить его в нашего шпиона!
- это конечная цель!
- но надо быть круглым идиотом, чтобы думать,
что достаточно подачек и двух-трех слов, чтоб
все стали вашими шпионами!
- вы расстроили наши планы, и этого я вам не
прощу!
- я рассказывал ему, что под эгидой сильной
новой власти исчезла межплеменная рознь,
развилась торговля, край обрел стабиль-
ность, и светские науки стали вытеснять суе-
верия, приближая страну к европейскому ук-
ладу жизни, открылись — пусть это пока не
совсем так — школы, вот я стал драматур-

гом... и русский язык открыл нам доступ в большой мир великой культуры, но выполнять постыдную роль! нет, никогда!

— развалили, развалили!..

— вы неисправимы, Никитич! и пока есть такие, как вы!..

— и вы еще смее просить, чтоб вас выпустили?!

— я смею и поеду!

— Не просите, Фатали, моего согласия вы не получите!

— утешьтесь: даже Пушкину (??) не разрешили! не побывал ни разу за границей? и ничего, представьте!

В одной из папок Никитича, розовые тесемки! спрятана на антресолях, есть копия, снята с прошения пиита покойному Бенкендорфу, попалась когда-то в глаза, и Никитич тут же и переписал: «...совершить путешествие во Францию или Италию. В случае же, если оно не будет мне разрешено, я бы просил соизволения посетить Китай...» — и, помнит, какие-то знаки украсили копию, множество восклицаний.

— но время какое было, Никитич!

!!

— и много воды с тех пор утекло!

— вы думаете?!

— Это что же, недоверие?!

— Ну что вы, Фатали, как можно-с! В ваших же интересах, вы этих турок не знаете!

Ему не верят!

«Твое будущее — мое настоящее, Фатали!» И много бумаг он порвал и сжег в печи, прежде чем решился написать главному над Никитичем.

Так уж получилось, глубокочтимый...— и выводит рука имя-отчество именно так, как некогда выводила рука имя его отца в поэме «На смерть...», ай да Фатали! даже чин генерал-фельдцеймейстера не указал! — ... что в трудную минуту я обращаюсь к вам...— это впервые, но пусть думает, что уже не раз помогал.— ... в большой и славной нашей наместнической канцелярии свыше двадцати лет, еще со времен...— Да, зачин очень важный и необходимый, к тому, о чем хотелось бы с вами поговорить, и мысленно, в душе, в последние дни я проговаривал, но решил, что лучше написать, тем более что тихие минуты вам почти не выпа-

дают...— а в голове вертелось иное начало: как говорится в нашей тюркской поговорке: лучше просить одного Аллаха, чем кланяться двенадцати имамам! Но какой он Аллах? или даже имам?! еще, чего доброго, обидится,— ведь Шамиль!.. Его, правда, недавно в Калугу, после пышных встреч, но все же имам! — *да, это моя биография.*

Надо ли вспоминать всех? и барона Розена (поэма!), и Головина (свод племен!), и Нейдгарда (?), и Воронцова (!!), и Муравьева,— пробыл с год, и с ним Фатали находился на турецком фронте, участвовал в штурме Карса; и непременно о псевдониме Карсский;

и Бярятинского? А его, может, и вовсе не упоминать? не очень благоволит к нему новый наместник — родной брат императора, хотя император... но кто знает, как к нему относится теперь император? странный какой-то Бярятинский, замечал эту странность и Фатали: когда надо было выступать перед офицерами наместничества, конфузился, краснел, обливался потом. «А я застенчив,— как-то признался он, и Фатали случайно услышал,— не могу говорить»; нет, непременно назвать — шутка ли: покори! Шамиля! не партизанской войной, а научной, обширной, предусмотрительной, осторожной кампанией! Штурм Ведено,— такой был залп, что аул рассыпался! и тут же рескрипт императора: «Оправдали доверие Наше, положив прочные основания к постоянному покорению издавна враждебных Нам горских племен Кавказа»,— и пожаловал кавалером Императорского ордена Нашего святого Равноапостольного князя Владимира первой степени, с мечами над орденом; и штурм Гуниба, молодцы аншеронцы, постарались на славу! и депеша императору Александру — поздравить с Августейшим тезоименитством, день в день! отправленная с поручиком князем Витгенштейном на симферопольскую телеграфную станцию: *Гуниб взят. Шамиль в плену и отправлен в Петербург.* И вспомнил Фатали плененного Шамиля,— как изменился! Но не успел взглянуть в него, как грянуло «ура!». Шамиль вздрогнул, а генерал, идущий рядом: «Это в вашу честь!» А Шамиль вдруг, и такая усталость во взгляде: «Надое!о воевать. Даже мед опротивеет, если его часто есть». Фатали не расслышал, но эти знаменитые слова Шамиля потом передавались из уст в уста. Нет, надо непременно назвать и Бярятинского!

И о важности поездки.

И о праве гражданина империи.

И о государе тоже (к чему?! но ведь не о Николае же!

«тиран мертв!» — кто-то в канцелярии, но на него так глянули, что исчез, и по сей день неведомо, где он);

и о новом, с которым так много надежд. Тиран и надежда, тиран и надежда — как маятник.

И об отказе Никитича.

В эту минуту Фатали искренне верил в то, что пишет. Еще иллюзии? А ведь развеялись пеплом. Но он должен непременно поехать! Это его долг перед своим народом! *Получается довольно странно: с одной стороны, мне доверены важные государственные задания, воззвания к горцам, обращения государя императора, а с другой — эти прямо-таки унижающие мое достоинство гражданина меры предосторожности! Что это? Форма защиты меня от возможных провокаций оттоманских властей? Вид наказания за какой-то опрометчивый проступок? Метод воспитания? Или это — лошадиные зубы!! — недоверие ко мне?*

И последняя фраза, дерзостная: *Если не захотите помочь, — считайте, что я вам ничего не писал, порвите и выбросьте это письмо* (как я рвал и сжигал не одно свое сочинение!); обострять с Фатали отношения? Ну нет, ума в местничестве хватило.

Мелькнуло в Фатали, но, как и многие иные мысли, не записал, а они собрались в облачко, и вот оно плывет над Метехом, стремительно тая: вы хотите знать, что я ненавижу? Вспомнил, как в келье Шах-Аббасской мечети в Гяндже Мирза Шафи спрашивал о его любви и его ненависти, и он не мог ответить, юнец. *Ненавижу тюрьму, выдающую себя за свободу!* А что люблю? Неужто лишь свободу передвижения, когда можно покинуть тюрьму, чтобы, надышавшись на чужбине свободным воздухом, снова вернуться в эту, увы, ничего не поделаешь, тюрьму? И облачко плывет одиноко на синем небе и тает, растаяло уже.

Никитич — лицо его, как всегда, ничего не выражало, обычные серые глаза, — выдал паспорт, была получена виза, Фатали уехал в Батум, а оттуда в Стамбул; уплыв встретили солнце, а приплыв, простились с ним.

А Я ТОПОР ТОЧУ, ТОЧУ

— Эй, фаэтонщик! — В Стамбуле никто из посольства не встретил.

— Из России? С Кавказа?! Это к вам перебежал наш поэт-предатель?

— Ваш? А вы что, иранец?

— Я турок! — Фатали думал, что тот о Фазил-хане Шейда. — Не знаете? Наш султан сказал: «Его надо повесить, а потом сесть у виселицы и горько заплакать!»

— Нет, не знаю. — И подумал: «У нас тоже так».

А вот и, как сказал фаэтонщик, «эльчилик», посольство.

— Мы депешу о вашем прибытии получим завтра, — лицо у полковника Богословского, приставленного к Фатали, доброжелательное, а в глазах (этот взгляд постоянно чувствует Фатали в канцелярии наместника) — недоверие: а ну с каким тайным умыслом прибыл в эту враждебную нам вчера, сегодня и постоянно страну?!

Высокие железные ворота и мраморные колонны. Посол в огромной зале скучал. В коридорах пусто, будто вымерли. «Каторга!» — признался Богословский, молодой, но уже полковник.

Первые дни жил в посольстве. Поздно придешь — косится дежурный: «Где он, турка, шляется?» А потом переехал жить к давнему знакомому — послу Ирана Гусейн-хану. «Как? Быть в Стамбуле и не жить у меня?» — обиделся Гусейн-хан.

А как Фатали радовался, что едет в Стамбул, где есть добрая душа Гусейн-хан! Какие ему пловы Тубу готовила, хотя и призналась как-то Фатали: «Хоть убей, не верю в его искренность! И в сладкую его улыбку!»

«Ну что ты, — пытался ее разуверить Фатали. — А сестрам моим как он помог, ты забыла? Именно он, я убежден, добился для сестер пенсии! Шах ему ни в чем не отказывает».

Поди знай, что у консула в Тифлисе Гусейн-хана были тогда далекие-далекие насчет Фатали планы! «Увы, — сокрушался потом Гусейн-хан, — негодным человеком оказался Фатали, богохульник и враг иранцев, верных своему шаху».

А Тубу просила, провожая Фатали в Стамбул: «Не живи у него! — оказалась прощательнейшей Фатали. — А ты верь каждому! Поседел весь, а ребенок!..» Не послушался Тубу.

У Фатали в Стамбуле горячие дни — визиты и визиты! К министру иностранных дел Али-паше, подарил ему свою книгу «Комедии» и проект; затем к премьеру Фуад-паше, вручил ему оду, сочинил еще в пароходе, — так положено в восточных дворцах, знак внимания.

— Меня не знаете, а уже расхвалили; чем больше лжи,

тем приятнее, не правда ли? — ехидничает, а сам доволен, что получил оду.

— У вас, — улыбается Фатали, этикет, не более, — хороших качеств еще больше, просто мой язык бессилен его выразить! — Оба хохочут.

— Проект дадим на обсуждение научного общества, — говорит премьер. Снова кофе и чубуки.

Зашел министр торговли Сефвед-паша. «Изобрел новый алфавит?!» — и смотрит удивленно, будто на диковинную птицу.

Премьер постоянно чему-то улыбался. «Позовите Шахин-бека! Мой адъютант. Знакомы?» — спрашивает у Фатали. «Нет». — «А он, между прочим, ваш земляк!» «Ну и что? — подумал Фатали. — И чего это он постоянно улыбается? Присматривается, не лазутчик ли?!»

Полковник Богословский поднялся: пора уходить. Фатали пришел с большим свертком книг — почти все раздал: и премьеру книгу «Комедий», и советнику посольства Ирана в Турции: «Знакомьтесь, Мелкум-хан!»

Ах вот он какой, знаменитость, масонские логи!.. От растерянности — ведь сблизилась письмами! — и слова сказать не могут: ни Фатали, ни Мелкум-хан. Удивлен и премьер Фуад-паша, и улыбка сошла с губ, озабоченность во взгляде: «Что значит эта близость?! какие новые козни скрыты для османского правительства в этой дружбе российского гостя и персидского посланника?» И Богословский торопит Фатали, засиделись здесь. Но предстоят новые и новые встречи, и Фатали еще дарит книги; просто не подаришь, надо еще какие-то слова написать, узнать — кому.

Важный для Фатали визит к главе отдела сношений с зарубежными странами османского правительства Муниф-эфенди; ему поручено возглавить обсуждение проекта алфавита, а он, когда пять лет назад Фатали прислал сюда проект, задумал было присвоить идеи Фатали, выдав их за свои, и даже обсуждались они! Выходит, именно так обставит это дело обсуждения Муниф-эфенди, — идеи блуждают по миру, и Фатали — один из реформаторов!.. и старшему переводчику Ариф-эфенди, бывшему премьеру Юсиф-паше, все запросто зайдут, выйдут, кофе, чубуки, министру юстиции, послу Греции, еще каким-то людям, даже главе стражников Гаджи-Азим-беку. И бывшему послу османского правительства в Петербурге Рза-беку.

И маршалу Абди-паше. Потом вспомнит о нем Фатали, когда узнает, что тот возглавил заговор против султана.

И маршалу Дервиш-паше подарил свою книгу, и зятю премьер-министра Фуад-паша — Камил-беку, а потом вдруг подходит к Фатали молодой красивый юноша. «Из султанского рода», — успевает шепнуть ему на ухо Богословский. «Я много о вас слышал и мечтал познакомиться!» — как не подарить и ему книгу? «Не забудьте мне оставить!» — говорит Богословский. «Да, непременно! И я еще обещал, в Тифлисе просили, передайте, пожалуйста, немцу, Вольф, кажется, имеет богатую библиотеку восточной литературы».

И вот обсуждение. Все-все запомнить! И это — отсталая Порта?! сын бывшего вали — правителя Эрзрума Асад-паша — Садулла-эфенди, молодой красавец Кадрибек, из армян Аванес-бек, из греков Александр-бек, еще французский тюрколог. «Мы тоже, — говорит француз, — пытались, как вы, на манер европейских языков, да не осмелились!»

«Слова наши, а буквы русские!» — вспомнил Фатали свой сон. Но это потом, а пока Фатали объясняет свою арабо-латинскую смесь. А грек — вовсе не грек, а из арабов: «Халифат да халифат!..» Председатель на грека-араба часто поглядывает, мол, довольны (?!).

«Мнение нашего собрания мы выскажем вам официально».

«Положительное или отрицательное?» — интересуется Фатали, хотя уже задумал иное — полнейшую замену алфавита, без половинчатости!

«Не обидим вас!»

Пригласили к премьеру, но велели подождать: еще не вышел из гарема.

Улыбка у премьера как приклеенная, но появилась во взгляде озабоченность. Не ведал Фатали, что посол Ирана Гусейн-хан прошлой ночью прочитал его повесть о звездах и рассвирепел: «Ах вот каким видит его гость шахиншахский престол! И реформа алфавита! Да ведь он наш враг! А мы думали — свой человек в стане царя! И орден ему «Льва и Солнца»! А ведь он и против царя, слепы, что ли?! Ну, я твою кровь попорчу, Фатали!» А виду не подает: та же сладкая улыбка, и разбегаются от глаз к вискам лучики счастья.

И — нашептал премьеру и председателю общества!

— А я слышал, — говорит премьер Гусейн-хану, — вы одобряли.

— Я?!

— И даже приютили его!

С удовольствием премьер насолнил бы персам чванливым, а прав шахский посол насчет ереси; но и с царским двором не следует ссориться. Одобрить — персов обидишь, не одобрять, отказать... «А что думает мой министр иностранных дел?!» А у Али-паши зреет план, и кое-кого из министров он уже завербовал: свалить премьера и занять его место, что вскоре и случится. Верное дело — тянуть. Нет, принять проект не отказываются, но такое потрясение эта реформа, такой взрыв. И за смелость даже (назло персам? за мужество истинного тюрка!.. Недаром шахи приглашали тюркских воинов — надежная стража!..) медаль ему вручают, а Фатали — вот и поощряй дерзость! — уже в новой стихии: изменить в корне, на манер европейцев, так удобно: слева направо, четкое чередование согласных и гласных!

Еще у Фатали дела? И какие же? Богословский удивлен, но и рад, что оставит его в покое, у него своих забот ой-ой сколько! Надо кое-что выведать, зреет антисултанский заговор.

Земляк Али-Туран. К нему! Уже давно живет здесь, со времен войны (Крымской). И адрес в Нухе взял, жили не подалеку от Ахунд-Алескера.

Но прежде Фатали пройдет по городу, его круто сбегающим вниз улочкам, базарам и отведаст жареных каштанов, спустится к набережной, любуясь красками: белые стены кружевного сераля, зелень пологих холмов, розовые дома азиатской части, крохотные острова архипелага Принцев, желтые скалы среди синих вод Мраморного моря, без счету гребные, парусные, паровые суда, лодчонки, вот-вот волна ударит их о гранитный парапет (или волны от весел?), и зазывают доставить на тот берег, извилины Босфора, виллы, дворцы, дозорные башни, а под ними — чайхана, огромные главные купола небесно-голубых и сахарно-белых мечетей, окруженные множеством мелких куполов, изящные минареты — каждому султану, а их было почти три десятка, наследников и потомков Османа, родоначальника династии, шесть веков назад, — и Мураты, и Баязиты, а среди них Молниеносный, плененный Тимуром, и Мехметы, и тот, кто штурмом взял Константинополь, — Мехмет Второй Фатих, или Завоеватель, почти Фатали, ибо единый корень Фатх, но завоюет ли Фатали Стамбул? отмечали недавно четырехсотлетие победоносного штурма; и Селимы, и Сулейманы, особенно Первый — Кануни, Законода-

тель, и Мустафы, и Махмуды,—каждому султану не терпелось оставить о себе память, и высятся мечети; и даже Мустафа Третий: мало ему мечети, он еще «Государя» Макиавелли на турецкий перевел, и по нему Фатали пытался постичь смысл изменчивых правлений, думая о Шах-Аббасе и лжешахе и о том, как если бы ему, Фатали, пришлось править, а как без лицемерия, цинизма и обмана?!

А вдали над террасами легких домов вздымается покрытая слепящим глаза снегом вершина Вифинийского Олимпа, откуда приглянулось Аполлону это искусное чередование шелковой голубизны вод, изгибов бухт и зелени холмов.

И Айя-София, чудо силы и легкости, мощи и изящества: четыре колонны из зеленой брекчии, между колоннами главного купола, взятые из Эфесского храма.

И снова сераль. А за наружной стеной крутая наклонная плоскость, на которую рабы, и об этом нельзя забывать Фатали, бросали по ночам мешки с живыми султаншами, если наскучили, и одалисками, если надоели, а то и неугодными вельможами, и вода, поглощая их тела, кружила темными водоворотами.

Фаэтон вез Фатали к земляку Али-Турану. Ехал медленно, застрял на улице: шла манифестация, сверкающие медные трубы, гулкие барабаны, многоцветье знамен, чествовали семисотсколькотолетие оттоманской пехоты. Али-Туран бежал из России в разгар шпиономании, лет двадцать уже минуло, а может, и больше, адрес узнал у его шекинских родичей. Одно лицо с Юсуфом-Гаджи; тому казнь, а этот по стопам Юсуфа-Гаджи успел и на дочке султана (их у него десятки!) жениться.

— Из султанского рода! — с гордостью говорит Али-Туран. Красивая чернобровая женщина, нос горбинкой.— А это мой сын Фазыл! — Вошел стройный рыжеволосый парень.— Учится в Оксфорде! — От соединения карего и иссиня-черного — щекинца с каштановыми волосами и турчанки из султанского рода — получилось рыжее-рыжее, будто солнце на голове горит.

И все началось с этого парня.

«Хотите советоваться с учеными султана? Это же ретрограды! И премьер тоже!»

«А ты откуда знаешь?» — Отец недоволен. Сын промолчал.

А как остались вдвоем, Фазыл — Фатали: «У вас горцы были! Как они сражались с деспотом! Я в Лондоне такое о

вас читал!..» Да, горцы. Царь затеял переселенческую политику: Фатали из России в Порту приехал, а Хасай Уцмиев — встретились с ним в Батуме, короткая беседа на пристани, — из Порты в Россию; привез новую партию переселенцев, охрип, убеждая османские власти об отводе переселенцам пригодных земель (царь мечтает, чтоб горцы заселили внутреннюю Турцию, а османские власти селят горцев вдоль границы!..). Да, были горцы, Фазыл прав. Но долго ему рассказывать. Нравится Фатали сын Али-Турана, такое впечатление, что очень давно знает этого парня.

Вошел отец.

«О чем вы тут без меня?»

«Я хочу с товарищами своими познакомить нашего гостя». Уже договорился, оказывается, нечто вроде общества. Мирза Мелкум-хан? Но нет, похожи только: почти одинаковые глаза и усы, только шрам на лице на всю щеку от виска и до подбородка.

Фазыл привез Фатали на окраину Стамбула. «Стена греческая? (от византийских цезарей остались и колонны, и обелиски, и высокая арка водопровода) Румели-хасар?!» Ведь здесь неподалеку живет и Мелкум-хан! Нет, не знают.

Зашли, никого нет, какой-то бритоголовый с квадратным лицом турок. Вскоре раздался выстрел. «Это он!» Выстрелом из револьвера Кемал Гюней извещал о своем приходе, когда знал, что в доме его ждет гость.

— А, вот он, твой земляк! Из России? — чуть-чуть говорит по-русски. — Я и по-польски могу! Из беглых повстанцев, с царем воевали, «Казак-алай», сам поляк, а зовут Садык-паша, мы с ним бок о бок сражались! Ну, а вы? Революционер?! По мне все живущие в России или рабы и деспоты или революционеры!

— Вот как!

— Да, середины нет! Я воевал в ту Крымскую, был у вас в плену, потом меня выменяли (и Фатали воевал, но на Южном фронте, Нигоети, Кюрюк-Дара, Карс).

— А это ваши картины? — Стены были увешаны рисунками. И везде войны: на лошади, с винтовкой, у пушки, идущие в атаку.

— Да, мои, — ответил Кемал Гюней.

— И у вас нет страха? — улыбнулся Фатали, напомнив Кемалу о запрете пророка Мухаммеда: «В день Последнего суда изображенные сойдут с картин, потребуют, чтобы им дали душу, и если художник не выполнит это требование, он будет гореть в вечном пламени».

— Это забава,— махнул рукой Кемал Гюней.

— А что настоящее?

— Настоящее? — задумался. — Середины нет, я говорил вам!

— А что вы знаете о революции?

— Мы учились у вас, и мы свергнем деспота султана!

— Так и свергнете! — этот наивный пыл. — С этим револьвером?!

— Нас много! Скажи ему, Фазыл, о ликовании! — То был народный праздник на площади в порту. И там пел Кемал Гюней!

— Он пел однажды на площади, и когда кончил, народ возликовал, волна восторга будто по затылку моему ударила!

Будь Фатали Юсифом, он бы вспомнил уволенного палача. Тот тоже Юсиф-шаху о волне народного восторга говорил, когда топор разом отсекал голову.

— Для начала я вам спою свои песни,— взял со стены свой трехструнный саз,— мои предки с Кавказа, слышали об Ашик-Керибе?

Как не слышать?! Еще в тридцать седьмом Лермонтов со слов Фатали записал сказку об Ашик-Керибе. Кемал Гюней пел свою песню хриплым голосом, чуть прикрыв глаза:

Вышел деспот из крепости,
А я топор точу-точу.
Ах шея, как она толста,
А я топор точу-точу.

Удивительно: и здесь о топоре!

— А я тебе нашу песнь — о кузнеце,— сказал Фатали; это ему Александр прочел однажды. — Шел из кузницы, нес три ножа: один нож — на вельмож, другой нож — на святош, а третий — как у тебя топор: на царя!

— Как прекрасно! — И уже струны саза ловят мелодию. — Я это спою! «Один нож...» — Струны послушны чутким пальцам Кемала. — Выходит, не я один!

— Увы, того, кто пел о ноже, царь повесил.

— Всех нас не перевешаешь! — дерзко смотрит Кемал.

— Вы правы. Многие гибли. И гибнут. Но вы поэт, вы художник, вот ваша революция, Кемал Гюней! Нация еще спит!

— Ничтожна та нация, у которой нет людей, готовых за нее погибнуть!

— Но ее надо еще разбудить. Ваши песни...

— Мы погибнем, и народ пробудится!

— Вас единицы! Всех переловят и убьют. Идти на заведомую смерть, зная о крахе?

— Мы будем биться!

— Но вправе ли вы? — Это давние-давние мысли Фатали.— Вы первый художник и первый революционный поэт в Турции, имеете ли право рисковать жизнью?

— Но нации нужны люди, готовые идти в бой! Даже в Иране, как вы помните, бабиты!..

— Они играли на невежестве масс,— поясняет Фатали своему юному собеседнику,— и их вождь Али Мухаммед Баб выдавал себя за нового пророка, в ком воплотилось божественное сияние.

— За ним шли массы!

— Обманутые!

— Пусть. Но шли! Бабитское движение покрыло себя славой!

— Обман порождает обман. А кто пойдет за вами? Армия вас поддержит? Крестьяне? Они первые, темные и невежественные, выдадут вас.— Вспомнить, как выдали Алибека? Но долго рассказывать о нем Кемалу.— Чем вы привлечете массы? Или объявите себя, вроде Шамиля, новым пророком?

— Да, да, Шамиль! — загорелись глаза, как и у Фазыла, когда он о горцах сказал: «Как сражались с деспотом!»

Фатали усмехнулся: наивные! Два переселения, грядет третье, самое массовое. Не один десяток лет уже как думы о Шамиле не покидают его, забудет, а ему снова напомнят, вот и здесь тоже: Шамиль! Рассказать им о нем? Он копил материалы о Шамиле, а потом бросил,— что ни газета, что ни журнал — о нем! И это «надоело»: в устах Шамиля («воевать!») и устах полковника апшеронцев Ихачева («Шамиль и вся татарщина»).

И как пленили, и как живет в плену, и о чем мечтает.

И как сомкнулись начало и конец горской войны, когда спросили в Москве Шамиля: что желаете видеть? «Ермолова!» — сказал Шамиль. И была встреча. И короткий разговор. И князь Барятинский запечатлел в своем альбоме рисунок, изображающий свидание двух знаменитых бойцов Кавказа. Белые волосы, львиная голова на исполинском туловище, но потускневшие, увы, глаза,— Ермолову уж за восемьдесят, в черном фраке с одним лишь Георгиевским крестом на петлице, полученным из рук Суворова. С минуту-другую молча глядели друг на друга. Шамиль намного

моложе, кажется, на четверть века, но стар, согбен, а Ермолов собран — да-с, вот он, человек, с которого началась рубка лесов на Кавказе — тропки к победе.

— А у вас, Кемал, ни гор, ни лесов, ни ущелий.

— Так что же? Ждать? Терпеть? Молчать, когда стражники султана грабят народ? Когда фанатики рта не дают раскрыть?! И невежды вдабливают в головы правоверных позорные предания о жизни и смехотворных деяниях пророка?!

Фатали вздрогнул: его мысли! в нем зрело! но поначалу он опасался даже признаться самому себе в дерзкой этой мысли: вскрыть вопиющие несуразности проповедей пророка! этот вздор о вездесущем и всевидящем двенадцатом имаме, который явится в судный день!

И Кемал потрясен: как же с языка сорвалось такое? И он спешит сказать, хотя в глазах Фатали нетрудно прочесть восхищение смелостью Кемала:

— У нас в Турции за эти сомнения могут забить камнями, в Иране, я знаю, вырывают языки, некогда в Европе сжигали на кострах!

А Фатали может поклясться, что он услышал, как внутри кто-то сказал; он приказывал и прежде: «Бери перо! сядь и пиши!» И теперь: «Ты должен написать роман о пророке!»

— Да, когда-то и я посмел,— с благодарностью глядя на Кемала, говорит Фатали,— усомниться в справедливости всевышнего, который снисходил до того, что посылал архангела Гавриила к пророку, чтоб помогли ему распутать любовные интриги. И имел счастье высказать сначала сомнения учителю своему, Мирзе Шафи. Он и говорит мне: «В этом, между прочим, усомнился и Алазикрихи-асселам! Не знаешь, кто это? О, это был великий человек, и с именем его связана реформация на Востоке, я тебе когда-нибудь расскажу о нем!»

— А сейчас? Посмели б сейчас? — недоверчиво спрашивает Кемал.

— И посмел бы, и посмею! — и задумался: мало, мало «Обманутых звезд»! *что толку говорить о современности через историю? Надо выйти на прямую проповедь!*

И ясно звучит голос Мирзы Шафи: «Пророк? Духовные вожди? Очнись, Фатали, шарлатаны и лицемеры заполонили мир, все ложь и обман, и нет более высокого призвания, чем клеймить и развенчивать их острым словом! Не дать

им усыпить народ! Не дать им превратить людей в послушных овец!»

Келья гянджинской мечети, построенной во времена Шах-Аббаса, откуда выйдет Фатали, а следом — Юсиф, чтобы занять, увы, ненадолго, шахский престол, а в келье — Фатали да Мирза Шафи. Еще нет ни тифлисской канцелярии, ни Боденштедта, который кое-где на строках, будто стебельках роз, оставит шипы, обласкает сограждан сладкими звуками песен Мирзы Шафи, — еще ничего-ничего нет, только начало! Казалось, ничего уже и не будет, а здесь родился новый замысел: Фатали напишет самое главное свое произведение. Он обрушится на закоснелые догмы. Он заклеит через веру отцов — неужто крах?! — все веры, которыми деспотические власти держат в повиновении обманутые массы.

— Не обижайтесь на меня, Кемал. Но ваша революция — игра! Это бессмысленно! Силы слишком неравны! У них армия и пушки! — Как рассказать ему об уроках? Фатали понимает, что Кемала не остановишь, когда тот рвется в бой и закипает кровь при виде тирании. — Но у вас тоже есть свое оружие — ваше слово, ваши песни!

У Кемала были усталые задумчивые глаза:

— Да, я лучше спою!

— Спойте еще раз ту, о топоре!

...и покати́лась голова,
Ведь я топор точил-точил.

Когда сели в фаэтон, раздался выстрел — Кемал провожал гостей, и Фатали из фаэтона помахал ему на прощанье рукой. Какой-то фаэтон их обогнал, и, как только они сошли и Фатали простился с Фазылом, к нему приблизился турок:

— Я прошу вас задержаться. — И показал какой-то жетончик. «Жандарм?»

— Что вам угодно? — Поодаль стояли еще двое.

— Я хочу просить вас пройти со мной. Мы вас ненадолго. — Подошли и те двое — и Фатали под руки. Кричать? Но глупо! Вырваться и бежать?! А потом посадили в карету, один рядом, двое напротив.

— А ну-ка ваш паспорт! Что же вы, Фет-Али Ахундаде, ведете антисултанские речи, а? Вы что же, царем подосланы? Шпионить?!

— Помилуйте, я самим премьером...

— Знаем. И об алфавите вашем, и об обсуждении, все-

все! А где вы были сегодня вечером? Ведь не станете отрицать, что вели антиправительственные разговоры? — Неужто тот слуга?! — Вы, конечно, будете отрицать, иначе вас пришлось бы выслать.

— А какие народные песни он пел!

Наивный, он думает, что мы ничего не знаем, а мы о каждом его шаге!

«Надо предупредить!»

— И вы не успеете предупредить, уже поехали, а рыжего оставим пока на свободе, может, у него еще какие люди есть, из Лондона приехал, какие-то русские газеты привез, отсюда к вам засылали, ваше правительство возмущенные ноты посылало: мол, усилить! не пропускать! А мы не дикари какие, вроде вашего царского правительства, мы частных лиц не трогаем, тем более что эту вашу газету у нас не понимают. Но вести речи против султана! Кстати, а вам понравилось у нас? Очень? Стамбул — это город всех городов, вы правы! А не мелькнула у вас мысль остаться у нас, а? Мы вам создадим прекрасные условия, вы ученый, вы писатель, к вашему слову...

— Не утруждайтесь, не надо! А эту песню знаете? Кемал Гюней ее ах как прекрасно спел на сазе! Он потомок самого Ашик-Кериба.

Выпустили Фатали в три ночи.

— Извините, но если вдруг вздумаете остаться... — Фатали взглянул с такой тоской. — А ведь вам будут неприятности, вы думаете, в посольстве вам поверят?! И там, в Тифлисе?!

Утром известил Богословского, тот — немедленно послу.

— Как? Вас? Сам наместник! Великий князь! Генерал-фельдцейхмейстер! («Что же вы-то?! Народные песни! Полагают тут всяких татар!») Мы подадим жалобу!

— А может, не надо? — Богословский послу.

— Да? — тот сразу согласился.

Предупредить Фазыла! С трудом отыскал дом Кемала Гюнея. Дверь и окна заколочены. «Вот она, твоя революция! Вы только начинаете, а мы, увы, уже прошли три этапа: было в декабре, было в апреле, были волнения и в октябре! Вот бы Александр знал, что «Колокол»! И «вы нам не поможете»!

И вдруг вспышка: султан поддерживает Шамиля, чтоб ослабить царя, а царь — отчего бы и ему не помочь, чтоб ослабить султана?! Интриги, козни во дворце, запутать в раздорах, подкупить, суля золотые рубли, проникнуть в самое

сердце, пронюхать, кто чем дышит, чтоб ослабить! Эти имперские страсти! Лишь догадка — вспыхнула и погасла.

В доме Али-Турана траур: ночью забрали сына.

«Говорила я тебе, не связывайся с земляками!» И на Фатали: «Куда водил?!»

«Я попрошу премьера, — обещает Фатали, — я добьюсь!»

«Не надо, я сама! Посмели как! Я через принца! Я накажу их!»

Но Фатали все же попросил Фуад-пашу.

«Вы что же, приехали за арестованных хлопотать? Или по поводу алфавита?!» — А в глазах все та же ирония, улыбается непонятно чему.

А когда по возвращении в Тифлис Фатали натолкнется на стену недоверия — сообщили! — он вспомнит Кемала.

Я не знаю, где ты, Кемал, жив ли, но я возьму твое имя для нового своего сочинения и скажу в нем все, не таясь.

Я отправлю тебя как индийского принца, изгнанного из родного края, к персиянам, воинствующим фанатикам, и ты напишешь оттуда свои бунтарские письма персидскому принцу, тоже изгнанному из страны деспотом.

Кемал — это Мудрость.

Кемалуддовле — это Мудрость Государства.

Умру и я, и тебя, Кемал, не будет, но наши идеи, наши муки, наше стремление хоть что-то изменить в этом деспотическом мире останутся в письмах, «Письмах Кемалуддовле» (и каждая страница как листовка), и новые Фатали придут нам на смену — это неизбежно! неминуемо и неотвратимо! нескончаемый протест, бунт, борьба, бой, покуда живы деспотизм и рабство.

«Вы не думайте, что века должны протечь, покуда люди будут налиты идеями Кемалуддовле и достигнется предполагаемая цель: напротив, подобные идеи очень быстро обобщатся в массе, одна только инквизиция могла бы удерживать читателя от подобных рассказов, ибо *велико увлечение в еретических рассуждениях против догм и деспотизма, сковывающих и подавляющих свободную мысль и волю человека*», — пишет Фатали.

«Спасение души»! О чем вы? О каком спасении вы толкуете?! Оно не занимает ни автора писем, ни их собственника. Мы даем предпочтение лишь той вере, которая делает человека счастливым на этой земле и в реальной жизни.

Цензура?!

Фатали об этом не думает.

Он пишет все, что считает нужным написать, — доколе кривить душой?

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА

Но — о, парадоксы! — Фатали однажды пришлось надеть на себя мундир цензора: замещать на время двухмесячного отпуска отъезжающего за границу цензора по восточной литературе Кайтмазова.

И Фатали стал цензором.

И к нему — так ли уж и невозможно, чтоб эти картины вдруг не вспыхнули в воображении? — пришел автор или собственник писем, очень похожий на Кемала и почти Кемалуддовле, будто точь-в-точь Фатали.

— Ах, вы принесли «Письма»? Чтоб я разрешил их печатать? Дал свое благословение?! — О, Мундир!.. Что ты делаешь с человеком! Глаза читают по-иному, а мысли подключены к какому-то неведомому центру, и оттуда идет особый ток!

— «Электричество»?! А есть ли у вас, автор, пояснение в ваших письмах? Да? А ну-ка почитаем: «Это сила особой энергии и теплоты, скрытая во всяком теле»; ну, положим, несколько примитивно, но сойдет! «Скрытая во всяком теле!» Это хорошо! А вы испытывали, какая она в теле, сидящем на самом, на самом верху?! И она, эта сила, передается мне, цензору, — вот это, скажу я вам, силища! А Мундир эту силу энергии и тепла держит, не дает им остыть и ослабнуть! А ну, что вы еще сочинили?! Ну да, извините, вы только собственник! Неужели вы полагаете, что эта ваша энергия, направленная ко мне, в состоянии пересилить ту, которая идет ко мне, желаю я этого или не желаю, свыше, сверху! Нет, нет, вполне реальная вышина, не заоблачная, а в Санкт — так сказать — Петербурге! Николай? И он тоже! Но не только! Его нет?! О, наивные! Но идеи-то, идеи живы!

Вы думаете, ваша хитрость, мол, при переписывании «Писем» с оригинала обнаружили целый ряд слов, имеющих в европейских языках и трудно поддающихся правильному переводу на языки тюркских и иных мусульманских народов или даже воспроизведению арабской графикой — и снова о несовершенстве алфавита! — и опасаетесь, что читатели не поймут их, и потому, дескать, разъясняе-

те,— и вы полагаете, что эта ваша хитрость не шита по черному белыми нитками?! К примеру,— и цензор углубляется в текст,— *деспот* — так называют, мол, человека, который в своих действиях не подчиняется никаким законам и не соблюдает их, безгранично властвует над имуществом и жизнью народа, всегда поступает так, как ему вздумается; народные массы, находящиеся под властью таких правителей, превратившись в презренных рабов, полностью лишаются всяческой свободы и человеческих прав; для пояснения — восточная поговорка: «Всякий, кто будет действовать по своему произволу, непременно найдет гибель свою»; что-то я такой восточной поговорки не слышал и даже в знаменитой книжечке пословиц Абулькасима не нашел! Уже девяносто лет собирает, чуть ли не со времен Екатерины Великой, четырех царей пережил: деспота, шута (но это в уме), либерала, тирана, пятого (всех повторил!), дай бог, переживет.

Ну ладно, пойдем дальше, вот еще, вы поясняете: *фанатик* — лицо, чья отличительная всеобщая черта — национальная и религиозная нетерпимость и ненависть к какой бы то ни было иной нации, к татарам ли, евреям ли, армянам и т. д., иной вере.

Ведь было, было! Подсказал Александр, когда летели с ним. Фурфуристы ведь тоже: «Карманный, обычный, ничего особенного, так, лингвистика вроде и забава, словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка»; а у вас, Фатали,— в языки восточные, а ведь даже и не вошли еще, хотел бы ввести, чтоб обогатить и чтоб в который раз ополчиться на арабскую графику:

вот, к примеру, *рвл*, и нет Цэ, надо выразить через *тс* или *сс*,— *рвлсс*,— вот и сообрази, что это за слово! А какое замечательное слово-то!

И как вы поясняете *революцию*? — спрашивает Фатали в Мундире цензора сидящего напротив собственника писем.— Так-так-так! Значит, это — событие, когда народ, доведенный до отчаяния противозаконными действиями деспотического правителя, объединяется, восстает и свергает угнетателя. А затем он создает законы и претворяет их в жизнь в целях обеспечения своей свободной, спокойной и счастливой жизни, во как все просто! Неужто не могли заменить *патриот*, найдя подходящее по смыслу слово?! Так нет же, вы поясняете: это человек, который ради любви к родине и народу не пощадит своей жизни, трудится во имя свободы отчизны и народа и готов на этом пути,— поднял

голову от текста, многозначительно смотрит на собственника писем,— муки и страдания. Кто, к примеру? Кемалудовле? — Не спешит, а с паузой.— Или вы?!

— И вы тоже.

??

— Когда не в Мундире.

— Ну-ну. Что вы еще тут поясняете? — И вслух (чтоб услышал еще кто?!): — *Либерал? Парламент?* О боже, какая у вас трудная работа!

— Так как же, подписываете?

— А тебе не терпится меня погубить! — то ли издевается, то ли мольба.— Пожалей хотя бы моего сына! Мы так долго его ждали!

— Мы тоже.

— Ему только десять! Он прошел все критические сроки!

— И наш тоже.

— Он у меня единственный, пойми!!

— И у меня тоже.

— Тебе-то что?

— ?!

— Ты только собственник писем! А меня...— и ребром ладони по шее.— Особенно теперь!

— А что изменилось?

— Как что? Теперь, после злополучного апреля! Что, неужто неясно? — и шепотом, чтоб пояснить, а собеседник сам знает: надо же — запасся револьвером, специально приехал в столицу, чтоб выследить государя у Летнего сада и убить его! И — промахнулся!

— Знаете, странная какая-то фамилия!

— Вот-вот!.. И я, признаюсь, сначала изумился: «Неужто из наших?»

— А как не изумиться? Фамилия-то тюркская, «Кара» — это по-нашему черное, «Коз» — глаз, «Черноглазов», так сказать! — вслух не надо называть фамилию смельчака!

И вспомнил Кемала: «Несчастлива та нация, в которой нет борцов!» И Ахунд-Алескера вспомнил, давнее-давнее, еще когда в Тифлис приехали — устраивать его работать в канцелярию. С чего же спор начался? Ах, да: с грузин! С их заговора! А прежде — о смельчаках, съевших волчье сердце; их тогда было много в Тифлисе, сосланных, и разговоры — только о них.

Ахунд-Алескер вдруг ни с того ни с сего разозлился на Фатали:

«Грузины!..— будто с самим собой спорил.— Нам с ними не сравниться, запомни! В них честь жива! И гордость! Достоинство! А мы что? Рабы мы, да, да, рабы! То персов, то османцев, а то и...— не договорил. А потом, помолчав, добавил: — Да, нам до грузин еще надо дорасти!»

Разговор, казалось, кончился, было утро, после первого намаза, а потом прошел полдень, еще молитва, и во второй половине дня Ахунд-Алескер совершил третью молитву, и при заходе солнца, когда тень стала совсем длинная,— и вот, после четвертого намаза, перед пятым, в начале ночи, Ахунд-Алескер вдруг, будто продолжая только что начатый разговор, строго взглянул на Фатали:

«И не смей ты влезать в их драку! Они и ссорятся, они и мирятся...» И больше никогда не возвращался к этому разговору.

Перед Фатали-цензором уже сидел не собственник писем, а Кайтмазов, он только что вернулся из длительной командировки, посвежевший и отдохнувший, как показалось Фатали.

— Что? Заграничная поездка? Отдых?! Черта с два! Сначала Санкт-Петербург! Для приобщения к кое-каким новейшим, да-да, цензурным инструкциям! Как будто не читаем мы эти «Санкт-Петербургские новости», простите, «ведомости»! Или нельзя было прислать сюда «Русский инвалид»! «Голос», где раструбили о процессе по делам печати! «Судебный вестник» или «Юридическую газету»! — То злой, то оттаивает.— Ну-с, как вы тут без меня?! — руки потирает, а потом пальцы тренирует (о, эти нежные чуткие пальцы! Фатали не сводил с них глаз, когда Кайтмазов несколько лет назад аккуратно перелистывал «Обманутые звезды» и на каждой странице, после того как половину вымарал красными чернилами («Скажи спасибо, что мы кавказцы!»), ставил подпись-закорючку,— большой крюк верхнего крыла «Ка» захватывал всю фамилию. А на титуле — «разрешаю», сначала на русском, а потом и на родном); но полной радости, увы, не бывает: обрадовался, когда «господин наместник Кавказский вследствие просьбы Вашего благородия соизволил назначить из сумм распоряжения Его сиятельства тысячу рублей в пособие для напечатания сочинений Ваших: «Обманутые планеты» и «Восточные адвокаты» с переводами, а равно пяти комедий на татарском языке, рукописи, одобренные цензурою (Депар-

тамент общих дел Главного управления наместника Кавказского, Отделение I, Стол I, 25 ноября 1859 г., № 8274)».

— А я без вас тут воевал! — Кайтмазов молча слушает. — Тип один тут с письмами мне досаждал!

— Осаждал?

— Можно и так. Письма знаете какие! Ой-ой-ой! Язык обжигают, будто перцем густо-густо на кончик! Но вы их скоро сами прочтете.

— Кто автор? Ах, изгнанный из страны? Разве не слышали о специальной инструкции? Не допускать к выходу в свет сочинений лиц, признанных изгнанными из отечества, тайно покинувших его...

— Но ведь из Индии! И из Ирана!

Кайтмазова уже не остановить:

— Государственных преступников! И учтите: какого бы содержания ни были эти сочинения и в каком бы виде они ни издавались, под собственными ли именами авторов или под какими-либо псевдонимами и знаками!

— А что еще за знаки?!

— Неясно?

— Клянусь аллахом, не знаю!

— Шутник! А вот и запомните! — И сует ему только что нарисованную на клочке бумаги картинку-загадку, ай да талант... Бараний рог, и такой крученный-перекрученный, а в него похожий на Фатали человек впихивается, — согнуть, мол, шарада такая, в бараний рог.

Хорошо, что великий князь не проведал о том, как поручали ненадолго Фатали цензорство! Вот было бы шуму и неприятностей в канцелярии! Разве? Не знал?! А ведь как в приказе было, за подписью барона Николаи, ссс (сенатор, статс-секретарь), начальника Главного управления наместника Кавказского?! «...я, с соизволения Великого Князя Наместника возлагаю на Вас, то есть на Фатали! цензурование книг и периодических изданий на восточных языках».

Это ж форма такая! «С соизволения»! Князь понятия не имел!

О боже, какой скептик — ничему не верит! Для него главное — бумага! И он сует ее, этот листок, приказ-распоряжение по канцелярии; черными чернилами на бланке, и номер обозначен — 2548, а число и год припрятал, последний довод, если и этот не пройдет... Кстати, а ведь согласно изъявленному Фатали согласию! Вот, читайте, некому редактировать приказ было: «согласно... согласию»!

...Но Фатали забыл уже о коротком своем цензорстве, да и было ли оно — лето, время отпусков. Он давно собирался написать Мирзе Гусейн-хану, у которого гостил в Стамбуле, но каждый раз, садясь за письмо, вступал с ним в спор:

«Вы на меня обижены, Мирза Гусейн-хан, вы сердитесь, я вас разгневал!»

(«Обижен!» А Гусейн-хан ищет пути, чтоб дать понять наместничеству, а может, и кому повыше, — не кажется ли вам, господа, что деятельность Фатали подрывает основы и вашего правления; он враг и вашему царю; уж я не говорю, что она направлена против шахиншахского престола, а мы ведь с вами уже давно в мире живем!.. Но Фатали о том не ведает; и никогда не узнает, даже помирятся они, когда случайно встретятся, уже стариками, в Потти).

«Вы увидели лишь то, что я высмеял деспотизм шаха и тупость его приближенных, и оскорбились за весь Восток! А Восток ни при чем! Я просто вывел тирана в шахской одежде, хотя с тем же успехом мог облачить его в царский наряд или королевские доспехи! Я рад, что вы разглядели за древним историческим сюжетом его современный смысл и порвали со мной! Или вы испугались, что вас взгреют в вашем краю, чьи интересы вы представляете в Стамбуле, за дружеское ко мне расположение. Но ведь в каждом народе имеются мерзкие и тупые люди, и даже среди государей, шах он или царь. Вы истолковали мои произведения как антипатриотические, мол, выставляю славных шиитов, вас и своих земляков в дурном свете перед турками-суннитами! А что вы скажете, если в ваших руках окажется «Кемалуддовле?»»

«Что вы еще задумали?! Неужели недостаточно и того, что вы уже сделали, чтоб осрамить нас перед миром?»

«О нет! я сказал не все! другие сказали больше, чем я!»

«Кто ж другие?!»

«Индийский принц Кемалуддовле, совершивший путешествие по Англии, Франции и Новому Свету и возвратившийся в ваши земли!»

«Но такого принца я не знаю! Не вы ли скрываетесь за «Кемалуддовле?»»

А ведь и Никитич, попадись ему «Письма» в руки, скажет:

«Нет такого принца!»

«Как же нет? — возразит ему Фатали. — Вот его родословная: правнук Теймурлана поэт-император Великий могол Мухаммед-Бабур, далее его сын Хемаюн-шах, ах ка-

кие страсти бушевали в те годы! Но я не стану отвлекать вас рассказами о том, как жестоко расправился с братьями Хемаюн, как-нибудь в иные разы! Так вот, далее Джалалэддин Ахбар Великий, это при нем был построен город Фатехпур, почти,— улыбнулся Фатали,— Фаталиград, но о том я, кажется, вам рассказывал. Прелюбопытнейшая история с этим Фаталиградом! Увы, ныне в некогда огромном городе никто уж не живет, но сохранились его дворцы! Это страшно — мертвый город! далее Джахангир Овренг-Зиб, женатый на красавице Нур-Джахан, Шах-Алем Первый, его сын Овренг-Зиб».

«Что вы мне голову морочите? Овренг-Зиб был уже!»

«Нет-нет, постойте, Никитич, дослушайте! Ведь такое обвинение!.. А потом Ровшен-Ахтер, он же Бахадур-шах. Далее Джахандар-шах, Фаррух-Сияр, Ахмед-шах, Алямгир Второй».

«Когда же был Первый?»

«Вы перебиваете меня! Али-Гохур или Шах-Алем Второй, а сын его Акбер-шах отказался от своих прав в пользу английской короны, кстати, в год пожара в Зимнем дворце».

«При чем тут пожар?»

«А Акбер-шах и есть отец Кемалуддовле! Что же до последнего могола, то он умер совсем-совсем недавно! Каждый историк это вам подтвердит,— умер, когда я поехал в Стамбул с вашей легкой руки, Никитич, так что я только собственник трех писем живого Кемалуддовле, и эти письма он отправил персидскому принцу Джалалуддовле».

«И такого принца я не знаю».

«Разве вам известны все жены шаха?! Ну ладно, откроюсь я вам, Никитич: индийского принца зовут Игбалуддовле Овренг-Зиб-оглы, а иранского принца — Шуджауддовле Зиллисултан Алишах-оглы! Оба они сидят в Каире (а думал поместить в Багдаде), но один решил назваться Кемалуддовле. Опять не верите?! Помню, как говорили мне в Стамбуле,— было перед Фатали лицо Никитича, и вдруг снова Мирза Гусейн-хан, посол Ирана в Турции,— но смысл этих слов дошел до меня позже, ведь я, живя у вас, не подозревал тогда, что в вас кипит гнев. «Мы были,— вы сказали мне,— и есть образец для всего мира, погрязшего в смутах, беспорядках и неустойчивости! Мы непоколебимы, ибо держимся на справедливой вере и единстве народа и шаха — вождя!» И еще вы сказали мне: «Придет время — и к исламу примкнет все человечество. Если б людям всех

слоев удалось понять, сколь совершенна вера наша, и освоить смысл правления Мухаммеда, то основа дурных течений и эти бунты, этот разгул еретической стихии, все бы было погребено и уничтожено!»

«Увы, Мирза Гусейн-хан, вы будете разгневаны, когда прочтете в письмах Кемалуддовле, что тот самый народ, который считается счастливым и спокойным за свой завтрашний день под сенью всевластного монарха,— самая невежественная нация в мире!»

«Ты уже читаешь мне эти дерзкие письма?!»

«Да!»

Фатали работал по ночам: поспит после круговерти на службе часа два, а потом засядет за стол — и до утра, пока не прокричит петух, и крик его доносится с противоположного берега Куры. Оставит перо, приляжет на часок и — на службу. А потом новая ночь.

Да, самая невежественная нация в мире, не имеющая понятия о свободе и человеческом достоинстве! Сыны ее сжаты в тисках: с одной стороны, давит необузданный и бесконтрольный деспотизм государей, а с другой — грубый и тупой фанатизм служителей веры!..

Догмы, догмы, догмы — сверху донизу! Сталь способностей народа покрылась ржавчиной, и в нем развились дурные склонности: низость, подлость, бесчестие, корыстолюбие, раболепие, лицемерие, двуличие, трусость и вероломство.

Напишет, зачеркнет, поищет новое слово, чтоб в каждой фразе ярость, доколе таиться и кривить душой? на каждой странице боль, ибо нестерпимо видеть это тиранство, попрание прав народа.

ПОСЛУШНОЕ ПЕРО

Повелитель сидит в столице, воображая, что владычество есть только средство к тому, чтобы холить состарившееся тело, дабы оттянуть неизбежный конец, объедаться вкусными яствами, когда кругом бедность и голод, безнаказанно располагать имуществом и жизнью по своему произволу и быть предметом поклонения подвластных, повелителем бездушных рабов и кумиром глупых льстецов и продажных поэтов; слыша стихи, вроде тех, которые сочиняли для моего тезки, но шаха: «Ты спокойно восседаешь на своем троне, в то время как повелитель Византии и вла-

стелин Китая трепещут от страха; первый, будучи поражен звуком твоих труб, а второй — громом барабана твоего воинства».

Всякий государь, уважающий собственное достоинство и дорожащий честью страны, устыдился бы подобного властвования и отрекся б от трона, чем унизиться до такой степени и стать посмешищем цивилизованных народов.

Новая религия?

Вот оно! Фатали к этому шел давно! Он встал и долго не мог вернуться к письменному столу.

А бумага ждала.

Куда приведет его дорога, которую он избрал? Безверие!! Что станется, если вынуть этот стержень?!

А когда началось? Была набожна мать. Набожны сестры. И отец был набожным. И отец второй, Ахунд-Алескер. Может, с Мирзы Шафи и началось? В те далекие годы, в келье мечети?.. Сколько шарлатанов с верой на устах, обирающих и грабящих? И беглый вождь мусульман-шиитов, фанатичных невежд — Фаттах! Создать рай на земле (??). И чтоб самому стать новым пророком. И чтоб все для себя. Для сыновей. Собственного благополучия. И орава прихлебателей, славящих твое имя.

А потом Шамиль. Его проповедь «священной войны». Лишь фраза, чтоб упрочить собственную власть! Играть на невежестве подданных! Обман, все обман!.. И когда Ладожский ему — принять христианство: для чего? во имя какой цели? уйти из сетей одной догматической веры, чтоб увязнуть в сетях другой?!

Может, началось, когда посягнул на священный арабский алфавит?

Фатали подойдет к столу, эта неоконченная фраза о «новой религии», религии предков, — и снова задумается: что-то мешает ему переступить через незримую черту.

А Тубу? Как отнесется Тубу, его подруга, которая понимает с полуслова? Она часто вспыхивает, и Фатали слышит ее ропот: «Что же ты, аллах?!» И гневом загораются глаза. Но тут же молится: «Да онемее мой язык!» И губы ее шепчут молитву, Тубу просит прощения у всевышнего за свой робкий протест, за то, что посмела его упрекнуть. Пройдет несколько дней, копится в Тубу новый ропот: как ей примириться с приговором аллаха, уносящего ее детей?! «Но одобрит ли Тубу мои еретические идеи? — думает Фатали. — Нет, никогда!..» А сын? Как отнесется сын, любимый Рашид? Не восстанет ли против отца? У Рашида мяг-

кий характер, он покладист, будет молча переживать и никогда не бросит отцу: «Ты не прав!» А если вдруг упрекает?! Пусть. Что бы ни случилось, Фатали не остановится на полпути. Он пойдет дальше, чтоб заклеить эту фанатичную веру отцов, а через нее — все иные веры, превращающие людей в слепое послушное стадо. Никто не сможет остановить Фатали, какая б тяжкая доля ни выпала на его судьбу!..

Наконец-то! Бумага устала ждать. Ждет верное перо. И у Фатали такое чувство, что осилил трудный подъем в гору и стоит на вершине, откуда видны новые дали.

Новая религия? А не указана она новоявленным пророком или каким-нибудь сектатором лишь как предлог для разграбления народов под видом ее распространения?

Рассмотри хорошенько все факты и отвечай мне: какую пользу принесли народу наша религия, когда он до такой степени упал нравственно и обессилел, что всякое ничтожество — злодей и тиран, сменяя друг друга, по своей прихоти и произволу подвергает его стольким бедствиям! И народ молчит. Безмолвствует народ! И, кажется, рад, ибо его убедили, усыпили, вдолбили ему в башку: «Мы — самая! Мы — единственная! Мы!!»

Посмотри на современную нашу литературу — она состоит из легенд о мнимых чудесах наших пророков и других лжесвятых мучеников, из описаний блистательных военных походов и завоеваний! «Хвала государю,— пишет историк,— который на поле битвы, если прикажет морю не шевелиться, то волны не смеют производить бурю; если прикажет высокой горе двигаться, то она становится легче песка, разносимого ветром; если во время ночного похода прикажет не высекать огня, то молния не смеет разыгаться на небе; если во время ночного движения прикажет молчать, то утренняя заря не смеет свистать зефиром!»

Всякую рифмованную ерунду мы считаем за поэзию. И вот что удивительно: нам даже неизвестно до сих пор искусство переплестать книги. Всякая переплетенная книга через два дня расшивается, как законы нашего государства. Между тем почти каждый день — и особенно в последние годы — мы имеем на глазах книги, переплетенные в европейских странах с такой прочностью, что и через столет употребления они не портятся.

А что творится на улицах?! На каждом шагу встречаешь мнимого потомка пророка с синею чалмою на голове, который, задерживая идущего, говорит: за дровами в лес не пойду, возить воду из реки не буду, пахать землю не стану, жать пшеницу непривычен, даром кормлюсь и праздно шатаюсь, ибо таковая доля предназначена мне нашей верой — все получать, ничего не производя и не умея!

А по части судопроизводства что? Все зависит от произвола, начиная от мелких властей и до крупных.

Когда же перелистываешь календарь, то читаешь заведомую ложь или отвратительную природе человека лесть:

«В настоящем году (собачьем, свином, лошадином, змеином и т. п.) движение звезд свидетельствует о благополучии священной особы государя, о веселом расположении его духа, да будем жертвами его воли!»

И никто не скажет:

«О дураки! Какое отношение имеет до веселья вашего падишаха движение звезд?! А где в календаре известия о важных событиях? о научных достижениях в мире? где статистические сведения о подлинном состоянии дел в государстве».

— Стоп-стоп-стоп! — о каких статистических сведениях ты говоришь и вообще — на что намекаешь? На общедоступный календарь, запрещенный цензурой? (Это в поездку Кайтмазова его познакомили и с календарем, и с заключением цензора, которое точь-в-точь повторил министр внутренних дел в своем письме Комитету министров.) А он, кстати, откуда у тебя?

— Кто?

— Не кто, а что — общедоступный календарь.

— Да я его видеть не видел, побойся бога, Кайтмазов!

— Случайное совпадение? И потом: какие тебе статистические сведения нужны?! О народном образовании? Как мы отстали от всех государств Европы? И даже Японии? О том, что в последние шестнадцать лет увеличены расходы на высшие государственные учреждения на семьсот процентов?! — Фатали изумленно слушает, а Кайтмазов пересказывает ему заключение цензора об общедоступном календаре! — Может, как растет кривая взяток поведать? Привести разные факты провинциальной жизни и правительственной деятельности? Порицать местную высшую администрацию с указанием имен?! Этого ты хочешь?!

— А почему бы и нет? Если, — послушай, Кайтмазов,

что пишет Кемалуддовле,— наш падишах разведает о положении прочих частей света, об успехах других стран и примет образ правления, основанного на правосудии (но где? в какой стране благословенной?), откажется от насилия, позаботится о благосостоянии не своей особы и особ приближенных,— но ему и им хочется дооолго-долго жить!— а народа, избавит его от нищеты, эта увеличивающаяся у нас с каждым годом дороговизна...

«Ну как не прервать Фатали? Как не сказать ему, не обидев при этом?!» — думает Кайтмазов. Эти тайнственные намеки! Задирает и поддразнивает! И кого! Для чего?! Обо всем пишет с тем жеманством (?! — почерпнул у столичного цензора), с каким пишут, а кто—забыл Кайтмазов: непременно в следующую поездку уточнит. А ведь молодежь!!

А разве нет?! Если предпочтет деятельность по государственным делам забавам охоты — и сами! и сыновья! и зятья! Но кто смеет сказать? Кто станет слушать?! Счастье государей и их приближенных, что народ, усыпленный и убаяканный, не ведает о том, как низко пали его вожди и что они творят, спрятанные за высокими стенами дворцов!

Взгляни теперь на государственную газету — и в начале первого же столбца ты с удивлением останавливаешься на слове: «Преобразование!» И радуешься: наконец-то!! Но читай дальше, теленок,— оказывается, речь идет о преобразованиях в похоронном процессе: кого где хоронить по рангу и в каком порядке. И как. Затем ты переворачиваешь страницу и читаешь: «Отрезать язык, чтоб не смели говорить! Ослепить, чтоб не смели видеть! Оглушить, чтоб не смели слышать! Одурманить опиумом, чтоб не смели думать! — эту клевету на наше славное правительство выдумали коварные англичане и раструбили по всему подлунному миру!» А не дальше как на другой странице той же газеты, в столбце провинциальных известий, читаешь: «Его высочество принц, правитель Мазандарана, изволил отрезать оба уха у одного чиновника, ибо тот плохо слышал распоряжения властей!»

Во время шествия принцев по улицам толпа грубых стражников предшествует им и отгоняет прохожих с дороги грозным кликом: «Прочь с дороги!» Если какой-нибудь несчастный по оплошности не сумеет вовремя отойти, то неминуемо попадет под удар дубинок. И народ, лишенный здравого рассудка под влиянием деспотизма и догм (а

страх?!), не в состоянии понять, почему он должен посторониться с дороги во время их шествия,— ведь дорога широкая и нисколько не мешает их проходу или проезду.

Шум, крик, вой, движение перекрыто — идет принц! Попробуй возразить — подвергнешься истязаниям и мучениям, да еще люди поддадут, ведь рабы!

А падишах? Когда он выезжает — дороги перекрываются так, что потом целую неделю движение не налаживается. Из пункта А в пункт Б. И остановки в пути. Дороги в это время закрыты. Скопляются арбы, телеги, фаэтоны, волю-кони, ослы-мулы. Но зато какая радость,— сказывал мне один твой земляк,— для жителей Б! Порядок, чистота, на базарах — изобилие, чего душе угодно!.. Может,— мечтают,— насовсем останетесь у нас, падишах?!

Любезный Джелалуддовле! Если бы ты сам не был изгнан деспотом из родной своей страны за дерзость и остроту пера, если бы ты сам не жаловался мне на своих сограждан, то я бы никогда не решился огорчить тебя тем, что увидел и познал.

О забитый народ! Если бы ты вкусил сладость свободы, а всякое человеческое существо, явившись на свет, должно пользоваться даром полной свободы, как того требует здравый рассудок (но для кого и к чему я это пишу?); а полная свобода, как пишут ученые мужи, двоякая: духовная, но она отнята догмами, и телесная, то есть светская, а она отнята деспотом и его приближенными,— если бы ты был, о несчастный народ, сведущ о правах своих, то никогда не согласился бы на подобное позорное рабство, в котором теперь находишься; ты стремился бы к прогрессу, учредил бы у себя вольные общества, клубы, митинги, сеймы (?!), отыскал бы все возможные средства, ведущие к единодушию и единому пониманию, и, наконец, освободил бы себя от деспотического гнета (а ведь уступил свой трон,—и что же?).

Ты, о мой народ, числом и средством во сто крат превосходишь деспота и тирана, тебе недостает только единодушия и единомыслия (только ли?!). Не будь этого недостатка, ты легко подумал бы о себе и освободил себя не только от оков деспота, но и от уз нелепых догм. Но устранение этого недостатка возможно лишь при помощи наук; науки же не иначе доступны тебе как стремлением к прогрессу; прогресс не иначе понятен тебе как либерализм; либерализм не иначе мыслим для тебя как отсутствие суеверий; а отсутствие суеверий не сбудется, пока сущест-

вует сковывающая тебя твоя религия, твоя догматическая вера.

Смеешь ли ты где-нибудь, в каком-нибудь уголке царства раскрыть рот и сказать темному народу: «Очнись!» А казни? Во время заговора бабитов были изобретены неслыханные виды пыток, не уступавшие инквизиционным пыткам средних веков. Смертная казнь и изувечение тела для водворения порядка и спокойствия в государстве есть постыднейшая и ненадежная мера.

Любезнейший Джелалуддовле! Ты знаешь, что здесь решительно невозможно изучить науки о политике. Необходимо отправиться в Европу, изучить их там. Но возможно ли отправиться за границу? Разве разрешат? Сообщаться с гяурами!! Недавно один тавризский ученый сказал мне, поглаживая бороду: «Да, согласен, франки-европейцы в самом деле показывают большие успехи в науках мирских, но в науках духовных они находятся в заблуждении и тьме!»

Клянусь всевышним, пятнадцатилетний европейский мальчик не поверит таким пустякам и вздору, которые мне пришлось услышать в здешней главной мечети,— сообщу в следующем письме, устал чертовски! Посылаю тебе через рештского жителя Фа (нет-нет, не Фатали) туллаха связку ширазского табаку.

А вот и второе письмо — засел снова на всю ночь, о душа моя любезнейший Джелалуддовле!

Я сообщу тебе об услышанных проповедях, и пусть волосы у тебя на голове, если они еще не выпали, станут дыбом, как шило, впрочем, какая польза от моих описаний, которые не могут быть опубликованы; положим, что прочтут; *какая польза, сказал поэт, утирать слезы на моем лице — придумай средство против болезни моего сердца, чтоб из него кровь не вытекала.*

Да не порадуетса деспот, что коль скоро стране его пребывать в вечном сне неведения, то он среди своего невежественного народа будет властвовать вечно. Пусть он взглянет на историю — уцелела ли хоть какая-нибудь деспотическая система? Кто может ручаться, что поступок бабитов (ты ведь понимаешь, о каких бабитах я говорю?) не может повториться? Хотя современному падишаху оказывает народ беспрекословное повиновение, но оно под влиянием страха, а не любви. Есть ли кто в стране, который

бы любил деспота и желал продолжительности его царствования? Только боюсь я, любезнейший Джелалуддовле, что после него придет худший, хотя хуже представить трудно; увы, нет предела долготерпению нашего народа.

Я уже писал тебе о том, как сгоняют людей с дороги во время усиленного телохранителями шествия падишаха. Неужто это делается для того, чтобы предохранить падишаха от покушений на его жизнь? («А разве нет?» — возражает кто-то. Кайтмазов? Но он еще не успел прочесть. Или сам Фатали возражает Кемалуддовле? Или это дошел до Кемалуддовле глас Джелалуддовле?.. — «Ну да: пусть попробует выйти к народу!») Бывало, конечно, и не раз, и в европейских государствах, но там не теряли присутствия духа, и правители смело разъезжают по городу и стране, не стесняя чью-либо свободу. А ведь народ — дети падишаха, которым бы восхищаться лицезрением! «Коль скоро, — сказал поэт, — мечом отгоняют посетителей со двора, то как удержишь их, чтоб они не покинули сей двор?»

О покушении на государя пока ни автор письма, ни даже их собственник Фатали не ведают, ибо вести еще не достигли Тифлиса. Будут брать всех: каждого, чье имя названо на допросе или находилось в захваченной переписке — смотри имена!! — даже по наружности, по костюму, — всех, кто одевается как террорист (!). Воспользоваться поводом, чтоб раз и навсегда погасить! Будут еще покушения, кажется, шесть. И поляк Березовский в Париже, второе покушение, жаль, не спросить у Мечислава: знал ли его? Месть за Польшу; снесли тупоконечный черныйobelisk с нелепыми черными львами по бокам на площади перед Саксонским дворцом, сооруженный еще Николаем в назидание за «мечиславский» бунт; и золотом надпись: «Полякам, оставшимся верным своему государю». Снесли, а на месте его — еще более величественное напоминание — Собор (и это снесут, как и памятник Паскевичу), символ рабства; и еще, и еще — чудо спасает государя! Или само провидение?! Ездил по улицам не иначе как мчась во всю прыть — напуган! — в закрытой бронированной карете, окруженный эскортом казаков. Но случится! Опьянение каким-то морганатическим браком, и молодая вдова — княжна Долгорукова... И мученическая кончина, как запишут в исторических календарях, — 1 марта 1881 года.

Увы, не узнает о том Фатали. И это, — подумал Кайтмазов, — еще один довод в пользу того, что «Письма» дозволить к печати нельзя. А тем более выносить на свет бо-

жий из сундука, когда и Кайтмазова не станет. Эти мысли о «Письмах» отчего-то блуждают в Рашиде, когда он играет на таре, очень пристрастился к нему, играет часто, слегка закрыв глаза.

И дальше Кемалуддовле описывает проповедь здешнего духовного наставника в главной мечети. О эти проповедники! Они превосходят всех в мире в лжеглагольствовании, в сочинении всяких басен, сказок, в лицемерии, а у нас особенная способность верить всякому вздору и басням.

Вот и насчет пришествия Мехти, двенадцатого имама, что предсказано пророком. Но неужто еще не переполнена земля тиранством и насилием — отчего же спит он, этот двенадцатый?! И о трехлетнем отроке Мехти, сияющем как четырнадцатидневная луна; а какой у него хохолок на голове! Ползает по полу и играет золотым шариком величиною с яблоко, присланным ему из Басры в подарок; и сей отрок — а он уже в детстве обладал чертами гениальности — чистым арабским языком изрек словно старец: «Я есмь наместник божий на земле и мститель его врагам! И еще я вам скажу — закройте дверь неуместных вопросов, разрешение которых не принесет вам пользы; не держите разузнавать тайны, которых не велено открывать вам, только молитесь, чтобы аллах даровал вам спасение!»

И эти бредни и выдумки насчет зачатия матери имама от духа, когда до разрешения ее от бремени не были заметны признаки зачатия: мол, подобное зачатие не бывает в утробе матери, а бывает между ребрами матери. А как же, ведь сказал отец двенадцатого имама: «Мы рождаемся не от чрева матери через женское, а от ляжки материнской, потому что нам, созданным из божьего света, неприлично родиться иначе!» Нелепо? Но ведь верят! Попробуй заметить главе веры и темному недоразвитому народу, что это чушь! Первый же, думая, может быть, в душе, как и ты, произнесет тебе без обиняков смертный приговор, а второй без милосердия совершит его, — трое схватят, четвертый замахнется топором, а остальные с любопытством будут молча наблюдать.

«А я вот так же, как ты, думаю, но ты уже думал! А молчу, не такой глупец, чтоб голову на пень класть!»

Тот, кто одурачивает простачков ложными идеями, — шарлатан! А тот, кто вложил ему в уста эти идеи, — шарлатан вдвойне!

Я слышал, как в шахской мечети расписывал ад главный молла: «Бойтесь ада, правоверные, и не соблазняй-

тесью суетным миром! В день страшного суда над бездной ада вы пройдете по мосту, который тоньше волоса, острее меча и жарче огня. Праведник пройдет по нему с быстротою молнии, а грешник стремглав полетит в бездну. В аду семь кругов, и пьют горячий деготь, а пища — из горчайшего зелья. Грешников сажают на раскаленные камни, тело их жарится, расплющивается и обращается в пепел, но всевышний снова воскрешает их. Смерть для обитателей ада невозможна, — кричит с кафедры главный молла, — и день равняется тысячам годам настоящего мира».

— И ты думаешь, — нехорошо ухмыляется Кайтмазов, — я разрешу? Нет, я не о сознании народа, хотя и за это!.. — Но Кайтмазов тоже не знает еще о покушении, а улыбка нехорошая, какой-то садистский блеск в глазах, непохоже на него, это после второй поездки в столицу. Он не станет читать Фатали свои выписки из цензорских заключений насчет такого рода книг, понимает, что затея ненужная, трата времени. «А какой слог! Какая точность выражений!..» Он выписал, изучает, вчитывается, учится цензорскому таланту излагать ясно, красиво, по существу! «...до такой степени переполнена вредными местами, что опровержение должно равняться по своему объему самой книге, так как характер всего сочинения саркастический, насмешливый, а действие сарказма на читателя трудно уничтожимо опровержением, как бы оно удачно ни было!» Или это: «Заключающиеся в этой книге (а ведь и в «Письмах» тоже!) возмутительно дерзкие и саркастические глумления над предметами верований, над преданиями священной истории, над догматами глубоко оскорбляли бы благочестивое чувство верующего и служили бы соблазном для людей легкомысленных. В вопросах веры (точно «Письма» читал!) оружие насмешки, которым с таким губительным успехом действовал автор, гораздо опаснее серьезных исследований и возражений; последние могут быть опровергнуты, тогда как насмешки и глумления даже в случае опровержения уничтожают достоинство и авторитет предметов, признаваемых священными и неприкосновенными».

Ну-с, пойдем дальше!

Ты рассуди, Джелалуддовле, кто обитатели ада? Они суть чада всевышнего, который правосуден. Допустим, я каждый день совершал убийства, я согласен, роптать не буду, пусть меня жарят на огне даже двести, пусть тысячу лет, — но вправе ли он меня мучить вечно? Можно ли на-

звать такого бога правосудным, когда мера его наказания бесконечно превышает меру преступления против собственного его закона: «Зуб за зуб...» Но такой неумолимый бог хуже всякого палача, хуже изверга-головореза (Ъйъйы!! — знаки Аллаха, не стерпел, какой-то всплеск негодования, — но ни страхом, ни ужасом не отозвалось в душе Кемалуддовле). Если всевышний имел в виду поступить со мною так *террористически*, то зачем он меня создал? Кто его просил об этом? Если ад, — я в этом твердо убежден, дорогой мой Джелалуддовле, — существует, то бог — ненавистное существо, тиран и деспот! Если же идея ада ложна, то те, кто страшит народ, — лицемеры!

Проповедник посредством всяких вздоров запрещает народу свободно сообщаться с другими странами и нациями — а ведь всякое познание приобретается общениями, осваиваются новые науки, более разумный образ правления и жизни, держит его в постоянном застое и страхе! Запрет, запрет, запрет — везде, во всем, всегда. Пусть лучше запретят хмельное! Как сказал поэт: «Ты красивейшая невеста, о дочь лозы, но иногда заслуживаешь развода!»

Можно ли страхом держать людей в повиновении? Да и кто из нас от страха, внушаемого адом, не присвоит себе чужое добро, когда к тому будет иметь возможность? Кто из правителей, покажи хоть одного мне, в угоду собственным интересам не лезет в казну? Не расправляется подло и коварно с неугодными?! Те изверги, которые в африканских странах позволяют себе, как постоянное ремесло, обрезать у малолетних половые органы и продавать евнухов на рынках мусульманских владений, — все суть люди, верующие в ад!

Страх не может пресечь преступлений, более страшны страх гласности, боязнь общественного мнения, чувство чести, а это возможно лишь при свободе нации, ее образовании, общении с цивилизованными народами — открытом и свободном, учреждении контроля и правосудия!

Но я утомил тебя и лучше расскажу о любовных историях нашего пророка Мухаммеда-Магомета, а ты полюбуйся, кому мы с тобой поклоняемся!

Ты думаешь, любезнейший, что спрятался в Каире в отеле «Вавилон» и двенадцатый имам не видит тебя? А может, поведать тебе о чудесах, знамениях, чародействе, колдовстве, о джиннах, пери, дивах, нимфах? Об иных небылицах, которыми пичкают головы правоверных? Или раз-

гадку увиденного сна тебе написать? Увидел я во сне у себя на шее цепь,—сказали мне, что достанется жена с дурным характером, вот и решил я еще повременить!

Сон был. Но другой. И приснился не Кемалу, а Фатали,—дикий сон, даже Тубу не расскажешь — засмеется ведь! Он в Стамбуле, у Кемала Гюнея, смотрит на его картину (а ведь такой картины у Кемала Гюнея не было: луг, маки цвета крови горят!) и убеждает художника:

«Неужто вы не видите?! Вы рисовали — и не видите, а я не рисовал — и вижу!»

Кемал Гюней поправляет на поясе кобуру, кожа хрустит, расправляет рубашку, широкое ясное лицо, и — рукой, мол, глупости это!

«Да нет же! Вы внимательно посмотрите: что-то на картине вдруг начинает шевелиться, какой-то узел, а потом на миг появляются контуры лица, и оно живое, глаза очень ясные, и — исчезают. Сейчас только то, что вы нарисовали, но уже посмотрите вот сюда! на сей раз в левом углу зашевелился узел! И женское лицо, но рядом еще кто-то, кажется, мальчик, очень на вас похожий!»

Видение на картине снова исчезло.

«Вы — первый художник». Фатали оглянулся, Кемала Гюнея нет рядом, за спиной стоит лишь бритоголовый, квадратное лицо. Глянул на стену — и картины нет, выдернут гвоздь, серое пятно.

СВЯЩЕННАЯ КНИГА

Но прежде, извини, об одном славном муже по имени Гасан.

Я опишу тебе Гасана. Он худощав и высок ростом, у него очень чистое смуглое лицо, острый подбородок и чуть кривой — но как это красит мужчину! — нос, не слишком длинный, но и не скажешь, что средний. У него ясный взгляд черных доверчивых глаз, могущих загореться гневом и отворотить беду, светить мягкостью и нежностью. Черные усы, ниспадающие кончиками вниз, и по-детски чуть припухлые губы. Рядом со зрелым мужем он выглядит умудренным опытом и крепким в кости мужчиной, а увидишь среди юнцов — и не отличишь от них, подумаешь

только, что всевышний был щедр и не пожалел для него росту.

Однажды Гасан — а ведь случилось это и с Фатали! и с Кемалом Гюнеем! — прослушал лекцию толкователя сур Корана достопочтенного Аль-ибн-Яль-ибн Фаля: «Когда, о Мухаммед, приемный твой сын Зейд отрекся от своей жены, ибо глянул на нее ты, тогда мы сочетали ее с тобою, дабы и правоверные впредь не затруднялись».

Так вот: однажды Мухаммед пошел в дом усыновленного им Зейда и застал его жену в совершенной наготе купающейся и произнес ей: «Премудрый есть тот аллах, который создал тебя!» Когда же Зейд вернулся домой, жена объявила ему о приходе пророка и передала ему слова его. Тогда Зейд поспешил к пророку и — а что оставалось делать? — предложил ему свою жену, — лучше ведь по своей воле!

Но пророк сказал: «Удержи свою жену для себя и (может, «но»?) остерегись Аллаха». А мысль эту, как потом выяснилось (?!), вложил Аллах в уста пророку через вездесущего архангела Гавриила.

А послушаем, какие сомнения обуяли Гасана: как же так? неужто у Аллаха нет других дел, как снизойти до того, чтобы посылать Гавриила к пророку с советом жениться на жене Зейда, ибо она — еще бы! голая ему приглянулась! — призвана утолить его плотскую страсть. Двадцати двух жен и невольниц ему мало, надо непременно насладиться и женою Зейда! И божество занимается сводничеством?! Положим, что Зейд от страха или излишней преданности пророку, своему приемному отцу, или из видов корысти отрекся от своей жены и уступил ее пророку. Но согласна ли была Зейнаб? В разводе согласия жены не требуется, а в браке ее согласие ведь обусловливается! Когда и через кого Аллах добыл согласие Зейнаб? А может, молодая женщина вовсе не желала сделаться женою старика? Пусть! Но мы хорошо знаем, что и пророческое достоинство не может изгнать чувства ревности от женской натуры. А сколько было сцен ревности Айши и других жен? Ведь не одна, не две их! А как однажды жены огорчили беднягу пророка! И все из-за болтливости его жены Гефезе: пророк на ее очереди, в ее же спальне, на ее постели, воспользовавшись кратковременною отлучкою ее из дома (пошла к отцу Омару), позволил себе иметь то самое с египетскою невольницею Мариною, и Гефезе, вернувшись поспешно домой, застала его с нею и подняла ди-

кий крик. Пророк, дабы успокоить ее, дал обет не видеть более никогда в жизни Марию, — пусть только Гефезе не проболтается! А она, глупая болтушка, возьми да поделись с Айшой, а та, когда пришла ее очередь, и подняла пророка на смех:

«А еще пророок!»

И Мухаммед обиделся на жен, отказался их видеть, целый месяц постился по части женщин. Выручил, как всегда, посланец Аллаха — архангел Гавриил:

«О пророк, зачем ты в угоду своим женам отказываешь себе в том, что Аллах разрешил тебе?» Мол, бери, коль приглянулась, и Марию!

А что вытворяла сама Айша? — строчит и строчит свое гневное письмо Гасан. — Однажды ночью под предлогом розыска своего будто бы потерянного ожерелья из сердоликов — подарок самого пророка? — она решилась тайком пробраться к своему любовнику, молодому арабу по имени Сафван, и целую ночь осталась в его объятиях в степи, отставши от уходившего отряда.

Одним словом, жены пророка постоянно интриговали между собою, а Гавриил, дабы успокоить пророка, беспрестанно летал к нему от Аллаха. У бедняжки Гавриила аж крылья избились и перья растрепались от частых сошествий на землю и восшествий на небо.

Недаром ведь восточные юмористы говорят: «Кто сделался пророком, того жена непременно будет или грешница, или безбожница, как, например, были жены Адама, Ноя, Лота, Авраама и Моисея!» И Мухаммеда!

Зейнаб по женской натуре не была склонна лишиться молодого единоженного мужа и сделаться женою истощенного старика, — однако Аллах нисколько не заботился о ее согласии!

Высокоуважаемый наш духовный отец! Если во вселенной существует бог, то, без сомнения, этот бог не тот, который позволяет себе роль сводника:

«Не бойся людей, возьми жену Зейда для себя, наслаждайся ею, я стою за тебя! И пусть кто посмеет усомниться!»

Удивительно, с каким наслаждением сообщает Аллах, находя в этом какое-то особое удовольствие, о связях пророка с женщинами! Вот Айша, молодая, красивая, ее пророк страстно любил, всю ночь проводит с молодым Сафваном. Пророк отослал ее к отцу Абу-Бекру и отказался видаться с нею. Но Аллаху не терпится снять подозрение

с Айши, и он посылает через своего курьера изречения пророку:

«Те, которые клеветают на твоих жен, грешат сами! Порочные жены назначаются к порочным мужьям, а добродетельные — к добродетельным. Все достойные правоверные, услышав эту историю, говорят: «Это великая клевета!»

И пророк отправился к Айше и помирился с нею.

Когда молодая женщина, жена старика, на целую ночь остается с молодым красивым парнем с восхитительною физиономиею в степи, кто не может подозревать тут любовной связи? А какова Айша! Вышла из носилок так, что даже погонщик не заметил! И не вернулась, будто ожерелье оторвалось от шеи. А между тем отряд снялся, и она осталась в степи; а ведь знала, что отряду дан приказ сняться! И вдруг случайно появляется Сафван, который будто бы следовал за отрядом, и, найдя Айшу одинокой в степи, посадил ее на своего верблюда и доставил на другой день в отряд.

Впрочем, если Айша виновата, то более виноват ее отец Абу-Бекр, что выдал молодую дочь — ей было тогда восемь лет! — за старика, которому пятьдесят два года, имеющего к тому же целый табун жен!

Едва ли раз в месяц доходила очередь до Айши. А ведь она живой человек, а на юге, как вам известно, женщины, как и мужчины, чрезвычайно сладострастны, и ночи такие мягкие и дивные. И пророк в порыве сильной ревности к Айше и для удержания ее от дальнейшего прелюбодеяния решился выпросить у Аллаха для затворничества женщин следующие заклинания:

«О Мухаммед! Скажи правоверным, чтоб они закрывали свои глаза всякий раз при встрече с женщинами и сохраняли целомудрие; и правоверницам скажи, чтобы не показывали им своих женских украшений, исключая тех, которых скрывать невозможно; чтоб скрывали свои шеи покрывалами; они могут показываться с украшениями только своим мужьям, отцам, тестям, сыновьям, пасынкам, братьям, племянникам по братьям и сестрам, рабам, старикам, лишившимся возможности к естественному сообщению с женским полом («Как узнать?!»), и мальчикам, не достигшим зрелого возраста; чтоб они также не ударяли одною ногою о другую во время ходьбы перед мужчинами, чтобы производить чиканье от своих ножных браслетов»!

Но не только Айша — и другие молодые жены, не считывая на долгую жизнь пророка-старика, заблаговременно старались жеманством нравиться молодым мужчинам, чтобы они по смерти мужа женились на них; и даже умело чикали своими ножными браслетами; оттого, видно, и эта женская ужимка получила запрещение.

«Ах, вы думаете жениться на моих женах после моей смерти! Ну, погодите же!» — и Мухаммед выпросил у Аллаха еще один запрет:

«Жены пророка — суть матери правоверных!» И это показалось недостаточным, ибо слишком обще!

«О, правоверные, — последовал более определенный запрет, — вы не должны никогда жениться на женах пророка после его смерти, ибо это величайший грех!»

А история с аравитянкой Асмой? Она приглянулась пророку, родители отдали ее, и когда пророк в свадебную ночь пошел к ней в предвкушении новых удовольствий, она вскричала: «О, старик, чего ты от меня хочешь? Я никогда не покорюсь тебе!» Пророк удалил ее и на другой день послал ей разводный лист. Жены стали завидовать Асме: а чем они хуже?! и они хотели б уйти! Ведь многие были взяты насильно!

Пророк часто оставлял жен, отправляясь грабить соседние племена под предлогом похода против неверных. Кто может ручаться, что жены не имели в его отсутствие любовников?

Коран полон нелепыми стихами, свидетельствующими о чрезмерной страсти пророка к женщинам, а однажды он пожаловался на немощь от соития, и Аллах посоветовал через курьера-архангела: «Кушай часто пшеничную кашу, сваренную с крошеным мясом молодого барашка!» Какой знаток наш Аллах! И мы должны читать эти нелепости на могилах наших покойников! Спрашивается: каким должен представляться воображению наш всевышний, принимающий столь живое и горячее участие в удовлетворении сладострастных похотей пророка!

А какой перл эта сура:

«Если пророк увидит какую-нибудь женщину и полюбит ее, то муж ее обязан развестись с нею и уступить ее пророку». И это — ваш пророк Мухаммед? И это — ваш Аллах?!

Высокоуважаемый наш духовный отец! И вы гордитесь историею жены Зейда?! Я не верю такому божеству и такому его пророку, не говоря уже о курьере-архангеле.

Или ответьте мне аргументами, основанными на разуме, или не обманывайте более народ, пользуясь его невежеством, темнотой!»

Гасан закрыл кавычки и кое-что оставил за их пределами. Да, любезнейший Джелалуддовле, такая вот история! Получив это письмо, толкователь ибн-Фаль пришел в величайшее негодование и тотчас отправился к отцу Гасана — царю Великая Надежда. Царь пришел в бешенство — вот тебе и Надежда, да еще Великая! На кого он оставляет престол?! Это могучее царство?! И он изгнал сына!

Прошли годы. И как Гасан сумел возвратить благосклонность отца, восстановить свое право на престол, о том история умалчивает. После смерти Великой Надежды, а правил он почти полвека, Гасан занял престол.

И знаешь ли ты, что он прежде всего сделал? Он собрал всю знать царства и народных депутатов на главную площадь столицы, установил там высокую трибуну, водрузил вокруг нее четыре знамени — красное, зеленое, желтое и белое — и произнес речь, всколыхнувшую весь мусульманский мир:

«Я, ваш царь, по внушению разума считаю себя обязанным указать вам то, что полезно, и то, что вредно. Знайте, что мир существует без предшествования ему небытия, и конца миру не последует! И времени и пространству нет ни начала, ни конца. Ад и рай есть вымыслы человеческого воображения. Светопреставлением для каждого человека считается смерть его. Всякому умному человеку по указанию священного дара человечества — разума следует быть добродетельным, благородным и безвредным. Такой человек считается на истинном пути. Он может избрать себе какой ему угодно образ жизни, который найдет для своего существования полезным.

Отныне каждый свободен от всяких молитв, постов, пилигримств в мнимосвятые места. Посвятите ваши труды наукам и познаниям, наслаждайтесь дарами жизни (А ты сам, Фатали?!), не оковывайте себя догмами, пустым и безобразным суеверием, старайтесь возвыситься во мнении других народов земли науками, познаниями, искусством, нравственными делами, доблестными поступками. И затворничество женщин — величайшее тиранство. Дайте им воспитание и образование, не угнетайте их. Также более одной жены не берите себе. И кто нарушит мой указ — тому кара от меня!»

Это был день поста: после проповеди Гасан сошел с трибуны, сел тут же, потребовав еды, и первый нарушил пост голодания.

А потом с великой царицей Дурретуд-тадж, Жемчужиной Короны, прошел по главной улице страны, и жена его была с открытым лицом.

И его примеру последовали все.

Ты спрашиваешь, чует мое сердце, чем это кончилось? Читал я одну повесть, любезнейший Джелалуддовле, о том, как твои земляки обманули звезды, прочти, занимательная штука! Там, между прочим, есть ответ и на этот вопрос.

К величайшему сожалению, по наущению недругов из соседних стран, ибо никак не могли примириться, что рядом, по соседству, революция (Кемалуддовле написал это слово латинскими буквами, а обладатель писем Фатали пояснил его с основательностью ученого-востоковеда, претендующего к тому же на профессорское звание; ах, как мечтал Фатали, чтоб причислили его к этому сонму, старался — писал члену Совета наместника Кавказского, «его превосходительству» — готов пройти соответствующее испытание, чтоб получить право быть профессором, нет-нет, не ради денежных выгод, — интерес мой более нравственный), да, не могли допустить, что рядом революционная страна, вздумавшая отколоться и выйти из повинения стран с единой верой. Собрались, как быть? Может, организовать поход монархических стран? Ввести войска и задуть это вольнодумное государство?!

«Можно проще!» — негодует шурин-фанатик, оказавшийся здесь, в живописном оазисе, где собрались главы государств; чтоб его сестра-царица разгуливала с открытым лицом?! и чтоб мужчины облизывались, глядя на ее красоту?! Всучили ему в руки нож, благословили на подвиг во имя веры и аллаха, и шурин одним ударом в грудь убил Алазикрихи-асселама.

Сын и преемник Гасана, воспитанный в духе отца, поддерживал по мере возможностей образ правления прежний, однако и он умер при загадочных обстоятельствах. Ему наследовал внук Гасана, но он понял, что или смерть ему (к границам были стянуты войска соседних государств!), или реставрация старых порядков. И он выбрал второе.

Жаль-жаль, что сочинения Алазикрихи-асселама истреблены были тогдашними невеждами как еретические; ру-

кописи сожгли, и пепел развеяли по пустыне. В той самой книге, где твои земляки обманули звезды, я слышал, будто была страница, но мне она почему-то не попала, в которой сказано, что рукописи Алазикрихи-асселама видели во времена Шах-Аббаса, некий Юсиф-шах в золотом сундучке хранил.

Уже полдень, а я, признаюсь тебе, любезнейший Джелалуддовле, разуверился и в благости пятикратной молитвы. Надо мною в цивилизованных странах хохотали! И они правы. И вот что я тебе замечу: бесполезность этого нелепого обряда очевидна, отвлекает от занятий науками, от полезных дел. Ныне человечество имеет тысячу различных занятий, где же у него праздность, чтобы развлекаться пустяками, подобно молитвам, соблюдать пост,— зубри нелепые догмы, вбивай их себе в голову до отупения, пять часов уделяй молитвам, остальное время — еда да сон. И это имеет то невыгодное последствие, что промышленности нет, сельское хозяйство пришло в упадок, искусства, ремесла, художества малоразвиты, науки пропитаны устаревшими догмами, и мы отстали и продолжаем катастрофически отставать от европейских стран.

Пора нам знать, что мы принадлежим человечеству, создавшемуся быть свободным, а не позорным рабом кучки пророков, и достичь свободы и цивилизации! Если бы бедный народ в древности верил вождям и поклонялся их пророчествам, то это было бы еще простительно! Но теперь, когда ветры дуют отовсюду и мы видим, как чахнет человек в добровольном рабстве, слепой и глухой к тому, что творится в мире, довольный своим послушанием и преданностью и веря лживым словам новых пророков, думающих лишь о том, чтобы подолее держать подвластных в неведении, жить в роскоши и удовольствиях под охраной всемогущего воинства!

Довольно, я устал, завтра 21 день рамазана, и я намерен отправиться в главную мечеть слушать рассказы трагика моллы Джаббара о плачевной участи наших имамов, и о них я сообщу тебе в третьем своем письме. Я намерен из Тавриза отправиться в Решт, оттуда в Мазандаран, на родину демонов и нимф.

Ах, какие подозрные трубы продавали в Каире, забыл купить, а мне так она нужна здесь, чтоб кое-что разглядеть пристальней! Прошу тебя, пойдя в магазин европейского негоцианта, еврей он, это за домом Риза-паши, и купи мне подозрную трубу, это совсем-совсем близко, в двух

шагах от отеля «Вавилон», и пришли в Решт на имя Гаджи-Абдуллы Багдадского, продавца жемчуга, и он доставит ее мне. Прощай!

И — третье письмо Кемалуддовле.

Нет-нет, я не стану описывать тебе сцены плача по убитым в борьбе за веру, то бишь за власть, за престол, за корону, за халифство!.. Мы с тобой изучали всякие науки, в том числе алгебру, которая, как известно, зародилась на Востоке (но что нам от этого?), и я воспользуюсь для удобства ее буквенными понятиями, а ты домысли за меня: А убивал Б, окрашивая свое преступление в благопристойный вид борьбы за шиитскую веру. В, чтоб избавиться от А, убивал его под тем предлогом, что тот — вероотступник, предавшийся суннитам и готовивший заговор против шиизма, и, придя к власти, постепенно съедал, точно людоед какой, сильных соперников, Г, Д, а заодно и ближайшего друга Е и, в порядке безопасности, Ж, хотя он числился вернейшим помощником и был им, а что до З... — нет, нет, я не буду тебе рассказывать о том, что ты и без меня знаешь, изгнанный из родной страны.

Впрочем, извини за откровенность, ты сам еще не совсем избавился от иллюзий в отношении избранности своего народа среди прочих других народов, в особом его предназначении. Ты винишь правителей, забывая о том, что народ достоин своих правителей, как, впрочем, и правители — своего народа. Но напрасно не трать своего времени на наивные иллюзии, пора и тебе проснуться!

Вотходишь в дом правоверных, мечеть, разумеется, и замечаешь господина в суконном плаще, с кушаком на бедре из кашемировой шали, шерстяной шапкой на голове под бухарской мерлушкой, с длинной бородой, крашеной хною и индиго; думаешь, что, очевидно, порядочный человек; спрашиваешь соседа, и точно: знатный правоверный. Лицо и глаза его выражают вид человека, находящегося в трауре по случаю смерти, по крайней мере, отца. Но нет — он печалится, ибо когда-то где-то кто-то из шиитских имамов пал в борьбе за власть.

В другом углу — преважный господин с перстнем из блестящего яхонта. Кто? Тоже чин. Грамотен ли, спрашиваешь? А ты у него узнай! И что же?

«Грамотен?! — изумленно смотрит на тебя. — Благодарение Аллаху, что не заражен ересью и безбожием!»

А вот еще один господин — вертит в руках четки, лепечет про себя: «Нет божества, кроме аллаха...», повторяя это по числу зерен в четках, — пока не перевернет зерна, не суйся с вопросами!

Но тссс! Молла на кафедре! Сначала о рождении имама. Потом о великих подвигах в младенчестве. Приводятся цитаты, столь же неленые, как и сам рассказ. О героических свершениях в отрочестве и юности. Как спас, как помог, как надоумил заблудших, как провидел. И как поднимал знамя шиизма. И как преследовали. Пытались убить (покушения и прочее). И каждый раз чудо спасало. Когда мы вышли, сосед мой спросил:

— Ну как, насладились твоя душа?

— Каким же образом насладились, если я слышал вздор? — ответил я.

— Заклинаю тебя всевышним, правду ли ты говоришь?!

— Но ведь и ты сам думаешь то, что и я! — Запнулся бедняга, не знает, как возразить, а я ему еще: — Это ж птичий язык, рассчитанный на птичьи мозги!

— Может, — тут вмешался другой, ибо первый так и онемел, — тебе понравится по твоему развитому вкусу сложнейшее учение о четырех подпорках, на которых держится мир?

— Я знаю о трех китах!

— Несчастный! Я говорю о подпорках веры! — и с такою жалостью смотрит на меня, что мне самому себя жаль стало. А он добавляет: — Первая — сам Аллах, вторая — Пророк, третья — имамы, а четвертая — Керим-хан!

— Кто-кто?! Эта рухлядь?! Этот, у кого язык еле...

— Молчи, несчастный! — и так побледнел, губы белые-белые, озирается кругом, в глазах страх.

— Да, кстати, — спрашиваю, чтоб собеседник пришел в себя, — а как насчет Баба? Что вы скажете о нем? Мне говорили, что у вас в городе много бабитов.

Но у кого спрашиваю я? Собеседников моих точно ветром сдуло!..

— Эй, стойте! — кричу им вдогонку. — Ладно, не о нем расскажите, а о его поклоннице, той, что ходила с открытым лицом, принимала участие во всех его восстаниях и, схваченная в Казвине, была умерщвл...

Что ты кричишь, эй Кемалуддовле, сказал я сам себе, — ведь ты один на площади, и никто, слава богу, тебя не слышит.

О, наивные бабиты-террористы, мечтавшие убить ша-ха! Но можно разве убийством одного тирана пресечь милое невежественному народу тиранство?! А реформа женского равноправия вполне в духе революции Алазикрихи-асселама. Ибо какой вред принесло мусульманскому миру затворничество женщин! Благодаря присланным пророку откровениям Аллаха, после любовного дастана «Айша — Сафван», мужчины — полудикари, лишённые удовольствия женского общества, пристрастные к мужеложству, этому гнусному пороку, принявшему вид обыкновенных непостыдных явлений в житейской жизни,— никто не гнушается им и не стыдится! Даже поэты в своих поэмах воспевают красоту милых юношей, а не девушек, и не стыдятся соблазнять читателей к такому разврату! И многоженство с его вечной враждой и ненавистью между братьями и сестрами, родившимися от различных матерей, и между сродниками сторон! И сколько иных пороков многоженства — евнухопромышленность, затворничество. А натура между тем берет свое: ай да Айша! ай да разгул восточной женщины! тут такие страсти!..

Когда же ступит народ на дорогу прогресса и цивилизации? Когда освободится от деспота и придет человек иного образа жизни, возлюбленный народом?! Через неделю я отправляюсь в Решт. Оттуда, как уже писал тебе,— в Мазандаран! Жду подзорной трубы! Прощай!

ПРОТИВОСТОЯНИЕ МИРОВ

Увы, увy, Кемалуддовле! — решил сразу ответить на все три письма Джалалуддовле.— Увы, потомок великого Теймурлана! Не иначе как ты помешался?! О боже! Чего только ты не нагородил в письмах! О всевышний! Ай-ай-ай!

Ты цитируешь поэтов! Это же беспокойный и вредный народ! Как можно им верить? Фирдоуси?! Строки, которые он сочинил, вызваны или тем, что так пожелал заказчик, пославший ему тысячу золотых, или потому, что от него отвернулся Султан-Махмуд, а пригрел Дейлеми, шиит, враждовавший с Султан-Махмудом! А другой поэт, как его? Имаретул!.. Это же изменник! И за измену во время крестовых походов, разве не он пригласил франков на завоевание Египта? был повешен! А историки, которых ты цитируешь, этот ибн-Халдун, на которого ты ссылаешься,

хотя и не называешь, а он, да будет тебе известно, из рода Омаидов, Абу-Сафьян его дядя, а Муавие его двоюродный брат. Предки ибн-Халдуна во время гонения на Омаидов бежали из Сирии, очутились в Африке, потом в Испании, и потому вся его история пристрастна, я ни одному его слову не верю.

И этого негодяя и еретика Алазикрихи-асселама ты смеешь превозносить?! Как же рука твоя не онемела и язык во рту зашевелился?! Отец его Великая Надежда недаром казнил сотни его адептов, десятки людей изгнал из страны, да будет с ним божья благодать! Пока был жив отец, этот твой подкидыш и ублюдок не смел пикнуть от страха! И чего добился Алазикрихи-асселам? Он поверг страну своей революцией в пучину разгула, разврата и хаоса! Чистили и чистили после него, только недавно, кажется, вычистили, и то не до конца еще!

Браво, браво тебе, Кемалуддовле! Браво, о внук славного Бабер-шаха! Если в крови потомков Теймурлана было такое философство, как у тебя, то почему они, царствуя более трехсот лет, не замечали ужасов деспотизма в собственной стране?! Не позаботились спасти твоих земляков от невежества? Зачем не сказали им, что стыдно держать публичных женщин в разных сборных местах и предлагать их именитым охотникам? Зачем не сказали им, что усилие удерживать дыхание по какому-то глупому обряду и подобные вещи, вроде самоистязаний, молчания в течение семи лет, держания рук на голове неподвижно годами есть выше всякого невежества?! Зачем не сказали им — или это ты будешь отрицать? — что вести нерожаящих жен к духовным учителям и просить их сообщаться с ними пред собственными глазами мужей для дарования им детей более чем отвратительно?!

Что...— или это тоже бредни? — что... что...— Так спешит, что не разберешь!

И ты, не замечая всего этого у себя на родине, таким критиканом на чужбине сделался?! Молодец ты какой! Явился соболезновать о нас, браво, браво тебе!

Я по-дружески советовал тебе. Ибо оба мы с тобой, изгнанные из родных краев,— друзья по несчастью (ты рассказывал, помню, как тебя выдворили, посадив сначала в тюрьму, а потом — в фаэтон! на границу! и — вон!; почти как меня! с той лишь разницей, что и я сам мечтал сбежать!). Но чтоб вытворять такое?! «Ступай к нам, я сказал тебе, побывай среди своих единоверцев-шиитов! не ной!

ты замучил меня своими элегическими вздохами! Ступай, чтобы сколько-нибудь развеять грусть и печаль!» Но не сказал тебе, чтобы ты пошел и поколебал основание нашей веры! чтобы разрушил ее!

Во всем мире, это ты прекрасно знаешь! всякий народ избрал себе какую-нибудь веру, как же иначе?! Если истинны другие веры, то чем мы хуже? Покажи, где, в каком краю нет тех безобразий, того фанатизма, о которых ты столь невозддержанно пишешь?! На Севере нет (в России?)? На Западе (во Франции или где еще?)? Если же ты признаешься, что все веры ложны,— то что ж? Я, может, и соглашусь. И напомню тебе восточную поговорку: «Когда беда общая — она сносна!»

Многие народы верят в воскрешение одного умершего индивидуума из мертвых и в вознесение его на небо. А если мы сочтем одного живого индивидуума не умершим, но скрывшимся до поры до времени из виду, то неужели от этого земля разразится громом и придет в колебание?

Браво, браво тебе, Кемалуддовле! Я и не знал, что ты такой философ и такой политик, который находит деспотизм вредным, а считает полезным для нации учредить митинги, советует монарху заслужить, ну и насмешил ты меня! любовь народа своими добрыми деяниями, дав ему совершенную конституцию, где слово реально, а не иллюзорно (?!!), обеспечить подлинное, а не мнимое равенство людей. Вся гостиница «Вавилон» от моего хохота сотрясалась!

Эй, Кемалуддовле! Но зачем ты не читал подобные проповеди своему отцу, дабы он последовал твоим советам и не допустил тебя и твоих братьев скитаться по чужим краям, отдав страну на расхищение и грабеж? Или ты действуешь по принципу: «Говорю тебе, доченька, а ты слушай, невестка!»?

Кстати, ты упоминаешь книгу моего земляка, но он, скажу тебе откровенно, еретик похуже тебя! А ведь Сальми-хатун, упрекающая своего мужа, нет-нет, не Шах-Аббаса, станет он ее слушать, а Юсифа,— права!

Так вот, я напомню тебе, а ты выпиши их столбцами, вызубри, как некогда зубрил Коран, и да прочистятся твои мозги и спадет с глаз пелена,— поистине, кто возвращается в отчий край из путешествия по чуждым странам, съедает себя сомнениями. Да, и от Востока ты отдалился, и к Западу не пристал, как тот чудака (Юсиф или Фатали? или еще кто третий?!), вздумавший — о, бредовая мысль! — ис-

кушать историю, повернув Восток по пути Запада и ввергнуть благословенный край в пучину страданий!

Ни они нас никогда не поймут, ни мы их, ибо благо по их разумению есть зло в наших глазах, а в чем им видится порок, в том мы видим добродетель.

Посуди сам и не будь излишне придирчив, если не в том порядке я преподнесу различия между ними и нами (мне некогда, а ты не ленись и отдели важное от второстепенного). Так вот, друг Кемалуддовле:

мы, азиаты, бреем головы, а они, европейцы, отпускают волосы; мы всегда сидим дома в шапках-папахах, а они — с непокрытой головой; мы едим рукой, а они — ложкой; мы принимаем подношения открыто и видим в этом знак почтения, а они, так было, во всяком случае, до недавнего времени, тайком;

мы не можем без поводыря и наставника — аксакала и верим всему, что нам скажут наши вожди; а они не верят никому и ничему, у них каждый врозь, и то, что говорят уста, не слышат уши; да, у нас главное — вера и падишах, — поступай, как велит вера, и слушай, что говорит падишах, живи тихо, смирно, благодари всевышнего за кусок хлеба и кружку воды и не гневи судьбу, если чем-то обделен, ибо так начертано на твоём лбу; а они постоянно спорят: и с богом, и с падишахом, и с самими собой; вечное недовольство, непослушание, дерзость и протест, мол, захочу — на голове ходить буду и никто не смеет пальцем на меня показывать;

мы живем довольные настоящим и не заглядываем в будущее, ибо за нас думают другие, а им, бестиям, все не так: и ворошат, вопрошая прошлое! и в настоящем, как жуки, роются, и будущее их волнует;

у нас мужчины имеют много жен, а у них женщины имеют много мужей; у нас женщины окутываются в чадру, чтоб лица свои укрыть, а у них женщины выставляются напоказ, и это — вызов бесстыдства и признак распутства; у нас жена плетется за мужем, у них муж пропускает вперед жену; у нас все — рабы падишаха, а у них и в падишаха камни бросают; мы отходим от скатерти сытыми, а они — голодными;

у нас интересы массы (ты скажешь «толпы», пусть так!) превыше интереса отдельной песчинки (знаю, ты и здесь скажешь мудреное — «индивидуум»!), у нас общее — все, отдельная личность — ничто, а у них, как ты уже догадался, — наоборот.

Каков корень, таковы и побеги! и каждый цветок на своем стебле распускается. Тут у меня по соседству гяур живет, и он мне как-то: со своим уставом, говорит, в чужой монастырь не лезут!

А уж этим доводом, думаю, я тебя доконаю, неужели ты не знаешь, что негры изображают черта ослепительно белым? И не то еще я припас для тебя! У нас сунниты и шииты, а у них католики и протестанты, и мы, кстати, не уничтожаем суннитов, как это сделали (и теперь делают!) католики, истребившие гугенотов накануне дня святого Варфоломея, даже гугенотка-королева Наварры, напомним тебе ее имя, чтоб убедился в моей правоте,— Жанна д'Амбре, была убита отравленным платком (подкупили аптекаря!); а вот еще: мы, как аллах повелевает, без носового платка обходимся, вон сколько вокруг пустырей! а у них — платок! Но я отсюда, издалека, вижу твою противную ухмылку — гореть тебе в аду за твои сомнения!

В ушах Фатали, пока его рукой выводил Джелалуддовле свой ответ Кемалуддовле, звучал голос Мирзы Гусейн-хана. Еще в Стамбуле, когда Фатали гостил у него и их отношения не были ничем омрачены, Мирза Гусейн-хан, будто разговор их подслушивал чуть ли не сам шах, со страстью убеждал Фатали:

— Мы — это мы, и нам не пристало менять свой испытанный веками образ жизни и копировать, как это пытаются делать османцы, западные нравы. Нам ли учиться у Запада?! Человека, которого мы называем зловредным демагогом, возмутителем покоя, короче — выжившим из ума и заслуживающим в лучшем случае выдворения или ссылки (а остальное додумай сам!), там, у них, называют,— Мирза Гусейн-хан искривил губы,— борцом за справедливость (ты будешь хохотать, я знаю,— пишет Джелалуддовле своему другу)! Примеры множить не стану, но помани мои слова, Мирза-Фатали, накануне нашего вступления в четырнадцатый век мусульманского летосчисления: если бы людям всех слоев удалось понять смысл исламского правления, которое господствовало лишь несколько лет при Магомете тысяча двести лет назад, то основа всех дурных течений была бы уничтожена. Вся Европа, весь Запад, поверь мне, друг, рано или поздно пойдет по пути ислама!

— Мирза Гусейн-хан,— возразил тогда Фатали,— но как можно закрывать глаза на изуверства деспотической вла-

сти? фанатизм вождей ислама? разгул черни? Нет, нам не обойтись без серьезных социальных перемен. Реформация на Западе...

— Реформация? — расхохотался Мирза Гусейн-хан. — О наивный друг! Азиату не хватает воображения представить себе, что на свете вообще возможно какое-либо иное правление, кроме деспотического, так уж быть, употребляю это твое любимое словечко!

Фатали развел руками: что сказать Мирзе Гусейн-хану...

Но пора вернуться к Желалуддовле, дабы не высохли чернила на кончике пера.

Ради бога, — строчит и строчит свое письмо Желалуддовле любезнейшему Кемалуддовле, — воротись скорее, и мы продолжим, оба изгнанные из родных своих краев, диспут здесь, попивая ароматный чай из грушевидных стаканчиков и глядя на яркие звезды. Боюсь, чтобы ты не произвел более беспорядков — от тебя можно всего ожидать на свете.

Теперь-то уж наверняка я скажу: и правильно сделали, что изгнали нас! И тебя прежде всего — ведь ты совершенный агитатор против нашей религии! Да осквернятся могилы отцов и тех франков, с которыми ты имел сотоварищество и сообщество и выучился у них разным непригодным для нас бредням и вздорам. Мне кажется, что ты и впрямь рехнулся — как бы тебя не упрятали в сумасшедший дом.

Я отныне буду звать тебя не Кемалуддовле — какое же ты Совершенство Державы?, а Нуксануддовле, Недостаток Державы! Ради бога, воротись!

Я получил присланную тобою связку ширазского табаку, пах-пах, какой аромат! а подзорную трубу, как ты и просил, купил у еврейского грамотея в угловом доме неподалеку от «Вавилона» и послал на имя продавца жемчугов Гаджи-Абдуллы Багдадского. Прощай!

О бабитах и их восстании — ни слова! Станет он, на ночь глядя, сон себе портить этими смутьянами бабитами! И чего они добились? Биться головой о толстую стену — зачем?

А о том, что Кемал и Желал (а в скобках «уддовле») спорили о бабитах в отеле «Вавилон», Фатали не ведаст, как не ведаст и о том, что они — вот что удивительно! —

имеют в руках книгу о бабитах Мирзы Казембека «Баб и бабиды», знаменитого католика, СПб, 1865, из собственной библиотеки Фатали, с дарственной надписью автора. Фатали ее искал, весь шкаф перерыл, а так и не нашел (может, Колдун?!), а меж страниц — листок, написанный Фатали по-русски (увы, русского не знают ни Кемал, ни Джелал, и даже во всем отеле «Вавилон», где на стене иногда можно ящерицу увидеть): «Вот вам, граф (уж не Соллогубу ли сей листок предназначался?), еще одно «эф», «Фитрат», учение, которое проповедовали бабиды, — освобождение от ига закона!»; даже знай они русский, и то б не расшифровали.

И еще меж страниц книги вложены две выписки: одна из книги, где Мирза Казембек сравнивает это движение с «историей, — Фатали добавил: восстанием! — Стеньки Разина и даже Пугачева», а другая из российской газеты «Голос» (от 28 апреля 1865 года): «Новое произведение ученого профессора много выиграло бы, если бы автор не касался некоторых грустных (! восклицание Фатали) событий (снова рукой Фатали: восстаний!), не имеющих ничего общего с бестолковым изуверством персидских фанатиков: в их учении заметны политические, социальные, даже коммунистические тенденции, протест против безобразного устройства персидского общества. Баб — просто юродивый вроде наших афонек, жалкий ипохондрик, выдающий себя за дверь к истине» («намека» — рукой Фатали! — «испугались!»; хорошо, что языка не знают!).

«Куда же делась книга?» — переживал Фатали, ведь дарственная! беспокоясь и за листок (уж не думал ли включить его в «переписку» на правах «собственника» «Писем»?!).

ГОД ЗАЙЦА

А теперь, как владелец этих писем, я, Фатали, не могу не сказать несколько слов, дабы в будущем избежать недоразумений.

Как только в моих руках оказался экземпляр «Писем», я так рассвирепел, что чуть было не изорвал их и не сжег, ибо к этому привычен уже! Но потом подумал: а какая польза, если я буду горячиться? Не довольно ли я жег всякие там бумаги? И допустим, что я порвал один экземпляр, но остались десятки и сотни других, цепочка переписчиков

кончается ли на мне? А может, придет время и я скажу — тысячи!

И я отказался от своего намерения!

И потому: покажи эти письма тем, на честность, благородство и здравомыслие которых вполне можешь положиться; а глубокоученым предложи, чтобы они написали критику, — уж кто-кто, а я-то знаю, что это желательно Кемалуддовле, — но критику основательную, доказательную, аргументированную.

Дело, за которое взялся автор, — развенчать основы деспотизма и догматической веры, — никто прежде не брался, исключая Алазикрихи-асселама, да еще одного чудака, волею судеб оказавшегося на шахском троне. Когда были в живых вожди шиизма, мы со страху, боясь их мечей, приняли их власть, а теперь, когда они обратились в прах, мы все еще пребываем в рабстве их памяти и даже гордимся, что мы — рабы! О, недоразвитие умственных способностей!

Кстати, уж так совпало, что и Кемалуддовле изобрел особый алфавит на образец европейских с выбором латинских букв — и удобно, и без обильных точек... И вспомнил Фатали, как однажды поздно пришел домой, забыв предупредить Тубу, что пойдет с Кайтмазовым в театр, смотреть «Горе от ума» (чуть ли не вся канцелярия пошла тогда на бенефис госпожи Вассы Петровны Маркс), и Тубу — никогда прежде не спрашивала, а тут вдруг:

— Фатали, что ты так поздно с работы? — спросила.

— Извини, Тубу, — пошутил Фатали (а потом сказал, что был в театре), — я никак не мог проставить все точки в слове пянджшанбе, то бишь четверг: дюжина точек в одном слове! Пока проставлял, смотрю, уже никого не осталось в канцелярии...

Да, без обильных точек и без иных закорючек, и гласные есть меж согласных, чтобы уразуметь, о чем написано и к чему призывается.

Я мысленно проставляю между *гг* два *о*, чтобы прочесть *Гоголь*, есть такой великий человек (и думал перевести его, но разве позволят?!), а ты два *е*, и уже читаешь имя другого великого человека — *Гегель* (увы, никак Фатали не осилит, а тем более с головы на ноги поставить), и даже *Гогель*, военачальник, с которым Фатали знаком, — генерал, в главном штабе служил в годы Крымской, а еще одному вздумается меж согласных проставить в уме, если проголодался, *о* и *а*, чтобы получить вкусную лепешку *гогал* и тут же, оторвав от листа, съесть.

Любезнейший брат!

«А разве письма еще не отправлены? И кто кому пишет? Фатали — Кемалуддовле или Кемалуддовле — Фатали?»

Зло торжествует и пышно цветет. И коль скоро мы все это понимаем, видим, промеж себя говорим, возмущаемся, негодуем, все-все! Но молчим! Поддакиваем! Ведем двойную жизнь, подлую и лицемерную! Доколе?!

Разум не признает, когда жившего некогда мудреца, обыкновенного в своем человеческом существе, превращают в святого! Но попробуй доказать глупость: из суеверного страха тебя сочтут сумасбродом или пустомелей. Но скажи им: до появления истинного пророка, представляющего божество, на земле существовало множество ложных религий в различных видах идолопоклонства; почему же всевышний терпел их столько тысячелетий? А не выдумали ли их предприимчивые честолюбцы, одержимые зудом нетерпения и стремлением утвердить свои эгоистические цели, от какой-либо неполноценности — физической или нравственной?

— О, атеисты! — говорят нам.

— О бунтовщики! — кричат нам.

— О!.. О!!!

— Ах ты беспутный еретик!

А теперь два слова о причинности бытия.

Богословы утверждают, что всякое бытие предполагает какую-либо причину, потому что оно не могло произойти само собою. Следовательно, мир, как бытие, нуждается в причине, и эта причина есть создательница его. Натуралисты возражают: но тогда сама причина должна нуждаться в другой, другая в третьей, третья в четвертой и так далее до бесконечно непрерывной цепи причин; если цепь где-нибудь должна остановиться, то тогда вообще разрушается теория причинности бытия. Богословы придумали новую хитрость: бытие мы считаем двойное, говорят они; одно не нуждается в причине, абсолютно и самобытно, это — божество; другое нуждается в причине, потому что не абсолютно и не самобытно, это — мир.

Видал, какой ход придумали! А мы скажем так: субстанция бытия есть противоположность небытию; следовательно, она в своем происхождении не нуждается в каком-либо другом бытии и есть единое, целое, могущественное, совершенное, всеобъемлющее существо, и оно, это бытие, не нуждается в причине для своего существования. И нет не-

обходимости помимо этого существующего мира вообразить сперва какое-то другое невидимое бытие, дав ему название божества.

Ах, пресечь надо! Вырвать с корнем! Чтоб ни одного семени! Но мы были и есть! И будем каждый раз рождаться впредь, пока брачными узами связаны догматическая вера и деспотическая власть, порабоощающие дух и плоть!

Где это я могу издать? Кому показать? Оригинал на родном, тюркско-азербайджанском, на фарси и на русском. Можно латинскими буквами — в тинографии наместника, — заменив некоторые русскими.

Кайтмазов качает головой:

— Нет!!!

— Но чего кричать-то? Нет так нет.

Пьесы изуродованы. Повесть о Юсиф-шахе будто прошла через нож евнухопромышленника. Еще когда была она написана: «Разрешить издание на тюркско-азербайджанском?! Гмм... А что говорит Кавказский цензурный комитет? Не могут или не хотят сами разрешить? Чтоб я?! Я всей душою. Пишите прошение в Главное цензурное управление! Я вашу просьбу поддержу!»

И Фатали написал, так положено, в Главное управление по делам печати. А оно послало на заключение восточному цензору Санкт-Петербургского цензурного комитета. Но что пишет тифлисский губернатор? Невнятно: то по подкове, то по шляпке гвоздя. Очень нравится эта поговорка столичному восточному цензору — мол, ты взялся подковать коня, а молотком то по подкове, то по шляпке гвоздя, эх ты, ковщик!

«...не могу не высказать, однако, — пишет в секретном послании тифлисский губернатор в заключительной части, после того как весьма тепло отозвался о личности Фатали, — что развитие литературы на тюркско-азербайджанском едва ли послужит целям сближения и слияния туземцев с нашим народом. Тюрки менее всех поддаются слиянию. Развитие же литературы на их родном языке может лишь пробудить среди инородцев национальное самосознание и — может быть, более того — политические мечтания», — тем более что на русском-то языке и пьесы, и рассказ о Юсиф-шахе изданы!

«...если даже не было бы ответа тифлисского губернатора, — пишет в заключении столичный восточный цензор, — прошение надо было бы отклонить, ибо разрешение издания помогло бы объединению разбросанных по различ-

ным частям империи тюрко-татар, тогда как в интересах правительства, чем слабее связь между ними, тем лучше». А восточный цензор в столице и забыл, что речь идет о выпуске одной лишь книги о лжешахе, — у него загодя был готов стандартный ответ на все возможные просьбы о разрешении как отдельных, так и периодических изданий, и ответ годился на все случаи жизни: и по части просьб новоявленного Фатали.

И зреет, давно созрела идея, — Фатали пишет издателю: «Может, на русском, а?!» Нет-нет, это не перевод! Все — оригиналы: и на тюркском, и на русском, с помощью Адольфа Берже, и на фарси! Оставил в тюркском оригинале.

«Что делать? — вы спрашиваете. — Как быть с тиранией и рабством? Избавиться! Совершить революцию!»

— Вы с ума сошли, Фатали!! — чуть в обморок не упал добрейший Адольф Берже, когда Фатали ему тюркский текст вручил.

— Но... — робко возразил Фатали.

— Ни за что нельзя оставить! — И собственной рукой, — слушать вас не стану! — вычеркнул. И так нервно, что бумагу порвал. Расстроился. Милейший Адольф Берже, как ему откажешь?

«Я полагаю, что цензура, — пишет Фатали издателю Исакову, — не будет препятствовать изданию этой моей книги, потому что в ней ни единого слова нет против нашего правительства (?!!, знаки Фатали) и против христианства (ЪЙЪЭЙЙ!!, знаки Колдуна), более того (не писать же, в самом деле, что я враг всякого религиозного дурмана, против религий вообще — всех!.. но ничего от меня не убудет, если чуть-чуть подслащу слово в частном письме: лишь бы издать!!), мусульмане убедятся в явном превосходстве христианства перед исламом (лишь бы вышли «Письма»!!); с начала и до конца книги восхваляет образ жизни европейцев (*но мы-то все, и вы, и мы, еще ой как далеки, — та же азиатчина!..*), их нравственность, гуманность, правосудие, законы, осуждает грубость, жестокость, безнравственность и варварство мусульман (вы, мол, издайте, и тогда мусульмане «соются с русским народом»; с теми — да, с вами — нет, пашей-ушей-мундиры! никогда!); исчезнет навсегда дух фанатизма и мюридизма — магическое слово, авось сработает?! вы скоро увидите, что *слух об этой книге быстро распространится по свету*, и кавказские книгопродавцы беспрестанно будут получать от — кого же? револю-

ционеров? мятежников? недовольных деспотическим образом жизни? какое найти слово, пока чернила не высохли на кончике пера?! вот! нашел! — получать от скептиков (!) в восточных государствах тайные заказы, не надо бы этого «тайные», но сколько можно переписывать письмо?! о присылке экземпляров.

Но если сверх чаяния цензура вздумает допустить какие-либо изменения, то в таком случае, — здесь надо решительно! хватит допускать, чтоб калечили! — я прошу возвратить мне, потому что я ни на какие изменения не согласен! Я только собственник этой книги, а не автор, и прошу не упоминать обо мне, потому что я не желаю обратить на себя злобу и вражду моей нации, которая в настоящем своем невежественном состоянии, — да, да, именно это!! горькие слова, понимает Фатали, но правда: как завершить мысль? сказать о том, что ведь настанут же, черт побери, иные времена, когда поймут, и именно это останется, а сгинет карамельное, слащавое, раболепское, ложное, эти трескучие драмы, ах как хвалились в Петербурге, сентиментальные романы, чего изволите, продажное, барабанная дробь, оплачиваемая чинами и наградами, — притуплять, гасить, усыплять, оглушать! но поймут ведь когда-нибудь, что для ее же, нации, пользы хлопочу! еще есть иллюзии, и они не покинут Фатали никогда, он верит, враг чудес, в чудо и мечтает: можно дать, — и пишет, и пишет Фатали свое письмо издателю, — иллюстрации; будь я художником, я бы нарисовал Алазикрихи-асселама, водрузившего на главной площади столицы четыре разноцветных знамени, вокруг трибуны, где он стоит и торжественно провозглашает народу реформуацию; а может, сцены религиозной мистерии фанатиков? и выбрать красивые, разборчивые и немелкие шрифты?

Кто издаст?! Какие восточные страны осмелятся?! Будто пустыня кругом, и один Фатали! Сколько людей исчезло — их не нашли ни живыми, ни мертвыми: и Хачатур, и Мечислав, и Александр. И даже Колдун куда-то девался, исчез, испарился!

Пустыня!

Впору бы появиться, выйти ему навстречу Азраилу, он уже в пути.

Обещал содействие Адольф Берже, он только что издал свой персидско-французский словарь. «Очень вам рекомендую, вы, кажется, ищете учительницу французского для вашего Рашида, мадам Фабьен Финифтер». Она вся круглая-

круглая, и лицо, и глаза, и очки, большие и круглые. «Может, поможете на французском, а, мадам Фабьен Финифтер?»

«О мусье Фатали, мы скоро сможем вдвоем с вашим Рашидом...»

Рашид уже стал говорить по-французски — не сон ли это, аллах?!

И ты еще смеешь меня вспоминать?! ЪЙЬЭЙЙЫ!!

Маленькие, маленькие могильные плиты, на которых уже зеленая плесень, на кладбищенском холме, но уже иссякли силы у Тубу, лишь три дочери да два сына, но скоро, очень скоро пройдет новая волна холеры и унесет двух дочерей и одного сына, и останутся лишь сын да дочь!

Рашид делает успехи, он завел тетрадь для русских слов, и там — недавно Фатали перелистал ее — уже их сотни, особенно поразили три: *каверзы* — ябеды, сплетни, крючки; *ворковать* — бормотать по-голубиному; *горемыка* — подверженный печали, да не будешь иметь ее, как твой отец, подумал Фатали.

И уроки французского. Фабьен Финифтер не расстаётся со стихами Александра Дюма, он приезжал недавно, и она переводила им, — Бестужев его кумир, и он посетил все города, где тот жил, был в Дербенте, объездил Карабах, пленен Ханкызы, собирается в Адлер; и о дербентской любви Бестужева рассказывает, и стихи на могилу его возлюбленной, сначала по-французски, Фабьен Финифтер быстро пишет в свою тетрадь, всего четыре строчки: «Да, мы сможем скоро вдвоем перевести вашу пьесу о Колдуне!» С Рашидом только по-французски, и он бойко отвечает ей. Сыну — четырнадцать, вернее, пошел четырнадцатый, торопится Фатали и волнуется, как бы чего с ним не приключилось, — возраст Фатали, когда они спасались в садах Гянджи от войск то ли Аббас-Мирзы, то ли царя, и Фатали видит, как сталкиваются чужие войска на его родной земле вблизи от могилы Низами Гянджеви.

Но мог ли он тогда подумать, что настанет день — и его дочь Ниса-ханум станет женой внука Фатали-шаха и косвенно, через внуков уже самого Фатали, вольется в родословное древо шахской династии. Трижды брался Фатали прочертить, чтоб не запутаться, генеалогию шахов каджарской династии, и сил не хватило дочертить: двести детей у Фатали-шаха! А ведь здесь обозначатся и его собственные потомки, когда он выдаст дочь за внука Фатали-шаха — Ханбабу-хана, принявшему царское подданство; это сын

Бехман-Мирзы, с которым — и с Хаджи-Муратом! — Фатали сидел в ложе тифлисского театра, слушая итальянскую оперу. Придет время — дочертит генеалогию (когда родятся у Фатали внуки!).

Может, все-таки осмелятся русские издатели? Времена-то уже другие наступили, кажется, весенние дни? Даже Кемал Гюней в Стамбуле, уж, казалось бы, что ему? — почти поздравил Фатали, когда сказал: «Да, у вас большие перемены ожидаются, мне еще в плену ваши *мужики* объясняли, будто царь волю крестьянам дал».

И рыжий сын соседа Али-Турана, Фазыл: «Я в Лондоне читал!»

Но что с ними, издателями?! Давно молчит петербургский: что ж вы, милостивый государь?!

И ты молчишь, мой Рухул-Гудс, мой Мелкум-хан! Но отчего ты молчишь, а? Может, новые козни судьбы? Дважды фортуна выручала: вырывался из лап шаха-деспота.

Слух о «Письмах» уже распространяется. Еще в Стамбуле, когда лишь созрела идея и первые строчки «Писем», — но как узнали?? — на приеме по случаю отъезда на каникулы царского посла военный атташе Ирана в Турции Абдул-вахаб-хан спросил у Фатали:

— Я слышал, вы какие-то вулканические письма сочиняете?

Фатали аж поперхнулся:

— Откуда вам сие известно?

— А мне Мохсун-хан (а он и гаджи, и шейх) сказал, вы, очевидно, слышали, он нашим послом в Лондон назначен, очень-очень восхищался вашей смелостью! Если окажется у вас лишний экземпляр, был бы весьма рад иметь!

— Я люблю Мохсун-хана, готов целовать его глаза, но в день страшного суда схвачу его за подол и скажу ему: «О любезнейший Мохсун-хан, что же вы на меня клевете, выдавая за автора «Писем», в то время как авторы их — индийский принц, сын Овренг-Зиба Кемалуддовле, и иранский принц, сын Шуджауддовле Зиллисултана Али-шаха Джелалуддовле, и они оба, два друга, находятся сейчас в Багдаде и живут в отеле «Вавилон»! (А потом изменит им местожительство: в Стамбуле думал о Багдаде, а в Тифлисе, когда засел за письма, остановил выбор на Каире.) Я ведь только собственник писем, перевел их с фарси на турецкий, чтобы написать на нее критику, а с моего турецкого перевода, представьте, какой-то чудака снова перевел на фарси!

«О Фатали! — читает он в глазах собеседника. — Какой же вы выдумщик! Мне говорили прежде, а я не верил! Мол, пусть так, — многозначительно улыбается военный атташе, о, эти коварные персы! — хотя никакого такого иранского принца, за индийского не ручаюсь, нет ни в Тегеране, ни в Тавризе, ни в Багдаде!»

— А вы все-таки пришлите, если лишний экземпляр!

«Я бы, конечно, вам послал», — думает Фатали уже в Тифлисе, думает, а уже послал! в самое логово! И письмо в придачу: «Я убежден, что после прочтения «Писем» не захотите поддерживать со мной отношения».

Стрела выпущена из лука. И, как ожидал Фатали, — ни слуху ни духу!

Знает, что после «Кемалуддовле» будет пустыня, друзья новые и друзья старые — все разбегутся, чтоб не навлечь на себя гнев и беду: общаться с еретиком? атеистом? ниспровергателем? против аллаха! пророка! тиранов!

И еще экземпляр в Лондон, послу Ирана Мохсун-хану: туда едет его брат Мамедага, по почте ведь не пошлешь — цензура!

«Не благодаря ли вам, — пишет Фатали Мохсун-хану, — и вашей похвале, добрым вашим словам я получил такую славу среди ваших высокопоставленных?» Слава-то двоякая — от которой шарахаются, даже если тянутся поглазеть: «А ну что за диковинная птица?!»

И все же — послать! Пусть «Кемалуддовле» работает хоть так.

— Но есть у меня условия! — завершает Фатали; станет Мохсун-хан придерживаться их! — Называйте подлинное имя автора только тем, кто умеет хранить тайны. — *Восточный человек чтоб хранил тайны?! —* И давайте читать лишь тем, в чью честность вы верите безусловно! И попросите, чтоб читавшие написали аргументированную критику. — Хотя бы так распространить идеи «Кемалуддовле»!

Лучшая пропаганда — критика, это ж известно.

«Посылаю Вам письмо без подписи и даты!» И тут же: «Кстати, — потом казнил себя, но что толку, когда письмо уже отправлено, — Государь Император пожаловал мне чин полковника».

Вот и опиши, как торжественно это было обставлено: писклявым голосом прибывший из столицы чин зачитал приказ военного министра генерал-адъютанта Милютина: «Производятся за отличия по службе (добавил бы еще: «...и сочинение дерзостных писем») по иррегулярным вой-

скам из подполковника в полковники милиции, состоящей при Кавказской Армии», и его, Фатали, имя после взхлеб изреченных слов о том, что «Его Императорское Величество в присутствии своем в Санкт-Петербурге января 23 дня 1873 года соизволил отдать следующий приказ».

«Снова укрыться за Мундиром? Не довольно ли? — корит себя Фатали. — И придать весомость своим словам?!» Вспомнил, как с Колдуном об орденах толковали. «Даже к пятидесятилетию?» — мол, никаких орденов не получу, спрашивает Фатали. «О чем ты говоришь?! — изумился Колдун, привычный ко всем превратностям судьбы. — За какие заслуги пред Царем и Отечеством?!»

Уже шестьдесят миновало Фатали, спросил бы у Колдуна, но он, увы, давно не появлялся; Колдун непременно б сказал: «Может, за «Кемалуддовле» тебе награду?!»

Да, отправил письмо в Лондон, Мохсун-хану, предупредил о своих условиях, даже похвастал насчет полковника, — гробовое молчание! Прочел? Прочли?.. Пустыня!

Взял экземпляр, отправляясь по новому назначению послом Ирана во Франции, Мирза Юсиф-хан, друг Фатали, в прошлом персидский консул в Тифлисе. И его доля в «Письмах» — советовался с ним не раз Фатали, переводя свое сочинение на фарси.

А именно в эти дни навестил иранского посла в Париже Мирзу Юсиф-хана знаменитый петербургский востоковед-профессор Мирза Казембек, тот, кто принял католицизм, не жизнь, а роман!! «Был Казембек, — пишет Мирза Юсиф-хан Фатали, — прочел «Письма», не со всеми идеями Кемалуддовле согласился (а с какими? — но об этом в послании ни слова), но дважды воскликнул: «Ай да молодец Кемалуддовле!» Мирза Юсиф-хан послал Фатали читанный Казембеком экземпляр «Писем» с его пометками; посол считает, что надо «кое-что» изъять (но что??), и тогда «никаких помех» к изданию не будет. Письмо Мирзы Юсиф-хана пришло, а «Письма» пропали.

Мирза Юсиф-хан успокаивает Фатали: чего ж ты хочешь? ведь год зайца наступил — мол, все в бегах, волки рыщут в поле, а зайцы трусливо прячутся.

А через год Фатали Мирзе Юсиф-хану писал в Париж, напоминая о наступлении года льва, — дескать сильный поедает слабого; писал, не ведая о том, что лев с мечом, изображенный на шахском знамени, съест скоро и самого Мирзу Юсиф-хана!.. Посол промолчал, а потом наступил год змеи, и надо же, чтобы именно в этот год — а ведь суе-

верен Мирза Юсиф-хан! — взбрела ему в голову несбыточная идея: ну вот, надышался вольного французского воздуха! расплатится с ним шах в Казвинской тюрьме!

«Да нет же, нельзя! — пишет Фатали в Париж Мирзе Юсиф-хану. — Чтоб конституция на основе Корана?! Это же издевательство! Как можно рядом два противоположных понятия: Конституция и Коран! Социальный прогресс и религиозные догмы! Это фикция и фразерство!»

«Дорогой мой», — так обращается Фатали к нему: любит за его ум, чистоту помыслов, доброе сердце. «Если в Иране, — как-то писал ему Фатали в одном из своих писем, — есть пять умных, то один из них — вы. Если есть два умных, то один — тоже вы»; «...зря вы мучились, выискивая в Коране созвучия с демократическими и прогрессивными конституционными идеями, чтобы, как пишете, «народ принял мою конституцию». Разве кто-нибудь из деспотов — будь то в Европе или в Азии! — прислушивается к наставлениям?! В Европе некогда пытались наставлять угнетателю для предотвращения его тирании, но поняли, что это — пустая трата времени.

Поэтому нация, в столице которой вы живете, осознав пользу единодушия и сплотившись воедино, обратилась к угнетателю со словами:

Удались из сферы государства и правительства!

И удалила его. И создала новую конституцию. А разве мы способны сказать тирану: «Удались!»? Никогда!

Какая при тирании может быть свобода и неприкосновенность личности?! Вам кажется, — боюсь, что вы не последний! — что при помощи умершей схоластической веры можно применить на Востоке французскую конституцию, то есть прекратить угнетение плоти и духа. Никогда!

Соблюдение справедливости и прекращение тирании возможны вот при каком условии: сама нация должна созреть до проницательности и развиться до благоразумия, создать условия союза и единодушия и затем уже, обратясь к угнетателю, сказать ему: «Удались!» И лишь затем издать законы соответственно требованиям и духу эпохи, выработать подлинную конституцию, где слово и деяния не противоречат друг другу, и следовать ей не во фразах, а на деле. Лишь тогда народ найдет новую жизнь... А впрочем, как сказал великий Саади: «Какое мне дело до всего до этого? Ни на верблюде я не сижу, ни под поклажей, как осел, не нахожусь. Не являюсь ни господином рабов, ни рабом господина». Клянусь всевышним, Мирза Юсиф-хан,

я жалею, что ударился в заумные размышления и морочу тебе голову! Но что делать? Взыграла кавказская кровь, потерял рассудок и стал бредить! Каюсь и молю о пощаде!»

Но отчего молчит Мелкум-хан? Фатали послал ему экземпляр чуть ли не первому. Или устал его юный друг? Угас в нем пыл? И Фатали часто мысленно обращается к нему: «Ведь это твои слова, Мелкум-хан: «Я оставлю все свои дела, брошу занятия, чтоб издать ваши труды, особенно «Кемалуддовле»!»

Когда познакомились с Мелкум-ханом в Стамбуле, Фатали поразили его наивные чистые глаза и юное лицо. И усы не делали его старше, а, напротив, подчеркивали молодость. Ну да, Мелкум-хану лет тридцать, а Фатали уже давно за пятьдесят; останься в живых его сын, ему было бы столько же, сколько Мелкум-хану... Фатали знал, что Мелкум-хан по происхождению — армянин, и почему-то, как только познакомились, вспомнил про Хачатура Абовяна:

— Да, у меня был друг, Хачатур Абовян. Не слышали? Как можно?.. — И, помедлив, добавил: — Он исчез, когда вы были еще подростком.

— Не он ли, — спросил Мелкум-хан, — поднимался на Арарат в поисках Ноева ковчега?

— Вот-вот! — обрадовался Фатали. — Вспомнили! С профессором из Дерпта — Парротом!..

А потом, когда остались-таки вдвоем лишь на минуту, Фатали сказал:

— Я много слышал о вас, не хотелось при посторонних. О вашем масонстве, «Доме забвения». Но о каком забвении может идти речь, когда кругом творится такое?! Но рад, что вы нашли в себе силы оправиться после высылки. Вам что: в совершенстве владеете французским, турецким, родными вам языками — фарси и армянским! И вы придумали прекрасно, что, оказавшись здесь, приняли турецкое подданство, больше будут считаться с вами в Персии. Увидите, вам еще в ноги кланяться будут! Это только начало, что вы советник вашего посольства в Стамбуле, — где им найти таких, как вы, образованных людей?

По возвращении из Турции Фатали рассказал как-то в кругу нухинских своих земляков о встрече с Мелкум-ханом, и как тот обрадовался идеям Фатали об алфавите и с похвалой отозвался об «Обманутых звездах».

— И обрадуется! — вдруг прервал его земляк, из учеников Ахунд-Алескера, часто по торговым делам приезжает

в Тифлис и останавливается у них.— Как же ему не радоваться?! — гость был раздражен, и оттого установилась гнетущая тишина.— Ведь он армянин! Станет он болеть за наши мусульманские дела!

— Да я,— возмутился Фатали,— на сотню своих земляков не променяю одного такого армянина! Даже тифлисский шейхульислам, глава мусульман Ахунд-Молла-Ахмед Гусейнзаде, прогрессивнее вас! Он и то произносит имя Мелкум-хана с почтением!.. (Земляк с тех пор у них не появлялся.)

Мой Мелкум-хан, мой Рухул-Гудс — архангел Гавриил! Тот, другой, летел иногда по пустячным делам от аллаха к пророку Мухаммеду, а ты приносил мне светлое, крепил во мне веру в будущее, вселял надежду, когда уныние овладевало мною. И наша борьба за просвещение народа. И наши беседы о твоих масонских ложах!.. Отчего же ты молчишь?!

«А разве,— передали Фатали слова иранского посла в Турции Гусейн-хана, да, да, у которого Фатали в Стамбуле гостил,— а разве глупцам, выжившим из ума, еретикам и бунтовщикам следует отвечать на письма? хоть как-то на них реагировать?! у нас за такие речи в каземат! в крепость! в яму! львам на съедение, в зиндан!»

«Скажи мне, юный мой друг Мелкум-хан,— вопрошает Фатали, мысленно беседуя с ним,— я ли спятил с ума или они, государевы мужи?»

И даже Ханыков, которому Фатали так искренно верил, против: из Парижа через Мирзу Юсиф-хана (когда тот был послом Персии во Франции) привет передали от Ханыкова Фатали, а с приветом — и весть, что не очень-то одобряет он идею реформы алфавита, а что до «Обманутых звезд», то повесть эта показалась ему «дерзкой». Еще в далекие годы, когда Ханыков приезжал в Тифлис с секретной миссией по поводу бывшего мучтеида, духовного вождя мусульман-шиитов Фаттаха (и в Персию ездил!), состоялся между ними, Ханыковым и Фатали, разговор, и Ханыков пытался утихомирить Фатали, стоял перед ним на своих слоновьих ногах и трубил, трубил: «Не надо! Не надо! К чему дразнить? (!!)

Как бы эхо!..» — «А что «эхо»?» — переспросил Фатали. «Разве не ясно?!» — побледнел даже Ханыков: мол, как бы иные веры, иные догмы, иные устои не поколебались. «Но деспотизм...» Ханыков прервал Фатали: «Не надо! Не надо!..» А потом о присяге, разве не давали?! Мол, от сих сочинений и до прямых действий... «Что за дей-

ствия? — спрашивает Фатали.— Тайные общества? Масонские ложи? Что?!» А Ханыков, напуганный репрессиями против брата (петрашевец?), пытается образумить Фатали и шепчет, лишь губы выдают, будто молитву читает, текст присяги:

— Я, нижеподписавшийся, сим объявляю, что я ни к какой масонской ложе и ни к какому тайному обществу ни внутри империи, ни вне ее пределов не принадлежу и обязываюсь впредь к оным не принадлежать и никаких сношений с ними не иметь.

Да, Ханыков против, а принц Джелалэддин-Мирза, из немногих — один или два их! — умнейший из сыновей Фатали-шаха,— за!.. Может, потому, что в опале? Иные наследники заняли ключевые в стране посты, а он — оттеснен, загнан, «даже губами,— пишет он Фатали,— пошевелить не могу!» Шах, что на троне, Насреддин-шах, всех этих сынков Фатали-шаха (а эти двести сынков доводятся ему, по схеме Фатали, двоюродными дедами! а дети этих «дедов», уже очень взрослые, доводятся новому шаху троюродными дядями!..) люто ненавидит! Наплодил его прадед Фатали-шах детей, разбрелись они по стране, очаги вероломства и козней!..

А все же: что с Мирзой Юсиф-ханом? С его идеей конституции на основе Корана? Дошли до Фатали вести, что он отозван шахом из Парижа, как бы в Тегеране не учинили с ним расправу. Неужто на его место, послом в Париж, поедет Мирза Гусейн-хан? Наверно, он!.. Подкапывался — и докопался!.. Уж он, страж ислама Мирза Гусейн-хан, не позволит поганить Коран бредовыми идеями! Ведь знал Мирза Гусейн-хан, что Мирза Юсиф-хан дружен с Фатали — вот откуда идет ересь! И подкинул шаху мысль: вам, мол, шахиншах, казалось, что Юсиф-хана с пути истинного сбили французы, как бы тут не было руки наших северных соседей!..

Молчит, отозванный из Парижа, Мирза Юсиф-хан.

И эта проклятая холера: что ни год — новая эпидемия. Фатали застрял на даче под Тифлисом, в Коджори, всюду карантины,— выехать не может.

Наконец-то пришла весточка от Мелкум-хана: короткая записка, посланная с нарочным.

«Что за дикость? — возмущался Мелкум-хан.— Кое-кто из османцев твердит: «Мы, только мы, как центр исламского мира, должны выступить с реформой алфавита, а не какой-то полуиранец Фатали или человек непонятного веро-

исповедания, живущий в Турции и находящийся на службе у шаха — это они обо мне так! — армянин Мелкум!» Премьер Али-паша? На словах он как будто за нас, но такие горластые у него министры, на весь меджлис вопят: «Изменение алфавита станет началом конца исламских государств! Этот священный шрифт — неразрывная часть нашей чистой веры!»

Но только ли мы хотим изменить арабский алфавит для тюркских народов? Ученые французский, английский, итальянский, — все, кому дороги интересы просвещения народа! — пишет Мелкум-хан Фатали.

Что можно сделать? Порой я стыжусь, что живу в это время, — сокрушается Мелкум-хан. И воспроизводит диалог двух земляков, слышал у Греческой стены в Стамбуле:

«Ты жалуешься, что мы безмозглы? Ты прав: надо чтоб белый царь заменил нашу кровь, позолотил наши волосы, окрасил в голубое наши глаза, может, тогда мы поумнеем!»

«Вот-вот! — отвечает ему другой. — Хорошо бы! Нечисть покроет мир, и явится тогда скрывшийся двенадцатый имам!» — Но не будем отчаиваться, — продолжает Мелкум-хан, — будущие поколения воздадут вам честь, и об их будущей благодарности я хочу написать вам, Фатали, именно сегодня! Пусть раздаются ныне проклятия в ваш адрес! *Настанет день и благодарные потомки придут на нашу могилу.*

КИНЖАЛЬНЫЙ АРАКС

Эти беспокойные думы Фатали: кому поведать? с кем поделиться? разве обо всем напишешь? Прежде не думалось, а теперь все чаще эти думы о родичах на том берегу, далеком и недоступном: о тех, которые есть (сестры, их семьи, могила отца, которую лет тридцать почти не навещает...), и тех, которые будут, когда выйдет замуж дочь и родятся внуки и, может статься, уедут на ту сторону, за кинжальный Аракс. Разрезанный край, разрезанный народ, разрезанные семьи. Чем ближе к концу, когда подводишь итоги прожитого (не суждены Фатали эти тихие дни!), тем горше сознание собственных заблуждений, бездумных действий, усугубляющих разрыв, — пропасть, через которую не пройти, не перелететь, хотя и рукой подать: крикнешь на этой стороне — отзовется на той.

И рисуется Фатали картина (не довольно ли иллюзий?) воссоединенного (??) рая. И народ располагает всеми богатствами (но как?). Эти леса, рудники, морские и речные пути. Здесь, где он живет,— крохотный Нафтлуг, «нефтяное», а в быстрорастущем Баку (где губернатором — близкий Фатали человек, не раз приезжал в Тифлис, генерал Старосельский) — черпают и черпают нефть с неглубоких колодцев (но столицей родного края видится Фатали южный город Тавриз). Сады и виноградники, шелка Ширвана и Шеки, на весь мир прославившие эти края. Пробудить жизнеспособные силы народа, привести их в действие. Все соки разоренного края — самим, для себя. И надвое разрубленный народ услышать как единый. Но кто сумеет объединить? когда? и как?! крикуны, играющие на измененных чувствах,— чтоб прослыть национальными героями, эти ханские сынки!.. И кто смеет отбросить прочь имперские замашки — и восточные, и западные? Усынив, разъединить и, разъединив, сковать и ослабить племена. И давить, и гасить... Доколе?! Но что это: трезвый взгляд, вдруг отчетливо показавший Фатали окружающий мир, или вариации наивных и несбыточных надежд? Истина или иллюзии?

Крах империи, а там... Но пока она рухнет, приберет к рукам другая. Еще сильна оттоманская и не обескровлена южная.

Незаживающая рана Фатали — эти думы о тех, кто на том берегу; прежде были загнаны внутрь суетой быстротечных дней; тоска по родичам, особенно как осень и зима с се дождями и мокрым снегом, и тревога, что уже много лет, как не навестит могилу отца,— вспыхивает это чувство и проходит, и каждый раз какая-то очень важная нить мысли, ухватить бы ее, но рвется.

Ясно, что к прошлому возврата нет: эти хилые ханства, произвол и насилие мелких завистников и интриганов, грызущихся друг с другом. Однажды Ахунд-Алескер выразил сожаление: «Вот если бы та старая жизнь (когда он учил грамоте ханских сынков — шекинского и ширванского), но только без войн!..» — вздохнул. Но разве мыслимо, чтобы без войн, если кровью пахнут уста и тех, кто на Севере, и тех, кто на Юге, и жажда отмщения,— Фатали усмехнулся в душе думам своего второго отца. «А разве,— ищст Ахунд-Алескер новые доводы,— не могли б собраться вместе все бывшие ханства?» — «Но кто позволит? — возразил Фатали.— Да и где та личность, которая возглавит? И как?» Фатали это понял давно, пустая призрачная меч-

та! И Бакиханов долго носился с нею, идеей объединения ханств, но понял, что, увы, некому. «Был твой тезка,— как-то сказал Бакиханов Фатали,— помимо шаха, из моего родного Кубы, Фатали-хан Кубинский (как же, Фатали преотлично знает!), а чего он добился? И сколько было помех! И с севера, и с юга, и единоверцы, кто как мог вредил и козни строил. Да и кто согласится, чтоб возглавил кубинский? или бакинский? или карабахский? шекинско-ширванский?»

Борьба империй, сначала двух — персидской и османской, а потом и третьей, российской, прошла через душу каждого, ослабив, приучив к лести, лицемерию, раболепию, двуличию, козням-интригам,— ох и выстроил бы Фатали эпитеты!! кто-то тянется к единоверным шиитам, чуждым по языку, кто-то к османцам, с которыми едины по языку, но они сунниты,— скольким желающим постичь эти тонкости здешней жизни, и Ладожскому, и Никитичу, разъяснял Фатали, бескорыстно делась своими знаниями; а кто-то к России как идеалу европеизма; и Рашид, как приобщится к думам отца,— только об этом и толкует: слиться, сохранив и веру, и язык отцов; а вот и еще путь будущего единения (?) народа: о том и Бакиханов говорил, и Фазил-хан Шейда, прошел через это и Фатали, ибо благо (и потому «за»), но и, ясно ведь, иллюзия (и потому «против», Фатали понял это давно). И мысль, которая, возникнув, улещивается, никак не ухватить, не угнаться за нею: сообщая всем народом свергнуть (?) деспота; но кто? с кем? когда? и вы, декабристы, и вы, апрелисты!.. Масонство? Поговорили, утолив жажду деятельности или освободившись от гнева, и разошлись, пока целы (и не сгноили в снегах Сибири).

Бакиханов прошел через все пути, разочарован и иссяк; порой, как поспорит с именитыми вождями нации (и даже Хасаем Уцмиевым), а кто вожди? Джафар-Джеваншир? Или Куткашинский?..— так до полного слияния ратует, чтоб покончить разом и с дикостью, и с отсталостью. Или вдруг, как увидит ледяное лицо барона и уловит тень недоверия в канцелярских служаках,— размышляется о добром ханском старом времени и с такой болью корит себя за участие в разделе края,— «и я руку приложил!!». Эти крайности, то в огонь, то в мороз, и погубили Бакиханова, и в поисках смерти — паломничество в Мекку.

Рашид еще юн. Не знает, как было в прошлом. И весь устремлен на Север и Запад. О разбоях и диких набегах

лишь из юношеских воспоминаний отца и узнает. Брат Тубу Мустафа? Он верно служит царю и доволен судьбой. Для сына и дочери Фатали его раздумья о юге, где родные,— некая абстракция, впрочем, и для Тубу тоже, да и что толку съедать себя горькими думами, если катит свои воды кинжальный Аракс?..

И снова служба. И снова поездки Фатали. Размежевание земель в Карабахе, Гурии,— Фатали прикомандирован к капитану Генерального штаба Немировичу-Данченко для определения совместно с турецким комиссаром Намиком Данюлдузи, что значит «Полярная звезда», демаркационной границы, и Фатали изумляет сходство инициалов мирных во вражде или враждебных в мире капитана и комиссара. Их опытный переводчик Фатали Ахундаде едет по бездорожью, простужен, дождь и снег, слякоть и грязь, и почему-то эти поездки Фатали или в феврале и марте, или в серые ноябрьские дни,— и бесконечные переговоры, а ты переводи! Надо убедить тех, фанатичных, если даже твои, кому ты рьяно служишь, неправы, но непременно хотят оставить за собой и этот изгиб реки, и эти ничейные пустошь, овраг, холм, бугорок; и немало высвобождается новых земель — начаты грандиозные переселения горских племен, к коим привлечен, замеченный Лорис-Меликовым, Хасай Уцмиев, ибо спокойнее, когда руками местных княжеских фамилий,— он уже полковник, стремительно продвигается по службе, скоро будет генерал-майором, а там и прямая дорога к генерал-лейтенанту, три большие звездочки; но хмур, озабочен Хасай, не по душе, очевидно, этот труд, но долг и служба — превыше всего; эти перемены в Хасае — боль Фатали, нет уже былой сердечности, ибо раскол в семье, пленил-таки Натсван баловень судьбы, красавец Сеид,— терзания загнаны внутрь, убит двойник, служба и служба, ничего более, что противится ей, эти пустые юношеские разговоры о масонстве, эта борцовская бравада; избегает Фатали, сторонится его,— с головой ушел в переселенческие дела, сопровождает большую группу переселенцев-горцев, надеясь договориться о лучшей доле для них.

А у тех и этих — имперские замыслы: султан мечтает расселить вдоль границы, чтоб натравливать на грозного северного соседа, а царь мечтает напичкать взрывчатыми горцами чрево враждебной Порты; да-с, руками местных, а потом Лорис-Меликов уберет их, расправится с ними, как представится случай, известная тактика, ибо приобщены к

имперским секретам,— будто бы «интернациональный заговор» (?) против царского престола, возглавляемый осетином Муссой Кундуховым, тем более что остался в Турции, стал пашой, воевать начал против царя в Балканскую, а в группе заговорщиков и чеченец Садулла Османов, ингуш Цуров и кумык Хасай Уцмиев; да еще кабардинец — князь Атажукин (он и донес, помог раскрыть «заговор»).

Друзья исчезают, пропали и не отыщутся, друзья гибнут, эти перемены в Хасае, холод переживания, смятение, выбраться из удушливой атмосферы, а в глазах у тех, кого он призван убедить во время переговоров насчет холмов и оврагов — негодование: «Вероотступник! предатель!..»

Презрение невежд, ярость фанатиков.

И прошения, и справки, которые поступают в департамент — и по гражданской части, и по части дипломатической, докладные записки, обзоры, консультации!

И снова — поездки. И споры, и споры насчет «ничейных земель».

Отсюда виден другой берег — рукой подать. Крикнешь — отзовется. И мост не нужен — вмиг переплывешь (а где и вброд, как некогда отец; лет двадцать уже не навещал его могилу).

И близко, и бесконечно далеко. Как грань между жизнью и смертью.

«Эй, земляк!..» — и тонет слово в мутном водовороте.

Был густо-густо исписан лист: *«Мне обидно, что потомки будут думать о нас: какие ж они были глупые, слабые и трусливые!»*

Глупые — потому что поклонялись глупцам и знали, что над ними глупцы, но успокаивали себя: а что делать? лучше этот, чем другой, который стоит неизменно рядом, — жестокий, холодный, отрежет собственной матери грудь и выколет глаза сыну ради великой веры и во имя престола; смиримся уж с тем, что есть!

Слабые — потому что, видя зло, держались за его подол, а порыв благородного негодования вспыхивал лишь изредка, и то в кругу семьи, но чаще в глубине души, но о том, что в глубине, не выдавал тренированный взгляд.

И трусливые: дрожали за свою жизнь — а ведь смерти не миновать! раболепствовали, унижались, льстили.

«Эй,— я хочу крикнуть потомкам,— но мы не были глупы! Мы видели, что нами правит невежда, который не может толком связать два слова. Но были среди нас и такие, и они — современники наши! которые осмысленно шли в

бой! Единицы? Да! И больше извне?! Искандер?! — спорит Фатали с незримым оппонентом.— Да! И не только! Гибли в казематах, сходили с ума, лезли в петлю, кидались на штыки!

«Крестьяне, что ли? Горцы? Губернские поселянс? Дикий кочевой люд? Писаки?»

А разве вы будете иными? Другими? Не то же самое, что и мы вам, вы будете говорить о себе вашим далеким потомкам? «Мы не хотели быть лучше предков!»

И о двух берегах. И об Араксе. И о грани между жизнью и смертью.

Мне обидно, что...»

Был густо-густо исписан лист.

Сожженное письмо.

ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЬ ИМЕН АЛЛАХА

Фатали недавно только мечтал: Рашид пойдет учиться, а он уже изучил арабский, фарси, знает свободно русский и французский, закончил гимназию,— куда дальше? В Петербург? Тубу ни за что: климат погубит! Он пошлет сына в Париж! «Это уже было в твоей комедии, хватит! Ни за что!» Может, новую комедию написать?! А и правда: закрутят развлечения голову! Мадам Фабьен Финифтер из Брюсселя, а там известный на всю Европу инженерный институт по строительству железных дорог, да, это ново, это твердая специальность, не то что сочинение романов и пьес, которые, если ты честен и правдив, останутся в сундуке, сундучная, так сказать, литература!

Рашид и впрямь стал переводить, причем с французского на русский. Мелкум-хан с братом иранского посла в Лондоне Мохсун-хана — Мамедагой — с кем Фатали послал «Кемалуддовле», а тот на обратном пути из Лондона заехал в Париж и случайно встретил Мелкум-хана, жив, слава богу! — прислал Фатали знаменитое письмо французского ученого Шарля Мейсмера покойному премьеру Турции Али-паше о необходимости замены арабского алфавита, неудобного для тюркоязычных народов и мешающего их просвещению; Рашид перевел это письмо на русский, а Фатали взялся переводить с русского на фарси и свой родной тюркский (для кого? кто опубликует? и где?!).

И уже пишет Фатали его превосходительству губернатору Тифлиса Орловскому заявление, просит, чтоб выдали

два паспорта для поездки за границу — сыну Рашиду и семейному повару Наджафу Кафар-оглы, который присматривает за Рашидом, ведь как он там один, без привычной домашней еды? Правда, он уже привык к пансиону: когда неожиданно уехала мадам (она вернулась накануне отъезда Рашида в Брюссель, ее брату грозила судебная расправа за связь с французскими мятежниками), за учебу Рашида по ее рекомендации взялся знаменитый тифлисский педагог французского языка при Тифлисской классической гимназии Генрих Гиньярд, с пансионом, и специально было оговорено — поить его чаем по утрам и вечерам с булками или чуреком и даже не закрывать печки в его спальне рано из опасения угара, и чтоб не было ни при каких обстоятельствах (увы, привычки сложились веками) свинины; полгода учился у Гинярда, будучи пансионером, как его называл учитель, а потом, после летнего перерыва, — снова за учебу, но ночевал уже дома.

«Учиться?! — удивляется Орловский. — Но почему не в Петербург? Ах, климат! Ну, в Москву!»

И тогда приводятся новые доводы: Рашиду необходимо поехать пока на год. Надо очень серьезно полечиться у тамошних докторов. «А разве Рашид болен?! Ах, у него малярия! А у кого здесь нет ее?» Отказ! Как быть? Подключается великий князь-наместник. А к нему ходатаем — немецкий путешественник, востоковед и генерал Куно Фишер, профессор из Гейдельберга. Увы, не получается без ходатаев.

«А может, пошлете к нам? Ах да, увy, немецкому вы его не учили, а между тем востоковедение... Ах, простите, вы его по инженерной части, что ж, твердая специальность!»

Сдружились они, Фатали и Фишер, еще в пятидесятые; Фишер часто приезжал в Тифлис, а однажды обиделся на Фатали — гость уже столько дней в Тифлисе, а Фатали еще не навестил его. Прислал к Фатали слугу с запиской, а он сидел дома, погруженный в чтение необыкновенной книги об удивительной личности — Христофоре Колумбе; сколько ее листал в теплые мартовские дни пятьдесят шестого года Фатали, думая отправить в кругосветное путешествие Юсиф-шаха. «Что же ты забыл нас, друг? — писал Куно Фишер. — Доставь нам удовольствие своей милой беседой».

И чтобы князь-наместник отказал немецкому генералу в его пустяковой просьбе?! Никогда! Вот оно — разрешение на поездку Рашида в Брюссель.

...Перед поездкой Рашид подошел к отцу и напомнил ему о его давнем обещании.

— Что за обещание? — не понял Фатали; он рассеян, и радостно ему расставаться с сыном, — Рашид едет учиться в Брюссель!! и грустно: далекий-далекий путь, дождется ли его?

— Записать мне девяносто девять имен всевышнего в Коране.

Ах да, вспомнил Фатали, — Рашид обещал матери быть истинным шиитом.

— Зачем это тебе там, сын мой?!

— Раз просит, сделай! — настаивает Тубу.

И Фатали засел за свой стол. Свеча догорала, а он вспоминал и вспоминал эти имена, вдолбленные ему в голову еще Ахунд-Алескером. Да, забыл, память подводит, сначала записал, как помнил, а потом выстроил в алфавитном порядке, чтоб не повторяться; и почти все имена Аллаха стали именами правоверных, как лучшие и самые прекрасные, и в сочетании с Аллахом в его многочисленных написаниях: и Абдулла, раб божий, и Абдуррахман, раб милостивого Аллаха, и Абдулазиз, раб могучего Аллаха, и без имени всевышнего, — Акрам, щедрый, Энвер, лучезарный, а сколько на эФ: и Фазил, достойный, и Фаик, превосходящий, и Фатих, побеждающий, и даже Рашид, наставляющий, или идущий праведным путем наставник, — почти все девяносто девять имен, вот они:

Аллах, Благодарный, Благодетельный, Благосклонный, Благословенный, Вездесущий, Великий, Великодушный, Вечный, Взыскующий, Владеющий всем, Возбуждающий раскаяние, Возвеличивающий, Возвышенный, Воздающий за добрые дела, Воинственный, Воспитывающий, Всевидящий, Всевышний, Всезнающий, Всемогущий, Всеслышащий, Всепобеждающий, Всепрощающий, Вычисляющий судьбы, Господин над почестями, Дающий хлеб насущный, форму и власть, Достойный, Единый, Единственный, Живительный, Защищающий, Знающий, Избавитель, Имеющий обо всем попечение, Истинный, Источник всякого существования, Конец всего, Кроткий, Лучезарный, Любящий, Милосердный, Милостивый, Могущественный, Мудрый, Мягкосердечный, или Мягкосердный, Наблюдающий, Наделяющий, Наследник, или Наследующий, Наставляющий на путь истинный, Начинающий все и всегда, Непреходящий, Обладающий всем, Осведомленный, Открывающий истину, Первый, Побеждающий, Повелевающий, Подающий надеж-

ду, веру и любовь, Покровитель, Предшествующий всему, Превосходящий все, Принимающий молитвы, Приносящий пользу, Пробуждающий, Проницательный, Прочный, Разверзающий, Разумный, Радующий, или Доставляющий радость, Распределяющий все блага, Решающий, Руководящий, Сведущий, Светлый, Святой, Скрытый от всех взоров, Славный, Сладчайший, Следующий за всем, Смиряющий, Совершенный, Создатель всего, Сострадающий, Спасающий, Справедливый, Судящий, Творец, Терпеливый, Убивающий, Украшающий, Управляющий, Уравновешивающий, Формирующий, Хранящий, Чуткий, Щедрый, Щадящий, Ясновидец,— кажется, все девяносто девять.

Что ж, пусть Рашид носит в душе и памяти эти имена.

Уже получены паспорта («рост — средний, брови с проседью, глаза карие, нос умеренный, лицо чистое»). Да еще рекомендательное письмо на имя российского консула в Брюсселе,— «посланнику при Бельгийском дворе».

И пошли написанные по-русски письма Рашида из Брюсселя: *Дорогой отец, Отец мой, Папаша.*

И как ехал (это наикратчайший путь из Тифлиса хоть в Брюссель, хоть в Париж: Тифлис — Поты — Одесса — Волочиск — Подволочиск, это граница, далее Австрия: Пшемсль — Ярославль, тоже есть, Краков; Пруссия: Глевич — Бреслау — Берлин и еще день из Берлина в Брюссель, всего двенадцать дней). Сначала длинные письма, а потом короткие.

«Мы купили (он и посланный с ним «наш доморощенный человек Наджаф Кафар-оглы»), как бы это назвать, в Тифлисе это еще не в моде, нефтяной очаг, если можно так выразиться, с несколькими широкими фитилями», и о том, что «я не из числа брезгливых гастрономов». И еще (Фатали слово в слово переводит Тубу): «Жаль только, что достаточно времени нет, чтобы работать спокойно, не трудиться как каторжный»; сколько слез Тубу пролила; и Фатали пишет: «Я прочел (зачеркнул!), перевел твои слова матери и успокоил ее, что ты приедешь к ней инженером путей сообщения, а не аптекарем».

Иногда в письме азербайджанские слова, написанные — отчего не сделать приятное отцу? — изобретенными Фатали буквами, латиницей, а чаще это емкое: *итгурд*, так сказать, всякого рода отрепье, шваль,— когда о фанатиках.

А то, первое письмо, присланное уже из Брюсселя, начиналось так, лицо Фатали побелело, хорошо что не видела Тубу:

«Отец! Я, кажется, оставил «Кемалуддовле» в Тифлисе. Прибыв в Брюссель, я его не обнаружил».

Как так? Ведь Фатали сам положил в чемодан! Сынок, поищи!

«Да нет же,— пишет Рашид,— не иголка ведь!»

А мысль была такая: отчаявшись — ведь все молчат! — Фатали решил послать свой русский перевод «Кемалуддовле» с сыном в Брюссель: Рашид — сам или с помощью кого — переведет сочинение Фатали на французский и, может быть, издаст там? Или — всякое случиться может — сразу на русском?!

«Я пришлю тебе новый экземпляр, не отчаивайся», — пишет Фатали сыну в Брюссель. Но как? По почте?? То ли послал, но рукопись осела на таможне, то ли раздумал посылать — дело ведь безнадежное; приедет на каникулы — возьмет. Потом Фатали успокоит сына: «Любезнейший Рашид! Кажется, готовится выпуск на русском языке «Писем Кемалуддовле»; прошло три месяца, и Фатали снова пишет Рашиду: «Живу надеждой, что скоро выйдет «Кемалуддовле»; и добавляет: «Не знаю, увижу ли до конца дней своих осуществления этого моего желания, или и оно, как и другие мои надежды, останется призрачной мечтой? Но верю, что после меня ты...» Много раз правил Фатали это свое письмо и оставил себе черновик (а Рашид получил письмо и, как и многие другие письма отца, не сохранил...). «Но верю, что после меня ты доведешь до конца дело моей жизни».

А Рашид, многие годы спустя после смерти отца, чуть было в порыве отчаяния не сжег «Письма». Каждый раз что-то ему мешало вытащить их из сундука и сжечь. Сначала мать мешала, а потом... Запутались у Рашида дела — и на железной дороге, и в семье, появилась еще какая-то женщина, стал пить, лишь изредка всныхивало: все невезения от них, от этих еретических «Писем» отца! Сжечь, сжечь! И каждый раз что-то всплывало, мешало.

Решил испытать судьбу, вошла в моду «русская рулетка»; Рашид недавно в одной мужской компании видел: все замерли, когда грузин раскрутил барабан и приставил дуло к виску; пуля оказалась не в гнезде, и боек ударился в пустоту: купил револьвер, белый полированный ствол, черная костяная ручка, мягко и плавно вращается барабан, а в нем семь гнезд; вложил одну пулю в гнездо и закрутил барабан; он кружится, а дуло уже у виска. Тишину взор-

вал тогда не выстрел, а нервный хохот грузина: «Трижды стрелялся — бог миловал!»

Рашид загадал: если суждено — погибнет, так уж начертано, а если останется жить — сожжет... И лишь на миг сс. страшным грохотом успело вспыхнуть: «Письма»!

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО

Фатали и верит в сына, но и помнит свои споры с ним, еще в Тифлисе, когда Рашид учился в гимназии. Фатали не знал, кто-то проболтался: Рашид, мол, боится прослыть гяуром, вероотступником и потому выходит из дома с благословения матери в обычной одежде, чтоб соседи не заклеямили как нечестивца за то, что изучает «русские науки», — а в тупике, неподалеку от гимназии, переодевается в гимназическую форму!

Спорили с сыном о Вольтере, о Бокле, о Коране, об идеях Кемалуддовле. Рашид во многом согласен с отцом, но он — вот что было неожиданно для Фатали — всерьез заявил, что будет поститься. И молиться тоже будет.

— Я, старый, из сетей былого темного времени еще не вполне выпутавшийся, не только на словах, на деле выступаю против позора невежества. Что пост, молитва, мечеть? Лицемерие, обман, дикость и отсталость! Когда я прохожу мимо лавочника Мешади-Касума, он отворачивается, и я слышу, как он шепчет: «О боже всесильный, почему ты не обрушишь на голову еретика камни? Почему не разверзнется земля и не поглотит безбожника?» И только мундир мой спасает меня.

— Вот-вот! Мундир! Отец, я с тобой во всем согласен, но я... Не обижайся только, я буду поститься. Да, ты прав, дикость и прочее, но не сердись. Хочу, чтоб считали меня настоящим мусульманином и истинным шиитом.

— Право, мне смешно! — сказал Фатали.

— Ну и смейся на здоровье, — ответила Тубу.

— Но я верю все-таки, что после меня ты... На тебя лишь мои надежды, Рашид.

О чем еще мечтаю? Пожить бы годков семь-восемь, чтобы вернулся из Брюсселя Рашид, сыграть ему свадьбу. Дочь Ниса-ханум устроена, слава богу: выдал ее замуж — мог ли когда-нибудь подумать об этом! — за внука Фатали-шаха — Ханбабу, сына Бехман-Мирзы.

Вспомнил, как сидел с Хаджи-Муратом и правителем

Азербайджанской провинции, имеющим пребывание в Тавризе, принцем Бехман-Мирзой, да, да, с ним — с кем породнится!! Вечность прошла с того времени, ни Рашида тогда не было, ни дочери, Нисы-ханум, и Ханбаба стал царским подданным, служит в войске императора, честен, прям; как Рашид уехал, и он написал сыну, что Ниса-ханум благополучно разрешилась от беременности дочерью, а недавно родился сын у нее, внук Фатали, — уже двое внуков у него: Мелексима-ханум (Ангелолика) и Мансур-Мирза (вспомнил, как объяснял Лермонтову, когда тот запутался в этих «мирза»: перед именем если — признак учености, а после имени — признак знатного происхождения).

И задумался над круговоротом времени, глядя на только что нарисованную генеалогию, она не совершенна, увы, да некогда будет дорисовать ее, к чему?! генеалогию шахов каджарской династии.

Жутко становится при упоминании Каджаров, сразу всплывает в памяти первый Каджар, учредивший династию, Ага-Мухаммед-шах, исчадие ада, кастрированный в свое время, маленький ростом, сухощавый, со сморщенным и безбородым лицом евнуха, — и он мстил миру. Разрушил Тифлис!!

И ему наследовал Фатали-шах, племянник Ага-Мухаммед-шаха Каджара. И сын Фатали-шаха, Бехман-Мирза, — младший брат Аббас-Мирзы. И сын Бехман-Мирзы, Ханбаба, — зять Фатали!! От Фатали-шаха до нынешнего Насреддин-шаха — Фатали и не ведает, что тот будет править полвека, — четыре слоя поколений: вот ряд Фатали-шаха, вот его сыновья, не все, конечно, — кто их упомнит, двести детей. Здесь и Аббас-Мирза, наследник, увы, так и не успел, а ведь как желал надеть на голову корону; и на его уровне — другие дети Фатали-шаха, в том числе Бехман-Мирза и Джелалэддин-Мирза, самый младший; а вот и третий уровень, внук Фатали-шаха — Мухаммед (сын Аббас-Мирзы) — именно ему передалось шахство; здесь, в ряду внуков Фатали-шаха, и Ханбаба, зять Фатали. Выходит, что Ханбаба — двоюродный брат, нет, троюродный! бывшему шаху Мухаммеду, а нынешнему, Насреддин-шаху, сыну Мухаммед-шаха, — троюродный дядя?! А дети Ханбабы, то есть внуки Фатали, — четвероюродные братья нынешнему шаху?!

Да, каджарского рода внуки Фатали! Но кто из них останется?

По стопам Фатали идут другие: появился первый у персов драматург Мирза Ага, он прислал свои пьесы на суд учителя,—но и там, и здесь они не могут быть поставлены — нет театров! Да, времена дидактических сочинений и мистических писаний канули в вечность. Ныне полезными, отвечающими интересам нации являются роман и драма.

Выходят пьесы Фатали в переводе на фарси,—переводчик прислал письмо, очень интересуется «Кемалуддовле». «Но откуда вы знаете, мой дорогой брат Мирза Магомед-Джафар, что «Письма» эти написаны со злым умыслом? «Письма» эти,—терпеливо разъясняет Фатали,—не проповедь, не наставление, а критика; без иронии, сарказма, насмешек, колкостей невозможно искоренить зло и насилие. Довольно мы отечески наставляли и читали проповеди, это пустая трата времени и сил, угнетение и деспотизм не уменьшились, а увеличились, стали изощреннее, хитрее. Уясните, дорогой брат, разницу между критикой и наставлением! Эту тайну разгадали в Европе и некоторые — в России, а *мой народ не ведает еще об этой тайне*. Вы привыкли к сладеньким проповедям да вежливым наставлениям; ай да молодец!.. А вы найдите мужество бросить в лицо кровожадному тирану и лицемерному деспоту свой гнев, сарказм, иронию!

Кое-кто считает,—это спор с Казембеком, и он непременно выскажет несогласие,—что если бы Кемалуддовле излагал свои мысли чуть мягче и вежливей, пряча их под чадрой, подобно примерной женщине, скрывающей лик от взглядов мужчин, то «Письма» встали бы в ряд с сочинениями великих Руми и Джами. Но что изменилось в мире после прежних великих Востока с их отеческими наставлениями? Меня вдохновляет Бокль и Вольтер. Смело, бесстрашно, без утайки. Я намерен напечатать «Письма», ничего не меняя в них. Вы говорите: «Смягчить!» А я слышу: «Иссушить! погасить! притупить!» Не было еще в мире ислама за все его тринадцать веков такого острого и откровенного произведения, как «Письма». Я верю, найдется кто-нибудь из наших бесстрашных потомков, который не побоялся опубликовать эту книгу такой, как она есть.

Сколько надо ночей, чтоб переписывать и переписывать «Письма»? Экземпляры уходят, уплывают, и будто в глубокий колодец бросил камушек: Рашиду, Адольфу Берже (как же не послать? помог перевести на русский!), в Лондон, в Стамбул, в Тегеран; одному книгоиздателю в Петербург, другому,—молчит Исаков, молчит Гримм!

Исаков скоро отзовется, но Гримм!! Много крови попортил он Фатали — умолял, чтоб Фатали прислал ему рукопись на русском и на фарси, обещая выпустить в Лондоне, в издательстве «Трюбнер и К°» («Я издам вашу книгу на фарси и в переводах на все европейские языки», — писал он). Тифлисский врач Блюмберг посоветовал: с его братом Константином дружен книгоиздатель Гримм. Фатали послал, а Гримм молчит. Фатали просит, чтоб тот вернул, требует: «Отдайте! верните мои манускрипты на русском и персидском». Молчание. «Если в Лондоне обещают выпустить, то пришлите, душа моя мусье Гримм, копии с письма Вашему к Трюбнеру». Нетерпелив. Раздражен. Спешит. А Гримм молчит, ибо долг путь переговоров. И Трюбнер прикидывает: и хочется ему издать, и страх: за исламские колонии империи опасается.

Кузина сослуживца, Поллан Мария Владимировна, влюбленная в «Восточную поэму» Фатали, просила его: если что — пишите мне в Петербург, и оставила адрес: в доме Яковлева, на углу Надеждинской улицы и Невского проспекта, «Ея превосходительству Марии Владимировне Поллан»; так и не поехал Фатали в град Петра!

Может, ей написать?! А пока думал — высокий чин из Петербурга прибыл в Тифлис, обещал помочь, не вникая в суть, манускрипт так манускрипт! слабость у Фатали, уже давняя, к Александрам, — как познакомились, «Александр Григорьевич Щербинин», так и потянуло к нему, а потом и просьба, письмо ему, на Фурштатскую улицу, в собственный дом, № 18, тайному советнику.

Но прежде — еще одна попытка: «Душа моя мусье Гримм!..» И просит безотлагательно прислать «Кемалуддовле»; и — «остаюсь уважающим Вас и сожалеющим, что мы не сошлись (!!) в характерах. Мирза-Фет-Али Ахундов»; сохранил копию — послал в ноябре 76-го, а потом повторно в феврале 77-го. Ни слуху ни духу!

«Ваше превосходительство милостивый государь Александр Григорьевич! — пишет Фатали Щербинину. — Выручите мой манускрипт, как лягушку из пасти змеи (татарская поговорка)», и адрес: «Его благородия мусье Гримма, в Петербурге, на Невском проспекте, дом 20, в доме Голландской церкви», Фатали и сам не поймет, отчего молчит Гримм, — «по вялости ли, по неспособности или по криводушию? — делится он сомнениями с Щербининым. — Замучил меня этот злодей Гримм!»

Опасно, но вывела рука Фатали, непослушная ему: «В настоящее время политического брожения умов эта книга делает больше, чем стотысячная армия»; но кто знает, «может быть, я по своей легкомысленности ошибаюсь» (??).

И Щербинин навестил Гримма! Наконец-то! «Гримм,— пишет Щербинин,— краснел, бледнел», «дал слово, что напишет Вам».

«О нет,— возражает он Щербинину, который отнес молчание Гримма за черствость немцев,— немцы народ деликатный».

И снова — молчание: ни письма, ни рукописей. И отчаяние. И память никудышная стала: забыл, как показывал ему книгу Колдун, скрыв год, а на обложке, это уж Фатали мог прочесть и запомнить! London, множество имен, это так, и текст какой-то на обложке многословный, что-то нелепое,— книжка-де издана «для европейских путешественников», с грамматическим введением и словарем, вроде бы учебного (?) пособия, но ведь и Трюбнер среди имен со своей С°, или Компани, с сохранением немецкого написания Trübner и лондонским адресом Ludgate Hill, — спустя четыре года после смерти Фатали выйдет, увы, не «Письма», не осмелился Трюбнер, а лишь одна из пьес, «The Vazir of Lankeuran», или «Везир Ленкоранского ханства», так пленившая в свое время Соллогуба.

И еще один жаждет получить: прислал весть, наслышан о «Кемалуддовле», французский консул в Реште, знаток фарси мусье Николаи. Но из Решта, куда Фатали написал, ответили: «Уехал в Париж». Тогда он отправил телеграмму в Париж с оплаченным ответом: «Послать ли вам через французского консула в Тифлисе?» Ответила жена: «Мусье Николаи уже в Тегеране»; проездом в Решт? или новое назначение? Ну, наконец-то письмо от Николаи, из Тегерана. Фатали отвечает: «Послать рукопись в Тегеран? Не смогу. Опасно!.. Если узнают власти Насреддин-шаха (а ведь четвероюродный брат внуку Фатали) — несдобровать вам! Подскажите путь, как иначе?» И новые надежды: а вдруг переведет?! Ведь писал: очень, мол, мечтаю, да еще подсластил: «Поистине уникальное произведение!» Читал? Но кто познакомил? Об этом Николаи ни слова. А мусье Николаи недоумевает: да, остра, но неужто можно опасаться?

Ничего не получилось, сгинул, исчез Николаи.

Но будут выходить «Письма». Только другие. То ли перевод из Фатали, но без указания имени автора, а может,

и плагиат. Фатали требует от издателей обратно свои рукописи — на фарси и русском, но разве получишь их назад?!

А сколько экземпляров на фарси! Не успеет купить бумагу, а уже папка пуста, перо, как верный друг, готово без усталости трудиться — лишь бы захотеть Фатали! Недавно только вся конторка была завалена белыми листками, а уже надо посылать слугу Ахмеда за новыми пачками.

И утомительные разговоры о «Кемалуддовле» с принцем Фархад-Мирзой, правителем Фарсистана, тоже из сыновей Фатали-шаха. Он слышал о «Письмах» и не знает, как реагировать: неужели возможно, чтобы правоверный осмелился сочинить такое еретическое произведение? но принц хорошо знает восточных людей: порой такое наговорают о человеке, что всю жизнь мыть и драить будешь — не отмоешь!

Принц Фархад-Мирза, двоюродный дед Насреддин-шаха, едет в Мекку, и ему очень хочется повидать еретика Фатали. О родстве ни слова (Фатали готовится выдать дочь за племянника — брата, правда, от разных гаремных жен Фатали-шаха! — Ханбабу-хана): принц чувствует себя оскорбленным за «Обманутые звезды», это вышло на русском, и ему с листа перевели, а потом прочел в тюркском оригинале. И о «Кемалуддовле» ходят разные слухи, и он не может им поверить — возможно ли такое, что говорят?! «Но как сразу приступить к разговору о «Кемалуддовле»?» — думает принц Фархад-Мирза. И не обидеть Фатали. Сначала об относительно нейтральном, хотя какая тут нейтральность? о реформе алфавита, всем уже давно известно, что никто не собирается менять, одни лишь разговоры! Но надо, чтоб Фатали, сев на своего старого конька, оживился, разоткровенничался.

А у Фатали новые доводы в пользу коренной реформы алфавита; он, наивный, все еще надеется.

— Вот вам, принц, одна и та же фраза: «Фатали был сегодня в дом принца»!. Но один прочтет так, а другой иначе: «Фатали сегодня подмел дом принца»! И оба будут правы. А это, прочтите, всего три буквы; но один прочтет: сделай, другой — пыль, третий — круг, четвертый — богатырь, а еще один возразит и скажет: «Здесь же написано курд!» Я уже не говорю о написании иностранных слов, имен, терминов!

А потом о звездах заговорили. И первым начал принц: — Мирза Фатали, рассказ о седельнике Юсифе в исто-

рическом сочинении Искандер-бека Мунши о временах Шах-Аббаса Великого очень краток, всего две-три фразы, отчего вам понадобилось так его расписывать?

— Принц! Я обратился к истории не ради самой истории, а чтоб сказать о нашем с вами времени. Ведь такой необычный сюжет! Я взял историческое лицо, исторический сюжет и увидел в нем нас и нашу боль. Над нами смеется весь цивилизованный мир. И над нашим лицемерным существованием, и над нашим двуличием, деспотическим образом правления, невежеством, фанатизмом. Продолжать, принц, или достаточно?

— Да, да, я именно об этом напишу в своих путевых заметках!

Или Фатали не уловил иронию?

— Тогда от вашей поездки будет толк. К чему описания: «сели и поскакали», «проехались в колясках», «славная была охота», которыми нестрели недавно заметки о путешествии шаха?

Фархад-Мирза смутился.

— Мирза Фатали,— говорит он, помешкав,— не надо!

А ведь понравилось ему, думает Фатали. Ликует, что я возвеличил его; но вынужден отместить — ведь на встрече сидит еще один человек: иранский консул: дойдет до шаха, а с ним лучше не связываться!

А потом Фархад-Мирза и Фатали поехали в коляске на встречу с генерал-адъютантом князем Орбелиани, он тогда, случалось такое, исполнял за отсутствием наместника его должность.

И Фархад-Мирза вдруг заговорил о свободе:

— Какое это счастье быть недостижимым для шаха! А впрочем, неплохо б и для царя! — Фатали поразила вспышка свободолюбивых мыслей в сыне Фатали-шаха, а тот еще и добавил: — Один Фатали — шах, он мой отец, но мы с ним враги по убеждениям, другой Фатали — чужестранец, но мы с ним единомышленники!

Принца с распахнутыми объятиями встретил князь Орбелиани, и разговор остался неоконченным. «Неужто,— думал Фатали, переводя речь Фархада-Мирзы на приеме у Орбелиани,— он и впрямь думает, что здесь наступило истинное благоденствие?!»

— Да, да, я слышал о вас,— говорил принц князю Орбелиани,— и даже знаю об аварском вашем правлении! Но я знаю вас и как большого поэта Грузии! — И, к удив-

лению Фатали, прочитал стихи Орбелиани.— Это мой собственный перевод на фарси!

Князь Орбелиани обнял принца, тотчас влюбившись, и произнес выпренную речь, почти непереводимую на фарси, и Фатали изощрялся как мог, заменяя витиеватые фразы приветствия образами Саади и Хафиза. Принц расплылся в улыбке. А когда вышли от князя, принц опять рассказал Фатали, как тяжело в родном краю.

— Вы чувствуете пламя, в котором мы горим, издалека. Вы слышите свистящий звук плети, а мы видим, как она змеей извивается над нашими головами! Вы во сто крат свободнее, чем мы! Мы проехали с вами в коляске, никто нас не оскорбил, а когда я прохожу по родной улице с иностранцем, то слышу свирепую ругань моих земляков на языке, непонятном иностранцу, но режущем мой слух; это в том случае, если прохожий знает меня; а если не знает, то ругань швыряется и в мое лицо. И мне ничего не остается, как молча проследовать мимо. А однажды в ясный день в центре города хулиганы (именно это слово и произнес — и по-русски! — принц) оскорбили английского посла: некий Ханджан на спор со своим фанатичным дружкой плюнул в лицо «гяуру» — английскому послу Алессону: он шел на прием к премьер-министру по случаю новогоднего весеннего праздника. Их схватили, но что толку? Ведь он оскорбил гяура, а это — угодно аллаху!

— О наивный! Вы увидели райский уголок, но то был мираж, возникший перед путником в безводной пустыне. Не кажется ли вам, что вы судите о нас по щедрости приема? Вас ослепил блеск люстр в зале наместника, а уши забила лесть. Не уподобляйтесь вождю мусульман-шиитов Фаттаху и не будьте столь наивны, как покойный Фазилхан Шейда. Будто не вы горячо убеждали меня, когда мы ехали к князю, хотя я сам давно пришел к этой мысли: «Шаха-деспота надо гнать! Он довел людей до отчаяния! Помяните мои слова: он плохо кончит!»

Принц побледнел:

— Неужели я мог сказать вам это?

— Не придумал же я за вас! — вскипел Фатали.

— Почему бы и нет? Ведь придумали с седельником. Не могли же вы не знать, что пишет историческая хроника, если уж взялись за эту тему. Юсиф, став шахом, предался разгулу и со своими дружками кутил, развлекался, глумился над людьми, измывался над их женами и дочерьми, и оттого разгневанная толпа растоптала его, и

трон, как пишет писарь Шах-Аббаса — Искандер Мунши, стал для Юсиф-шаха гробом! Разве можно рисовать его просвещенным монархом? Где он мог усвоить прогрессивные идеи? Ну, я понимаю, ездил по свету, многое увидел, подвергался гонениям, но этого недостаточно, чтоб управлять государством. Да еще так разумно. Нет, нет, я не из тех узколобых своих земляков, которые вашу едкую сатиру приняли как нелюбовь к нашей истории, нации.

Сводные братья, сыновья Фатали-шаха, — как же им не высказаться о лжешахе Юсифе? Но есть оттенки в отношении к рассказанной Фатали истории: Фархад-Мирза, с которым Фатали едет в коляске после пышного приема у Орбелиани, возмутился, но не подал виду и даже поиграл в либерала, очень хотелось ему ближе познакомиться с мятежным писакой; Бехман-Мирза неизменно уходил от разговора и, даже породнившись с Фатали, — ни слова: не осуждает, но и не высказывает одобрения, забава, не более, для принца эта тяга Фатали к сочинительству. А вот и умнейший среди сыновей Фатали-шаха — Джелалэддин-Мирза: он одобрил, а затем, как и Фархад-Мирза, выразил сомнение в способностях седельника править государством:

— Ну, неужели вы думаете, только ради всевышнего не хитрите, что простой седельник сможет когда-нибудь управлять государством? Не польстится на роскошь? Сможет не впасть в еще более худший, чем известный нам, деспотизм? Не учредит свой династический род?

И Фархад-Мирза сомневается.

— Мне кажется, — отвечает ему Фатали, — вы невнимательно прочитали мою повесть. Вы вытянули внешнюю канву, и повесть расползлась. И не без помощи цензуры... Но вы меня, кажется, не слушаете. Вас, видно, пленил князь выпренными тостами. Эти князья голубой крови! умение порой выразиться так, что дерзость звучит как тонкая лесть, а взрыв негодования — как высшая похвала. Помню, ворвался однажды к Воронцову тифлисский князь-генерал:

«Правда ли, князь?! — Вот-вот выхватит кинжал и вонзит в наместника. — Я возмущен! Ты смеешь нас покинуть?! И теперь, когда в Крыму война!»

«Я стар, что поделаешь, я болен», — вяло заметил Воронцов.

«Ну так и умри! Умри как верный солдат государя на

боевом посту. Покинуть нас! Обезглавить Кавказ! Чтоб мы осиротели! Чтоб край погрузился в траур!»

А потом Фатали, остановив коляску, сошел: «Следуйте за мной, принц, я вам кое-что покажу!» И Фархад-Мирза пошел за Фатали. Высохшее багровое пятно на мостовой.

— Это кровь! — Улица наспех посыпана песком, но кровь проступила, и песок почернел. — Еще не успели смыть. И это смыть нельзя!

— Но кто пролил ее?.. Нет, не поверю! — воскликнул принц. — Чтоб он? Князь? Само жизнелюбие! Поэт-лирик?!

— Вы забыли: он еще замещает наместника. Он генерал-губернатор. Рука царя здесь, в Тифлисе («Но кому ты говоришь, Фатали?»).

— И кто эти несчастные? — спросил принц.

— Ремесленники! («Ну да, вас ничем не удивишь!»)

Это была мощная стихия — ремесленники двинулись ко дворцу наместника, чтоб заявить протест против насилия властей, против княжеской роскоши, против бремени налогов: жить не вмоготу! И Орбелиани приказал стрелять «в чернь» — безоружную толпу: «Никого не щадить!»

Шли молча, а потом Фархад-Мирза заметил:

— Но что ему оставалось делать? Любой бы правитель на его месте, а случись такое и в моем Фарсистане...

— Вот именно!

— Но как иначе образумить толпу? Еще хорошо, что свой казнит, уверяю вас, — улыбнулся принц, а Фатали от растерянности ничего в ответ придумать не смог, — ремесленники еще и поблагодарят его за отеческий урок! — И действительно, настанет день и на ленте венка от тифлисских ремесленников, пришедших проводить князя в последний путь (но прежде Орбелиани похоронит Фатали!), будет написано: «Ты брату упавшему протягивал руку, чтобы помочь ему встать». — От своего земляка и боль переносится легче! Ну вот, мы уже у консульства!

Фархад-Мирза преобразился: принц!.. Или Фатали надеялся вызвать в нем сострадание к ремесленникам?

ДВУГЛАВОЕ ЧУДИЩЕ

Никого рядом, не слышно ни Тубу, ни детей — все уснули, а за окном темень, и лишь язык свечи отражается в стекле, и смотрит на Фатали из окна усталый старый человек — неужто это он сам? И когда успел поседеть? Что-

то шепчут тонкие, спрятанные под нависшими усами губы, шепчут тихо, не уловить смысла, а потом горестный вздох — то ли от быстротечности жизни, в которой, увы, ничего не меняется, не изменилось, изменится ли когда? то ли оттого, что, приглашенный (такая честь!) на юбилей Орбелиани, пошел, побежал, радуясь, как мальчишка. Еще бы! Сам государь! И даже наместник великий князь специально прибыл из Боржоми, прервав курс лечения. О том, что Орбелиани — большой поэт, — ни слова. Даже стыдно, что знатный князь и прославленный в борьбе с горцами полководец, Аварский правитель, почти наместник, — и вдруг стихи!.. Лишь мельком, как показалось Фатали, он поймал брошенный на него князем взгляд: отчаянье! да, да, именно это! Или Фатали желал увидеть во взгляде князя то, что жило в нем самом? Кто, глядя на Фатали и его полковничьи погоны, вспомнит о сочинителе Фатали? Забава, не более, эта тайная страсть к сочинительству.

Бунтарям уготована гибель или ссылка, а отчаявшимся... Что же им, отчаявшимся?.. Фатали задумался, вспомнив про Бакиханова, сбежавшего от отчаяния в Мекку. И Шамиль получил разрешение отправиться на паломничество в Мекку со всей семьей; он уже умер в пути, между Меккой и Мединой, как и Бакиханов некогда, но вести еще не пришли в Тифлис; и даже тот, кому, казалось бы, не с чего отчаиваться, генерал Куткашинский, — тоже собирается в Мекку!.. Ах, вот почему эти думы о Мекке: генерал долго хлопотал, обращаясь в разные инстанции, чтоб позволили, и добился своего, готовится в путь. Может, замаливать грехи? ведь нещадно рубил гяуров-поляков!.. Или за бунтарские думы о масонстве? А может, побег? Или изгнание?! Фатали как-то заметил Рашиду, когда сын твердо заявил, что хочет, чтоб его считали «чистым мусульманином»:

— Кто начинает как ты, непременно кончает паломничеством в Мекку.

— А тебе, — заступилась за сына Тубу, — не помешало бы подумать о таком паломничестве!

— Разве у меня так много грехов? — отшутился Фатали и не стал спорить.

Но и путь в Мекку мысленно прочерчен Фатали. Путь отчаяния, а не замаливания грехов. Но — никогда!

И эта нескончаемая борьба с рабством, которая, увы, лишь изощряет деспота, и эти муки, которые укрепляют власть тирании, питая ее соками страданий, и она гасит

порывы лучших умов, давит, ссылает, гноит в тюрьмах самых светлых и чистых своих сограждан,— доколе?!

Лишь сила штыков. Лишь воинство. И эти его полковничьи погоны на мундире,— фотография на столе, он пошлет ее вождю огнепоклонников, очень тот просил; и новые надежды: а может распространить идеи «Писем» среди огнепоклонников, связаться с разветвленной — от Индии до Месопотамии — сектой зороастрийцев, находящейся в оппозиции к официальному исламизму, и заручиться их поддержкой в борьбе против духовной основы деспотической власти.

Но отчего все протесты выступают в форме религиозной? Или так понятнее темному народу? И бабиты с их верой в нового пророка, в чьем зеркальном облике воплощен солнечный свет. Что-то в их учении приемлемо: о женском равноправии? но с какой опять-таки сектантской оговоркой: лишь при мужчинах, исповедующих бабитство, может ходить женщина той же веры с открытым лицом, при посторонних — нет; протест и в еде: считается дозволенным есть и свинину; или о равенстве полов: если женатый мужчина вступает в связь с другой женщиной, то и жена его может последовать примеру мужа; и допустимость свободной любви без заключения брака, если есть обоюдное согласие незамужней женщины и неженатого мужчины; и отмена поста, молитв, обязательных налогов в пользу духовенства, и паломничества в святые мусульманские земли; но взамен — утверждение обязательности нового паломничества в Шираз, где родился вождь бабитов Сеид Али Мухаммед; и среди нововведений — обязательное обучение грамоте не только мальчиков, но и девочек; и образование — добродетель; и запрет ростовщичества; и обязательность развития бабитского учения теми его новыми толкователями, кто считается в данное время живым воплощением и проявлением света.

И имам Шамиль с его новыми пророчествами; и зороастризм,— сохранение первоначальной веры как протест против лицемерия исламизма, питающего и оправдывающего тиранию.

Вождю огнепоклонников рассказал о Фатали и о его книге, в которой развенчиваются исламизм и тирания, Джелалэддин-Мирза. Наслышан и Фатали о вожде огнепоклонников — Манукчи Сахибе Каяни. Он получил книгу его путешествий, выпущенную под псевдонимом «Дервиш Бренного Мира». Книга построена в форме диалога с шей-

хом, в котором раскрывается тяжелая участь гонимых огнепоклонников-зороастрийцев, насильно обращаемых в иную веру. Лишь книгу прислал Манукчи Сахиб — ни письма, ни обращения.

— Принц Джелалэддин-Мирза, — просит Фатали, — встретьтесь, пожалуйста, с Манукчи Сахибом, из моих уст передайте ему: «Эй, Манукчи Сахиб! Шейх, с которым вы спорите, и наш враг! Спустя почти тысячу триста лет с тех пор, как исламизм душит нас, появился Кемалуддовле, чтобы сорвать черное покрывало с лица истины и пробудить темный народ, пребывающий во сне невежества и фанатизма. Эй, Манукчи Сахиб! Но пути идей Кемалуддовле закрыты, а сам он вынужден прятаться и скрываться от тиранов. У него много друзей-единомышленников в разных частях света, и они имеют в руках его книгу. Идеи Кемалуддовле непременно распространятся по всему свету, придет этот день. И на людей подует ветер свободы. И сгинут злодеи и тираны, лицемеры и рабы. Эй, Манукчи Сахиб! Кемалуддовле с вами в вашей борьбе против угнетения и насилия. Потерпите немного, и мы победим. Пусть только выйдет книга «Кемалуддовле»!..»

И Манукчи Сахиб откликнулся:

«Да будет светлыми ваши день вчерашний, день нынешний и день завтрашний!..» — Он пишет ему накануне «самого светлого праздника, праздника Солнца и Огня» — Новруз-байрама, «это ислам воспользовался нашим древним праздником огнепоклонников, чтоб приспособить к первому весеннему дню свой день нового года, и одурачивать предсказаниями звездочета темных правоверных: «Год явится на лошади, бойтесь гнева аллаха, дабы не грянули на наши земли полчища одноглазых кочевников, рожденных дьяволом-иблисом!»

Говорит о культе огня, которому поклоняются зороастрийцы, ибо огонь очищает землю, и находит, что Фатали, как истинно великий человек, следует в своих деяниях трем нравственным основам зороастризма, — а это: добрые помыслы, добрые дела и добрые слова.

Манукчи Сахиб не только слышал о «Письмах» — он эти «Письма» держал две ночи в руках и с помощью учеников переписал, составил несколько экземпляров, чтоб распространить, и сам переводит на древний каджаратский язык, родной индийским и персидским зороастрийцам, ищет пути, чтобы издать «Письма» на фарси и каджаратском языках, может быть в Бомбее, и распрогра-

нить по всему Востоку,— это «пробудит в массах тягу к культуре, возбудит протест против тирании, восторжествует закон» (это слово написал Манукчи Сахиб, о, наивный, по-русски).

Знает Манукчи Сахиб и о Рухул-Гудсе — Мелкум-Хане (не он ли передал «Письма?»), о его масонских ложах: «О, если бы мир был устроен по идеям Рухул-Гудса и Кемалуддовле! — мечтает Манукчи Сахиб.— Только я изменил имя Джелалуддовле на Игбалуддовле: не падет ли тень на очень популярное здесь имя принца Джелалэддина-Мирзы, поборника просвещения народа?..»

Вождь огнепоклонников Манукчи Сахиб получил фотографию Фатали (тот очень просил) и спешит сообщить о себе: «На фарси понимаю хорошо, но пишу плохо, ибо родной мой язык каджаратский, пишет вам под мою диктовку мой ученик, свободно пишу и читаю по-английски, изучил в Индии». И об открытии школы для детей огнепоклонников: «У меня сорок учеников, я пригласил учителей, чтоб приобщили к светским наукам; школу мою дважды закрывали, но я добивался ее открытия; и знаете как? щедрыми взятками!» Оба, увы, уже стары — и Фатали, и Манукчи Сахибу за шестьдесят. «Мы не увидим, как расцветут наши страны, свободные и счастливые, а ведь расцветут же, иначе к чему эта наша жизнь, наши думы, наша борьба... верьте, дети наши...» — пишет Фатали, а сам в сомнении: увидят ли они?!

И с огнепоклонниками — лишь переписка, разговоры; что они могут, если ничего не удастся здесь: ни в Петербурге, где обещают два издателя, ни в Париже или Брюсселе, где Рашид и его друг, родственник крупного парижского издателя Фажерона, где мусье Николаи, ни даже в Тифлисе.

«Но есть типография в Тифлисе! — недоумевает Манукчи Сахиб.— Если издадите, я куплю сто экземпляров».

Знает и Кайтмазов о «Кемалуддовле», но избегает встреч с Фатали, иногда ведет себя так, будто вовсе они незнакомы и он видит его впервые.

Копится в наместничестве недовольство против Фатали, зреет и сгущается тревога, грозя выплеснуться наружу и разлиться по Тифлису: «Такие неслыханные дерзости! Такая взрывчатая смесь! Он спятил! В клетку его, чтоб водить и показывать! И казнить мало, чтоб кровь его не поганила землю!» Пришло наместнику письмо из Брест-Литовска, его самого нет в Тифлисе, уехал в Боржоми доле-

чиваться, пьет минеральные воды, и доверенное лицо наместника, высокий княжеский чин, которого в канцелярии называют — на персидский манер — Тенью Наместника, передал письмо Никитичу, о какой-то рукописи в нем речь, да еще с замечаниями, будто Никитич в чем виноват: «Знаете ль, у вас под боком! Подрыв основы веры и правопорядка!»

На пространным письме — резолюция Никитичу: «Переговорить!» Наутро является Никитич к Тени Наместника, спорить вздумал:

— Но о Востоке ведь, а мы как-никак Запад!

— Да? — от неожиданности покраснел высокий княжеский чин. — Вы так думаете?! Вы что же, — отчитывает Никитича, — настолько наивны, что не понимаете? Или притворяетесь? Восток — это для отвода глаз, это маска, сбросьте ее — и вашему взору предстанет... Пояснить еще? Ах, вы не поняли, вас еще носом ткнуть!.. да, наш правопорядок! (не скажет ведь: «царский деспотический режим»). Не потому ли и за границу послать, чтоб там на русском?! Как кому? А сын? И чтоб не забыл русский. И чтоб тренировался в переводах на французский!

— Может, и в Лондон, а?

— Слава богу, там закрылась вольная, ха-ха, типография, погасла звезда, умолк колокол, вырвали ему язык, сгинул Искандер!

Экземпляр «Кемалуддовле», как затонувшая лодка, погрузился на дно таможенного моря и от него осталась лишь секретная записка, подшитая Никитичем в общую особую папку.

Вот бы Фатали увидеть свое досье; там вехи его биографии: разговоры о масонской ложе с Мелкум-ханом (откуда?!); и споры с Мирзой Юсиф-ханом о конституции на основе корана и способах устранения деспотии (но как попала?! не Никитич ли помог шахским собратьям, чтоб те, отозвав Мирзу Юсиф-хана, схватили его, бросили в Казвинскую тюрьму и там казнили? на сей раз Никитич чист: просто Гусейн-хану надоел Стамбул и не терпелось послом в Париж);

копии писем, даже тех, которые посланы из рук в руки и которые Фатали так и не послал (вот это загадочно!); и изыскание филологического свойства, в котором обыгрываются, будто грамматическое упражнение, *гнет*, *угнетатель* и *угнетенный*: чтоб устранить корень, необходимо — только два пути; или второй добровольно оставляет корень

мы летели с тобой, Александр! А в далекие времена звездочет обманул звезды! или же третий прибегает к насилию и душит этот корень в крепких своих объятьях! Или — или! Третьего пути не дано! И тут же имена, выписанные столбцом: Вольтер, Руссо, Монтескье, Фурье, еще одно неразборчивое имя, нрзбрнрзбр, и далее:

«Что пользы обращаться к угнетателю? Лучше сказать угнетенному: «Ты же во сто крат превосходишь угнетателя своей силой (неужто были когда-то такие времена?!), числом и умением, так почему ты примиряешься с ним?! Пробудись от сна и задай угнетателю такого жару, чтоб чертям в аду жарко стало!»;

и его объяснение, поданное на имя великого князя-наместника о рукописи «Кемалуддовле» — на пользу, так сказать, христианству (?!); мусульмане перестанут дичиться русских, под сенью государя-императора, ну, полно, полно, Фатали, тоже подшито в досье;

и копии писем Рашиду в Брюссель, сын почти ни одно не сохранил, а здесь, в досье, — в целости, копии, правда, но в подлинности кто усомнится?! и выписки из писем сына, даже о его просьбе прислать хороший чай (шифр?!); и о падении курса рубля (!), рубли ужасно пали, запасы чая и табака (разве курит?!) истощены; и о новой войне с турками, не призовут ли тебя, как тогда, во время Крымской? А разве призывался? что за намек?! и фраза, к чему? если не судьба, как говорят магометане, хладнокровно рассудив(?); и о «нефтяном очаге»; листок этот выкинул, когда узнал, что истинно появились эти диковинные печи, надо б достать;

и неожиданные известия, содержащиеся в письме Рашида отцу: о том, почему у истоков Нила не живут крокодилы(?), и о том, что я подозреваю живущих в Петербурге и Москве иранцев (в чем? какие связи? где? когда? Так и не сняты эти вопросы, но Никитич терпеливо ждет разгадки); и — к чему, казалось бы, в досье, но по опыту знает, что и это может понадобиться, — недавно я здесь видел прелюбопытнейший феномен. В одном из здешних театров показывали какую-то мулатку, Móllié-Cristine, женщину лет двадцати, двуголовую, — вздрогнул аж Никитич, но ведь не двуглавую! — с четырьмя руками и четырьмя ногами, это скорее две женщины-близнецы, соединенные корпусом, т. е. имеют один желудок, или одно туловище, но у каждой своя голова, ноги, руки, плечи. Каждая голова, — все-все переписал краснорукий писарь Никитича, — отдельно

мыслит, говорит, ест, пьет, и иногда обе головы видят один и тот же сон, когда спят. Одним словом, это необыкновеннейшее существо (намек на орла?); и о сиамских близнецах — братья-сиамцы ничего в сравнении с Милли-Кристиной, — и латинскими тоже, — танцуют польку, вальс, *одна и тоже кров*, — с ошибками оставил писарь, как есть! — если только голова болит у одной, другая ничего не чувствует, — и срисован рисунок (вы что же, Никитич, коллекционируете собрание курьезов, чтоб издать книжечку?! и за что вам платит шеф жандармов?);

да, непременно узнать!! Насчет Крымской — призывался ли? Спросил между прочим у Фатали, а тот ему медаль светлобронзовую показывает, в память войны: Крымской, но не в Крыму! (На Георгиевской ленте), да Крест за службу на Кавказе.

Как же Вы могли забыть, Никитич?! А ведь я трижды в экспедициях участвовал, — думает, что Никитич оставит его в покое, а тот еще пуще злится, потому что сам — ни в одной! — в 37-м в Адлере, с Розеном, в 42-м на восточном берегу Каспия, под начальством графа Путятина, и против ваших турок, в 55-м, под начальством покойного генерал-адъютанта Муравьева, забыли?!

и еще несколько листков!!! это ж почерк самого Фатали! Но подписано почему-то «Теймур»; ах, да, это все из той же затеи, придуманной в секретной части Никитича, установить контакт с консулом Порты, приблизить чтоб к нам. Фатали возмутился: что за работу хотят ему поручить?!

— Ну нет, — мягко заметил Никитич, — просто встретиться, развеять ложные о нас мнения, вы же знаете, какие небылицы распространяют о нас, будто мы... ну и все прочее!

короткие лаконичные записки «Теймура»; «А вы, — предложил ему тогда Никитич, — изберите себе... псевдоним!»; был сородич Никитича, Бестужев, упрекал Фатали за псевдоним, а этот — «изберите!». И выбрал Фатали (о боже, какой был наивный) первое попавшееся — брат отца? персонаж? Так вот, записки Теймура: говорили о китайских изделиях; при чем тут Китай? злится Никитич; об арабских интригах времен халифата (?! уж лучше б, и то бы пригодились, о сегодняшних!); играли в шахматы, ну, знаете!! и он поставил мне красивый мат с жертвой ферзя, извините, везира. «Может, еще напишете, сколько стаканов чая выдули?!» И просил Фатали:

— Вы ближе к делу!

Ах вот что вы вздумали! Ну нет, в этой роли Фатали выступать не будет! Трижды встречался Фатали с консулом Порты.

— Мы подключим к вам еще нашего товарища, он вам поможет!

Развязный, с лошадиными челюстями человек Никитича. Ну нет, эти ваши нелепые планы я разрушу! Грубая топорная работа! А ведь поначалу верил — ах, какие наивные времена были!!! — что действительно хотят истинную правду о том, что значит для раздираемого междоусобицами края нахождение в составе большой и сильной державы, что значит Россия для его родных мусульманских земель, разъяснить, чтоб не строили никаких иллюзий ни Порты, ни Персия, устранить извечное недоверие двух стран и двух народов — российского и Порты, и Фатали честно стремился сделать это (мол, образцовая мусульманская семья, «ваш быт, ваше творчество, наш союз...»).

Но чтоб так бесцеремонно! с помощью лошадиной челюсти! сделать из консула агента Никитича?! до чего ж примитивная работа секретной части!

На каком-то этапе Никитич усомнился; и Фатали расстроил их нечестную игру, когда явился тот, с лошадиными, сумел выказать консулу, как хозяин дома, свое неудовольствие приходом незваного гостя, которого он, Фатали, видит впервые; а тип был нагл и агрессивен.

«А вы разузнайте, Фатали, когда в Константинополе будете! Иначе, знаете, не завербуешь! Да, да, непременно разузнайте, и я из тифлисской этой дали погляжу на вашу челюсть, как она отвиснет!» — злорадствует Никитич.

В турецком консульстве, когда выдавали визу, не спросил о бывшем здесь некогда консуле. Может, у Богословского спросить? Но чтоб узнал Никитич?! У кого же? Может, невзначай у премьера, мол, служил у нас в Тифлисе. А ведь сбил он с лица премьера его неизменную улыбку!

— Кто-кто?!

Но у Фатали такой бесхитростный взгляд! И багровая краска залила лицо премьера.

— А мы его, — и вокруг шеи рукой, а потом пальцами над головой крюк изобразил, — как вашего шпиона!

— Быть этого!.. — и умолк: вошел Богословский.

А ведь мог остаться в живых.

«Видите, что получилось, — втолковывает Никитич из тифлисской дали Фатали, который еще в Стамбуле, — вы

бы уговорили его служить нам, а лошадиная челюсть, как вы изволили выразиться, согласен, груб, оскандалился! вот и пришлось нам придумать тому консулу примитивную, но испытанную месть, это же так просто — посеять сомнение! отозвали и, — тот же жест с крюком, будто у одного палача практику проходили; вам казалось, что судьба помогла вам, спасся и консул, и вы чистыми вышли из игры, а ведь это вы его, да, да, именно вы! и погубили, если покопаться!»

Именно тогда стало пополняться досье на Фатали всякими бумагами и копиями писем — его и ему. И некоторые его разговоры, вполне лояльные: знает Никитич, что Фатали жжет иногда какие-то бумаги — не пепел же начинать собирать? как бы и кое-какие бумаги в досье не загорелись от возмутительных фраз, — душа без формы, в которой бы слова заиграли, живя в оболочке новой ли повести, драмы или исторического сочинения.

Новая для Фатали неожиданность!

— Тубу!! — крикнул он.

— Что случилось? — появилась встревоженная Тубу.

— Кто копался в моих бумагах? — Тубу разводит руками. — Перепутаны страницы! И вот — не моя бумага!

— К твоему столу никто не подходит.

— И здесь какие-то записи! — И читает с листа: — *Новый сонник — мне приснился странный сон.* Что это, Тубу?

— Не знаю, Фатали, душа моя!

— Не знаешь ты, не знаю я, никто не знает! Никто у нас в доме не знает, как эта страница попала в мои рукописи и кто перепутал страницы! Но ты же сама видишь, Тубу! Кто мне это оставил? Джинн, шайтан, кто?

Тубу растерянна, не знает, что сказать.

И карандашом, и чернилами какие-то знаки, вопросы, фразы. *Одна судьба — потеряно лицо.*

И какая-то из слов то ли пирамида, то ли треугольник — слова друг под другом: *Я? А я? А что я? А что же я? А что же все-таки я?* И таблица, в которой на одной стороне — Юсиф, Фатали, Я, а на другой, напротив Юсифа, — шах, и стрелка к нему, напротив Фатали — царь, и стрелки к шаху и царю, а напротив Я — ?, и стрелки от Я ко всем — и к шаху, и к царю, и к ?, и еще стрелки, соединяющие слова как правого, так и левого рядов.

— Может, ты сам рисовал? — недоумевает Тубу.

Фатали измучен, по ночам плохо спит, пишет и пишет. Переписал и разослал во все концы света столько экземп-

ляров рукописи «Кемалуддовле», что ему мерещится, особенно в часы, когда начинает рассветать и он ложится, чтоб поспать ненадолго перед работой, будто вот-вот выйдет книга; и он даже заготовил, собираясь тут же послать, письмо Мелкум-хану с радостной вестью: «Кемалуддовле» издан!

О мой брат! О тот, который, как и я, погружен в горестные раздумья, страдает оттого, что не достиг своих целей, и все выпущенные стрелы пролетели мимо, в небытие; и подавлен, что не понимают современники; *наконец-то вышел русский перевод «Кемалуддовле»* (и все же верит, что первое издание — на русском)! Готовы и переводы на французском, немецком и английском (тайная типография?). Скоро и они выйдут. А пока посылаю экземпляр русского перевода, жаль, что не знаете этот великий язык. О мой друг, тонущий в горестях, ни я, ни вы, мы оба не сумели прошибить стену непонимания. Сохраните это мое письмо! Пусть будущие поколения узнают, сколько мы пертерпели и намучились, ничего не добившись. Может, это удастся им? Но, по правде говоря, и на них, наших далеких потомков, я не очень надеюсь: они ведь порождены и зачаты будут нашими вислоухими современниками!

Что ж, такова судьба! Я — частица этой нации, народа. И ничем иным, кроме слов, кроме мечты и надежд, неразлучных чернильницы, пера да стопки белой бумаги, не владею.

ВЕЧНЫЙ ТРАУР

а книгоиздатель Исаков рассматривал рисунки давно обрусевшего иллюстратора Кара-Мурзы, в чьем облике сохранилось нечто нерусское: щекастое лицо, круглые, чуть раскосые, во впалине, подвижные глаза; все, как просил Фатали: на передний план вынесен из четырех флагов красный, и трибуна — нечто вроде мечети-мавзолея с полумесяцем на шпиле; и женщины в чадрах, взгромоздившиеся на плоские крыши лачуг; и мужчины с кинжалами, поднятыми к лицу; у одного, он на переднем плане, помутневший взгляд, — вскоре в религиозном исступлении откроешь шествие шахсей-вахсей и рассекает кинжалом бритую голову.

цензор перелистал книгу. «а как с христианством? никаких?» и строго смотрит на Исакова.

«напротив».

цензор метнул на Исакова удивленный взгляд. «полковник? ну да, собственник писем...», мол, и эти фокусы нам известны. и даже выдвинутый на передний план красный флаг не вызывает в нем возражений; старый цензор, он гордится даже некоторым, если хотите, вольномыслием: «а я и это могу, да-с! слава богу, семидесятые годы!» к тому же сытно и дешево отобедал на двугривенный сладких пирожков в кофейной Амбиеля, что на Невском, в доме армянской церкви.

и пошла шуметь-крутиться типографская машина!

А в это время «Кемалуддовле», переведенная-таки Рашидом с помощью француженки, опекаемой кавказцем (не потому ли Рашид что ни письмо — просит отца, чтоб отозвали обратно родственника — повара Наджафа, который очень мешает ему: бедному скучно как ссыльному, оставил жену, дом, детей, друзей, это подвиг, к чему Рашиду жертвы?!), кузины Фабьен Финифтер, бело-розовой и легкой как пух Мими,— нет, он не кривил душой, когда писал отцу: «У меня интимного,— и подчеркнул,— близкого друга нет. Есть несколько хороших знакомых, с которыми ничего общего не имею и в близкие сношения не пускаюсь». Мими возникла после, отправил рукопись в Париж со студентом-однокурсником Фажероном, сыном азиатского книгоиздателя «Алибаба».

После перевода первого письма Кемалуддовле Рашид написал Фатали: «Отец, как бы не навлечь беду!»

А потом: «Надо ли это тебе, отец? удары судьбы...» — не закончил фразу.

«Нет, нет! — после завершения перевода. — Джелалуддовле робок в своем ответе Кемалуддовле! Тебе бы больше симпатии к нему, зря к нему не благоволишь! Как бы жестокий фатум...» — и снова фраза не закончена.

Но еще прежде был крик Тубу!

Оба слышали — и Фатали, и Рашид. Это было перед отъездом Рашида за границу, и они только что пришли с кладбища. Одному Фатали известно, сколько ему стоило трудов уговорить Тубу, чтобы та согласилась отпустить сына.

Почти каждый четверг, как положено, Тубу нет-нет, а и

пойдет на могилу детей, но тут чуть ли не целый месяц беспрерывно лил дождь, дороги к кладбищенскому холму стали непроходимыми. А в очередной четверг тучи ушли, и небо сияло.

— Надо пойти,— сказала Тубу,— Рашид должен проститься.

Когда накидывала на голову платок, Фатали заметил, как дрожат у нее руки и губы сухие, бескровные. Прежде не успевала Тубу достичь могил, как по щекам текли слезы и губы шептали молитву, а тут — ни слезинки, выплакала их все, стояла бледная.

А как пришли домой... И вдруг крик Тубу, ее проклятия,— копились и вырвались, и ничто не может их остановить:

— О боже, нет уже места на кладбище, что же ты убиваешь свои творения, обрекаешь нас на вечный траур? Дня светлого мы не видим! — Фатали согнулся, весь поседевший. — Ты убиваешься, но это ты виноват, что умирают наши дети! Это ты, ты и твои дела, будь они прокляты! Жалкий человек, ты поднял руку на священный Коран! Тебя предупреждали: не трогай знаки аллаха! И эта божья кара за твои дерзости, за твое богохульство! Ты умрешь, и наследников у тебя не останется!

— Замолчи, у меня есть Рашид!

— Аллах, вот увидишь, и его у нас отнимет!

— Пусть отсохнет твой язык, что ты говоришь?

— И его, и тебя, и всех нас! — не слышит она Фатали. — Нет и не будет нам жизни ни здесь, ни на том свете!

— Прекрати свои причитания, твой аллах глух!

— Это ты, ты оглох и ослеп, потерял дорогу! Убей нас, чтобы разом покончить с нашими страданиями!

— Мне стыдно за тебя, Тубу!

— Ты восстал, ты возомнил себя выше аллаха! О боже, что же мне делать, помоги отцу моих детей, не мсти ему, неразумному, он слеп, его попутал дьявол, пролей на него свой свет, ведь ты всемогущ, чем тебя прогневали мои дети, сбереги нашего Рашида! Мои дети! мои родные доченьки! мой сыночек! они росли, я молилась днем и ночью, я не смыкала глаз, я вымолила им у аллаха жизнь, я не могла нарадоваться на них, они миновали все опасности, им уже ничего не грозило, я думала, что ты угомонился и аллах смилостивился, простил тебе твои грехи, но нет, в тебе засел дьявол, он душу твою похитил, он копил в тебе злобу,

и на старости лет ты снова потерял рассудок! будь же проклят! о боже!

Рашид, сидевший молча у окна, встал и, подойдя к матери, обнял ее. И Тубу, будто собирались отнять единственного оставшегося в живых сына, крепко ухватила за него.

— Неужели и тебя возьмет у нас аллах?

— Успокойся, со мной ничего не случится.

— Молись, сынок, ради матери своей молись!

— Я же молюсь, мама, и поститься буду, и в мечеть пойду, ты успокойся, пожалуйста!

— О боже, если ты готовишь новые удары, то убей сначала меня!

Фатали лишь на короткий миг, а может, и не было этого мига? заколебался. «А вдруг правда?! — подумал. — Неужто Тубу права??» Миг сомнения все же был, был! Словно потрянуло землю, нечто веками копившееся вдруг пробилося наружу: страх? потрясение? ужас перед горем Тубу? Но способен ли и он на такое переживание? Вопль отчаяния? Или вдруг открылась Тубу истина? Невежество или озарение?! Гнев аллаха — что за бред?! Как он мог усомниться в верности избранного пути? И что можно поделать: что ни год — холера! Сколько кругом смертей! гибнут целые семьи! холера никого не щадит: ни злодеев, ни истинных правоверных, ни тех, кто грешил, ни тех, кто был набожен. Нет, Фатали не прибегнет к доводу, который бы успокоил Тубу; успокоил бы? но все равно не прибегнет, никогда.

— Кара аллаха? Но отчего твой аллах убил детей Мухаммеда — четырех дочерей и трех сыновей Хадиджи, первой жены Мухаммеда?! Может, ты не знаешь их имена — могу напомнить тебе! Если не веришь мне, спроси у Рашида! Рашид, скажи же, чего молчишь?!

— Ну да...

— Что ж ты умолк, продолжай! Или и ты забыл их имена, я тебе помогу, правоверный, запомни: Аль-Касум, Рукайя, Зейнаб, Умм-Кульсум, Фатима, Абдаллах, ат-Тахир! — Но разве способны какие бы то ни было доводы, мыслимые и немыслимые, успокоить Тубу, когда нет и не будет ни ей, ни ему покоя. И способен ли он на такое, как Тубу, переживание? Нет, не способен.

И Рашид пишет: «Как бы жестокий фатум...» Рашиду не верилось, что издадут. Особенно после безуспешных попыток и хлопот по изданию пьес, даже «Мусье Жордан» не заинтересовал ни бельгийцев, ни парижан, и ведь казалось, что стоило Колдуну пустить в ход чудодейственную

свою силу?.. Поможет, потом, многие годы спустя, и даже дважды,— издадут в Париже, сначала «Мусье Жордана», в переводе Люсьена Бува с «тюркского азери», но не Фажероном, а Эрнестом Леру, Rue Bonaparte, 28, а потом и все пьесы, и Колдун лично встретится в Париже с переводчиком; тот решил, что перед ним востоковед, и в голову не могло прийти, что Колдун; мило беседовали о тюркских народах, о Стамбуле, о Фатали, о старых и новых распрях в мире,— поверит разве переводчик Колдуну, если тот станет рассказывать, как строил из кубиков дома Парижа, это было век с четвертью назад, и разрушил город-красу (или столицу?) мира,— как же звали переводчика? Базен? И, кажется, Луи, да, Луи Базен, «с азербайджанского», был ясный апрельский день, и они сидели на скамейке, на Елисейских полях, и адрес издателя (94, St. Maur, France), а на обложке «COMEDIES» — «Кавказская коллекция».

СТРАСТИ ФАНАТИКОВ

Мими нравились эти восточные сюжеты, Мими рядом, и с каждой страницей они ближе и ближе, и Рашид работал увлеченно, ждал этих часов в предвкушении близости Мими, а потом пошло, закрутилось, и не поймешь, то ли о себе они пишут, то ли переводят, излагая по-французски любовные истории Мухаммеда.

— Ты бы пошел, Наджаф, гулять на Гран-Плас! — раздражается Рашид, он только что написал отцу, быстро, нервно: *«Я в совершеннейшей безопасности, я не ребенок чтобы нуждаться в дядке присутствие его (мне очень жаль его) здесь не имеет значения».*

Ответное письмо Фатали в дороге, он не тронул письма сына, но выписал все его ошибки: «Что ж ты, сынок, совсем русский позабыл, в слове «дядка» положен мягкий знак, и запятая нужна, ибо два сложносочиненных предложения, и запятая перед «чтобы», — но Рашиду некогда разбираться в грамматических ошибках, он отправляет Наджафа на Гран-Плас, и они с Мими остаются вдвоем надолго.

и пошли уже оттиски, и уже они брошюруются, и четкими крупными буквами на зеленом, цвет ислама, фоне,— «Переписка двух принцев». на чужих языках — русском и французском, а не родном, не в оригиналах на фарси и тюркском, а в переводе.

и не успел Исаков, только что отпавив экземпляр в Тифлис, автору-собственнику Фатали, выставить часть тиража в своем магазине на Невском, у Знаменья, дом Кохендорфа, припрятав остальное на случай конфискации на складе, о местонахождении которого, как наивно полагал Исаков, никто не знал, и хотя стоял серый сумрачный день, один из самых коротких в году, на нуле, и таяло, и капало, и хлюпало,— собирались по двое, по трое легко одетые молодые люди азиатского виду и о чем-то, ожесточенно жестикулируя, говорили, показывая на книжный магазин.

собрались, пожестикулировали, топая по снежной жижице, и разошлись, а утром следующего дня, когда Исаков явился в магазин,— о боже, что это?! стоят трое полицейских, окна магазина выбиты, молодые студенты выкрикивают что-то гневное.

«вот он! сам издатель!» и несколько человек ринулись к Исакову, но остановились перед его внушительным видом. «господа!»

«как вы посмели? мы сожжем ваш магазин! рассадник ереси! к самому государю!»

и тут же успевшие купить книгу,— в Исакова полетела книга, ударилась и, как подстреленная птица, упала под ноги, и листья под ветерком как невесомые перья крыла.

и еще, и еще, и еще. держа на весу книгу, поджег один, другой, быстро загорелись, еще свежие, краска горит. «что ж вы стоите?!»

послышался топот, и полицейские, осмелев, двинулись на студентов. но в магазине полетели еще несколько булыжников, успели, один ударился о бок Исакова, он прикрыл рукой голову и быстро исчез в магазине. и вот уже казаки, прямо на толпу. «кого защищаете?!» «не смеете!» «мы подданные государя!»

и кони, будто обученные, остановились перед толпой. «расходись, господа!»

«мы из бекских сословий, есть иностранные подданные шахиншахского правительства, мы требуем, чтоб государь!..»

а государю уже доложили о возмущении на Нев-

ском. страшный случай, такого бунта еще не было, предписание шефу, губернатору, министру иностранных дел, специально в посольства южных соседей. «да, да, непременно разберемся». оскорбление царственной особы, веры, и шах! и султан! и паша!

снова персы оказались первыми. да, да, и султан, и ваш государь. смеют рядом называть, но этикет, потерпим, но позволить глумиться?! Исаков? что за книгоиздатель?! а ну-ка! что за цензор? выживший из ума, распустился! другие, свои собственные заботы, а тут с этими азиатцами не поймешь, когда взорвутся, проморгали.

телеграмма в Тифлис, а вдогонку — почта с предписанием.

а в Париже! началось с нот протестов. посольства всполошились, но что выкрики горстки алжирских студентов и всяких там берберов, когда недавно только с могучей коммуной расправились! прошло даже незамеченным, только лишь в латинском квартале, на улочке St. Michel, возле пятиэтажного дома № 13 собрались, пошумели, а потом поднялись на мансарду, где жила молодая турецкая семья, да сочинили петицию на имя президента республики, диктовал алжирец, расхаживая по комнате, подойдет к одному углу, глянет на Notre Dame, подойдет к другому, постоит у окна, глядя на кусочек Парижа, остро-ребристые, из красной черепицы крыши домов, дым печных труб (сам живет в доме напротив, в крайней, но почетной бедности, на антресолях кафе, и комнату согревает проведенная через нее труба из печи кафе), и обдумывая очередную строку петиции в защиту Корана, пророка и арабов, принесших в Европу цивилизацию. «так и напишите! некто фажерон, именно с маленькой буквы!..» вздрагивали, называя имя Мухаммеда, да еще в связи с богохульными еретическими письмами некоего Кемалуддовле, уж не рука ли России?! Сочинитель, это они узнали, осадив издательство, у самого Фажерона, вышедшего к ним для переговоров, — какой-то кавказец, царский полковник. алжирец набирался воздуха, прежде чем произнести имя пророка, да накажет

он!!! вряд ли мусульманин, подставное лицо, быть этого не может, чтоб мусульманин! а в Тифлисе великий князь — вот уж не ожидал — по срочной телеграмме царя был крайне изумлен, долго не мог выправить свихнувшуюся челюсть. этот прилежный как будто. и как сквозь туман: ваше императорское высочество, голос Никитича, полюбуйтесь! да, да, ведь было письмо из таможи, Брест-Литовска!

эттакий фортель! — подвернулось на язык генерал-фельдцейхмейстеру.

что это вдруг все чины разом к Фатали. и ни одного из низших. во главе с наместником. мелькнула догадка: награда? новый орден?! за заслуги? ведь почти сорок лет, или больше, служит, такого еще эти стены не видели: и шеф, и шеф особый, и губернатор, и полицмейстер, и младший чин, из тех, кто — не наместник же! — должен слегка прикоснуться к Фатали, чтобы потащить, оттащить, затащить куда следует, и уже двое держат его. куда? ах вот почему летели некогда сигары-снаряды к Мстехскому замку. и лязгают цепи, и тяжелая железная дверь будто живая, ржаво как нож.

успели к Тубу, та в канцелярию, «надо было думать раньше, советовал бы не лезть!» тот же голос, только тогда облизывал пальцы и губы, расхваливая, — «хороша хозяйюшка!» вспомнил все же хлеб-соль, «я бы на вашем месте, — фазан, как корона, венчал вершину плова, но строго, не глядя в глаза, — всей семьей, как бы чего не вышло, в Нуху, подальше от всех, не можем ручаться!» «да, да, немедленно, ведь я ему говорила! и Рашид писал!»

«Мелкум-хан! Мелкум-хан!» да ведь что ему до нашего Корана и пророка?!» «да я такого!..» Фатали доведен до крайней точки, он может оскорбить. «да, да, это кара! кара аллаха!» и Рашид еще здесь был, но не защищает мать, и за отца не заступается. и шурин тоже, ее брат. Фатали ни о чем не знает, книга и добрая весть еще в пути. но глаза! глаза Никитича! неужто «Кемалуддовле»? но ведь читали! или письма вышли? узкий квадратный двор и высокие толстые стены. и же-

лезная решетка. и тишина, будто гроб. не сон ли? на нем нет мундира, защитил бы. арестантская роба. как Тубу? день или ночь? время как сплошное неделимое, только по щетине на лице можно узнать, сколько прошло, а потом и борода не могла помочь.

от послов к консулам, а там в столицы. вот оно, началось.

и разъяренная толпа врывается в дом Фатали, посуда окна лампы люстры стены трещат от напора и лишь ставни не выдержав рвут петли, летят по комнате вылетают в коридор во двор а там ветер подхватив выдувает на улицу и уже над Курой как белые птицы летят вырванные не о Колумбе ли, открывшем новый свет? или это страница из тщательно изученной Фатали книги Миттермайера «Смертная казнь»? под ногами топчутся, позвольте! но ведь была тревога! цензура запретила! были изъяны! как попала в Тифлис?!

шеф жандармов сделал специальный доклад царю! «Азбука социальных наук»!! спрятать! закопать! «как первое явственное осуществление! программа Российской ветви «интернационального общества»! литературные приемы замаскирования! весьма дерзкие выражения о монархическом образе правления! топчутся, Фатали очень дорожил, два тома Бокля, первый открыт, и на странице еще минуту назад можно было прочесть рукой Фатали по-русски, а чуть ниже на фарси, но уже стерлись, топчутся что-то? «Комедия всемирной истории»?! он недавно купил эту книгу, и летят ее страницы!.. но неужто весь этот пандемониум глупости и подлости, лжи и обмана, слез и крови — комедия? еще можно успеть прочесть: да, да, именно в эфирной атмосфере юмора трагедия всемирной истории обращается в человеческую комедию!.. но Фатали уже поздно начинать сначала!

а вечером, кем-то подожженный, пылает дом, неистово треща, и в серой мутной Куре отражается пламя, распухают, надуваются и разом вдруг вспыхивают книги, одна другая третья, и корчится арабская вязь, сморщилась от ожогов на по-

даренной персидским принцем Фархад-Мирзой книге «Чаша Джемшида», показывающей будущее, куда Фатали давно не заглядывал.

и рукой Фатали на полях книги «Опровержение на выдуманную жизнь Иисуса» — «батюшка...» сначала сгорели «костры» потом огонь слизал «инквизицию», и долго еще пламя не касалось «обожжаемого вами христианства». пепел, хлопья. на кладбище! разворошить переломать покосившиеся уже надгробия, истоптать, предав проклятию.

гневные письма царю: из Парижа, Стамбула, Тегерана. лопнуло издательство Фажерона, не вернулся на учебу в Брюссель его сын, и Мими, чуть располневшая, уехала в свой родной город Спа, взяв неожиданно отсрочку, чудом выжила, бледная, еле на ногах держится, «ты меня не узнал бы, Рашид», — вздохнула.

изгнан чужак цензор, ослеп или дальтоник, красного флага не заметить, разорен Исаков, докопались и до тайного склада, радуется Гримм.

и уже требуют султан и шах выдачи им Фатали, судить по шариатскому суду, да-да, и Ахунд-Алескер ведь был некогда членом шариатского суда, и думают, понять не могут ни шах ни султан, при чем тут Ахунд-Алескер или шифр какой?

ну уж нет, как-никак царский полковник, здесь е. в. г. и. возмутился: «мы сами-с!»

и спорят меж собой Стамбул и Тегеран: кому судить?

«Но ему-то чего шуметь? — думает султан Абдул-Азиз о шахе: ведь Джелалуддовле, который обрушился с руганью на Кемалуддовле, — их принц!» Но Насреддин-шах знает: нет у них такого принца, хотя как он может ручаться за всех детей Фатали-шаха?! Но изгнанных-то он знает, каждый на примете!

Знал Насреддин-шах, что из младших сыновей Фатали-шаха, двоюродный, о боже, дед его Джелалэддин-Мирза, надо же: Фатали-шах зачал его, когда было шестьдесят, думает с тайной завистью Насреддин-шах, дружен с этим мятежным писакой, хуже бабитов! Фатали тезка, так сказать, любвеобильного шаха! Как наш родственник?! да вы что?! какой Ханбаба? какой Бехман-Мирза? ах этот, при-

житый!...— и такая ругань!.. мне? четвероюродный брат???! (знаки шаха). Вот они, плоды невозддержанности!

Насреддин-шах, вступив на престол, поначалу решил ограничить — по глупости ведь, думает сейчас, — число жен в гареме: мол, достаточно и Кораном предусмотренных четырех, а то наплодил Фатали-шах принцев, всех не переловишь, чтоб чувствовать себя спокойней; но оказалось, что сладострастие у шахов в крови — был тогда молод, неопытен, сболтнул сдуру насчет гарема, что он, немощен? или скуп? пусть себе наслаждаются под сенью шаха юные пташки: и персиянка, и гречанка, и турчанка, особенно она, бывшая суннитка!.. и даже... но к чему выдавать гаремные тайны?!

Ой как хохотал Насреддин-шах, когда до него дошла весть, что юный султан Абдул-Азиз, вступивший на престол много позже его, вздумал громогласно объявить в империи, что отказывается от гарема и ему достаточно только одной жены! Смех! Чтоб султан, да одну?!

«Я от короны откажусь, — сказал он тогда везиру, — если, помяни мое слово! не восстановит султан Абдул-Азиз свой пышный гарем».

И действительно: не пришлось повергать страну в пучину бед; и такие у суннитов гаремные интриги пошли, ой, ой, ой!.. Один за другим сменялись везиры, министры, чиновники.

Так вот, этот Джелалэддин, а с чего шах о нем вспомнил? ах, да! в связи с изгнанным Джелалуддовле! Нет такого принца! Джелалэддин, сын Фатали-шаха, действительно мечтал сбежать под предлогом паломничества в Мекку, чтобы там или, может, в Багдаде — знает о его планах Насреддин-шах! — написать четвертый том своей «Истории Ирана»! Лазутчики перехватили его письмо. «Так это же он и есть!» — Насреддин-шах аж подпрыгнул на ложе, напугав гаремную пташку, — ну да, именно этому Фатали писал принц Джелалэддин!

А до этого принц просил тифлисского консула Мирзу Юсиф-хана, и до него шах доберется, поплатится тот за свою конституцию на основе Корана! бросит в Казвинский каземат и прикажет стражникам бить еретика его же сочинением, прежде одетым в металлический переплет, по дурной башке, покуда на глазах не выступит бельмо и не вытекут зрачки, — так вот принц Джелалэддин просил тифлисского консула передать только что изданную свою книгу «История Ирана» двум истинным мусульманским ученым

России: Мирзе Фатали и Мирзе Казембеку, один живет в Тифлисе, а другой — в Петербурге, первому вручить торжественно, а второму послать с письмом, да, да, именно о Фатали (а потом и ему самому!) писал этот принц Джелалэддин, что, мол, рта раскрыть не могу, — а как же? всех зажал в кулаке Насреддин-шах, никто пикнуть не смеет! и, мол, не знает принц, как ему удастся всю правду (!!) о нынешнем шахском правлении в заключительном томе истории написать: живет-де надеждой, что или произойдут у нас изменения (жди!), или судьба выкинет меня из затхлой моей страны за границу (?!), где я смогу честно и правдиво написать о нынешнем правлении то, что я думаю.

Как же — выпустит Насреддин-шах своего двоюродного деда (!) Джелалэдина за границу!

Разрешение ему он, конечно, даст на паломничество, только тот до Мекки не доедет, — эти дела очень-очень легко делаются.

А чего султану Абдул-Азизу о Кемалуддовле печься? Из-за какого-то Фатали голову себе морочить. Из-за того самого Фатали, который, сказывал ему тогда премьер, с какой-то дерзостной мыслью в их священный Стамбул приезжал, — вот когда надо было хватать Фатали! Пусть лучше султан позаботится о неблагоприятных делах в своей империи: восстал Крит! восстали Герцоговина, Босния и Болгария!

А под боком зреет, тут же, в Стамбуле! заговор: сам премьер с министрами султанского правительства Мидхад-пашой и Гусейн-Авни-пашой! да еще шейхульислам подключен, сочиняет фетву, приговор, чтоб благословить переворот: «Если повелитель правоверных доказывает свое безумие, если он не имеет политических знаний (!!), необходимых для управления государством (??), если он делает личные издержки, которых государство не может вынести (*ай да султанская Порта!*), если его пребывание на троне грозит гибельными последствиями, то нужно ли его низложить или нет? Закон гласит: «Да!»

И о заговоре знает даже русский посол граф Игнатьев! а Богословский — и подавно. И в одну из ночей Гусейн-Авни-паша вынудит наследника престола Мурада, племянника Абдул-Азиза, — а что тому делать: револьвер к груди приставлен! — принять корону, а Абдул-Азиз... Не знает, бедняга, что его умерщвляют, а народу объявят, что вскрыл себе ножницами, вот они, острые, вены и умер.

О боже, сколько убийств скоро произойдет в течение не-

скольких дней в султанском дворе: сойдет с ума повый султан Мурад, и его тоже сместят, затем в доме Мидхад-паши фанатичный сторонник умерщвленного Абдул-Азиза, черкес Гасан-бей, учинит месть заговорщикам!.. Вот какие бесовы духи скопились в Стамбуле, а Абдул-Азиз, будто усынили его, несчастного, затеял эту историю с «Кемалуддовле» и спорит, спорит с шахом!..

мы! мы должны судить Фатали! чтоб это послужило уроком всему туранскому народу от Алтая и до Средиземноморья в Европе, Азии и Африке! а Насреддин-шах недоумеваает: неужели это тот славный малый, что приезжал еще во времена Николая с щедрыми дарами и кабинетным письмом, собольи меха и горностаи, чтоб поздравить с восшествием? и шах вручил ему орден «Льва и Солнца»?!

«отозвать посла из Парижа! — говорят ему. — это он пригрел Фатали!»

а еще кто? Мелкум-хан?! Сын Мирзы Якуб-хана? мой собственный переводчик?! когда я ездил по Европе? но что с того, что изгнан из страны?! — уже дух протеста в шахе зреет. — я его изгнал, и я ему простил! и мой родич тоже, я уже знаю, Джелалэддин! наплодил шах, один глупее другого, все, кроме Аббас-Мирзы, это был достойный полководец, но ни одну битву, увы, не выиграл! но никто не осмеливается напомнить шаху, что «о шах, а ведь внук этого еретика Фатали доводится вам вроде бы э... брата, нет-нет, четвероюродного!»

но зато «мой шах! — кто-то над ухом. — ведь Джелалэддин-Мирза, если именно он выведен под именем «Джелалуддовле», клеймит в сей преступной книге Кемалуддовле!»

«куриный ум у него, а сам трус, станет он спорить с кем бы то ни было!» — шах очень надеется, что выдадут Фатали ему!

А как же: он царю помог и еще поможет — походом в афганский Герат! Дотронулся до золотого ключа от врат Индии! Войсками шаха при осаде Герата руководил царский посол Симонич. Пусть афганцы в союзе с англичанами победили, но зато царю стало чуть легче в Крымской войне. И походом на Багдад помог, отвлек от России султанские войска. Да и не шах ли молчаливым содействием

способствовал захвату царем Туркестана, покорению непокойных соседей в Средней Азии?!

Ах, сколько войн! Не успеет завершиться одна, как затевается новая! Эта извечная и ненасытная имперская жажда войны! А как же иначе? Чтоб отвлечь, собрать воедино расползающуюся империю, дать выход накопившемуся недовольству в низах, направив усилия в одну-единственную сторону, чтоб осталось неограниченное право давать и душить. Эта политика авантюра на грани войны и неизменная пляска на острие меча; не начнешь ты — начнут с тобой!

и послы в Петербурге спорят, Ахмед-паша и Яхья-хан, до хрипоты, вот-вот голосов лишатся в холодном влажном граде Петра: именно они, турки! нет, мы — персы! чуть до разрыва отношений не дошло: не воевать же им после стольких лет мира?! из-за какой-то книги, тем более изданной на гяурских, вряд ли хоть одна сохранится! правоверные еще не умерли ни в Париже, ни в Петербурге, ни где-либо еще!

а если кто и сохранил, дознаются!

сын иранского посла, тот, кто первым сжег перед магазином Исакова, припрятал один экземпляр, все же редкость, никогда ведь не выйдет такая книга!

но чтоб кто-то диктовал империи?! этого еще не было в истории самодержавного правления!

«успокойтесь, господа, мы сами обладаем достаточно проверенными и испытанными способами расправы с неугодными нам писаками! были у нас и дерзкие «путешествия», и возмутительные поэмы о троне преступников и палачей, и романы, предписывающие, что делать бунтовщикам, и «письма» были одного выжившего из ума, ведь рехнуться надо, чтоб на такое пойти! но туземцы пока помалкивали, и вот вам: и к ним пришла эта холерная эпидемия, а как же, одна ведь империя, и этот, полюбуйте на седого полковника, пишет о делах своих будто туземных, о Мухаммеде-Магомете, но с замахом на всю империю, под корень! эти подтексты! эзопппп! да, да, неизбежно! казни, ссылки, падает один, другой, но появляется третий, и он идет. и снова пытки, ссылки — до тех пор, пока не рухнет деспотиче-

ская власть! пока не сгинет! а может статься — не увлечет в своем падении в пропасть всю Европу, всю Азию, весь мир! распространит образ деспотического правления — кусок за куском, часть за частью — на всю землю? но нет, быть этого не может: или — или; или неизбежность падения, или бешеный бег тройки-птицы, и все тянется в длинный хвост, как у кометы, и падает в бездну! в пропасть!..

неспокойно в Нухе, толком, правда, никто не знает, почему их гордость Фатали, которому и шах, и султан, и царь жаловали ордена, вся грудь сверкает, сидит теперь в Метехской тюрьме, разгневал сразу трех властелинов, презирающих друг друга: царь султана, султан царя и шаха, а шах обоих, а пуще по привычке султана-суннита. ай да внучатый племянник почтенного Ахунд-Алескера, неизменного члена шариатского суда, — так нет же, не могут наши усидеть на месте! какое тебе, мусульманину, дело до драчки русской или французской?! эти декабристы, апрелисты-фурфуристы, коммунары?! они и бунтуют, они и свержают, они и мирятся потом! какие у тебя могут быть счеты с имперским престолом?! наших там не было, и запомни! вбей в свою глупую башку! не терзай ни себя, ни семью, ни родичей! вряд ли когда будет, допустят, чтоб ты, тюрок-туземец-турка, на первых и даже четвертых ролях был в имперском правлении! роли эти давно меж собой распределили: и трагики, и комики, и даже шут, чтобы иногда развеселить, ибо смех живителен для состарившихся тел.

может, когда-нибудь, нет-нет, не скоро, и посадят тебя близко к престолу, но лишь затем, чтоб скромно и благодарно помалкивал да частенько поддакивал, будто выражая волю туземных сограждан давиться, топтаться, иссушаться, как родник в раскаленной пустыне, отдавая тягучие горячие соки, вгоняться по шею, по уши! и чтоб некоторые из особо отмеченных тобой златоустых и юрких туземцев, красуясь тобой, а ведь стоишь ты рядом с самым государем, тянешься из-за его спины, чтоб тебя увидели...

и чтоб мог златоустый воскликнуть упоенно: «он

первый! еще не было! рядом с самим! и даже ростом, поглядите, они вровень!»

наш, конечно,—подумает уже про себя,—чуть выше, такого богатыря мать родила (бакинская, кубинская и т. д.), «но смотрите,—не сдержались слова в душе, вылетели, выпорхнули, ликуя и купаясь в лучах славы земляка-туземца, наружу,—как он благороден! какой такт! какая выдержка и тонкость! всегда пригнется чуть-чуть, чтоб государя не обидеть!»

а Фатали? чего ему не хватало?! отмечен! выдвинут! почет и слава! отвернул от себя разом и султана, и шаха, и царя! это надо же уметь — всех сразу! черт с ними, султаном и шахом, но царя!!!

в Нухе оставаться опасно, может, попросить Ханкызы, ведь ее любит Фатали, чтоб, нет-нет, заступаться перед царем опасно, не надо, станут ее слушать там. успокоить только пухинскую знать, чтоб те угомонили чернь, этих пухулулар. Ханкызы уже знает, никак не может понять, как же Фатали посягнул на священную их книгу?! к ней прикасаются не иначе как приложив к глазам и прижавшись к корешку устами, и дают клятву, положив руку на ее прохладный кожаный переплет.

как же тогда сплотить и сохранить мусульманский мир, если эту книгу, язык не поворачивается сказать, но отчего же тогда, не поймет Ханкызы, рассержен царь, а может, мелькнула надежда, упрятал в Метех, чтоб сохранить и сбереечь, не дав на растерзание разбушевавшимся правоверных?

а Тубу-ханум ни в чем не виновата, увезти из Нухи в глухую деревню Алькун, чтоб скрылась, спряталась, неужели за поддержкой обращаться к юному генералу, о нем говорил Фатали, к нему, генералу, благоволит сам государь, и генерал дружен с дядей Ханбабы, принцем Фархад-Мирзой, правителем Фарсистана, вспомнила Тубу!

генерал Старосельский! он губернатор Баку и только что переведен на работу в Тифлис, возглавил департамент общих дел! но как объяс-

нить, что сказать? Фатали уже знает: «Кемалудовле»!

но не радуйся, ни одного экземпляра не увидишь, сожжено, разграблено, разорвано, и даже тот, что послан Исаковым, Никитич возьмет себе, в свою коллекцию запрещенных книг. и то «философическое письмо». и номер за номером «Колокол». долго охотился за первыми двумя номерами, но и его достал, когда после исчезновения Александра, с которым Фатали летал, но о том никто-никто не знает, даже Никитич, произвели обыск: газетные листки были свернуты трубочкой в бамбуковой трости с выжженным на ней латинским изречением *Patit exitus!* Никитич не знал латыни, но не настолько, чтоб не разобрать этой знакомой надписи: страдай, несчастный. и какой-то листок, торопливые строчки, повертел в руке, выбросить хотел, но оставил, а потом и забыл, она меж тонких газетных страниц, осмелился как хранить их у себя Александр? а это обрывок разговора с Фатали вроде доказательства, но кто о том знает? страх перед черной и в защиту монарха, обескуражил Никитича: что же дальше? воины будут биться, ораторы возбуждать к резне, чернь разбивать витрины, насиловать женщин, терзать чиновников, Малороссия отложится, горы растекутся в набегах на Крым, до Москвы, Оренбурга, подымут черемис, а там еще ойраты, вотяки, чухна, да, да, мы с тобой летели, эФ,—невдомек Никитичу, что это Фатали, с кем летел (???! — знаки Никитича) Александр. и какие-то племена, вместо лица безобразные куски мяса, а вместо глаз какие-то пятна, на маленьких крепконогих лошадях, едят сырое мясо и не знают ни домов, ни пристанищ, произошли от злых волшебниц, которые совокупилсь в степи с нечистыми духами, и врываются из степей, и дальше через Россию в Европу, а Сибирь встанет и заварит кашу с чинами (?), пойдут по Руси новые Пугачевы и Разины, плодя генералов и маршалов, и Шамили, с одним не справишься, а что как пойдут сотни?! англичане под шумок отхватят Амур и Камчатку, а турки юг, чем же помочь? Монарх — это стержень, это ключ!!

«да, да, в Нухе оставаться опасно».

«они в надежном укрытии», — не назвал глухую деревню, это шурин, он недавно стал коллежским советником, ему уже не скажешь просто Мустафа, а обязательно Мирза Мустафа. «а что дом? было б здоровье». «и деньги». «деньги — грязь рук», вранье, конечно, земляки в давние времена придумали с помощью златоустых, чтоб таких горемык, как Фатали, успокоить, — смоемся, мол, эта грязь с рук и снова налипнет.

«а книги?»

«о чем ты печалишься? была б голова цела!» и сомнение вдруг: зачем это мне? оно вспыхивает в нем, и он его гонит. бросил комедии! четверть века ни строчки! ему б писать не трагикомедии или трагедии, а только комедии, зря бросил! я ли виновен или кто другой? и эта реформа с вязью, которой отданы лучшие годы! а может, — снова вдруг догадка загорелась, — поощряли, чтоб отвлечь и увлечь?! и чтоб бросил головоломную прозу? трагедии?..

«он что же, бомбардир? мы ему этого не поручали, сочинительство про монархов! и с казнями верховной власти!» пусть уйдет в алфавит! разрешать и сдерживать, поощрять и не пущать! сыграть на тщеславии: да, да, он первый! «неужто не понимает абсурдности, господа? посмеивались канцелярские чины (Никитич?), пусть увязает в Алифах и Беях!»

но поздно! сколько сюжетов погибло!! и правда Тубу вдруг ярко вспыхивает, и он гасит ее, чтоб снова: зачем это мне?! я брошен в каземат, семья прячется. сын.

«напишите Рашиду, чтоб не приезжал!» а как ему напишешь, язык как повернется: «не приезжай!» и что он будет делать на чужбине, имею ли право разлучать мать с сыном.

«да, да, ему лучше не возвращаться. здесь никогда не будет ни прав, ни воли». а родная земля? опомнись Фатали.

«может, еще присказку мне народную прочтешь: «гуляй на чужбине, а умирать — на родину»? но где родина, и где чужбина? не на чужбине я, ты прав, но и не на родине, где-то между».

и зачем это мне. жжет внутри. «эй, чаю мне, чаю!» и говорит, и слушает сам.

мозоль на среднем пальце, всегда красная вмятина, ибо пишет и пишет, а теперь вмятина вздулась, и Фатали трет ее, трет, а в мыслях роятся слова, фразы, рифмы, диалоги, картины; и сны какие-то, незнакомый мальчик, которого надо опекать: подвижный непослушный не уследишь, выбиваясь из сил, бежит за ним, край пропасти, не упал бы, и догоняет, крепко держит за руку. кто он, на внука непохож, почему оставили на его попечение? чужой, незнакомый мальчик, к чему бы? ах да, вспомнил: малое незнакомое дитя к печали, заботам, новому врагу.

у него сразу три!

И собираются, он слышит их голоса, сколько их было, друзей, на его долгом веку, молодыми умершие, а он еще жив, пора бы, чем он лучше их?!

И Бестужев. Пригнувшись, он переводит его сочинение, и губы шепчут: «Стрела смерти...»

И Одоевский. Бледный, с изъеденными лихорадкой губами, «мне улыбаться нельзя».

И Лермонтов. С нелепым приключением: «Надо в комендатуру!» И хохочут на Шайтан-базаре люди, глядя, как Лермонтов рисует углем ослика на стене, и на осле — татарин в бараньей папахе.

И Бакиханов: «Ай какой хитрый шекинец, поэму успел раньше всех сочинить!»

И Фазил-хан, мечущийся в поисках лучшей доли.

И вождь мусульман-шинитов Фаттах,— ее нету, этой лучшей доли, ни у тебя на родине, ни здесь, не обманывайтесь, не верьте, не верьте!..

И исчезнувшие друзья: Хачатур, Мечислав, Александр!

— У нас с тобой, Фатали,— звучит ясно голос Хачатура,— как по поговорке: «Раз свидетелсь — товарищи, бир горанда — йолдаш; два свидетелсь — братья, ики горанда — кардаш».

А Фатали ему:

— Мы обо всем договорились, брат, да умру я за тебя, мен олюм, имей совесть, Хачатур, не был Кёр-оглу армянином!

— Может, ты и прав,— улыбается Хачатур.

— Не может, а точно, не упорствуй, мен олюм!

Хачатур молчит, и последнее слово за Фатали осталось... «Где твоя могила, брат? Ты часто говорил: «Что ни день, воочию вижу свою могилу». По твоим стопам уже идут, Хачатур, гремит слава Сундукяна, весь Тифлис бредит «Пэпо»! А кто пойдет за мной?!»

«Где пожар? где горит?» — кричат люди, высунувшись из окон, а Пэпо: «Здесь горит!» — бьет себя в грудь. Душа у бедняги горит!

Да, горел, никак не потушишь, сгорел тифлисский театр! Фатали стоял спиной к штабу: насосы тщетно боролись с огнем, и тела в пламени пожарища как черные точки. Неужели последний в жизни Фатали?!

Эти пожары, начавшиеся в далеком и долгом тридцать седьмом! Зимний дворец! Пляска мести! джинны огня бесено мчались, сталкиваясь и разлетаясь, и рушились своды, грохот, пламя, искры, и потоки огня бросались в окна, плясали в водах Невы и круглых выпуклых глазах падишаха Николая, и он кричал: «Спасти императорские бриллианты! образа и ризы! знамена!.. знамена!.. Как куда?! в Адмиралтейство! к Александровской колонне! Эрмитаж! спасти Эрмитаж!!»

И рушатся переходы, солдаты воздвигают на пути огня стену из кирпича, — нет-нет, Колдун ни при чем! ни тогда об этом не помышлял, хотя и мог бы, что ему, всеумеющему? ни теперь не причастен, исчез, давно его не слышно!

А он спешит. Только что с колдовских занятий. Новейшие футурологические приемы (!!?), побывал в прошлом, призраки Паскевича и Ермолова, и как сцепились — не разнять их!

А потом задумался:

да, на его совести разрушение Парижа!

да, это именно он обрушил удар на Арарат, скрывать не станет, в отместку упрямым землякам-нахичеванцам, не пропускавшим его в Эривань, мол, нету у тебя соответствующего разрешения (?!), и от силы удара — уж как ни крепок Арарат? — откололась часть горы, и, увы, невинно погибли соседи из деревни Акур. Что? дело было иначе?! Кому-кому, а уж Колдуну знать лучше!

Что-что? Наводнение в Петербурге?! обезумевшие воды? Иплыли ушаты, бочки, гробы и кресты, смытые со Смоленского кладбища? И даже будка, что стояла перед Зимним дворцом, плыла? Нет — не причастен! Никаких козней против русских падишахов — ни тогда, ни теперь!

Колдун спешит. Он устремлен в будущее, и оно непременно случится. Уже вот-вот! Даже было и прошло!

Фатали ничего не видит, лишь окно в решетках, а там темень, небо без звезд, но они есть и вряд ли позволят, чтоб их обманули и на сей раз.

«а!.. это ты, Колдун!» и уже без родинки: засохла и выпала. а не больно? а крови не было? не было, мама (??), не бойся.

«а говорил, что чудес не будет!»

«много помех!»

«стены?»

«стены чепуха — призраки Ермолова и Паскевича! так сцепились, что еле разнял их. как он кричал, этот Паскевич: «ошибка! я разгромил!» «что, спрашиваю, ошибка?» а он заладил: «ошибка! ошибка!» «Польша?» — спрашиваю, чтоб увести от навязчивой идеи. умолк, а потом снова: «я разгромил! хвастун Ермолов! родственник Грибоедова! Аббас-Кули!»

«ну да, ведь дружны были с покойным Аббас-Кули Бакихановым».

«Ермолов, этот бестия, все ему, видите ли, известно наперед, и даже день смерти, когда умрет, никому неизвестно, а он, оказывается, знает! а Паскевич и в этом ему завидует. еще когда с Шамилем в Москве встретились, Ермолов, Барятинский и Шамиль, а я притаился, слышу, когда прощались они,

Ермолов жмет руку Шамиля:

— Ну-с, мы еще увидимся.

— Это знает лишь аллах!

— Я знаю, когда умру.

— В жизни и смерти волен аллах.

— Да? — Повел их в кабинет, достал из запертого ящика лист исписанной бумаги и подал Барятинскому, а там — вроде послужного списка. — Чьей рукой писано? — спрашивает у Барятинского.

— Вашей. — Знает вся Россия почерк Ермолова.

— Читай, — ему Ермолов на «ты». А там, в этом листке, — и день смерти.

«извини, я отвлек тебя, ты сначала додумай свои мысли, я прервал тебя, ведь о Мечиславе не успел!»

«Да, да, Мечислав! «... Вырыли,— это он о триумфе восстания! — пять могил на площади в честь повешенных героев — и пять холмов!..» Как же эти пустые могилы, есть эФ, да! Кенотаф!» «и родился клич в огне восстания: «За нашу и вашу свободу!» А потом, тридцать лет спустя? Снова обреченные! Вешатель! Позорная вспышка шовинизма и ревности: «Измена варшавская? Иметь конституцию и снова бунтовать?!»

Но ведь был и угар! Они всегда рядом, близнецы-братья, угар и вспышка! И опять далекий голос: Александр! Мы — с вами, потому что мы — за нас. Мы хотим вашей независимости, потому что хотим нашей свободы.

И Александр спас честь земляков. Но какое улюлюканье рабского большинства! И — глухота, ибо угар!

О, глупцы! Надеяться на подмогу со стороны, из-за морей и проливов! Чудаки! Как же без соседей? Не сообща? Без, запомни, Фатали! «повсюдного» взрыва?! И Шамиль надеялся, что помогут. Кто-то еще. Неужто еще кто-то надеется? Да, думалось в Турции! «Вы нам не поможете!» Это Кемал Гюней!

И вспыхнуло: как часто это, намешанное-перемешанное,— он в Турции, а думы и о Польше тоже! Он, царский чиновник, азербайджанец,— и думы о Польше! уже было! другой! из конно-мусульманских вождей! первая азербайджанская повесть — в польской столице! на французском! до этого Фатали не додумался! Первый образец — да еще на таком совершенном языке! Помнишь, с ним сравнивали ваш родной тюркский! И Бестужев, а потом Мишель: «...в Азии, как с французским в Европе!»

Но и в польском ведь намешано: и литовцы, и белорусы, и русские! Увы, не успели, а потом обмануты. И клич запоздалый: «Не распуститься в польском деле, а сохранить себя в нем для русского дела». Что? Еще намешано? И мусульмане тоже?! На сей раз их, кажется, не было! Как? Разве и тогда сверкали шашки конно-мусульманского эскадрона, верный оплот императора?! Наследники Куткашинского, всегда готовые отстоять честь империи! Это он как-то Фатали в далекие те годы:

— Да, я пошел крушить и рушить! — Фатали изумленно слушал Куткашинского, вспоминая Мечислава.— И не удивляйся, не один я так думал! Из тех, кого ты боготворишь...

— Бестужев?

— Да, он.

— Но ему было стыдно потом!

— Он что же, когда поэму твою переводил, сознался? Но я напому, что он говорил (было лицо Куткашинского, стало — Колдуна): «Жаль, не удастся променять пуль! Залить их кровью!»

И эти давние думы Фатали: как уживаются — и против царя, и против горцев? и за собственную свободу, и — за рабство других? Не распутать этот узел, не разрубить.

А сколько тех, которые жили рядом и с которыми был дружен, и о них даже не вспомнил!

И князь Хасай!.. Он обвинен в заговоре, но Фатали не ведает, не успела дойти весть, и сослан куда-то в глубь России: Воронеж? Саратов — Сары-тау? «Желтая гора»? все горцы — от каждого по одному представителю в этом «интернациональном» заговоре, раскрыл бархатный диктатор Лорис-Меликов по доносу: и осетин, и чеченец, ингуш и кумык, и кабардинец; и как гром в ясный день, но не услышит Фатали: самоубийство Хасая! Позорное обвинение! Смыть пятно!

А прежде поэт Закир, и о нем ни слова! «Стар, стар, а какая юношеская любовь в твоих стихах к Ханкызы, нашей Натеван! И от любви твоей прямой стан, подобный алифу, изогнулся дугой, иною арабскою буквою скрючен», но скрестились на ней взоры: и Фатали, и Закир, и князь Хасай, и Сеид, любимец поэтического меджлиса. «Да, и я когда-то, и ревность Тубу».

И Фатали, уже старый, вспомнил Закира, когда воспел юную Ванду, полячку, она гостит в Тифлисе: *О боже, неужто возможно такое совершенство! Это чудо, перед которым меркнет живое!*

«Тебя хватило, — сказал бы ему Закир, — на чужестранку Ванду, а о Ханкызы ни слова?! Ужели она уступает Ванде?» Но тебе не суждено было увидеть Ванду, Закир, о мой друг Касумбек! Эта Ванда! Тридцать лет спустя! И так похожа на Мечислава! Но мало ли поляков светлоголовых и голубоглазых, как Мечислав, как Ванда?! Это чудо!

да, о Закире ни слова! и о Ванде!

и еще о французе! о великом французе, давно уже нет его на земле, Александре Дюма! много их было, Александров, на твоём веку, и ты обещал вспомнить про всех! ну да, когда я открыл

тебе страницу древней книги, о временах Шах-Аббаса, помнишь?.. ладно, я как-нибудь сам эту схему составлю о каждом твоём Александре! начну с царя. а лучше с Македонского! да-да, с него! далее Искандер Мунши, затем изгнанный, как его?.. ладно, я сам, а ты обещал об Александре Дюма!

И о Бестужеве разговор, им переводила Фабьен Финифтер, Фатали о поэме своей, а Дюма — о дербентской любви Бестужева. «Не слышали? Как же так?!» — удивлялся Дюма. Его погнали на Кавказ легенды о Бестужеве, которыми бредил Париж, и будто бы Шамиль — это Бестужев (!!)

еще одна легенда — к тем, о которых слышан; и Фатали не успел записать ее, эту историю любви Бестужева; так вот почему остался Бестужев в памяти Фатали погруженным в горести, — впал с тех пор в мрачную меланхолию!!

И Дюма рассказал об этой любви. Об Ольге. И остался б хоть кто-то из рода Бестужевых. Резвясь, она нечаянно задела за курок заряженного пистолета, лежавшего под подушкой Бестужева (или собачка зацепилась за космук ковра?). Выстрел, и она, обливаясь кровью, опрокинулась на кровать. Бестужев, вскочив, уронил свечу, задел рукой круглое зеркало у окна и разбил его: пуля попала ей в грудь и прошла навылет. Но прожила два дня, исповедаясь. И следствие: самоубийство из-за ревности (якобы перчатка петербургской дамы)? А может, убийство?!

«Зачем вы имели пистолет при себе заряженным?» — придирался следователь: ведь Бестужев — государственный преступник и у худой славы быстрые ноги! Предосторожность. Это ж так очевидно: разбойничают немирные горцы! И даже ей не верят! Спас старый священник, принявший последнюю исповедь, он узнал ее тайну!! И может, не прервался б род?

На надгробной плите — роза без листьев, опаленная молнией, и надпись: *Судьба*.

Александр Дюма оставил надгробное четверостишие, навестив могилу в Дербенте (а потом продолжит путь в крытом тарантасе в сопровождении конвоя из конных полицейских и линейных казаков, а также толмача при пистолетах, шашке и кинжале в ножнах, инкрустированных серебром, и художник Мойне из Парижа, чтоб встретиться в Баку с князем Хасаем Уцмиевым, его женой, «татарской кня-

гинеи» Ханкызы-Натеван, и их грозным пятилетним сыном, названным в честь последнего карабахского хана Мехти-Кули,— мальчик держался за рукоятку своего кинжала «на всякий случай,— как напишет Александр Дюма,— и по инстинкту», и приедет в Тифлис, где встретится с Фатали).

«Прочтите» — просит Фатали. «Эль» часто слышал Фатали в устах Александра Дюма. «Что это?» — спросил у Фабьен Финифтер. «Она». И оставила русский перевод для Фатали:

Она достигла двадцати лет: она любила и была прекрасна.
Вечером погибла она, как роза от дуновения бури.
О, могильная земля, не тяготи ее.
Она так мало взяла у тебя в жизни.

Эпитафия на отдельном камне, в виде трехгранной призмы, камень плохо пригнан к надгробию, часто сбрасывается (и отдана призма в Тифлис, в военно-исторический музей).

Ни о Дюма ни слова, ни о любви Бестужева — не успел!!

ну, как тебе в куртке овечьей, дышится свободно? ты ведь мечтал кончить с раздвоенностью, то мундир давил на плечи, то тебе казалось, что золотистая бахрома эполетов издает мелодические звуки. ах темно?! я тут принес тебе! труба! о которой Кемалуддовле просил!! узнаю! ну как, видишь теперь хорошо? это ж Рашид! но как он постарел! Рашид! — усмехается Колдун.— это не Рашид, а Фатали: я?! какой ты, право, непонятливый! смотри внимательно! это ж твой внук! и уже такой старый?! ты думаешь, с тобой остановится время? еще юн твой сын Рашид, но уже успел состариться твой внук Фатали! так вот, после обыска... уже был и обыск? чиновники обшарили твой стол, полезли в сундук, но ничего не обнаружили, ведь ты сам что надо надежно-надежно спрятал у отца Наджафа, своего повара Кафара! так и ничего? нет, почему же, кое-что лежало на дне сундука.

вот именно!

но не столь существенное!

смотря для кого!

а!.. ты насчет фотокарточки!

это я от Тубу прятал! очень мне хотелось дочь

Нису-ханум в черкеске сфотографировать, а тут

отовсюду как накричат на меня: «бесстыдство!

грех! позорить девушку!» кстати, а кто стоит ря-

дом с Фатали? сам коротыш, а усы ух какие

длинные! и вид какой воинственный! кого-то на-

поминает, но кого, не вспомню! не принц ли?

и принц! и маузерист! и черт упрямый!

вспомнил! Фарман-Кули! но ведь его казнили;

ах, да, неужто тоже внук?!

угадал! но огорчу я тебя, Фатали, уж прости за

прямоту! случается ведь такое: внук Фатали не

понимает деда Фатали! и каракули твои мало его

волнуют, арабскую вязь он не знает.

невежда!

ты сам ведь ратовал, замена и все прочее... но

об этом не будем, а русские твои записки кажут-

ся ему невнятными, да он, честно говоря, и не чи-

тал! у него свои инженерные заботы, и здесь ты

сам мечтал: твой внук пошел по стопам твоего

сына! помнишь, ты писал: «и покроется страна

сетью железных дорог, не тюремные решетки, и

установятся между народами...» да-с! «был у ме-

ня,— говорит твой внук тому усачу,— дед-чу-

дак!» но усач давно наслышан о сундуке, и для

него ты — вершина вершин, ты первый, ты нача-

ло, ты основа основ! ай да молодец усач! — про-

слезился Фатали.

и написал книгу о своем деде-революционере!

революционере?! — удивился Фатали.

не зря ведь его казнили!

да, но это была ошибка! налоговый чиновник,

ты знаешь сам.

но ведь казнили! — упрямо твердит Колдун.

по ошибке!

но кто сейчас разберет? — усмехнулся Колдун.—

главное, что казнили! написал книгу, были ку-

лиевы, чтобы замести следы, опасались гонений,

а теперь восстановили фамилию, стали фарма-

кулиевыми!

— Народное правительство уполномочило меня вступить с вами в переговоры, чтобы купить у вас рукописи вашего деда.

— Да, есть тут в сундучке кое-какие бумаги... («О, аллах!» — воскликнул про себя усач-коротыш, на миг усомнившись в устойчивом своем безбожии, да накажет его аллах, но виду не подает, сдерживает радость, дабы внук не заартачился, — а рукописи, вытасканные из сундука, ожили и заговорили: «Кемалуддовле!» утерянные письма! каждая страница как листовка!!)

— Вот если бы дед на поле битвы погиб! Или как твой, я читал книгу, казнен был («Но тогда б тебя не было!» — но промолчал)! На баррикадах если б сражался! — Мечтательно произнес, сожалея, что не очень повезло ему с дедом.

— В Италии? — подзадоривает усач. — В отряде Гарибальди?

— Да, да!

— Или во Франции, в рядах коммунаров! — подбрасывает усач дрова в огонь. — А ведь успел бы еще раньше, в сорок восьмом, если бы уехал с месье Жорданом и вопреки ему!.. Помните, Колдун ведь разрушил Париж!

Фатали-внук в недоумении смотрит на усача-коротыша: что еще за Колдун?! Бред какой-то!

— Может, в Польше? — никак не уговорится усач, радость от находки, будто фонтан нефтяной бьет. И новые замыслы вспыхнули: он напишет, как «Письма» будоражили умы! И как судьба его казненного деда всколыхнула Фатали на подвиг — развенчать в «Письмах» догмы деспотической власти! И объединит две линии: мыслителя и революционера! — Ведь и там, если помните (?!), кровь лилась, и не раз! — заговаривает внуку зубы, лишь бы тот не раздумал продавать эти рукописи, недорого запросил, ибо денег у новой власти в обрез: голод и разруха.

А Фатали-внук задумался, слушая усача: ведь мог дед оказаться и в Польше! И, разумеется, быть с теми, кто восстал, — по одну сторону баррикады дед-Фатали, а по другую — славный мусульманский конный эскадрон, и шашки сверкают! и Куткашинский во главе конников, с чьей внучатой племянницей намечалось у него сватовство, да заглохло. И старая рана: может, были бы тогда у него дети, не прервался б род!

— Да, — задумался Фатали-внук.

— С декабристами! — молчать нельзя! — Хотя нет, не мог еще, — с сожалением вздохнул усач-коротыш. — Ну, хотя бы... — Кого же еще вспомнить? апрелистов? но они только дискутировали! — Ах да! В движении Шамиля!! — как мог усач забыть?! горцы!! и они в чести! И недаром он нашел ход, связав Фарман-Кули с легендарным горцем! — Или нет! — выражение глаз внука ему не понравилось. — В рядах борцов против шахского деспотизма!

— Бабитов, что ли?! — недавно Фатали-внук читал, уж не книгу ли, подаренную Казембеком его деду? (А Фатали-дед перерыл тогда весь шкаф, а она — и не в отеле «Вавилон» вовсе, где жили изгнанные из стран своих Кемалудовле и Джелалуддовле, а под стопкой бумаг!.. листок меж страницами, правда, бесследно исчез, и в досье Никитича его не оказалось); знает о бабитах, но вариант этот мало устраивает внука. — Хоть раз бы в какого деспота выстрелили! — сокрушается.

— И я о том же! — соглашается усач, негодуя в душе. «Эх, внук, внук!..» — усач-коротыш ведет дневник, чуть ли не с младенчества, как узнал, что дед их был казнен, история эта обросла уже семейными легендами, и любит туда заносить патетические фразы, ибо хотя и был некогда сам маузеристом и питал симпатии к отчаянным террористам (таким рисовал он в воображении и своего деда Фарман-Кули), но слыл в душе допотопным романтиком и имел тайную до застенчивости страсть (как и дед к математическим выкладкам об обложении налогами сельчан) к длинным, аж в несколько тетрадных листков, в одно дыхание сентиментальным словоизлияниям. — «Что царь? что король? что султан?! Твой дед поднял руку, совесть имей, ай киши! на самого аллаха! его пророка Мухаммеда, низвел его до Мамиша эй!.. а тираны, которые были, есть и будут...» — заполнил целую страницу, исписав ее мелко-мелко, и на следующую перебросил цепочку выпретенных фраз, и каждая буква — словно пуля, вылетающая из маузера. И непременно напишет, что «Письма» будоражили умы революционной молодежи не только в Тифлисе, Баку и по ту сторону Аракса, а разве было иначе? но и в захолустной Нахичевани, куда сбежала их семья после казни деда. И что отец — вот и выстроится революционная династия! — «сын знаменитого Фарман-Кули», тоже подвергался гонениям за чтение «Писем» — сколько угодно тому примеров в отечественной истории, помнится, даже к повешению или расстрелянию приговаривали, заменив в последнюю мину-

ту (а уже петли висят! уже выстроилась шеренга, даже прицел взят!) каторгой.

что за торг у них?

а это не торг! твой внук, он же истинный джигит! да? — радуется Фатали, что похвалили внука.

молодец твой внук!!

Продав народной власти содержимое сундука, а потом, получив деньги, щедрой рукой протянул пачку коротышу:

— Ай азиз,— мол, дорогой мой человек,— возьми свою долю, ты заслужил!

— Да как ты смеешь? — глаза на лоб. Я... мне??!

— А я тебе еще кое-что принес! — и протягивает шка-тулку.

моя шкатулка!! память о матери!

увы, подзорные трубки такие перевелись! — вздохнул Колдун.

А в шкатулке — новая рукопись! «Оригинал! Вот она, восточная поэма! Сколько ее искали!» — готов расцеловать внука!

Потом был плов. Из индейки. И высокий торт, специально заказанный внуком. И тосты в честь и во славу.

И еще одна фраза в дневнике, года три или лет семь спустя, почти шифр: «И надо же, чтобы именно в круглую годовщину пожара в Гыш-сараяе», усач-коротыш это любит, мешать русские и азербайджанские слова, к тому же приучен к конспирации, семейная традиция, но даже Никитич и его потомки переведут: «Гыш» — Зима, «Сарай» — Дворец! тоже мне, эзоппп! и посложнее шифры угадывали в канцелярии Никитича: мол, «за общее дело», *Res publica*, «Фатали-внука охватило *всепожигающее* пламя! да, вся в огне и Фельдмаршальская! и зала Петра! и Белая зала! и Галерея Двенадцатого года! и вихрем густой дым!.. бежит, бежит огонь — по кровле, по верхнему ярусу, ах как горят царские покои! а потоки огня льются и выплескиваются наружу, далеко-далеко разбегается пламя! аж в Галерной гавани хижины горят, вот-вот закипит Нева и пойдет огонь по другим рекам, морям необъятной империи, и языки огня нороят лизнуть черные тени людей, сколько их, сожженных! и лижет, и лижет эти точки-винтики (?) пламя!..» — передохнул усач-коротыш и добавил: «Ай как хорошо, что успели выкупить и сундук, и шкатулку, а то пропали б, сгорев во всепожигающем пламени!»

«ты меня слышишь?»

молчание.

«эй, Фатали!»

ни звука.

«Фатали!!»

Проводив врача, Тубу вернулась.

— Очень холодно, Фатали. Мартовский ветер такой злющий, гудит и гудит. Мы растопили печку, а сейчас я зажгу лампу. Как ты? — поправила стеганое одеяло с холодным атласным верхом, погладила по седой-седой голове, такие мягкие редкие волосы.

— Не забудь с доктором... — дышит тяжело, — с доктором Маркозовым не забудь расплатиться, а то потом, в суматохе...

«Что за суматоха? — не поняла Тубу. — О чем он?» Никогда ведь не верится, а непременно случится со всеми.

Вышла.

«А зачем это я вошла?»

Не вспомнила, вернулась.

Язычок пламени заметался, ударяясь о стенки лампы.

— Фатали, — позвала Тубу. Он закрыл глаза. — Ты меня слышишь?

Рука его повисла. Тубу прикоснулась к ней и вскрикнула:

— Фатали!..

Нет!.. Нет!..

МОНАРШЕЕ МИЛОСЕРДИЕ

а ночью кто-то подкинул. «змея!» — отпрянул Фатали. безотчетный с детства панический страх; оказалось — веревка. «к чему бы?» тонкая, но крепкая. «ах вон оно что! ну нет, этого вы не добьетесь!»

эй, кто там есть?! что-то лязгнуло и умолкло, и снова ночью не может уснуть.

и я сказал: капля моей крови упадет на землю, вырастет камыш, срежет его проходящий, сделает свирель, заиграет новый, и повторится — схватят, казнят, и капля крови... арестовать, не объяснив причину, привезти в крепость как вещь, когда ж объявят? молчание, мертвое молчание, за мысли никто не судится!

гвоздь, но не вытащить, вентилятор, обломать его зуб, и на стене во тьме рука водит, глаза не видят: фальшь, фи́га, фокус, фраза, фанатизм, что еще? филантроп, фарс, форс, фарси.

бунт? я слишком умен, чтоб такие глупости...

Александр рассказывал: был Аскер-хан, где он теперь? читал «Илиаду» Гомера, к чему бы? и критика этого сочинения, что он, спятил?! в кружке.

и современный разговор в духе отечественных записок, и о женщинах из Соломона спорил до хрипоты, цитируя Коран, и о смерти Пушкина, о гнусном подсылателе записок, эта сплетня и клевета! Соллогуб?! «а я вам, господа, моего земляка Фатали».

и Шиллера читает Аскер-хан, это ж талант! трагик! и предисловие к программе, какой? о союзе племен?

«вы глухи к степи! глухи к горам! вам нет до инородцев дела! вы слепы, только под носом и видите! и вы, и ваши вожди! и вы, декабристы, и вы, апрелисты!»

или рассказать вам,— тоже Аскер-хан,— о высокогорном озере, ах какие красоты в нашем краю в Гяндже, извините, Елизаветполе, горное озеро, а на дне густой лес, так трахануло, что гора откололась и запрудила горную реку.

что говорит народ? читай, Аскер-хан! «ну, вы это бросьте! как же никогда не было Наполеона?! а Москва? а пожары? миф? может, то, что я расскажу — о Шамиле, тоже миф? и миф вредный? пасквиль! диффамация! сначала герой, потом враг, а теперь кому друг, кому враг, кому герой! «и ты в меня камнем!»

так как же, читать мне о войне на Кавказе? читай! читай!

и Аскер-хан, невысокий, иссиня-черные волосы, читает, и голос трагика, но где мне найти фантастическую повесть Аскер-хана? в восточном вкусе, даже предназначалась к печати! читалась по корректурным листам! узнать бы у Кайтмазова, но когда?!

о, Кайтмазов! он жил так долго, что люди, узнав об этом, недоумевали: «Кайтмазов?! неужто жив

еще?!» и жаль, не узнает, была ли в коллекции Никитича?!

А Никитич перед смертью, уже глубоким стариком, завещал свою коллекцию — кому бы вы думали?! — правнуку Ладожского, да-с, бездетен, всю жизнь — на благо отечества, во имя монархии.

А Ладожский-старший писал исторические записки, выдавая их за образцы изящной словесности, и знатоки говорили, что они таковыми и являются, хотя могут быть и иные толкования, ибо защита монархии и оправдание всех ее войн, как бы велеречив ни был слог, — не может быть причислена к изящной словесности, но это — лишь одно из мнений, и оно тонет в хоре поклонников; и записки как реликвия дошли до потомков Ладожского, увы, по женской линии, и фамилия не сохранилась: дочь Ладожского Анна вышла замуж за Льва Ихачева, сына знаменитого генерала Апшеронского полка, и их дочь, тоже Анна, вышла замуж за Солова, был Салов — изменил, чтоб звучала в унисон, ибо сочинял ноктюрны, а от них сын Владимир Солов, знаменитый антиквар, кому отдал коллекцию Никитич, женился на дочери московского профессора Ухина, а на старости лет занялся реставрацией божьих домов, и как семейная гордость — перстень на пальце, якобы досталась от бабки Анны Ладожской, с изображенным на нем императором, хотя именно он и сместил в свое время Ладожского, успел! но вновь возвысил Ладожских, другая фамилия, ибо женская линия, Ихачевы — Соловы — Ухины, второй Николай, пока не грянули, — но это уже другая песнь, другие мотивы.

и Аскер-хан читает повесть. по-русски? перевел или сам?

и уже Александр, исчезнувший потом, читает: о где вы теперь? и ты, Рылеев, и ты, Бестужев, поэт и воин. проклятье терзающим своих святых пророков! а может, кто из вас свободную душу продал тирану? и кладет рабские поклоны перед его порогом? или продажным языком славит его торжество и радуется мучениям прежних друзей? или в отечестве моем, моею кровью упиваясь, как торжество представляет нашу казнь царю?! когда и я был в оковах, — это же Мечислав читал Фатали!! — и, ползая как змея, я притворялся, обманывая деспота, — но перед вами я всегда был прост, как голубица.

кто из вас подымет голос противу меня, на эту протестацию я буду смотреть как на лай собаки, которая так сроднилась с цепью, долго ею носимую, что кусает спасительную руку, освобождающую ее.

и Аскер-хан, бледный, слушал, как читает Александр, из Мицкевича.

лица — одно на другое, кто Аскер-хан, кто Александр, а кто Мечислав. что? не было и этого?! но кто ж рассказал о революции?! помнить! пустые могилы!.. сровняли их славные мусульманские конники!!

«что ж вы, а?!»

летят и летят головы.

«ведь мы!..» — рррраз!..

«за вашу и нашу свободу! что ж вы?!»

и о любви — но чьей? Александра? Мечислава? и в тихие часы высшее тюремное и иное начальство, есть у него слабости, читает интимное, сокровенное, и голос, и голос, и голос бубнит монотонно, и не уснуть, — это ведь только кажется, что стены Метеха толстые и никакой шум из соседней камеры не дойдет.

дойдет, пройдет и через стены поплывет, поплывет, поплывет, будто белый-белый, и летит, будто птица, — белый пух, выбитый из черного окошка каким-то глубоким вздохом, когда и вся душа будто уходит из тела. подавляя одних, истощая других, — кто ж говорил? живой курган притеснителей и душителей, связанных дележом грабительства, и опора на миллион живых машин со штыками, империя, хищная, заносчивая, ненасытная, и это войско, чье ремесло воевать, и в нем спасение ес, империи.

может, разом — и нет? зубом вентилятора! эх фурфуристы! пропагаторы! и этот запах свежей краски! ах, занимался литературою?! за освобождение крестьян был? желал добра отечеству? был гражданином? рассуждал о возможности печатать за границей запрещенные здесь книги?!

лишить! военный суд! возмутительная переписка двух принцев! копии! лишить на основании свода военных постановлений всех прав состояния (?!), чинов! и подвергнуть смертной казни расстреля-

нием! однако ж принять во внимание облегчающие обстоятельства! преступное начинание не достигло вредных последствий, быв своевременно преупреждено!

монаршее милосердие — каторжная работа в крепостях!

а потом пришли и вывели. когда вышел на улицу, яркий свет резанул, но снова привычная темнота. в карете как в Стамбуле, когда забрали: один рядом, двое напротив. а потом второпях кузнец заковал ноги, железные кольца, и молотком заклепали гвозди как-то впереверт-навыорот. кибитка, запряженная курьерской тройкой-птицей, и фельдъегерь-жандарм, дорога, мощенная бревнами, и железо растерло ноги, вот-вот до кости доберется.

в обмен на заподозренного в шпионаже и схваченного султаном закадычного друга Никитича «...овского», орудовавшего в Константинополе, — Богословский? — Фатали был тайно выдан султану, о чем узнает-таки шах, хотя ему торжественно было заявлено, что Фатали заточен в Петропавловскую крепость, что его будут судить и сошлют в Сибирь.

но некогда великая держава так обессилела, что даже на обиду не хватило эмоций, лишь гневные слова, и то не высказанные вслух.

Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО БЫЛО В МОИХ СИЛАХ

И долго не могут предать земле.

— Мы не позволим, чтоб тело грешника, чья душа в аду, в кипящей смоле, было погребено на кладбище правоверных (и раскаленные клещи, и искры величиной с верблюда)! —

— Но позвольте, господа! Неужто некрещеного татарина хоронить на православном кладбище?! — возмущается Никитич, который со своими людьми только что посетил семью, чтоб соблюсти, так сказать, ритуал и самим воочию удостовериться, а заодно и порыскать: *А что в сундуке?*

Скрипнула крышка, не разбудить бы! Всякое может случиться. А в сундуке свадебное приданое для неведомой будущей невестки, Тубу давно собирает. А на дне, на

самом, на самом дне фотография: дочь Ниса-ханум в черкеске, подальше от глаз Тубу спрятана.

И никаких рукописей?! никакой сундучной крамолы? А что в ящиках стола? Что? Палисандровый стол? С потайным ящиком (повернуть ключ и нажать пружину)?! Побойтесь бога, Никитич! Фатали работал за обыкновенным столом!

— Ну, а все же! — упорствует Никитич.

— Это что, обыск?! — возмущается Рашид.

— Ну что вы! — набрался в Европе! ну, мы тебя скоро нашим порядкам обучим! — Мы просто хотели, чтоб доброе имя после смерти... — Ящики будто ветром выдуло. Ни клочка, ни пепла!

— Не на григорианском же кладбище хоронить? — Никитич разгневан.

— А почему бы и нет?

— И не на еврейском же!

— Успокойтесь, Никитич!

Депутация от наместника, князя, оба истинные, северный и южный, даже фон, граф и всякие иные, к шейхуль-исламу, а к нему не пробьешься: запрудила вход в резиденцию толпа фатумных физиономий, кто ж позволит, чтоб поганили землю, «в которой наши предки».

— Ну, положим, еще неизвестно, чья эта земля! — как будто возмущается князь Аладзе, а на него косится, срез молнии, знатный купец, ворочающий миллионами, Аррьян:

— О нас даже Гомер писал!

— Гомер! А Прометей?! — не унимается Аладзе, но тут круглое, как арбуз, лицо Ажбы, тоже из вождей, увы, бывших, вытягивается, будто дыня:

— Но Прометей ведь...

— Ты тоже?! — прерывает его Аладзе, глядя презрительно. — И больше никого?

Еще какая-то папаха выглядывает из-за уступа скалы, и усы колючие, а глаза круглые, как яичница:

— Чтоб дух его, кяфира-гяура, где наши правоверные отцы и деды?! И чтоб молла читал над его могилой молитву?!

Не в церкви же отпевать?!

А ведь говорил Никитич (а не Ладожский?) Фатали, предлагал. Не всегда ведь пиковались, иногда и шутили, хохотал заразительно Никитич, с такой сердечной искренностью, как дитя: «Отчего бы вам, Фатали, не креститься,

а?! Никогда не поздно, готов ходатаем выступить! Зато какие лучезарные перспективы!»

А тело лежит.

И в круге первом ада, а ведь казалось, страшно, и ничего, и здесь устали, что ли? И эти бранные споры, скорей бы укрыться, уйти, растолочься, смешаться и в вечность!

Уже весна, но мартовский ветер швыряет мокрые хлопья, а ведь вчера еще мокли от жары, спину жгло. Бараньи папахи облеплены снегом, и бороды мокрые, попробуй сунься, фюйть-фуфу, к шейхульисламу.

И у мечетей толпы, пятница, что ли? не продерешься.

А в канцелярии наместника на белом как савап листе чертят линии кладбищ — освященных земель: вот мусульманское, вот христианское, а вот и иные, неужели до клочка расписаны?! Но нет ли ничейных, чтоб ни восточные, ни западные, ни ихние, ни нашенские? Господа, ну о чем вы?! чтоб не Азия, и чтоб не Европа?! о, эти фортели фортуны!..

И наместнику не терпится.

— Ну как, похоронили? — спрашивает он Никитича, а в руках письмо военного министра (граф Милютин? Дмитрий Алексеевич?), только что получено, насчет памятников на могилах.

«О чем он думает?!» — изумился Никитич: не ожидал, что Великий Князь Михаил Николаевич, все с большой буквы, столь наивны.

Но следы геройских подвигов во славу, на чужой земле, весьма желательно! Можно без особенных архитектурных украшений, но прочные монументы! Да, весьма-весьма желательно, ибо пройдет несколько лет и исчезнут признаки тех мест, где погребены воины.

«Но где взять деньги?» — думает Никитич, а Великий Князь все о своем: да-с, кладбища — унылый вид запустения: могилы разрушены, надписи смыты дождями, курганы, когда-то высокие, сровнялись с землею, и люди обходят их как неприятное *memento mori*!¹

Никитич раздражен праздными думами Великого Князя, — уж не полагает ли он, что и Фатали надо ставить монумент?! Прежде похоронить надо!!

— Разрешите идти? — по-солдатски спрашивает он, а Великий Князь и не слышит, и грустно ему отчего-то, что неблагодарна память людская, вспомнил, как с братом

¹ Помни о смерти! (лат.)

Александром — об императоре никто не смеет так, но они — братья, и любит его Михаил, — посетили Гянджу, вот уж привязалось название — Елизаветполь! та же мечеть, те же кельи, тот же камин, у которого грелся Цицианов, — а ведь мраморная доска была с вызолоченною надписью: «Здесь жил покоритель Ганжи князь Цицианов»; куда она делась — никто ответить не мог, лишь дервиши обитают в этих кельях.

— Да, да, идите, — вот-вот расплачется Великий Князь, не знал за ним этой слабости Никитич, пулей выскочил, негодует, что такая возня с этими похоронами...

А тут еще и Орбелиани, о боже!.. еле дышит, ноги не держат, а явился!! тоже о похоронах хлопочет, а впору б о собственной душе подумать (скоро восемьдесят).

— Шапочник Шошо?! Что за шапочник, — не поймет Никитич. Спятил старик, не иначе! Но терпеливо выслушивает Орбелиани, замещал, бывало, наместника, ссориться неохота.

К Орбелиани пришел шапочник Шошо, уже многие годы шьет ему и всем им шапки, богатырь, победитель кулачных боев, — пришел, чтоб сообщить о трудностях с похоронами Фатали; Никитичу некогда, а Орбелиани еще рассказывает о том, как Фатали помог в свое время семье Шошо, определил его в типографию наместника вертельщиком, крутить, — объясняет Орбелиани Никитичу, — колесо, приводящее в движение печатную машину, да еще и о том, что типография эта — на углу улицы Лорис-Меликова, гремит его слава, но скоро погаснет, и Калаубани, будто не знает о том Никитич.

— И вертельщик и шапочник? — перебивает Никитич, и сам не рад, надо кончать эту болтовню!!

И выслушивает историю о том, как Шошо уволили и Фатали определил его к знакомому мастеру в ученики, и тот учил из уважения к Фатали бесплатно.

Но прежде Орбелиани пошел к тифлисскому полицмейстеру, а от него, разгневанный, — к Никитичу. И полицмейстер смел предложить Орбелиани такое?! Да еще подумав! Мол, единственный выход — похоронить на кладбище, где обычно хоронят приговоренных к смерти заключенных, это на пустыре! неосвященная земля!!

«Вот-вот! приговорен!» — думает Никитич.

— А что? Дельный совет, — тихо шепчет Никитич, зная, что Орбелиани стал туг на ухо. И громко: — Не волнуйтесь, князь! — И выпроваживает Орбелиани.

А его дожидается Шошо и не смеет спросить. Орбелиани махнул рукой, а перед тем как уехать на фаэтоне, сказал:

— Ты крепок, долго будешь жить, наказываю тебе! — И наказывает ежегодно приходить к нише «святого магометанина Або Тбилели», — запомни, шестого января! это день поминовения Або! — и зажигать свечу в память о «нашем друге Мирзе Фатали».

Шошо озадачен, но промолчал, как, впрочем, и Орбелиани; потом понял, что Або — это Або, а Мирза Фатали — это Мирза Фатали, но с кем из магометан сравнить, чтоб утвердиться в мысли о величии умершего друга? Або отрекся от мусульманства в пользу христианства и был казнен по приказу наместника шаха: трижды ударили его тупою стороною меча, надеясь утешить и оставить в живых, если раскается, а в четвертый уже острием, — и голова отделилась. И дабы не сделалось тело предметом поклонения христиан, сожгли близ Метехского моста и пепел бросили в Куру.

А Шошо однажды в знак благодарности назвал Фатали Або. Фатали, как всегда в подобных случаях, лишь мягко улыбнулся:

— Это для слабых духом, Шошо. И мой ислам, и твое христианство. И все иные догмы...

Шошо каждый год, а он жил долго, увидел и начало нового века, шел на левую сторону Куры, где в стене Метехского замка есть ниша, и ставил зажженную свечу в память о Мирзе Фатали.

А время не ждет. Надо спешить. Узаконенье нарушается, от 28 января 1704 года, действует и поныне, и Никитич этого никак позволить не может: не держать умерших более трех дней; а уже третий на исходе!!

И по секретному предписанию Никитича подпоручик, он новенький и наиприлежнейший в канцелярии, Федя Федькин, розовые щеки и усы пушистые, специально (и в штатском) поехал на кладбище, чтоб отыскать, как велено, нейтральную землю, ни мечети, ни церкви не подвластную, вяз в грязной жижице, хлюпала скользкая глина, лишь склон холма белел и на голых ветвях, будто яблоня расцвела, тяжелый снег, — смерзнет и, чуть подует, согнет, сломается дуновением, скованная льдом.

И вроде бы договорился, выроют могилу на ничейном пустыре, канцелярия возьмет на себя расходы, ибо сумму копатели заломили немалую (за риск!).

И к мусульманскому кладбищу примыкает, и как бы за чертой григорианского, католического, иудейского и, разумеется, православного, короче, ни Запад, ни Восток, хотя и здесь, и там, и именно в эту пору отыщется под снегом фиалка.

Выроют, выроют на склоне холма, да такую глубокую, глубже женской могилы, а она самая глубокая, ибо так повелел всевышний, что сам черт не вылезет, дьявол задохнется! и плиты тяжелые на могилу: трижды воскреснет и трижды сердце разорвется!

А потом юного поручика (за такое задание не жаль и в чине повысить) здоровенный верзила, то ли беглый каторжник, то ли шахский лазутчик, вызвался за полтинник влез на спину снести, в розовые руки Феди Федькина щетина бороды впилась, да в коленки, как сошел на землю, иглы вонзились, и вонь бараньей папахи, и еще какие-то тошнотворные фимиамы, как облачко, фуффф!.. над головой.

И лишь на четвертый день скоро и бесшумно похоронили, кружным путем шли, с северо-запада к Горхане, что в районе Орхеви,— через пустыри и тихие улочки, чтоб никого не волновать зря, никаких чтоб беспорядков, и полицейские сопровождали процессию.

А за гробом — сколько было прежде вокруг!.. и письма, и встречи, и гости, нухинцы-шекинцы, бакинцы, карабахцы, шемахинцы, анцы, унцы, енцы!.. «Я столько для вас сделал, отчего же вы так, а?!»

Но зато провожал Юсиф-шах. Он спешил, боясь опоздать, ведь сквозь века, и еще не отдышался.

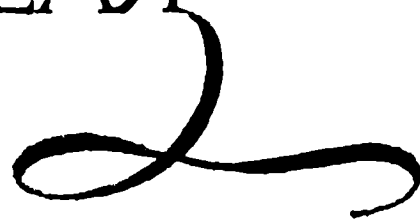
И Кемалуддовле успел, принц индийский, из самого Каира (или Багдада?), покинув отель «Вавилон», но как?!

И конечно же Колдун, бессильный что-либо изменить и противостоять.

А иных уж нет: кто казнен и — никогда, кто пропал и, может быть, отыщется, а кто еще не знает, а если и узнает, увы, не успеет.

И уже солнце на светло-голубом небе, будто не было ни воя в печных трубах, ни хлопьев липкого снега, ни слез в глазах, когда ветер вдруг кинет в лицо соринку с набережной Куры, мутной даже в ясный день,— то ли течет она, то ли спит, усталая, и снится ей новое русло. И неведомо, спорят меж собой два берега — правый и левый, когда она проснется, и проснется ли когда.

АВТОР СНОВА ЗАДЕРЖИВАЕТ ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЯ



с которым прошел долгий путь документальной фантазии, и хочет сказать ему несколько слов на прощание.

Мирза Фатали Ахундов принадлежит к плеяде революционеров, которые не сражались на баррикадах и не познали тяжести кандалов, а боролись словом, оно и оружие, оно и знамя.

Ахундов ополчился на деспотизм, будь то восточный в лице шаха и султана, а то и имама, будь то российский в лице царя. Он возвысил голос против догматической веры, оплота тирании, против фанатизма, ослепляющего и оупляющего человека, гасящего свободу личности. Он ратовал за союз и единение угнетенных народов в борьбе против колониального рабства, за счастливую жизнь.

Но прежде чем услышать Ахундова, азербайджанскому народу предстояло пройти долгий путь прозрения, ему надо было, сражаясь вместе с народами-соседями, и прежде всего с русским народом, против угнетателей, против царского самодержавия, изжить из себя раба, окрепнуть и возмужать.

Слово Мирзы Фатали подготовило народы Востока к восприятию демократических, социалистических идей, осознанию своей роли в истории.

Перед читателем — вся жизнь Ахундова, его муки и борьба, надежды и сомнения, отчаяние и вера в будущее.

Я не спешу поставить точку, ибо живы потомки. Почти у всех.

Может, и у Фатали на том берегу.

И даже на этом.

и я снова иду не спеша по старой и узкой бакинской улице, по которой давно не ходил, мимо зарешеченных окон низких домов, открытых взорам

прохожих, кто-то зовет меня, очень знакомый голос, но кто? оглядываюсь — никого, и снова иду по родной земле, обдумывая последние строки, чтоб родились они именно здесь, где когда-нибудь лежать и мне рядом со своими, даже не верится, что она есть, эта узкая и старая бакинская улица, носящая имя Мирзы Фатали, мне казалось, я ее придумал, как и треугольный сквер, к которому спускаюсь, чтоб постоять рядом с гранитным Фатали, сидящим в широком каменном кресле, но что это? стал выше постамент, будто вырос, и до ладони уже не дотянуться, и смотрит вдаль не видя меня;

а потом, тяжело дыша, взбираюсь на один из тбилисских холмов, чтоб поклониться могиле Фатали и глянуть на величественный памятник,— неужели и теперь он не видит меня? и знойное солнце жжет мне спину.

О Г Л А В Л Е Н И Е

АВТОР ЗАДЕРЖИВАЕТ ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЯ	3
ПРОЛОГ, или КОЛДУН	9
Крест и полумесяц	19
Гюлюстанский трактат	29
Царская служба	36
Туркманчайский трактат	46
Тайнопись	50
В келье мечети	56
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, или НЕСКОНЧАЕМЫЙ КРИЗИС ИЛЛЮЗИЙ	63
Стрелы смерти	67
«— Я Мирза Фет-Али Ахунд-заде»	78
Кровавый закат на Куре	90
В фаэтоне с государем	95
Кавказская лотерея	107
Имперский котел	113
Под сенью белого падишаха	118
Непроницаемые тайны	124
На грани грез	130
Догорающая свеча	136
Местные интриги	144
Ревность	152
Чертова дюжина	156
Новая боль	162
Викториальные дни	167
Процветающее общество	173
Неужто лишь пепел?	179
Ночь и день Фатали	188
Шайтан-базар	194
Из туманного Лондона в солнечный Тифлис	199
Бамбук с трещинкой	210
Сон и его разгадка	217
Бусинка от сглаза	222

ЧАСТЬ ВТОРАЯ, или ВСПЫШКА НАДЕЖДЫ 227

Украшатель мира	228
Звезды предсказывают гибель	243
Звезды обмануты	249
Лжешах	260
Колесо фортуны	265
Вожди нации	273
И окованная железом дверь	278
Печаль палача	282
Буйство черни	291
Что? Данная народу воля?!	295
Мат королю	299

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ, или КРАХ 303

Улыбка в гробу	305
Дервиш в шкуре пантеры	309
Алиф, похожий на змею	313
Российский узел	321
А я топор точу, точу	331
Последняя битва	344
Послушное перо	351
Священная книга	362
Противостояние миров	372
Год зайца	378
Кинжальный Аракс	392
Девяносто девять имен аллаха	397
Генеалогическое древо	402
Двуглавое чудище	411
Вечный траур	421
Страсти фанатиков	425
Голоса друзей	439
Пустые могилы	442
Монаршее милосердие	450
Я сделал все, что было в моих силах	454

АВТОР СНОВА ЗАДЕРЖИВАЕТ ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЯ 460

Чингиз Гасан оглы Гусейнов

ФАТАЛЬНЫЙ ФАТАЛИ

М., «Советский писатель», 1983, 464 стр.
План выпуска 1983 г. № 247

Редактор *Я. М. Мустафин*
Худож. редактор *Е. М. Дробязин*
Техн. редактор *Р. Я. Соколова*
Корректор *Р. Г. Рагимова*

ИБ № 3487

Сдано в набор 11.06.82. Подписано к печати 23.12.82. А 09238. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 24,36. Уч.-изд. л. 26,79. Тираж 30 000 экз. Заказ № 478. Цена 2 р. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109



